

Николай Калягин

---

*ЧТЕНИЯ*  
О  
*РУССКОЙ ПОЭЗИИ*

Санкт-Петербург

2018

УДК 82-311.2  
ББК 84 (2Рос=Рус)6  
К17



© Н. И. Калягин, текст. 2016  
© «NAPISANO PEROM». 2016

ISBN 978-5-00071484-3

### ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

История Русской поэзии за триста лет – это Роман. Действующие лица Романа, помимо авторов и исторических деятелей, – Россия, ее история, Поэзия и Православие.

И эти действующие лица связаны между собою не случайными пересечениями жизненных путей, не взаимодействиями форм и стилей, и даже не только взаимодействиями литературных направлений и литературных судеб, но так, как бывают связаны члены одной семьи, как связаны Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда.

«Лучшее в многолетней истории отношений Вяземского с Пушкиным – то, что он выл у постели умирающего Пушкина. Единственная тайна, которая должна была открыться Вяземскому в тот приснопечальный день, – тайна весьма простая и одновременно значительная, – заключалась в пяти словах: «"Я был Пушкину плохим другом"».

Автор Истории русской поэзии тенденциозен, он христианин, бывает несправедлив и пристрастен, у него есть любимцы и изгои – как это и обычно бывает, даже учитель в классе неодинаково относится к своим подопечным, хотя и скрывает эту неодинаковость.

Разумеется, в центре поэтической вселенной находится Пушкин, и через Пушкина воспринимается, переживается и освещается вся многообразная русская поэзия. Нет, как часто бывает, «с одной стороны... но, с другой стороны...» – автор смотрит на героев своего романа с одной стороны, он *смотрит им всем в глаза*, не сбоку и не сзади, и не повертывает и так и этак, как Гоголь Чичикова или Хлестакова. Такой метод изучения сообщает роману движение, вносит в его страсть и столкновение характеров – точнее сказать, проявляет присущие подлинно существовавшей поэзии страсть и драму, все превращая в музей и гербарий. Вот почему в Романае, который мы читаем, все живо так, словно вновь на наших глазах впервые рождается и происходит.

Итак, наш роман – История и драма – но не только, это еще и философия поэзии. Казалось бы, поэзия говорит сама за себя – и только она за себя и говорит, тщетны усилия объяснить ее смысл и чудо за неё – но мы сталкиваемся при чтении этой книги еще с одним чудом – происходит словно пробуждение уснувших текстов, начинают звучать живыми музыкальными голосами нотные строки, существовавшие доселе лишь на бумаге. Казалось бы, к стихотворной строке ничего нельзя прибавить через объяснение и комментарий, но происходит ее обогащение в результате сопоставления, сближения, сравнения, соединения с другими строками других поэтов даже других эпох – и это справедливо, поэзия – не сумма деревьев в эдемском саду, а сам этот сад, с его почвой, корнями, листьями, травой и кустарником, с облаками над ним и грозами.

Автор создает мир идеальной гармонии, стоящей над жизнью и историей: «*Душа певца, согласно излитая, Разрешена от всех своих скорбей.*» Увы (или к счастью), это не так, нам не дано забыть о «пользе нашего горя»...

... Итак, Чтения о русской поэзии – это Эпический роман, в числе его героев не только Поэзия, но и Поэты, читатели, Культура, частью которой поэзия является, Мир и История, частью которых является Культура, сама Жизнь с ее *бытием* и *инобытием*, и, наконец, человек – в его и повседневном и героическом существовании.

Этот роман, как и положено всякому роману, прежде всего задает множество вопросов, на многие из них он отвечает, те же вопросы, на которые он не отвечает, не остаются мертвым грузом в душе читателя, но прорастают и находят разрешение на других путях исследования и истории.

Казалось бы, поэзия самодостаточна в самой себе, будучи результатом вдохновения, даже «поручения», во всяком случае, результатом не только земной жизни, но и внимания к ней Неба, она глубже и полнее сама по себе разберется в себе – но мы погружаемся в мир исследования и понимаем и начинаем верить, что *непосредственное* себя не исчерпывает, его необходимо дополняет *опосредованное* – как и Священное Писание не закончено в самом себе, иначе не нужна была бы церковь, подвиги святых, духовная литература... но и все сие не закончено в себе, иначе бы уже наступил Конец света, а не продолжалась земная жизнь.

И хотя Великий инквизитор (у Достоевского) как будто бы и прав, говоря самому Христу, что *«Ты и права не имеешь что-либо убавить или прибавить к тому, что уже было Тобой сказано»*, но и история христианства и церкви показывает, что *«уже сказанное»* не остается недвижимым, но изменяется (как изменяется и содержание самой поэзии не только потому, что она растет и расширяется, но что и прежде сказанное меняется тоже – и это мы воочию видим, идя за автором в его исследовании).

Этот Роман-исследование, Роман-эпос – не только историческое повествование, но и диалог, и критика, и горячий спор – с авторами поэтических произведений, с их читателями, сторонниками и противниками, и с современными исследователями – с ними в наибольшей степени. И мы оказываемся, невольно для себя, живыми участниками и той, казалось бы, уже отшумевшей жизни, и академической истории, и все еще продолжающихся споров, которые ведет жизнь с тем, что ей противостоит.

Не только вещество поэзии, не только ее содержание и дух присутствуют в нашем чтении, но и Метафизика, те бесчисленные связи, которые у подлинной поэзии существуют со всем миром, и даже с тем, что над миром.

В чем цель человеческой жизни, ограничивается ли она спасением собственной души? А близкие, семья, родные, друзья, общество, культура, Россия, Бог? Нужна ли поэзия церкви и человеку церковному и в какой степени? Только ли в той, в какой она затрагивает те же проблемы, что и богословие? А, следовательно, лирическую поэзию православному человеку не стоит и читать, как думает профессор богословия Дунаев и как он утверждает в своем шеститомном исследовании русской литературы? И права «Розановская старушка», получающая благодать, затеплив свечечку перед иконой, которая выбросила светские книги своего внука из шкафа, чтобы они «шкаф не поганили»? Или отношение к жизни и культуре даже и церковного человека может быть шире, чем это сказано в Нагорной проповеди?

Следующая важная проблема, которой глубоко занимается автор, с которым мы познакомимся и подружимся на предстоящих страницах двухтомника – поэт и общество, поэт и народ, поэт и власть, «поэт и царь» – раскрывается исключительно полно и исчерпывающе прежде всего в рамках николаевской эпохи, на примере Пушкина и Николая Первого, но не только, в этой драме горячими игроками, а не статистами, были все тогда жившие литераторы, от Ломоносова и Державина до Герцена и Льва Толстого – но эта драма продолжается и сегодня, и пока мы не ответим на вопросы, вставшие перед поэтами в ту эпоху, мы и сами не найдем правильного направления нашего творчества.

Но читателю, не претендующему влиться в число подвижников культуры, еще важнее разглядеть ее маяки и ориентиры. Культура часто подобна дельте Волги, в бесчисленных протоках и притоках которой мы обречены проблуждать, не изловив не только золотой рыбки, но и даже мелкой плотвички. Истратить ли нам жизнь и нашу любовь на чтение тех двухсот тысяч современных пишущих (многие из которых пишут не плохо, по крайней мере, пишут о том, что нам близко и нас волнует), или идти в путешествие в давно безжизненные страны, где обитали экзотические существа вроде Ломоносова и Третьяковского, или еще более экзотические существа вроде Иоанна Лествичника и преподобного Игнатия, или уж совсем «неведомы зверушки» вроде Хемницера и графа Хвостова (о любопытном сетовании Дельвига в письме Пушкину, зачем Хвостов еще не умер, когда достойные умирают, вы тоже прочтете)!? Минувшая поэзия без этого романа не станет понятной и близкой, не станет современной! 67 лет я читаю и люблю Пушкина, теперь я люблю его еще больше и он мне еще ближе. Как ни удивительно, первой книгой, которую я прочитал, научившись самостоятельно читать в семь лет, стала толстая книга о Николае Полевом, издатель и литераторе, современнике Пушкина, его оппоненте (не столь одиозном, как Булгарин, который, впрочем, был другом Грибоедова, но все же...) – и я страдал и ревновал, читая у Н. И. о моем первом писателе, и переводил дух, когда злые отзывы сменялись умеренными – и сколько же оснований для страданий и ревности найдет читатель! Книга написана раскаленным словом, она дышит первыми днями творения, ее автор посещал и Шишковскую «Беседу» и Карамзинский «Арзамас», ему одинаковы близки и Киреевский и Баратынский, и потому история их дружбы и ссоры не умаляет этих великих друзей, как не умаляет Толстого горестное восклицание, зачем он не умер, не успев написать «Воскресения» и большей части своих девяти томов! Но и надо ли их было писать, и когда надо умирать поэту, почему умерли Пушкин и Лермонтов так рано (и рано ли?), и почему князь Вяземский жил так долго (сложный человек, запутанный, но такой близкий большинству, и поэт превосходный), и надо ли вообще писать, а не является ли грехом наше творчество и не внушена ли культура (и даже математика) бесами, как полагал Ориген, и надо ли любить и жить страстно, как Пушкин, или «*аки спать во гробе*», как учил апостол Павел – обо всем этом прочтете и узнаете! И еще о многом, а прежде всего – о душе Поэзии!!!

*(«и я здесь был, мед-пиво пил, и даже многое в рот попало...»)*

# КНИГА ПЕРВАЯ



## ***ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ***



**Н**ачиная разговор о русской поэзии, уместно будет вспомнить слова Тютчева:

*Кому ж они не близки, не присущи –  
Жуковский, Пушкин, Карамзин!..*

Представим на короткое время, что слова эти и к нам, собравшимся сегодня на очередном заседании Русского Философского Общества<sup>1</sup>, относятся. И вот что тогда произойдет: Жуковский, Пушкин, сам Тютчев – это ведь не только имена, тексты, «культурные ценности» – это реально существующие духовные личности, и если они нам действительно присущи, значит, мы в них объединены, просто имеем с ними и друг с другом общую часть.

Умный человек, Фамусов заметил однажды, что «*на всех московских есть особый отпечаток*» – общий отпечаток, свойственный нам как русским, как людям одной культуры, образовался не без воздействия классической русской поэзии.

А о том, что есть поэзия и каков механизм ее воздействия на человека, на общество, – об этом имелись ясные представления лет двести назад, в пору младенчества наук. Баратынский писал, суммируя незрелые теории своего времени:

*Болящий дух врачует песнопенье.  
Гармонии таинственная власть  
Тяжелое искупит заблужденье  
И укротит бунтующую страсть.  
Душа певца, согласно излитая,  
Разрешена от всех своих скорбей;  
И чистоту поэзия святая  
И мир отдаст причастнице своей.*

В наши дни эстетика как наука продвинулась вперед, продвинулась настолько, что сколько-нибудь серьезный, ответственный разговор о поэзии стал невозможен.

Представьте себе некую шахту, в которую люди спустились однажды за новым знанием – и разбрелись, потеряли друг друга. Но в остальном все идет по плану. Искомое новое знание добывается днем и ночью, шахта разрастается, во всех ее штольнях и ответвлениях трудятся замечательные специалисты – вот только докричаться один до другого давно уже не могут. Объединить их может только обвал и общая могила.

Человечество в целом знает сегодня очень много; каждый отдельный человек не знает уже почти ничего, владеет какой-нибудь узкой специальностью, а в остальном – живет старыми запасами, живет инерцией,

---

<sup>1</sup> Русское Философское Общество им. Н. Н. Страхова существует с 1991 года. Его участники до 2004 года печатались в журнале «Русское самосознание», а с 2005 по 2013 год – в журнале «Философская Культура».



накопленной благочестивыми предками, милыми невеждами. Запасы эти не бесконечны, пополнения их не предвидится; в сознании современного человека начинают зиять зловещие бреши.

А раз уж всесторонний, подлинно научный разговор о поэзии стал невозможен, остается нам с вами несколько опроститься и «старыми словесы» потолковать о русской поэзии как о части целого, как о части русской православной культуры.

(Существенная оговорка: предметом нашего разговора будет являться только «книжная», профессиональная поэзия. Стихия устного народного творчества остается, как ни жаль, за рамками настоящих чтений.)

У пророка Исайи (в 3-ей главе) мы находим перечень лиц, являющихся «посохом и тростью Иерусалима и Иуды», – собственно говоря, здесь перечисляются люди, без которых не может устоять Православное Царство.

Кто же входит в этот перечень?

«Храбрый вождь и воин, судья и пророк, и прозорливец, и старец, пятидесятник, и вельможа, и советник, и мудрый художник, и искусный в слове».

Итак, вопреки бытующему мнению о бесполезности искусства, о принадлежности его к «предметам роскоши» (мнения такого рода неоднократно высказывались гуманистами типа Ивана Карамазова), мы видим, что художник, поэт, ученый – необходимая принадлежность мирового порядка. Вот первый важный вывод<sup>2</sup>, который мы должны сделать.

Второй вывод, не менее важный, состоит в том, что художнику и словеснику в иерархии должностей и званий идеального Царства принадлежат места со скромными порядковыми номерами 10 и 11. Звание поэта отделено от более важных званий судьи, пророка, народного вождя.

Представим на минуту, что декабристам удалось осуществить свой замысел – царская семья погублена, и вот уже народ, переколотив своих самозванных освободителей, приступает к избранию нового царя. И жребий вдруг указывает на Пушкина... В этом маловероятном случае Пушкину пришлось бы оставить литературу, поскольку ответственность царского звания на десять ступеней выше. А если бы тому же Пушкину на углу Конюшенного переулка и набережной реки Мойки явился Божий посланец – серафим ли, как то было у Исайи, или низшего чина ангел – и повелел ему явиться к Николаю I и, скажем, ввиду готовящегося польского восстания и надвинувшейся холеры призвать русский народ к покаянию, посту и молитве – то, разумеется, Пушкин, не медля ни минуты, отправился бы в Зимний дворец. Оттуда он мог попасть в сумасшедший дом, мог (в случае успеха своей миссии) уйти в монастырь – с литературой в любом случае было бы покончено.

В наши дни, во многом благодаря зловещим успехам так называемой «русской религиозной философии» (я имею в виду успех, которым пользуется

---

<sup>2</sup> Выражение «искусный в слове» допускает разные толкования. Остановимся на том, что словесность в Древнем мире вообще трехчастна: это ораторское искусство, научные сочинения и поэзия (все три ее рода – эпический, драматический и лирический).

у молодого читателя религиозная публицистика Мережковского и Бердяева), распространились довольно странные представления о христианском вероучении; особенно не повезло притче о талантах, которую все пустили толковать вкривь и вкось. Поэтому стоит, может быть, напомнить простую истину: единственная цель христианской жизни – спасение души, личное спасение. Высота призвания увеличивает степень ответственности и затрудняет дело спасения. Церковному человеку абсолютно чуждо стремление прославиться, выдвинуться, «сделать себя»; он принимает свое звание как крест – любое, какое бы ни досталось, – и тащит его, знаете, тащит... Пушкин поэтом просто родился (как мог бы родиться горбуном, царским сыном – кем угодно), а жизнь прожил довольно обычную христианскую: труды, падения, семейные скорби, покаяние перед концом. Но сколько же прирожденных конюхов, лудильщиков, рыночных зазывал соблазнилось этой посмертной славой, прелестью стихов, обаянием имени – и «вошло в литературу»! Брюсов, скажем, не имел и тени поэтического таланта, но всю свою волю, всю энергию, которую Бог дал ему для устройства какой-нибудь образцовой фабрики, вложил в литературное «дело» и утвердил-таки свое имя в истории русской поэзии. Другие рвались к стихам от дел государственных, от высших придворных должностей (К. Р., граф А. К. Толстой). Но об этом весь разговор впереди.

А пока что нам понадобится еще одна отправная точка, третья по счету, для того чтобы начать наш разговор о русской поэзии. Поищем ее в Церковном Предании.

Киево-Печерский патерик, слово 25-е. «О Никите-затворнике, который потом был епископом Новгорода».

Не все, может быть, помнят эту примечательную историю, я ее вкратце перескажу. Никита, молодой инок Киево-Печерской обители, самовольно, вопреки совету духовного отца, ушел в затвор. Там он начал читать книги под руководством явившегося ему ангела и вскоре обнаружил выдающиеся дарования. Известность Никиты началась с того, что он послал человека к Изяславу Ярославичу, бывшему тогда великим князем, и велел передать ему следующее: «Днесь убиен бысть Глеб Святославич в Заволочии, скоро послы сына своего Святополка на стол Новуграду». То есть вы понимаете: где-то очень далеко, на Двине, убит племянник Изяслава – убит только что, сию минуту, – и Изяслав должен скорее послать сына на освободившийся новгородский престол, пока другие Святославичи (Гориславичи «Слова о полку Игореве») не опередили.

Когда сообщение Никиты подтвердилось (а оно подтвердилось), народ повалил к нему толпами. Никита говорил с проходящими о душеполезных предметах, толковал тексты Ветхого Завета, зная весь Ветхий Завет наизусть, немного прорицательствовал – словом, сделался чем-то вроде учителя народного.

Братия монастыря догадались о том, что Никита обольщен, по одной его особенности: он избегал книг Нового Завета и не любил даже, когда другие упоминали о них.

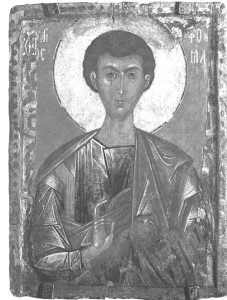
Братия собрались во главе с настоятелем (тогда это был великий Никон, преемник Феодосия), пришли к затвору, помолились за Никиту (причем ангел немедленно испарился) и вывели его на чистый воздух. И стали осторожно спрашивать: «Брат, а что там – в Ветхом Завете? Мирянам рассказываешь, так, может, и для нас что-нибудь выберешь оттуда душеполезное?» Никита только хлопает глазами. «Ветхий Завет? – говорит. – Этого я никогда не читал».

Выяснилось, что не только вся мудрость Никиты, приобретенная под руководством «ангела», стерлась в его памяти, но и что Никита за время своего обольщения вообще разучился читать и писать. Братии монастыря пришлось заново обучать его грамоте.

С этого часа Никита вернулся к монастырской дисциплине, оставил мечты о славе, о просвещении народных масс, ангелы ему больше не являлись, и Никита стал сначала исправным иноком, потом – епископом в Новгороде. Достиг святости. В XVI веке канонизирован.

Вот такая не вполне обычная духовная биография.

Мы можем, ознакомившись с ней, снисходительно покачать головой и потолковать об «упадке средневекового мирозерцания», можем, напротив, умилиться и вспомнить слова Пушкина о Киево-Печерском патерике: «Прелесть простоты и вымысла»; мы ведь не обязаны знать о том, что в аскетике слово *прелесть* и означает духовное помрачение, прельщение монаха бесом, принявшим вид «ангела светла», – это нам не нужно, это нужно знать подвижникам, тем, кто ведет духовную брань, – но нам, начиная разговор о русской поэзии, полезно вспомнить о том, что Православная Церковь не признает «духовности по модулю» и свято хранит завет апостола и евангелиста Иоанна: *«Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть: яко мнози лжепророцы изыдоша в мир»*.



«Апостол Фома», новгородская икона XV в.

Если что-то нас воодушевило, растрогало, умилило, если мы чувствуем что-то такое волнующе-огромное, тревожаще-пронзительное и неизъяснимо прекрасное, не будем торопиться приписывать свое состояние дуновенью Божественной благодати. Возможно, мы переживаем самую скверную минуту жизни, как обнаружится потом, по ее последствиям. Черт – существо духовное. И Церковь призывает нас к духовной трезвости, учит не доверяться безоглядно своим ощущениям.

Итак, прежде чем попытаться взглянуть на русскую поэзию как на часть русской православной культуры, мы поискали в Писании и в Церковном Предании основания для такого взгляда, точки опоры, и вот что мы обнаружили (повторим вкратце):

- художник, литератор являются необходимой принадлежностью мирового порядка, без поэта и царство не устоит;
- поэт не пророк, не судья, не народный вождь; звание его ниже, полученное им поручение – скромнее;

– наконец, не все духовное хорошо, кстати сказать – и не все телесное плохо: Церковь освящает брак христианина, его дом, орудия труда, еду и питье. Задумаемся на секунду над такими привычными словосочетаниями, как «святая вода» (материальное) и «черная месса» (духовное).

Мы расстались со святителем Никитой, епископом Великого Новгорода, в самом начале XII века. 1108 год – время его кончины.

К этому году было уже написано «Сказание о Борисе и Глебе», а «Слово о законе и благодати», послания Феодосия Печерского («О неделе», «О вере латинской») успели сделаться стариной – бережно сохраняемой, изучаемой, чтимой. В 1108 году Владимиру Мономаху пятьдесят пять лет, только через пять лет станет он наконец великим князем и тогда уже составит свое «Поучение». А Нестор приступит к переработке Начального свода в «Повесть временных лет».

Уже вернулся из Святой земли игумен Даниил; не прошло и трех лет с того дня, когда он стоял в Великую субботу в Церкви Святого Воскресения в Иерусалиме, только что отвоеванной крестоносцами у агарян. Помните? Вот он стоит рядом с Балдуином I, королем крестоносцев (рядом – потому что король «есть муж благодетен и смирен велми» и «мне худому близь себе поити повеле»), великая церковь наполнена, и «вне церкви людие мнози зело», все в страхе и трепете ожидают сошествия Благодатного огня, и «глаголет в собе всяк человек: “Еда моих дья грехов не снидет свет святыи?”» – И наш игумен смотрит на короля и вдруг видит, как «ручьи чудесно текут из очей его»...

В 1108 году мы обнаруживаем в Киевской Руси цветущую, разнообразную, мощную литературу.

Русская литература – одна из древнейших в Европе. Французская, английская, немецкая литературы младше нашей. Но есть и более древние литературы (болгарская, скажем), ценность которых определяется их древностью и ею же исчерпывается. У нас в России высокая литературная традиция, однажды возникнув, уже не прерывалась, не ослабевала даже, и эпоха Петра I остается до настоящего времени единственной нелитературной эпохой в русской истории («самой нелитературной эпохой», точнее сказать, – какие-то книги издавались и при Петре).

Страшное монгольское нашествие – и то было пережито литературой сравнительно благополучно. «Повесть о разорении Рязани Батыем», выдающаяся по своим художественным достоинствам, могла еще быть следствием инерции, последним вздохом гибнущей культуры, но уже «Слова» Серапиона Владимирского – это именно осмысление нового опыта, опыта катастрофического, и его выражение в прекрасной литературной форме.

«И в наша лета чего не видехом зла? многи беды и скорби, рати, голод, от поганых насилье. Но никако же прेमнемся от злых обычай наших; ныне же гнев Божий видящи и заповедаете: хто буде удавленника или утопленика погрел, не погубите людии сих, выгребите. О, безумье злое! О, маловерье! Полни есмь зла исполнени, о том не каемся. Потоп бысть при Нои не про удавленнаго, ни про утопленика, но за людския неправды...»

Не самый важный отрывок, может быть (из 5-го «Слова»), но мне хотелось, чтобы вы услышали интонацию – тут живая речь, необычайно яркая, – а ведь этим словам святителя, прозвучавшим когда-то с кафедры Успенского собора, в настоящее время более семисот лет.

И что же? Вся древнерусская литература – мощная, разнообразная, утонченная – была до XVII века полностью нестихотворной.

Но сначала, наверное, необходимо поговорить о поэзии вообще – что это такое? В главном, конечно же, поэзия неопределима. Лучшее определение, которое я могу дать, и самое короткое: поэзия – то, что нельзя пересказать другими словами. В этом смысле «Слово о полку Игореве» – поэзия, и высочайшая. Но в этом смысле и многие страницы Гоголя, Достоевского – поэзия.

Поэзии не бывает без вдохновения, а вдохновение – это то, что вдыхается в человека извне, то, что приходит не спросясь и уходит, когда не ждешь.

Вспомним Грибоедова. План и лучшие сцены комедии явились ему во сне, и вся остальная жизнь Грибоедова, огромный ум, блестящее образование, честолюбие, побуждавшее к творчеству, мало что добавили к тому сну. Или Полонского, в двадцать лет шутя создававшего шедевры, потом же – только слабевшего... Сергея Тимофеевича Аксакова вдохновение посетило в старости, пришлось вместе с болезнями, дряхлостью, угрозой слепоты.

Ахматову однажды спросили, не помогает ли ей писать стихи огромный опыт поэтической работы (ей было уже за пятьдесят), и Ахматова ответила довольно удачно: «Голый человек на голой земле. Каждый раз».

Древние греки хорошо понимали, что человеческими усилиями, человеческими заслугами поэзию не создашь, и объясняли вдохновение присутствием музы – богини! – или самого солнечного бога Аполлона, их непосредственным воздействием на поэта.

Но для практики, для безошибочного различения истинного поэта в толпе современных ему «певцов четырнадцатого класса», вот эти разговоры о вдохновении дают чрезвычайно мало. Если я стою над кособоким таким, доморощенным верлибром и говорю, растопырив руки: «Чую близость божества», – кто или что сможет меня переубедить? Ну, я так чувствую... Наука же ничего не знает о вдохновении, и, знакомясь с лучшими современными исследованиями, снова и снова обнаруживаешь досадный пробел: Л. Гинзбург, найдя индукцию у Пушкина, находит ее затем у Брюсова, структуралисты рассматривают рядом тексты Тютчева и Фёфанова – и фиксируют наличие однородных элементов... В этом ахиллесова пята формального метода – он не может установить иерархию смыслов, иерархию ценностей.

Сцилла и Харибда. С одной стороны, нам угрожает восторженный дилетантизм, с другой – самодовольный педантизм, узость. Чтобы пробиться к поэзии сквозь эти теснины, тоже надо быть в своем роде поэтом.

Но мы отвлеклись. Речь у нас шла о нестихотворности древнерусской литературы. Упомянули мы и о том, что неизвестный автор «Слова о полку Игореве» – истинный поэт, гений... Как совместить эти два утверждения?

Вспомним упрек пушкинского Сальери Моцарту: *«Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских...»* – а что дальше? Подражать чужому вдохновению – бесплодный путь, путь эпигона; но и сидеть, сложа руки, и ожидать, что твою голову вдруг озарит *«священный дар <...> бессмертный гений»*, тоже не очень рационально. В данном случае, Сальери напоминает нам о том, что поэзия – не только бог, но и человек, не только вдохновение, но и труд. То есть у поэзии есть сторона чисто человеческая, и версификация, ремесло стихотворца – это именно та синица, которую человек, всякий человек, способен удержать в руках. И получается, что без научного определения поэзии нам не обойтись, – мы его возьмем у Николая Федоровича Остолопова, чей «Словарь древней и новой поэзии» пользовался в свое время (в начале XIX века) некоторой известностью: «Поэзия – способность выражаться мерной речью, или стихами и созвучиями, или рифмами, в украшенных картинными, описаниями, а также другими вставочными местами сочинениях, коих обыкновенная речь не допускает».

Уже первый признак поэтической речи, указанный Остолоповым, – метр – это то, чему можно научить. И человек, научившийся выдерживать стихотворный размер, подбирать рифмы и проч., сможет писать русские стихи. (Будет ли это поэзия? Конечно, скорее всего, нет. Школа не создает поэтов из ничего; однако поэту, вот этому уроду, который, по слову И. Аксакова, «уже так и родится с неестественной наклоностью к рифмам, хорям и ямбам», полезно бывает в начале жизни пройти хорошую школу.)

Так вот, попытки обнаружить метрическую систему в «Слове о полку Игореве», в «Слове о погибели Русской земли», в других произведениях древнерусской литературы делались (и будут делаться), но наукой эти попытки пока не приняты. И остается принять к сведению, что до XVII века в России отсутствует национальная поэтическая традиция, отсутствует стихотворная школа.

В чем же дело? Неужели в том, что, как выразился один современный американский профессор во вступлении к своему ученому труду, посвященному истории философии, религии и науки в нашем отечестве, «СССР до 1917 года был отсталой, слабо развитой страной»?

Допустим на минуту (исключительно из уважения к молодой американской науке), что СССР в XI веке был отсталым государством, – объяснится ли из этого факта отсутствие там книжного стихотворства? Да никоим образом. Дело в том, что поэзия вообще «старше» прозы. При рождении словесного искусства требуется в первую очередь дистанцировать, как-то отделить юную словесность от обыденной речи – отсюда метр, насилие над языком. Проза – более поздняя и «сложная» форма словесности, поскольку внешне она более похожа на обыденную речь. На Руси книжное стихотворство возникает только в XVII веке, а высокоорганизованная художественная проза является на шесть столетий раньше – является сразу, готовая, как Минерва из головы Юпитера. (Мы можем предполагать, что роль «разделителя» выполнял тут церковно-славянский язык, на который эта проза опиралась, – язык хоть и близкий народному, но не сливающийся до конца с обыденной речью.)

Византия, от которой Древняя Русь восприняла свое просвещение, обладала развитой поэзией. Скажем больше: в X–XI, да и в XII веках Византия являлась единственной христианской страной, где существовала серьезная поэзия на народном языке. И византийских поэтов знали у нас и переводили – но переводили прозой.

Исследования зарубежных славистов (Р. Якобсон и др.) показали, что уже в XI в. техника церковно-славянской поэзии была не просто развитой – она была изощренной. Русский человек, посещая храм каждое воскресенье, зная назубок церковную службу, впитывал эту поэзию; и влияние ее, влияние литургической гимнографии обнаруживается в устном народном творчестве: в духовных стихах и в «стихах покаянных».

В самом устном народном творчестве издревле существовали жанры, организованные метрически (размер в них был неразрывно связан с напевом). И в том же «Слове о полку Игореве» исследователи обнаруживают следы влияния эпоса.

Невозможно усомниться в существовании на Руси говорного, бахарского стиха. Следы его влияния обнаруживаются в «Молении» Даниила Заточника.

Все предпосылки налицо – почему же нет книжного стихотворства?

Филологическая наука отвечает на этот вопрос уклончиво: «Да, загадка. А впрочем, стихов не было не только на Руси, но и в других государствах Восточной Европы, принявших просвещение от Византии, будь то государства славян, Румыния или Молдавия. В Чехии, например, стихов не было, пока она оставалась православной, а как только православная литургия в Чехии пала – стихи появились».

Вообще же, устное народное творчество, вот эта богатейшая праславянская языческая основа – она-то, очевидно, и удовлетворяла потребность в поэзии средневекового русского человека. Христианство в Древней Руси было вообще светлым, радостным; Церковь была достаточно мягкой, снисходительной – ну, она смотрела сквозь пальцы на то, что мирянин, когда приходил “потехи час”, обращался к своим сказителям, песенникам, скоморохам...»

Академик Лихачев так прямо и пишет: «До середины XVII в. стихи встречались лишь спорадически, так как потребность в любовной лирике удовлетворялась фольклором».

Положим, все это так и было, – но как оно было, как именно?

Первая запись русской народной песни произведена, как известно, в 1619 году, поэтому разговоры об устном народном творчестве XI-го, скажем, века останутся навсегда беспредметными. Мы знаем, что Феодосий однажды прекратил музыкальный вечер, происходивший в палатах у Святослава Ярославича, простым вопросом: «Вот так ли будет на том свете?» – эпизод этот описан Нестором в «Житии Феодосия»; но нам негде взять программу того вечера и некого расспросить о том, что за «гусельные и орьянныя гласы и замарьяныя пискы» звучали в палатах великого князя в 1067 году.

Однажды уже произошло чудо: раскрытие русской иконы, явление из-под слоя непроницаемой, черной олифы Дионисия, Андрея Рублева... Это открытие в корне изменило все существовавшие представления о

древнерусском искусстве, о самом характере, о достоинстве древнерусского человека. Действительность далеко превзошла дерзкие мечтания горстки квасных патриотов, осмеливавшихся в XIX веке признавать за русской стариной некоторое культурное значение, некоторую самоценность.

Произойдет ли когда-нибудь такое же чудо с русской песней, былинной, народной сказкой? Удастся ли расчистить их от позднейших наслоений, восстановить утраченные звенья? *«Блажен, кто верует. Тепло ему на свете»*. В свое время мы будем говорить о попытке Заболоцкого воссоздать русский героический эпос. Примечательно, что последний классик русской поэзии в последние годы жизни приблизился именно к этому рубежу.

Возвращаясь к формуле Лихачева (регулярного стихотворства не было, поскольку потребность в любовной лирике удовлетворялась на стороне), заметим, что в Древней Греции, которая стала колыбелью европейского искусства и науки, возникновение лирической поэзии не было связано с любовной потребностью. Предание гласит, что в VII веке до Р. Х. в Спарте начались гражданские раздоры, смута, тогда явился с Лесбоса кифаред Терпандр, призванный дельфийским оракулом, заиграл и запел – и понемногу в городе воцарились спокойствие и порядок. (Сохранился величественный зачин гимна к Зевсу, сложенный Терпандром и существующий на русском языке в переводе Вяч. Иванова: *«Зевс, ты всех дел верх...»* и т. д.)

В Древней Греции хоровая лирика обслуживала религиозные праздники, а без этих праздников, скреплявших аморфное население обручами надличностных идеалов, сплавливавших единицы в общность, полис просто не выжил бы в тогдашних условиях всеобщей войны и вражды. Потребность в поэзии была жизненной и коллективной.

Любовная лирика пришла позже и легла во многом на готовые формы. Сапфо и Алкей появляются только в третьем поколении греческих лириков, причем появляются на периферии и при жизни не могут соперничать в популярности с Серсихором.

Остается договорить то, что не захотел (или не осмелился) выговорить академик Лихачев: главную потребность древнерусского общества, потребность в общенациональном идеале, удовлетворяла Церковь, удовлетворяла православная литургия; некоторые второстепенные потребности – там, в любовной лирике или в сатирическом взгляде на семейную жизнь соседа – действительно удовлетворялись фольклором.

Для индивидуальной поэзии, таким образом, почти не оставалось места.

Впрочем, место могло бы и найтись. «Дурное дело – нехитрое», – гласит народная поговорка; и если бы, например, Нил Сорский сбросил монашеское одеяние и употребил весь свой литературный талант, всю свою эрудицию на составление русских стихов, прославляющих пенную брагу и свободную любовь, если бы Иван III одобрил эти опыты и приблизил певца ко Двору, – национальная поэтическая школа была бы создана раньше. Но в этом случае Россия вряд ли пережила бы Смутное время.

Лучшие люди нации были на высоте своего призвания. Свой Рабле, свой Франсуа Вийон так и не появились в средневековой России.



Мимоходом задумаемся: а точно ли высока эта страсть – «для звуков жизни не щадить»? И что есть поэт в человеческом общежитии? Обособление, аномалия, ходячее исключение из правил. Инструмент, посредством которого добывается редкий и ценный минерал: поэзия. Перефразируя Паскаля, скажем: «Хороший стихотворец – плохой человек». Специальность поэта заключается в добыче и обработке звуков, и он, увлекаемый честолюбием, захваченный азартом литературной борьбы с ее жесткой внутренней логикой, способен приносить в жертву специальности и собственную внутреннюю крепость, и мир душевный своих близких, и многое другое, без чего человеку трудно обойтись, а христианину просто не положено обходиться. (Так, золото – благородный металл, но драга, которую этот металл добывается, ничего благородного в себе не содержит, загрязняет воды, уродует землю и отравляет воздух.)

В христианской средневековой Европе мы находим только одну страну, в которой национальная поэтическая школа могла появиться безболезненно, в результате органического роста, – конечно, это Италия, где памятники античной эпохи встречались на каждом шагу, Вергилий и Овидий входили в обязательную школьную программу, да и народный язык был близок латинскому. Но и в Италии рождение национальной поэзии шло рука об руку с процессами секуляризации, омирщения (так называемое Возрождение), а для России стать первым поэтом в национальной традиции значило просто оторваться от предыдущей традиции, ногами оттолкнуться от матери-Церкви.

Заслуга создания русского поэтического языка принадлежит, как известно, Ломоносову. Рассмотрим цепь поступков, которые пришлось ему ради этого совершить:

- Ломоносов тайно уходит из дома и, нарушая прямой запрет отца, едет учиться в Москву – разрыв с семьей;
- при поступлении в Славено-греко-латинскую академию Ломоносов объявляет себя сыном священника, т. е. порывает уже и с природным своим сословием;
- по окончании академии отказывается принять сан – разрыв с духовным сословием;
- уезжает в Германию, прерывая тем самым церковное общение; женится на протестантке.

Для любого нормального русского человека – XV-го, скажем, века – это ряд катастроф, духовное самоубийство.

Но мы знаем и конец этой истории. Ломоносов возвращается на родину, восстанавливает отношения с семьей (усыновляет племянника), приобретает чины и звания на царской службе. А Церковь? Церковь считала и продолжает считать Ломоносова в числе своих верных чад: стихи его включались в двухлетнюю программу церковно-приходских школ, могила Ломоносова – в Александро-Невской лавре...

Поступки Ломоносова были следствием его личной инициативы, но сама она была лишь откликом на инициативу сверху. А эта последняя принадлежала Царю, помазаннику Божию.

В России XVIII века процесс секуляризации, омирщения шел сверху, и само омирщение было, таким образом, освящено.

Но мы чуть-чуть забежали вперед.

В XVII столетии в России вдруг появляется большое количество стихов: тут и рифмованная проза, и раешник, и силлабические вирши.

Настоящий наплыв стихов, наводнение – после многовековой засухи. Об одной из причин этого наплыва мы уже вскользь упомянули: к XVII веку относятся первые записи фольклора, и для нас просто «проявляется» тот фон, на котором с XI века создавались прославленные памятники нашей письменности.

Вторая причина – политическая и культурная экспансия западного мира. Тридентский собор закончился в 1563 году, на следующий год орден иезуитов был приведен в Польшу, а еще через пять лет – в Литву. Не так уж беспричинна была мания преследования, развившаяся у Ивана Грозного во второй половине жизни. *«А век тот был, когда венецианский яд, незримый как чума, прокрадывался всюду: в письмо, в причастие...»*

После Люблинской унии (1569 г.) множество русских православных, издавна проживавших в Литве и Польше, оказалось под прессом новообразованного могучего католического государства, назлектризованного энергиями контрреформации. Мы не будем здесь говорить о политическом давлении, которое оказывалось на православное население Западной Руси; для нас важно то, что уже в первые 10–12 лет после образования Речи Посполитой иезуиты сумели создать целую литературу – полемическую и агитационную – на русском языке. В этих краях, по выражению А. В. Карташева, «встал вопрос о спасении православия средствами своего просвещения – школы, науки, книжности».

Для противостояния сильному и безжалостному врагу необходимы мужество, жертвенность. Этого хватало. Оставалось позаботиться о главном: удостовериться в том, что правда не на стороне врага, ополчившегося против нас, что не с правдою мы враждуем.

Если иезуиты переводили, скажем, раннюю публицистику Георгия Схолария, византийского патриота, который (в надежде на военную помощь Запада против турок) выступал противником Марка Эфесского и защитником Флорентийской унии, – значит, следовало как можно скорее ввести в культурный обиход поздние, зрелые труды св. Георгия (Геннадия) Схолария, первого патриарха Константинополя после его падения, непримиримого противника латинян.

Центр православного просвещения создается в городе Остроге, сюда вызывает князь К. К. Острожский Ивана Федорова, здесь в 1581 году увидела свет знаменитая Острожская библия (первая печатная Библия православного мира) вместе с «Хронологией» Андрея Рымши.

В предисловии к читателю и в виршах на герб князей Острожских Герасим Смотрицкий использует неравносложный стих – в сущности, это народный стих, раешник, – но опирается при этом на церковно-славянский язык:

*И убывает луна Ветхаго Завета,  
Сияет бо солнце неприступнаго света,  
В нем же ходя не поткнется,  
Но паче спасется.*

Автор «Хронологии», напротив, выдерживает равное число слогов в каждом стихе (принцип изосиллабизма), но при этом пишет на языке народном:

*Жидове сухо прошли Чирвоное море,  
Кормил их Бог на пуци, не было им горе.*

Следуя спортивной логике современной науки, помешавшей на отыскивании приоритетов (неважно, кто сделал лучше; само это «лучше» тем более неважно – важно знать, кто был первым у дверей патентного бюро), можно назвать белоруса Андрея Рымшу основоположником регулярного стихотворства на Руси. Впрочем, первые стихотворцы Московского государства придерживались скорее линии Герасима Смотрицкого (чей сын Мелетий и составил, кстати сказать, ту «Граматику», которая стала «вратами учености» для юного Ломоносова), но они нащупывали эту линию самостоятельно – о каком-то заимствовании не может быть и речи. В жизни Московского царства второй половины XVI в., довольно замкнутой и самодостаточной, хватало своих забот, своих проблем – в том числе и эстетических (выступление Ивана Висковатого). Три-четыре просветительских кружка, возникших в Остроге, Львове, Вильно, ничего не изменили во внутреннем равновесии России. Просто на западной границе православного мира завязались авангардные бои.

Смутное время, шайки поляков, литовцев, шведов, русских изменников, опустошавших страну, перенесли борьбу в самое сердце русского государства.

Физическое присутствие поляков, вынужденное близкое знакомство с чуждой культурой явилось, по всей видимости, последним толчком, вызвавшим к жизни ту поэзию, которая в науке носит обобщающее название: **досиллабическая поэзия**. Впрочем, доказано фактически (Панченко), что эта поэзия генетически связана с рашным стихом, с устным народным творчеством.

Так кто же они, первые русские стихотворцы?

Князь Иван Хворостинин, потомок старинного рода ярославских князей, сын опричника, кравчий при дворе первого Лжедмитрия, а при Михаиле Романове – воевода в Мценске и Переяславле-Рязанском.

Тимофей Акундинов, последний из 19-ти самозванцев Смутного времени, казненный в Москве в 1653 году.

Иван Наседка – один из составителей и распространителей патриотических грамот 1611 года, богослов, ключарь московского Успенского собора, сосланный при Никоне в северный монастырь и из ссылки не вернувшийся.

Разные люди, как видим. Кто-то сочувствует интервентам, кто-то мужественно противостоит им. Кто-то, пользуясь обстановкой сумятицы и неразберихи, ищет личных выгод. Идет борьба, в жизни и в литературе; все так или иначе вовлечены в эту борьбу.

Князь Хворостинин – западник, о чем красноречиво свидетельствует первая его «вирша», дошедшая до нас: *«Московские люди сеют землю рожью, // А живут все ложью».*

Русский западник – существо вообще двоящееся: что-то в нем есть от Чаадаева или даже от Петра Великого, что-то – обязательно от Смердякова. Князь Иван любил повторять, что «на Москве людей нет, все люд глупой», а люди все в Литве. Узнав стороной, что «молиться не для чего и воскресения мертвых не будет», князь Иван не утаил это важное открытие от своей дворни, а так как глупые люди туго воспринимали новое, математически выверенное учение, то князь Иван просто запретил им посещать церковь. Тут правительство, наконец, вмешалось (1622 г.) и отправило его в ссылку.

В ссылке в душе Хворостинина возобладало чаадаевское начало: он покаялся и, возвратившись через год в Москву, написал ряд полемических сочинений в защиту Православия – сочинений, изящных по форме и в то же время обильно нашпигованных книжной мудростью:

*Ни Платон, ни Пифагор, ниже Аристотель –  
Не обретается из них духовный сказатель...*

*.....  
Не наши пастыри церковнии сопостаты,  
Иже прелезят, а не входят истинными враты.  
Не таков бысть Господь, иже наш Спаситель,  
И Андрей апостол, российский учитель.  
Не таковы римские учителя,  
Но всему миру великие мучители.*

*.....  
Мы же возлюбим Христу угождати  
И святое имя Его величати,  
И сохраним твердо гонимую веру,  
И отмещем мерзкую оферу.*

*.....  
Ибо Господь наш много за нас пострадал  
И нам терпения Свой образ предал.  
Таже святыи Андрей крестную смерть приял,  
В Патрех Ахайских за Христа пострадал,  
Благих всемирный ловец,  
Неложный пастырь Христовых овец.*

Нельзя не заметить, что в сочинениях своих, как и в жизни, князь Иван Хворостинин парит высоко над глупым московским людом. Правда, последний как раз и сохранил в невыносимо трудных условиях Смутного времени «гонимую веру» – и именно ту, в которую через десять лет удалось затащить на аркане князя Ивана. Но простая справедливость требует признать, что среди современников Ивана Хворостинина никто так красноречиво не писал в защиту Православия, как это удавалось ему.

Иван Наседка, например, в версификации совсем не блещет.

В тот год, в который Хворостинину пришлось отправиться в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь, Иван Наседка попал в Данию и прожил там

несколько месяцев. Царь Михаил Федорович решил посватать племянницу датского короля, и Наседка, ближайший сотрудник патриарха Филарета, вошел в состав русского посольства. Двухэтажный дворец датского короля поразил Ивана Наседку – точнее сказать, поразило его то обстоятельство, что дворцовая церковь здесь была устроена *под* пиршественным залом. В своем сочинении, довольно нескладном, которое называется «Изложение на люторы», Иван Наседка помешает описание этого возмутительного факта.

Мера в его стихах отсутствует, язык темен и неблагозвучен. Но если велеречивый князь Иван Хворостинин, как щитом, закрыт от нас своей ученостью и словесным мастерством, то в этом вот простодушно-доморощенном «изложении» то ли вопреки форме, то ли благодаря ей живые чувства автора и нравственная его физиономия запечатлелись и сохранились до наших дней:

*Дива убо есть велика та палата видети,  
Христианам же истинным зело ю достоин ненавидети.  
.....  
Горе убо устроил двоекровную палату,  
Долу же под нею двоемянную ропату,  
И по-люторски нарицают их две кирки,  
По-русски же видим их: отворены лютором во ад две дырки;  
Горе убо устроен в палате блуда и пианства стол,  
Долу же под ним приношения пасения их на Божий престол.*

Тимофей Акундинов в стихах своих жалуется довольно забавно:

*Почто, Москва, зло все забываешь, –*

т. е. принимая «злых» Романовых,

*А мне, природному своему, повинности не воздаваешь?*

Вообще же, этот изолгавшийся человек, пять раз на своем веку менявший веру, побывавший и католиком, и мусульманином, и протестантом, выдававший себя то за сына Василия Шуйского, то за его же внука, был незаурядным стихотворцем, о чем свидетельствует хотя бы такой отрывок:

*Мой верне милый читательнику,  
Не дивись настоящему враждебнику,  
Что он в наследии нашем господствует –  
Так ему мир, а не Бог дарствует,  
Который злых возвышает,  
А благих отнюдь уничижает.  
Смотри же не начала, но конца,  
Да будешь мудр до конца.  
Хто сначала скачет,  
Тот напоследок плачет.  
.....  
Здоров же, любимичи, буди,  
А своего государевича не забуди.*

Крупнейшим писателем этой переходной эпохи должен быть признан князь Семен Шаховской.

Образованный человек, замечательный историк Смутного времени, Шаховской прожил бурную и очень тяжелую жизнь: труды, болезни, раны, опалы... Шесть раз его ссылали в разные отдаленные места, даже и к смерти приговорили однажды, но, к счастью, не казнили.

С одной стороны, такова была общая судьба русских людей того времени, с другой – таков уж человек был князь Семен Иванович: простодушный, непрактичный, на редкость неудачливый. Одним словом, бесталанный. Так, например, крупные неприятности принесла ему четвертая женитьба (что запрещено церковными канонами). Но Шаховской не был легкомысленным человеком – просто имел несчастье потерять трех жен, не пробыв и пяти лет в общей сложности на положении супруга. (Неправдоподобная ситуация, никем, кроме В. В. Розанова, не предусмотренная.)

Неудачник в плане житейском, Шаховской оставил яркий след в истории литературы: именно из его «Летописной книги» мы черпаем свои представления о главных деятелях Смутного времени, а словесный портрет Ксении Годуновой, созданный пером Шаховского, может украсить любую, самую строгую антологию русской прозы: это наша классика.

В стихах Шаховскому принадлежит послание к князю Пожарскому, замечательное по многим достоинствам. Подкупает свобода, с которой автор – за 150 лет до Державина – говорит о себе, о своих житейских обстоятельствах. И как говорит! Размеренно, сочно, картинно.

У этих стихов, выпрашивающих денежное вспомоществование, тяжелая поступь.

Автор успевает сказать решительно обо всем:

*И о Божих к нам великих щедротах, и о долгом терпении,  
И о нашем к Нему жестокосердстве и всегдашнем неисправлении, –*

и о добрых делах князя Пожарского, и о правильной заточке его меча – но поглядите, как неназойливо и сильно:

*И хотим воспомянути твою к себе милость и реци о своей скорби и недостатце.  
Не можно бо великия ради нужды преминути сего вкратце.  
И еще без лености хошу потружатися чернилом и пером  
И убогою своею мыслию и недостаточным своим умом,  
Поне же мысль моя разгорается во мне, аки пламень в пещи,  
Нудит мя о всем твоим добродееиши доволне реци,  
Аше и без нас недостойных идет о тебе предобрая слава всюду,  
Яко всегда имеши на враги меч свой остр обоуду.*

Во время польской интервенции два князя служили рядом, рука об руку, и Шаховской вспоминает:

*Что же рцем, и что возглаголем, но воспомянем вышереченное слово.  
Было же врагов наших зияние на нас, аки рыкание львово...*

*Но Господь Бог совет их разорил  
И гордость их до конца низложил.*

Незаметно переходит к прежним благодарениям Пожарского:

*Прокормил еси нас с супругником нашим и с родными от нас сироты,  
И потом не вменил еси себе в тягость нашего же к тебе служения,  
И не видя от нас никоторого к себе рабского служения,  
Пожаловал нас...*

Но, к несчастью,

*И что было ваше жалованье, государей моих, то все изошло, –*

и Шаховской переходит к рассказу о современном своем положении:

*Сам государь, веси, напрасно стражу и погибаю,  
Помощника и заступника себе в таковой сущей беде не обретаю.  
Рад бы был, иже бы жив вишел во общую матерь землю,  
Понеже на всяк день смертное биение от спекуляторей приемлю.  
Но не мощно ми сего сотворити, что самому себя смерти предати  
И многогрешная душа своя и тело во ад низпослати.*

И наконец, прямо и бесхитростно излагает свою просьбу:

*Не хитро и не славно осудити и погубити мужа безответнаго.  
А не имею милующаго ни ущедряющаго отнюд никого,  
Мне же, яко всякому, злато и серебро милее бывает всего.*

Это кульминация послания, она наступает на пятой странице. Далее следуют еще шесть – мы их опустим.

Что же сказать в заключение о поэзии досиллабической? Мы убедились, что просмотренные нами образцы не являются каким-то ступком чистой поэзии – самоценности, самодостаточности в них не слишком много. Но в них чувствуется нерв народной жизни, время отражается в них – тяжелое время, так похожее на наше сегодняшнее, и человек переходной смутной эпохи выказывает, обнаруживает себя. Несмотря на варварскую, заимствованную у интервентов одежду, это поэзия. Хотя именно одежда делает ее поэзией формально. В общем, это переход, минута.

На Россию надвигается духовная ночь. Смутное время пережито, пережито с Божьей помощью, но проблема, вызвавшая крушение государства, интервенцию и Смуту, стоит по-прежнему остро. Впереди реформы, церковный раскол, «латинское пленение церкви», а в Женеве вот-вот уже родится женевец Лефорт.

Один североатлантический политик лет пять назад назвал Россию «темной страной» за то, что она не участвовала «в крестовых походах, Возрождении и Реформации». Отечественные либералы также любят говорить и писать о «культурной изоляции» Московской Руси XVI века, часто цитируют

Курбского, считавшего, что Иван IV «затворил царство Руское, аки во аде твердыни», все поминают земную печальную участь св. Максима Грека, охотно рассуждают про *сон*, в который погрузилась к концу века Церковь... Все это резонно, и только остается добавить, что русская история *«грустна, но не сказать чтоб уникальна»*: история Византии, история Иудейского царства выглядят ничуть не лучше, чем либеральные очки.

«Ни мануфактур образцовых, ни Реформации – один только обскурантизм». – «Разврат придворный! Лицемерие!» – «Исайю перепилили деревянной пилой, Максима Исповедника замучили...» – «Вот они, деспотиито восточные!»

Верно, злой царь Манассия погубил пророка Исайю – но этому нечестивцу, знаете ли, *было кого губить*. А в рыночной демократии, увы, пророки, святые, отцы Церкви так же точно не предусмотрены, как и злые цари, коварные свнухи, «волчьи соборы»... Приходится выбирать. «Темная» Россия выбрала своим идеалом – святость.

И «третий Рим» – это не социальная утопия, которую нам, русским, не удалось осуществить на практике и над которой поэтому следует посмеяться, а затем обратиться к опыту государств с более уравновешенной социальной политикой. Третий Рим – повседневная наша реальность, прошлое, настоящее и будущее народа нашего, тот воздух, которым мы все нечувствительно дышим.

(Три Рима новозаветной истории осуществляют последовательно то служение, которое в ветхозаветные времена было поручено Израилю. Можно поэтом говорить о Москве и как о «Новом Иерусалиме». Тем более, что в современной секуляризованной лексике «Рим» – всего лишь символ мощного государства, мировой державы, каковой Россия до недавнего времени была и, Бог даст, будет снова. Но разве привлекательны для нас сами по себе земное могущество и земная слава? Разве не сказал однажды и навсегда святой благоверный великий князь Александр Невский, участник крестовых походов со стороны России: «Не в силе Бог, а в правде»?)

Два события, подготовленные веками предшествующей русской истории и тысячелетиями истории всемирной, произошли в XVI веке. Грамота Вселенского патриарха утвердила царское достоинство московского великого князя, и автокефалия Русской Церкви была признана Церковью Вселенской.

А это значит – появилось третье православное царство (после Иудейского и Римской империи Константина Великого), появилось вновь государство, в котором некуда спешить, за пределами которого нечего искать, в котором достигнута возможная на земле полнота бытия. Россия всем своим громадным телом вступила в реальность Тысячелетнего царства.

Не надо думать, что в Православном царстве исчезают несправедливость, нищета, болезни – все это остается, но осмысляется по-другому и нередко принимается с благодарностью. Православное царство – это государство, в котором правильно славят Бога. Находясь на такой высоте, трудно интересоваться еще чем-либо всерьез.

Нельзя без грубой натяжки идеализировать историческое бытие России



XVI века. «Дух и буква истории совсем не тождественны, – замечает по этому поводу современный православный богослов. – Там, где преизобилует благодать, усиливается натиск греха на благодать». Так было в Иерусалиме, так было в Константинополе и Москве. Земная история трех Царств изобилует взлетами и падениями, она катастрофична, она почти неправдоподобна – короче говоря, она сращена с историей Священной.

Но к тому моменту, когда Россия выпала из исторического времени, на Западе оно закружилось с удвоенной быстротой. Ренессансный человек, голодный, злой и настырный, быстро распространялся по лицу земли, опустошал колоссальные территории в Центральной Америке и в Черной Африке, богател, оттачивал свои познания в военном деле. Промышленная революция, главное детище секуляризации, уже маячила на горизонте.

Что же происходило в этих условиях с реальностью Тысячелетнего царства? Бога славили правильно; скорби: немотивированную жестокость Ивана IV, прекращение династии, голод при Годунове, приход Самозванца, междоусобице – все это люди понимали как оперативное возмездие за свои же грехи и готовы были переносить. Но вот чего совершенно нельзя было вынести – это когда Баторий захватывает Полоцк и все приходские храмы, все монастыри передает иезуитам – в один день губит шестисотлетнее православие.

Флоровский пренебрежительно пишет о том, что церковный раскол у нас произошел вследствие отсутствия духовной перспективы («Пути русского богословия»); думается, это тот именно случай, когда молодой интеллигент, имея ясную перспективу для себя лично – преподавать патрологию в Парижском богословском институте, – «забывается от счастья» на долгое время и начинает смотреть свысока на духовную жизнь простецов – сапожников, угольщиков и прочих не-богословов.

Перспектив было несколько.

Одна из них – хранить Православие, но и обживать в новом мире, вести диалог с инославными, чему-то у них поучиться, что-то, если удастся, и им передать... Путь магнатов Западной Руси, который в XX веке нашел продолжение в горьком опыте двухмиллионной «первой волны» русской эмиграции. На этом пути многие сумели сохранить верность Православию, но так и не обжились в мире, чуждом и прямо враждебном Православию. Другие обжились и Православия не сохранили. Синтез не удался, кажется, никому.

Дети наших магнатов, соблазненные земной славой, принимали католичество (как принял его сын Константина Острожского), внуки – католиками рождались.

Второй путь – путь старообрядцев. Остаться с Христом; уйти в сруб, в землю зарыться, но не смешиваться с ополоумевшим миром, сохранить себя, сохранить образ Божий; а если все-таки придут цивилизаторы с ружьями и начнут извлекать из сруба «для экуменистических контактов» – что ж, дерево горит, можно его поджечь...

Какое согласие между Христом и Велиаром?

Третий путь, путь лучших людей реформы, путь Петра и Ломоносова,

означал готовность принять вызов западного мира, перенять вражеские хитрости, чем-то поступиться, в чем-то замараться, но в конце концов стать сильнее Запада и показать ему на деле, чья вера лучше.

Именно на этом пути и возникло русское книжное стихотворство, русская поэзия – от Тредиаковского до Заболоцкого.

Но мы сейчас подошли вплотную к силлабической русской поэзии, а это не та тема, которой можно увлечь слушателей или хотя бы увлечься самому. Поэтому буду краток.

Готовность принять вызов западного мира ознаменовалась в царствование Алексея Михайловича приглашением большого числа украинских священников, которые должны были завести у нас школьную науку не хуже, чем в Польше. Эти люди, номинально православные, но получившие образование или на Западе у иезуитов, или в православных школах и коллегиях Западной Руси, устроенных также по иезуитскому образцу, отличались высокой самооценкой; русская культура была для них каким-то «иксом», неизвестной величиной, вычислять которую они ни в коем случае не собирались; просветительский зуд был в них весьма велик – они-то и принесли в Россию силлабическую поэзию.

В русских условиях силлабическая поэзия – это проза, нарубленная на строчки и снабженная по концам строчек побрякушечками рифм.

В Польше, откуда эта поэтическая система проникла к нам, она имела значение как первая национальная стихотворная система, притом же все слова в польском языке имеют ударение на предпоследнем слоге (кроме, конечно, односложных), и не так уж трудно добиться приемлемого звучания, добиться мерности – просто подбирая равносложные слова. В Польше силлабическая система пришла из Франции, в языке которой все слова тоже имеют фиксированное (на последнем слоге) ударение.

Впрочем, ни в Польше, ни во Франции с этой системой не связаны какие-то выдающиеся поэтические достижения.

Стоит ли удивляться тому, что для украинских просветителей силлабическая поэзия стала символом света, альфой и омегой учености и что учебники грамматики и арифметики, философии и медицины, вообще вся учебная программа новой школы была ими переложена в силлабические вирши?

Суффиксально-флексивные сочетания, кочующие из одного слова в другое, признавались в ту пору полноценными рифмами, безусловно допускались и рифмы тавтологические – поэтому работа рифмоплета была чисто механической: знай отсчитывай слоги (можно на пальцах) да не ленись выуживать из океана слов любую пару, способную совокупиться на общем суффиксе: царствоваше – бяше, сказаше – бяше, бяше – искушаше, желаше – бяше, совершил есть – убажен был есть, монах – иеромонах, бяше – скончаше, бяше – содержаше... А если силлабические стихи, в силу своей чуждости основным законам русского языка, воспринимались труднее, чем проза, труднее даже заучивались, – что ж, тем хуже для учащихся. «Корень учения горек...»

Мы с вами вспоминали уже «Граматику» Мелетия Смотрицкого (1619 год); одна из статей этой книги носит название «О просодии стихотворной» – это серьезная попытка создать метрическую систему, пригодную для восточных славян. Но и Смотрицкому пришлось взять за образец латинский учебник, составленный иезуитом Альваром; к тому же теория стихосложения, созданная Смотрицким, оказалась головоломно-сложной, искусственной – до применения ее на практике дело так и не дошло. Многочисленные переводы польских руководств по версификации заполонили в царствование Алексея Михайловича книжный рынок, силлабическая теория победила практически без борьбы.

Знаменитейший поэт этой эпохи – Симеон Полоцкий. Белорус, выученик Киево-Могилянской академии. Ловкий царедворец, воспитатель детей Алексея Михайловича: царевича Алексея, впоследствии и царевича Федора.

Первый профессиональный писатель в России, творивший за гонорар. Драматург. Чистый западник, для которого «неученая» русская культура как бы и не существовала – настолько он презирал ее.

И вот в русской литературе – где бережно сохранялось, где существовало уже вторую сотню лет завещание Нила Сорского («Молю вас, повергните тело мое в пустыни сей, да изъедят е зверие и птица, понеже согрешило есть ко Богу и недостойно есть погребения». И дальше: «Мне потщание, елико по силе моей, что бых не сподоблен чести и славы века сего некоторые, яко же в житии сем, тако и по смерти»), – в этой литературе царствует отныне широколицый такой просветитель, который знает себе цену, имеет гигиеническую привычку исписывать «по полу тетради» в день, «зело мелко и уписисто», и за жемчужины поэзии и мудрости, типа:

*Земли три части мокнут под водами,  
четверта токмо суха под ногами,  
всех есть ходящих и разум имущих,  
и зверей сущих, –*

или:

*Хотя чистоту свою сохранить,  
должен есть с полом противным не жити.  
Сожитие бо похоть возбуждает,  
девства лишает, –*

или еще:

*Что либо по аеру пернато летает,  
того стомах лакомо во пищу желает, –*

за все это прилежно взимает гонорары, имеет своих лошадей, кареты, прислугу. «Трудящийся достоин пропитания...» Имеет, главное, высокую самооценку, превосходное самочувствие – плохой знак для человека духовной жизни.

Бог с ней, с силлабической поэзией. Конечно, со временем появились в ней и более зрелые мастера – Феофан Прокопович, в первую очередь. Стефан Яворский оставил яркий след в поэзии новолатинской («Элегия к библиотеке»), но писал и польские, и русские стихи – и в последних предстает весьма незаурядным, тонким стихотворцем:

*Се второй Ирод, исполнь смертна яда, –  
Мазепа лютый убил мои чада.  
Уподобися Россия Давиду,  
Иже от сына терпяше обиду.*

Но если в поэзии досиллабической главные жанры (дружеское послание, полемика по насущным и неотложным богословским вопросам) напрямую связаны с жизнью и сами стихи обслуживают жизнь, то силлабическая поэзия – это все-таки декорация, маскировочный чехол, фиговый листок, прикрывающий русскую неученость, «русский стыд». Это или поучение какому-то предполагаемому слабоумному читателю, или стихи на случай. Случаи-то бывают разные: смерть в царской семье, крестины, измена Мазепы, Полтавская виктория, прусская катастрофа – но все они одинаково хороши как *повод*. Повод взойти на кафедру и блеснуть ученостью, к месту упомянуть о Фазтоне, о Трое, о Давиде и Авессаломе...

Школьная поэзия, искусственная.

Какое-то действительно «нашествие иноплеменных», какие-то марсиане из романа Уэллса, ничем не связанные с народной жизнью, историей, судьбой – просветители, одним словом. Именно с них начинается грустная история русского западничества, и уж как они хлопочут, как стараются, выражаясь современным языком, «быть на уровне мировой науки» – и как безнадежно промахиваются уже в выборе цели: держат равнение на западную схоластическую науку, пораженную Декартом насмерть. Бедные, бедные просветители... Теперь на ближайшие триста лет определился их удел: гнаться за вчерашним западным просвещением, все больше отчуждаясь от своего народа и ни на шаг не приближаясь к истинному, то есть завтрашнему, западному просвещению.

А тем временем в прозе расцветает бытовая повесть, творит протопоп Аввакум – в поэзии же все застывает этот ложный блеск, все заслоняют эти бумажные цветы. Приходится определять силлабическую поэзию как псевдоморфозу русской литературы.

Интересный факт: старообрядцы, отступившие под натиском просвещения в скиты, в глухие леса, дали на исходе петровской эпохи высшие, может быть, образцы русской силлабики. В старообрядческом монастыре на реке Выге (это Олонецкая губерния) завелась при братьях Денисовых крупная книгописная мастерская, библиотека, свои школы – здесь был создан центр раскольничьего просвещения на русском Севере. А Андрей Денисов, из песни слова не выкинешь, тоже слушал в Киеве риторiku и

поэтику – может быть, и у самого Феофана Прокоповича. И вот в старообрядческой литературе, с ее темами конца света, наступления царства антихриста (тяжелые темы), появляются силлабические стихи.

Вот, например, изящное окончание «Рифм воспоминательных», посвященных памяти как раз старшего из братьев Денисовых, Андрея Денисова:

*Тем же молим Ти ся, Боже,  
Покой душу в райском ложе  
Сего верного Ти раба,  
Воина церковна храбра,  
Течения си скончаша  
И веру зело соблюдаша.  
Прочее, Царю Превечный, –  
Соблуди и в живот вечный.  
Правды венцом венчавая,  
Павлов глагол скончавая,  
Милость показуя над ним  
В безконечны веки. Аминь.*

Очевидно, что к концу петровской эпохи силлабическая поэзия уже не выглядела тем, чем она была на самом деле: плодом латинского влияния на Русскую Церковь и русскую культуру, – а выглядела остатком доброй московской допетровской старины. Иначе бы старообрядцы ее не приняли.

Во всяком случае, силлабическая поэзия воцарилась всюду, ее приняли все слои русского общества.

А ее нежизненность, абсурдность и предопределили, наверное, ту легкость, с которой российское дворянство сразу же и попало в рабство к чуждому языку – французскому, к духу его и формам. От силлабических виршей немудрено было и на край света сбежать, не то что в Париж.

Поэт, произведениями которого открывается любая антология русской поэзии, – князь Антиох Кантемир.

Константин Сергеевич Аксаков, чьи мнения всегда заслуживают внимания и уважения, отозвался о Кантемире достаточно резко: «Кантемир был острый человек – и больше ничего», – то есть фактически отказал ему в звании поэта. Но мы понимаем, что Константин Аксаков не был знаком с князем Антиохом Дмитриевичем лично (более ста лет их разделяют), и его отзыв об остроте Кантемира – это признание остроты кантемировских сатир.

Как стихотворец Кантемир целиком принадлежит переходной эпохе. В чем же его отличие от Симеона Полоцкого? Та же силлабика, то же просвещение. Разве что антиклерикализм прибавился.

Но когда Жуковский в ранней своей статье сравнивает Кантемира с Ювеналом – в этом почти не чувствуется натяжки. Это всерьез.

Кантемир прежде всего очень крупная человеческая личность. И хотя он

проблуждал всю жизнь в дебрях силлабической теории, эти заросли не могли скрыть целиком его фигуру: на поверхности оставалась голова.

«За музыкою только дело», – учит П. Верлен в переводе Б. Пастернака. Музыки в стихах Кантемира никакой нет, читать их трудно, но зато разбирать, изучать – наслаждение. Ведь не в одной только музыке дело! «Удивляешься и радуешься: рассчитывал на знакомство только с автором, а познакомился с человеком» – к творчеству Кантемира вполне приложимы эти замечательные слова Паскаля. «Автор» ведь принадлежит «литературе»; стремится ли он отвоевать в ней местечко для себя, для своего авторства, враждует ли с нею – в обоих этих случаях он ни о чем, кроме литературы, думать не может. А Кантемир менее всего озабочен чужими словами, чужими ритмами, чужим вдохновением – у него свои мысли, своя боль.



Антиох Дмитриевич  
Кантемир (1708-1744)

Кантемир в стихах очень умен и при этом – открыт, простодушен, до странности иногда откровенен. Редкое, чарующее сочетание! «Мой чистосердечный Кантемир» – так называл его Батюшков.

Язык кантемировских сатир близок к живой разговорной речи. В этом отношении Кантемир как бы продолжает начатое Наседкой, Шаховским и полностью игнорирует опыт Симеона Полоцкого. (Кстати сказать, предок Антиоха Кантемира стал молдавским господарем, свергнув с трона своего предшественника – отца Петра Могилы. Вследствие чего Петр Могила очутился в Киеве и основал там академию, в которой Симеон Полоцкий выучился писать стихи. Такая вот неожиданная тема, молдавская, зазвучала в истории русской поэзии.)

Но говорить об участии Кантемира в так называемом «литературном процессе», о влиянии его стихов на развитие русской поэзии не приходится: он писал в стол, и первое издание его сатир увидело свет в то время, когда уже весь ученый и литературный мир России признал открытия, сделанные Тредиаковским и Ломоносовым.

И успеха (тем более большого успеха, коммерческого) сочинения Кантемира никогда не имели.

Однако слова, сказанные им о своих стихах: «Умным понравится голой правды сила», – нередко находили себе подтверждение в прошлом, да и в настоящем иногда оправдываются.

Однако слова, сказанные им о своих стихах: «Умным понравится голой правды сила», – нередко находили себе подтверждение в прошлом, да и в настоящем иногда оправдываются.

Запомните сравнение Жуковского; внимательно прочтите хотя бы одну Пятую сатиру – я уверен, что вас это заденет всерьез.

А пока послушайте небольшой отрывок из Первой сатиры, написанной Кантемиром на двадцатом году жизни, который особенно уместно прозвучит здесь, на заседании Русского Философского Общества:

*Молчи, уме, не сучай, в незнатности сидя.  
Бесстрашно того жилья, хоть и тяжело мнится,  
Кто в тихом своем углу молчалив таится;  
Колн что дала ти знать мудрость всеблагая,  
Весели тайно себя, в себе рассуждая  
Пользу наук...*

Первые годы после смерти Петра I, вообще говоря, ужасны. Извержение вулкана закончилось, огонь потух, взгляд созерцает только следы разрушений. Пованивает гарью.

Литература в параличе. Русский язык, еще недавно столь мощный и гибкий у Аввакума, теперь представляет собой уродливое и жалкое зрелище: на треть это варваризмы, на треть – площадная и рыночная лексика, на треть – церковно-славянские слова, которые в подобной компании выглядят на редкость нелепо.

В это-то время в Париже обучавшийся там наукам юноша Трениаковский возвращается мыслями к оставленной на время России, тоскует по ней, смущается духом, берет перо, чернильницу, начинает:

*Начну на флейте стихи печальны,  
Зря на Россию чрез страны дальны:  
Ибо все днесь мне ее доброты  
Мыслить умом есть много охоты.*

Как сказал в нашем веке поэт Ходасевич:

*В тот день на холмы снеговые  
Камена русская взошла  
И дивный голос свой впервые  
Далеким сестрам подала.*

Ходасевич имел в виду снеговые холмы Фрейберга, на которые русская камена взошла в 1739 году, по случаю написания Ломоносовым оды на взятие Хотина, – мы можем утверждать, не рискуя грубо ошибиться, что первое ее явление было одиннадцатью годами раньше, что взошла она на парижские снеговые холмы и оттуда подала дивный голос латинским сестрам, сказав:

*Виват Россия! виват драгая!  
Виват надежда! виват благая!  
.....  
О благодетстве твоём высоком  
Кто бы не ведал в свете широком?  
.....  
Твои все люди суть православны  
И храбростию повсюду славны;  
Чада достойны таковой матери,  
Везде готовы за тебя стати.*

*Чем ты, Россия, неизобильна!  
Где ты, Россия, не была сильна?  
.....  
Сто мне языков надобно б было  
Прославить все то, что в тебе мило!*

Среди любителей русской поэзии репутация Третьяковского никогда не была высока, все знают «*Стоит древесна к стене примкнута...*», многие читали роман Лажечникова «Ледяной дом», в котором поэт наш изображен в самом непривлекательном виде. Крупицей подлинного поэтического таланта Третьяковский обладал, но действительно это был человек незнатный, попавший в то жестокое время в высший круг и не всегда умевший сохранить в нем свое достоинство. Приема такого, знаете, жеста – у него вообще не было. Парвеню, разночинец. К тому же еще и педант законченный.



*Третьяковский Василий  
Кириллович (1703 - 1769)*

Письма Третьяковского читать тяжело. То он упоен свыше меры успехом своей (то есть, конечно, тальмановской) «Езды в остров любви» и неизящно так пыжится, то унижается – и тоже сверх меры, тоже некартинно.

Впрочем, это все внешние какие-то особенности, внешние черты характера, которые могли бы огорчать жену Василия Кирилловича и до которых посторонним людям, в сущности, не должно быть дела. А личность Третьяковского как теоретика литературы, как ученого – личность выдающаяся, достойная вечной памяти и уважения.

1735 год – год издания его трактата «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» – одна из ключевых дат в истории нашей литературы.

Третьяковский почувствовал, что некоторые русские силлабические вирши не так плохи, как положено им быть, – и именно из-за того, что русские сочинители то и дело отступают неволью от польских правил, увлекаемые внутренней логикой родного языка.

И вот он совершает свой подвиг: провозглашает и обосновывает тонический принцип стихосложения, вводит понятие «стопы» (и предлагает мерить стих стопами, а не слогами), предлагает вполне удовлетворительные образцы новой поэзии.

В январе 1736 года Ломоносов на последние гроши покупает эту книгу и бережно, *ревниво* (по счастливому выражению А. Морозова) увозит ее с собой за границу.

Вот слова из трактата «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», достойные особенного внимания и сочувствия:



«Всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства, нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела».

(Лишний раз подтверждается мысль К. Аксакова: «Источник внутренней силы и жизни и, наконец, мысль всей страны пребывают в простом народе». Мы можем что-то совершить на поприще личной деятельности, личного сознания только тогда, когда между нами и народом нашим есть «непрерывная живая связь и взаимное понимание»).

Но гением Тредиаковский не был. Предмет, на котором он споткнулся, это тот именно предмет, о который всегда претываются обыкновенные люди. Этот предмет – мода.

В моде был одиннадцатисложный стих, и, естественно, Василий Кириллович рассчитал свою систему под одиннадцатисложник. И вышло, что, делая ударение на последнем слоге перед цезурой (на седьмом), правильного чередования стоп можно добиться, только применяя хорей. И, стало быть, русское стихосложение должно быть обязательно двухстопным и почти исключительно хорическим.

Двигаясь в обратном направлении, получим: русское стихосложение должно быть хорическим для того, чтобы получался одиннадцатисложник. А для чего обязательно одиннадцатисложник? Такие вопросы человеку обыкновенному в голову не приходят.

По сути дела, Тредиаковский, как некий трудолюбивый крот, прорыл совершенно непроницаемую плотину – первым, от начала и до конца – и почил на лаврах, оставив вполне бессмысленную перегородку, которую богатырь Ломоносов вышиб шутя, одним ударом ноги.

И поэзия хлынула.

«Письмо о правилах российского стихотворства», написанное Ломоносовым в том же тридцать девятом году, что и ода на взятие Хотина, воспринимается сегодня как бескровная, полная, окончательная победа молодого гения над педантом.

Ломоносов беспощаден к польскому, киево-могилянскому наследству; силлабика осточертела ему еще в академии, и он, указав на нищету польской версификации, которая, в силу коренных особенностей языка, может опираться на женскую только рифму, спрашивает: а зачем нам-то «самовольно нищету терпеть и только одними женскими побрякивать, а мужских бодрость и силу, тригласных устремление и высоту оставить?»

В противовес хорею Ломоносов выдвигает ямб. И в увлечении приписывает этой стопе – самой по себе – благородство, высоту, величие; за хореем же навеки закрепляются нежность, сладость – хорей признается годным только для элегии.

В 1743 году происходит любопытное состязание поэтов: Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков издают отдельной книжечкой свои переводы 143-го псалма, без подписей, – читателю предоставлялась возможность, не зная имени мастера, оценить само мастерство.

В предисловии Третьяковский пишет, ставя последнюю точку в споре: «Никоторая из стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности, но что все сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в свое сочинение».

Трудолюбивый крот возвратился ко входу, пробитому счастливым соперником, отделал его, украсил, прибрал мусор – «сдал под ключ».

Значение Ломоносова огромно в истории нашей литературы. Его итоговая филологическая работа «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», содержащая теорию трех стилей, и является ответом на давний, до сих пор многих мучающий вопрос: кто же все-таки создал русский литературный язык – Карамзин с Жуковским или Пушкин? Создал его, конечно же, Ломоносов. Мы помним, каково было состояние литературного языка в конце петровской эпохи, – именно Ломоносов расчистил эти конюшни. Остальные уже занимались благоустройством.

Но сегодня мы с вами говорим о поэзии.

В чем же тут исключительная заслуга Ломоносова?



Аксаков, опять Константин Аксаков, пишет: «Немного таких стихов, в которых каждое слово требует внимания и подает отдельно свой голос». Такое слово «не только извне, по смыслу своему становится в стих, но и как слово прекрасно в нем является».

Это именно то, что в эстетике классицизма называется изящным языком. Создание изящного языка, языка русской классической поэзии, и есть заслуга Ломоносова.

Вспомните библейскую его оду:

*Кто море удержал брегами  
И бездне положил предел,  
И ей свирепыми волнами  
Стремиться дал не велел, –*

между этими стихами и ямбами «Онегина», «Полтавы», «Медного всадника» нет принципиальной разницы, они написаны на одном языке.

Константин Аксаков заканчивает: «Язык, становясь изящным, утверждает свои формы; они не распадаются, не уносятся потоком жизни, они повторяются».

Не Бог вещь что с точки зрения вечности, но для Земли – довольно много. На эту тему Ахматова изящно рефлексировала:

*Всего прочнее на земле – печаль  
И долговечней – царственное слово.*

Становясь изящным, язык делает долговечными состояния души, в которых находился во время работы писатель, этим языком владеющий. Мельчайшие оттенки мысли и чувства, иногда даже физические ощущения – все это может быть закреплено на бумаге в счастливую минуту. И через сотни лет тонко чувствующий читатель сможет входить в те же мысли и чувства, переживать те же ощущения.

Не следует только думать, что внутренний мир русских людей, живших до Ломоносова, был беднее нашего с вами внутреннего мира. В разные века нашей истории творческий гений нации проявлял себя по-разному. Древняя Русь не знала Пушкина и Тютчева, но ведь и мы, зная Дионисия, можем только восхищаться чистой, изысканной гармонией его живописи – повторить за Дионисием мы не можем.

Вообще, плох ли, хорош ли внутренний мир русского человека XIX века – это тема отдельная. Но он сохраняется, он закреплён особым образом в памятниках классической русской поэзии, язык которой создан Ломоносовым, и будет сохраняться еще долго.

А был ли поэтом сам Ломоносов?

Разумеется, нет. Ломоносов больше, чем поэт. Или, может быть, меньше – поэзия не была главным делом в его жизни. Великолепно презрение, с которым он говорит о Сумарокове – об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмачестве, не думает!

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Сердце Ломоносова принадлежало и принадлежит России, не поэзии.

В заключение сегодняшнего чтения скажем о Сумарокове несколько слов.

Сегодня у всех Мандельштам на уме и на языке, так что, вспоминая Сумарокова, вспоминают:

*...жалкий Сумароков  
пролетел заученную роль, –*

хотя абсолютно ничего жалкого в Сумарокове нет. Это был сильный боец в жизни и в литературе.

Человек хорошей фамилии, получивший хорошее образование, принятый как равный в лучшем обществе, «законодатель мод, специалист бесед», директор Императорского театра, да просто – счастливый человек, вовремя родившийся: год смерти Людовика XIV стал годом его рождения, Сумароков и век Просвещения – ровесники.



*Александр Петрович  
Сумароков (1717-1777)*

На его глазах менялся мир. Вольтер выступил со своей проповедью, и его сочинения распространялись по Великой Русской равнине, не встречая препятствий в естественном ландшафте. В атмосфере интеллектуального брожения и суматохи самолюбивый, пылкий, раздражительный Сумароков сумел очень долго продержаться на первых ролях:

*Он был Вольтеру друг, честь Росския страны...*

(В. Майков)

Ломоносов был великий человек, Третьяковский – ученый человек и великий труженик. Сумароков, враждовавший с ними обоими, был человек блестящий – остроумный, ярко талантливый – и, бесспорно, первый писатель своего времени. Ученость Ломоносова и Третьяковского поднимала их высоко над общим кругом поверхностно образованных дворян: человек общества мог при желании многому у них научиться, мог и презирать их за неотесанность, высмеивать их «надутость» и педантизм – он только не мог с ними запросто *беседовать*. А Сумароков сам был человек общества, и его творчество «следило за модой», чутко отзывалось на малейшие изменения понятий, настроений, вкусов, находило для них, а нередко и заново создавало эквиваленты в литературном языке. Именно этим объясняются известные слова Пушкина: «Сумароков лучше знал русский язык нежели Ломоносов».

В настоящее время о Сумарокове можно говорить все, что угодно («жалкий Сумароков пролепетал»), но задевать его при жизни было опасно. Живой Сумароков резался, как бритва.

Приведу характерный образчик сумароковской колкости. Академия наук (чьи интересы защищал в том деле Ломоносов) предъявила ему однажды денежный счет. Сумароков вынужден был вступить в переписку с Государственной Штатс-Канцелярией. И вот какой забавной выходкой по адресу Ломоносова заканчивается его официальное «доношение»:

«А что он не в полном разуме, в том я свидетельствуюсь сочиненною им Риторикою и Грамматикою».

Сумароков пережил свою славу. Любой церковный человек объяснит вам, что это добрый знак. Бог, значит, не отвернулся от Сумарокова, не оставил его упиваться мишурными успехами – до конца, но дал ему возможность очувствоваться, вернуться к себе, приготовиться к смерти. Не нам судить о том, как распорядился этим временем Александр Петрович.

На посторонний взгляд, он быстро опускался. Овдовев, женился вторым браком на своей крепостной. Умерла и эта вторая жена – осталась ее племянница. Сумароков женится на племяннице: «Нельзя, чтоб пропала пенсия». Дерзит самой Екатерине, и та по-женски так сердится, но в общем терпит – по старой дружбе. К месту и не к месту хвастается письмом Вольтера, в котором литературным трудам Сумарокова дается самая высокая оценка, – правда, Вольтер тут же и прибавляет, в свойственной ему манере, что по-русски не знает ни слова, – и умный Сумароков этой оговорки не

замечает... Родная мать подает на него официальную жалобу императрице, императрица раздраженно ворчит: «Сумароков без ума есть и будет»; друг-приятель Демидов начинает оттягивать у него дом – последнее достояние, если не считать той пенсии, которую скоро получит вдова действительного статского советника Сумарокова, – а пока что действительный статский советник выходит из своего дома в домашнем платье и идет не спеша через площадь в трактир выпить водки... Продажу дома с аукциона Сумароков пережил только двумя днями.

Все это трогательно, пронзительно, натурально. Перед нами все тот же «писатель-боец, входивший в борьбу с жизнью на площади, на открытом поле» (слова Вяземского о Сумарокове), но боец состарившийся и жизнью наконец побежденный.

И пусть сегодня стихи Сумарокова не трогают нас и не пронзают, и мы готовы согласиться с Петром Александровичем Плетневым, который считал, что Сумароков был всего лишь «неутомимый говорун и пересказчик» в поэзии. Пусть так. Но заслуги Сумарокова перед русской словесностью помнить необходимо. Дворянин, сын петровского генерала стал профессиональным писателем – такое случилось впервые. И именно Сумароков приучил образованное общество уважать звание литератора.

«Я на войне не бывал и, может быть, и не буду, и столько же тружуся и в мирное время... Мои упражнения ни со придворными, ни со штатскими ни малейшего сходства не имеют, а труды мои ничьих не меньше, и некоторую пользу приносят... люди во вкус приводятся... Мне Россия за мои трагедии должна благодарить» – эти декларации Сумарокова взяты из его писем к Шувалову, Потемкину, Екатерине. И это не оппозиция. Именно таков дух времени, дух екатерининских указов. Царь и поэт действуют заодно, общество «во вкус приводится».

Совместными усилиями устанавливается чрезвычайно высокий общественный статус поэзии. Расцвет ее становится делом недалекого будущего.

1993



Петербург, середина 18 века

## ***ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ***



**М**ы с вами остановились в прошлый раз на событии печальном, хотя и естественном, – на смерти Александра Петровича Сумарокова, которая последовала в 1777 году. Это середина царствования Екатерины II. Время, ознаменованное стремительным ростом русского могущества и военной славы. Ростом авторитета России как мировой державы.

В известной «Французской энциклопедии» Д’Аламбера и Дидро есть статья, посвященная России (14-й том, вышедший из печати в 1765 году). Статья нисколько не устарела, русский читатель и сегодня почерпнет из нее много интересных, новых сведений о своей родине.

Так, впервые узнает он с том, что христианство ввела у нас в конце X века княгиня Ольга. «Женщины, – пишет Жокур, автор статьи, – более чувствительные к увещаниям служителей религии, обращают затем и прочих людей». Впрочем, «русская церковь была столь малообразованна, что брат Петра Великого царь Федор был первым, кто ввел в ней церковное пение».

Слово «царь», кстати сказать, произошло от «цар» или «тхар» Казанского царства; когда русский государь Иоанн (правильнее – Иван Базилид) победил это царство, он взял его титул.

Излюбленным кушаньем русских (то есть до Петра Великого) были лишь огурцы и астраханские арбузы, которые летом они варили с водой, мукой и солью. Для царской женитьбы привозили ко двору из провинции самых красивых девушек. Были четыре примера подобных свадеб. С того времени русские женщины стали румяниться, подрисовывать брови или накладывать искусственные; таким образом, у этого народа варварство стало исчезать, и потому Петру не нужно было много трудиться над просвещением нации. В царствование Петра русский народ стал цивилизованным, торговым, любознательным в искусствах и науках, ценителем театра и новых изобретений. Совершивший эти перемены великий человек счастливо родился в благоприятное для этого время – и так далее и тому подобное.

Думается, что «острый галльский смысл» вполне обнаружил себя в той части статьи, которую мы успели просмотреть, – но интересно другое. Мы увидели, что в 1765 году вот этой проблемы, вечной проблемы «Россия и Запад», – ее как бы и не существует. Авангард прогрессивного человечества («сок умной молодежи», по более счастливому выражению Репетилова) – энциклопедисты весьма и весьма доброжелательно относятся к России. По их мнению, страна сумела сделать правильный выбор – сурьма, румяна и Великий Человек вывели ее на столбовую дорогу цивилизации, в то время как во Франции милой не все обстоит благополучно: имеется тиран, Людовик XV, кое-где поднимает голову религиозный фанатизм. Сам Вольтер стал жертвой этого фанатизма и этой тирании – почти год целый просидел в Бастилии, в то время как из России ему шлют приглашения и подарки, теплые шубы шлют...

В 1765 году Россия чем-то милее французским просветителям, чем даже собственное отечество.

Что же произошло между 1765 годом и годом 1831, когда Пушкин спокойно и квалифицированно оценил отношение Запада к России одной строкой: «*И ненавидите вы нас*»? Вот ближайшие два-три чтения и должны нас подготовить к ответу на этот важный вопрос. Если же ответ не отыщется, тогда нам, пожалуй, не стоит и начинать разговора о Золотом веке русской поэзии. Тогда нам лучше возвратиться к старым, испытанным формулам: «звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений», «декабристы разбудили Герцена», «лучше быть неудачником в демократии, чем мучеником в деспотии».

Но пока – пока мы видим, что оптимизм лучших людей реформы, вот это намерение, о котором мы говорили на прошлом чтении: позаимствовать у Запада его боевые хитрости и ими отстоять веру (от его же натиска), – пока это оправдывается. По крайней мере, в первой своей части.

А как обстоит дело со второй частью? Что вера? Каково положение Церкви? Попытаемся под этим углом взглянуть на реформу и проследить ее ход.

Петр I – личность, которую невозможно (да и не нужно) идеализировать. Упразднение патриаршества, чудовищный Духовный регламент, оскорбление религиозных чувств народа, растянувшееся на десятилетия, – всего этого уже не вычеркнешь из истории Церкви.

Дисциплина – под таким знаком проходила эпоха Петра, и Церковь как организация была подчинена дисциплине, была поставлена на службу государству, как все в государстве. Церковь как организация пострадала, безусловно; но Церковь не есть просто организация, до поры до времени существующая наряду с другими какими-то организациями. Церковь Христову погубить вообще нельзя: так, в рассматриваемую нами эпоху симпатия к протестантизму царя-рационалиста и латинская ориентация высших иерархов Церкви ослабили, обезвредили одна другую, и Церковь устояла. Но и Петр не Венадад, не Сennaхирим – не сильный враг, одним словом, которому вот только Бог не позволил разрушить Свою Церковь.

Вспомним столкновение Петра со святителем Митрофаном, епископом Воронежским. Царь пригласил епископа к себе, а тот отказался прийти, поскольку воронежский дом Петра I был украшен снаружи изображениями языческих богов. Царь приходит в ярость и угрожает епископу смертью. Епископ отвечает: «Лучше умереть, чем присутствием своим или боязливым молчанием одобрять язычество. Неприлично государю православному ставить болваны и тем соблазнять простые сердца народа», – и начинает готовиться к смерти. Царь, заслышав благовест в неурочное время, посылает узнать, что случилось. Ему сообщают: «Епископ собирается напутствоваться ко смерти». Царь приказывает снять статуи.

Когда святитель с миром отходит ко Господу, царь спешит на его погребение, боится опоздать... Сам участвует в переносе тела в усыпальницу.

Сохранились слова, сказанные Петром при прощании: «Не осталось у меня такого святого старца, буди ему вечная память».



И. А. Ильин писал: «Есть мера страстных эксцессов царя, – не подрывающая доверия к нему», – и считал, что Петр I эту меру не перешел. Не превысил. В поступках Петра – страшных поступках, жутких, вызванных болезненной нетерпеливостью, неуравновешенностью, грубостью природы, не было, однако, ничего бесчестного, лживого, подлого, своекорыстного (это все еще мысль Ильина), и народ, скорбя или негодуя, продолжал все-таки доверять такому Царю в главном.

Выжив при Петре, Церковь смогла отдохнуть в царствование его дочери.

Елизавета Петровна чтит память своего великого отца; в то же время она, по выражению Е. Поселянина (известного писателя и историка Церкви, расстрелянного у нас в Ленинграде в начале 30-х годов), была «предана Церкви, всем ее обрядам, как любая боярышня московской Руси». Поэтому при Елизавете все шло более или менее по-старому: заводила ли она Московский университет, посещала ли Василия Болящего (был такой юродивый на Арбате) – и в том и в другом случае она следовала традиции. «Не нами заведено, не нами и кончится».



На вершину могущества и славы Россия поднялась в царствование Екатерины II – Екатерины Великой. Права ее на этот титул не должны подвергаться сомнению, дар правительницы был у нее, безусловно, от Бога; самые ее недостатки шли на пользу делу управления.

Имея многие слабости, о которых незачем здесь распространяться, Екатерина могла понять и простить слабость подданного (чего не было у железного Петра) – она была человечна. За это ее любили и нередко делали для нее невозможное, «небывалое». Идеалист Петр не шадил для Отечества своей жизни, того же ждал от других – и снова и снова разочаровывался в людях. Ближайшие сотрудники обманывали его на каждом шагу, стоило только Петру на секунду отвернуться. Практичная Екатерина придерживалась принципа: «Живи – и жить давай другим», разочаровываться в своих сотрудниках ей никогда не приходилось. (Это они в ней иногда разочаровывались, но потом, после окончания своей миссии).

Екатерина настолько была умна, что и людей, обладавших высокими нравственными принципами (святой Тихон Задонский, Румянцев, Суворов, Дашкова, Державин и другие), умела привлечь на свою сторону и использовать их энергию на пользу своему «маленькому хозяйству». Чужое здоровье не вызывало у нее головной боли – редкое, похвальное качество! Можно предположить, что непрактичность вышеназванных славян вызывала у бывшей принцессы Ангальт-Цербтской легкую усмешку, которая и спасала ее от зависти.

Екатерина не погрешала против внешнего благочестия (в отличие от Петра), уважала религиозные чувства простого народа и – также в отличие от Петра – вовсе, кажется, не верила в Бога. Церковная политика Екатерины заключалась в том, чтобы «растворить духовенство в среднем слое людей», отгеснить его на задворки социальной жизни.

Вы помните, конечно, страстный призыв Вольтера: «Раздавите гадину!» Впрочем, в минуты мирного расположения духа тот же Вольтер признавал, что для простонародья церковь долго еще будет полезна, и поэтому «если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». Вот эти два тезиса и были, пожалуй, положены в основание церковной политики Екатерины. «И бога выдумать, и гадину раздавить».

Совсем не случайно «Наказ» Екатерины подвергся цензурному запрещению в Англии и во Франции. То, что в самой Франции было остроумной теорией, кабинетной выдумкой горстки энциклопедистов, в России становилось правительственной программой.

Верная ученица французских просветителей, Екатерина в 1764 году наносит страшный удар просвещению народа русского. В тот год были введены штаты: императрица одним росчерком пера уничтожила 754 монастыря. От общего их числа сохранилась после указа только пятая часть.

Эта мера принесла государству три миллиона рублей в год. Не так уж мало, ведь годовой доход Российской короны составлял к началу 60-х годов не более тринадцати миллионов (по оценке той же «Французской энциклопедии», которой в таких вопросах доверять, я думаю, можно).

А что отняла у государства эта мера? Тоже немало.

Монастырь в России – с XI века и до настоящего времени – это и есть русский университет. Традиции, культура, народное образование, национальное самосознание – все тут. Зарождение любой обители, ее рост или упадок – процесс органический и таинственный. Вторгаться в эту область извне, пытаться «улучшить монастырское дело» с помощью грубых административных мер... Ну, это было очень самонадеянно.

А вот и другая сторона вопроса. Монастырская собственность складывается веками и состоит большей частью из добровольных вкладов, из пожертвований самых разных людей – на помин души. С упразднением монастыря, естественно, прекращается и поминание. То есть вот этим своим знаменитым росчерком пера русская императрица, «крайний судия Духовной Коллегии», нарушила последнюю волю неимоверного числа русских православных людей.

Век Просвещения. Императрица управляет государством, а ею управляет Разум, освобожденный от пут суеверия. Что такое «последняя воля»? – На хлеб ее не намажешь. А три миллиона в год – деньги хорошие.

Однако не все люди способны подняться до уровня лучших умов своей эпохи и дышать разреженным воздухом горных вершин. Ростовский митрополит Арсений (Мациевич) в Неделю Православия, когда предаются

анафеме враги Церкви, кое-что изменил и добавил от себя в текст анафематизмов. Там, где в обычном чинопоследовании стояло: «Вси насильствующие и обидящи св. Божии церкви и монастыри, отнимающе у них данная тем села и винограды...» – мятежною рукой Ростовского владыки было добавлено: «...и через то воплощения Христова дело и бескровную жертву истребляющи». Еще и другие два добавления (но менее важные, менее антиправительственные) были им сделаны и возглашены с амвона в феврале 1763 года. Спустя девять лет бывший митрополит Арсений умер в каземате Ревельской крепости, где содержался под чужим именем – наподобие Железной Маски.

«Раздавите гадину» – это ведь общее положение. В одном случае под каблук прогресса могла попасться гадина Мациевич, во втором или третьем – другие какие-то гадины. Наполеон раздавил гадину Пия VI-го. Особенно много гадин скопилось во Франции к началу революции: не хватало ног, чтобы давить их. Человеческий разум справился и с этой задачей: священников грузили на баржи, потом топили эти баржи в Луаре, в Сене.



Михаил Матвеевич  
Херасков (1733 – 1807)

За год до смерти Андрея Врля (бывшего митрополита Арсения) в литературе произошло событие, отмеченное во многих учебниках: Михаил Матвеевич Херасков написал поэму «Чесмесский бой», повествующую о трогательной дружбе братьев Орловых, Алексея и Федора, разворачивающейся на фоне знаменитого морского сражения, – и тем самым положил начало сентиментализму в русской поэзии.

Наверное, вы почувствовали сейчас некоторый диссонанс, несоответствие между важным, трагическим содержанием, которым наполнена русская жизнь XVIII столетия, и содержанием литературы. Там – сотрясаются основы народной жизни, своды вселенной

колеблются, здесь – в пробирочке что-то изготавливается для будущих филологов...

Розанов, оценивая русскую литературу XVIII века в целом, писал, что это была не литература, а так – «помощь правительству». Давая эту примечательную характеристику, Розанов вовсе не имел в виду какую-то сервильность, лакейскую услужливость литературы. Нет. Но мир середины XVIII века вообще черно-белого цвета: черное – невежество и суеверия, белое – человеческий разум. Просветительская философия разработала теорию просвещенного абсолютизма, выдвинула идеал просвещенного монарха, и вот литература помогает правительству приблизиться к идеалу: «*истину царям с улыбкой говорит*», подсказывает невыученный урок бедняге царю, тупице и двосечнику. Понятно, что если какой-нибудь конкретный правитель на волосок

отступил от теоретического идеала, то это уже не просвещенный монарх, а тиран, которого всякий подданный может зарезать, не испытывая угрызений совести.

И уничтожение 80% русских монастырей, с точки зрения интеллектуальной элиты того времени, мера настолько оправданная, необходимая и выстраданная, что можно только сказать правительству «мерси» и дальше, дальше – ориентировать его на новые цели, подталкивать к новым свершениям.

За пять лет до введения штатов, во время затяжной и кровопролитной войны, которую Россия вела против Пруссии Фридриха Великого, Сумароков переводит басню Лафонтена «Отрекшаяся мира мышь»:

*Затворник был у них*

т. е. у мышей, которые воюют с лягушками

*и жил в голландском сыре;*

*Ничто из светского ему на ум нейдет;*

*Оставил навсегда он роскоши и свет.*

*Пришли к нему две мышки*

*И просят, ежели какие есть излишки*

*В имени его,*

*Чтоб подал им хотя немного из того,*

*И говорили: «Мы готовимся ко брани».*

*Он им отвечивал, поднявши к сердцу длани:*

*«Мне дела нет ни до чего.*

*Какия от меня, друзья, вы ждете дани?»*

*И как он так проговорил,*

*Вздыхнул и двери затворил.*

Здесь мы впервые сталкиваемся с явлением, которое впоследствии, в России Советской, получило наименование *сигнала*. Елизавета Петровна не пожелала прислушаться к сигналу Сумарокова, и через три года уже Ломоносов принимается переводить ту же басню, сигнализируя новому правительству о неблагополучии в церковных делах:

*Мышь некогда, любя святыню,*

*Оставила прелестный мир,*

*Ушла в глубокую пустыню,*

*Засевшись вся в голландский сыр...*

Ломоносов – сын своего века. Ломоносов тоже просветитель. Он патриот, безусловно, но Россия его од – это уж никак не Святая Русь, а что-то скорее географическое, с просторами, недрами и минералами, с трудолюбивым и талантливым населением, которое со временем неизбежно народит собственных Платонов и Ньютонов, быстрых разумом.

(А интересно, что почувствовал бы Ломоносов, если бы какой-нибудь Хромой Бес, выскочив из склянки во время очередного химического опыта,

показал ему будущее – показал первого русского, в котором западный мир признал равно другим мировым гениям, – и Ломоносов увидел бы бородатого Льва Толстого, шьющего себе сапоги и весь мир зовущего к опрошению, к ручному труду... Наверное, удивился бы Михайло Васильевич.)

Ломоносов и Сумароков, враждовавшие во всем, в жизни и в поэзии, неожиданно оказываются союзниками в делах более важных, чем поэзия или частная жизнь.

Но об этой вражде скажем все-таки несколько слов отдельно, она того заслуживает.

Михаил Дмитриев рассказывает (по семейным преданиям) следующее: «Ломоносов, как ученый, занятый делом, как человек серьезный, а притом не богатый и не дворянского рода, не принадлежал к большому кругу, как Сумароков. Ломоносов был неподатлив на знакомства и не имел несколько той живости, которою отличался Сумароков и которою тем более надоедал он Ломоносову, что тот был не скор на ответы, Ломоносов был на них иногда довольно резок, но эта резкость сопровождалась грубостью; а Сумароков был дерзок, но остер: выигрыш был на стороне последнего! Иногда, говорил мой дед, их нарочно сводили и приглашали на обеды, особенно тогдашние вельможи, с тем, чтобы стравить их».

Достаточно серьезный конфликт, как мы видим: человек глубокий, напряженно думающий об общем благе, заглядывающий вперед на сто, на двести лет, и человек тонкий, старающийся быстротечную минуту закрепить и возвести в перл бытия, совершенно искренне презирают один другого. Культура и этика – так называется эта проблема на современном жаргоне. Разлучение их, рождение некультурной этики и бессовестной культуры есть неизбежное следствие секуляризации.

Что происходит у нас сегодня на каждом углу? Вот честный патриот поднимается на трибуну и начинает говорить, например, о вреде пьянства, говорит пламенно и бессвязно, предлагает какие-то меры для решения этой наболевшей социальной проблемы – достаточно дубовые, – а среди слушателей с тонкой улыбкой на устах стоит эрудит, мастер художественного слова, и в уме готовит пародию на выступление честного патриота. Профессионализм пересмешника связан со «стремлением ко благу» патриота, зависит от него, питается его эмоциями, но полученную энергию использует для разрушения.

Эрудит из нашего примера не заслуживает серьезного разговора (бес-содержательность – недостаток, от которого почти невозможно избавиться), но и патриоту следовало бы принять к сведению чеканную формулу Гегеля: «Форма столь же существенна для сущности, как сущность для себя самой». Недостаточно пылать, обожать, негодовать, нужно быть в Церкви. Церковная дисциплина строга, церковная культура неимоверно сложна, но если вы справитесь с этим и войдете в Церковь, то ваши прекрасные чувства обретут разделение, ваша любовь к отечеству принесет сочный плод. А метать сомнительного достоинства бисер перед несомненными свиньями – занятие пустое.

Русский человек XVIII столетия еще связан пуповиной с матерью-Церковью, но первые плоды насаждаемого сверху расцерковления уже созрели. Государственный ум Ломоносова видит в монастыре главным образом помеху деторождению (Россия же мало населена, и детей надо бы побольше); образцовый вкус Сумарокова не оскорбляется подобной прямолинейностью. Сумарокову претят только «ученость» и «надутость» Ломоносова, смешного своей простонародной серьезностью и чином коллежского советника, полученным за какие-то химические опыты, – в то время как Сумароков был естествен, прост и был действительный статский советник. А на его трагедию «Синав» имелся официальный похвальный отзыв Французской академии.

Закончим на этом разговор о Ломоносове и Сумарокове. Поговорим о их учениках.

Любимым учеником Ломоносова был Николай Поповский, один из талантливейших людей своего времени, ставший в двадцать шесть лет профессором Московского университета. В истории литературы имя Поповского сохранилось главным образом благодаря переводу «Опыта о человеке» Александра Поупа. Этот перевод выдержал пять изданий в XVIII веке и имел солидный, прочный успех – успех у серьезного читателя, который покупает книгу не для того, чтобы быть «на уровне» или «в курсе», а чтобы проверить свои жизненные правила и, если удастся, улучшить их. Спустя сто лет герои Лескова – чудачки, «русские праведники» – помнят еще перевод Поповского, иногда и наизусть. Это произведение, что называется, пошло в почву.

*Познай, что все добро, которым человек  
Здесь может в временный сей наслаждаться век,  
Все то, что Сам Творец и щедрая природа  
Приготовили к веселию народа,  
Все те приятности, что мысли веселят,  
Все сладости в сих трех вещах лишь состоят:  
В потребах жития, во здравии телесном,  
Потом в спокойствии надежном и неслетном...*

Здоровая, бодрая, достаточно примитивная философия английского просветительства, сумевшего избежать некоторых крайностей, запятнавших континентальную его разновидность. К. Леонтьев писал по этому поводу: «Атеистически-либеральное движение умов началось в Англии, но общечеловеческий вред причинило это направление только через посредство Франции XVIII века».

Кроме Поупа, Поповский переводил Горация (и осуществил, с помощью Ломоносова, первый русский стихотворный перевод «Искусства поэзии» – на двадцать втором году жизни), писал и оригинальные поэтические произведения в наиболее ответственном в то время жанре похвальной оды. Но в целом поэтическое наследие Поповского невелико: до тридцатилетнего

возраста ему приходилось разрываться между научной и педагогической деятельностью, выкраивая для поэзии крохи свободного времени, – а там смерть положила конец всем его трудам.



Иван Семёнович  
Барков (1732 - 1768)

Иван Семенович Барков – очень колоритная личность, тоже сын священника (как и Поповский), тоже в какой-то степени ученик Ломоносова. Именно по просьбе Ломоносова шестнадцатилетний Барков был зачислен в Академический университет; Барков и потом бывал у «русского Пиндара» в доме: Ломоносов давал ему заработать перепиской. Случайно или нет, но бесконечные кутежи перестали сходить Баркову с рук именно после смерти Ломоносова – из академии, где он имел должность и твердый оклад, Барков был сразу же уволен и через два года умер, тридцати шести лет от роду. Чем он жил эти два года, отчего и как умер – неизвестно.

Барков один, но в нескольких лицах. Он и филолог, публикатор (именно Баркову было доверено первое издание сатир Кантемира, осуществленное в 1762 году, а увольнение прервало его работу над подготовкой к печати «Повести временных лет»), он же и переводчик, академический переводчик, создавший русскую версию басен Федра и сатир Горация; наконец, Барков – это «Барков», то есть поэт-порнограф, именно в этом качестве приобретший всероссийскую известность.

Нужно заметить, что «Барков» – имя собирательное, что сочинения, имеющие хождение под этим именем, написаны большей частью в XIX веке, и вот наш Барков, Иван Семенович, их не писал. Он умер в 1768 году, во времена еще патриархальные, простодушные; всего шесть лет прошло после появления указа о вольности дворянства – и особенной изощренности в этом вопросе достигнуто не было. Не успели.

Барков писал пародии – на Сумарокова, в первую очередь, – и излюбленный его прием заключался в следующем. Сочинялась элегия (идиллия, ода), отвечавшая самым строгим требованиям тогдашних образованности и вкуса, но в которой на месте лирического героя выступала, скажем так, определенная его часть. И когда какая-нибудь такая часть, специфически мужская, начинала жаловаться на разлуку, а часть женская заводила в ответ: *«Не грусти, мой свет, мне грустно и самой, // Что давно я не видалась с тобой»*, – ну, современники очень веселились.

Пародирование серьезных литературных жанров, их перелицовка – это то, что всегда происходит в литературе, достигшей известной степени зрелости; успех пародии свидетельствует о прочности той литературной системы, внутри которой пародия поселилась.

Пародия смещит до тех пор, пока в читательском восприятии жив ее «второй план», и сегодня подлинный Барков никому не интересен, поскольку

сегодняшнему интеллигенту, воспитанному на Высоцком и Макаревиче, неизвестны трагедии «Семира», «Тамира и Селим», классическая ода ломоносовского стиля, сумароковская элегия... Современный интеллигент недостаточно образован для того, чтобы понимать Баркова.

А виноват ли Барков в том, что его имя, в котором есть все же что-то симпатичное для русского слуха, черт использовал для циклизации чужих порнографических сочинений?

Наверное, виноват. Благодаря этому имени, жидкая грязь получила привлекательную фабричную обертку, а главное – появился *прецедент*, дающий возможность пакостить открыто и безнаказанно, со ссылкой на академическую традицию... Порнография, когда это всерьез, одно из самых тяжелых и нудных занятий на свете; Барков, который в жизни был человеком веселым и легким, бессребреником, симпатичным неудачником, после смерти оказался запряжен во вражью работу и послужил началам, по видимости противоположным основным чертам своей натуры. Бывает и такое. «На грех мастера нет».

Баратынский в одном из последних своих созданий выразился очень проникновенно (хотя и трудно было бы, я думаю, назвать отца церкви, у которого Баратынский почерпнул эту мысль, – сам, наверное, выдумал):

*Велик Господь! Он милосерд, но прав.  
Нет на земле ничтожного мгновенья.  
Прощает Он безумию забав,  
Но никогда – пирам злоумышленья.*

Как будто бы нарочно про Ивана Семеновича Баркова написано: никаких «пиров злоумышленья» в его жизни не было, зато уж «безумия забав»...

Известно, что люди богатые и праздные нередко забавляются от скуки, «с жиру бесятся». Барков веселился в условиях бедности – вопиющей пожизненной бедности.

Будем надеяться, что Бог его простил.

Барковские «срамные оды» метили в человека, которого Барков уважал, которому многим был обязан, – но ради красного словца уважение и благодарность должны были потесниться, – они метили в Ломоносова.

Вот небольшой отрывок из «Оды кулашному бойцу» (одно из немногих сочинений Баркова, которое возможно хотя бы частично цитировать):

*Хлебнул вина, разверзлась глотка,  
Вознесся голос до небес,  
Ревет во мне хмельная водка,  
Шумит дубрава, воет лес,  
Трепетет твердь и бездна бьется,  
Далече вихрь в полях несется.*

*Восторгом я объят великим,  
Кружится буйно голова... –*



Дальше идет неудобное для цитирования место, а затем еще один отрывок:

*Науки, ныне торжествуйте:  
Взошла Минерва на престол.  
Пермесски воды, ликовствуйте,  
Шумя крутитесь в злачный дол.  
Вы в реки и в моря спешите  
И нашу радость возвестите  
Лугам, горам и островам:  
Скажите, что для просвещенья  
Повсюду утвердит ученья,  
Создав прекрасны храмы вам.*

Конечно, вы заметили, что я в ходе чтения соединил стихи Баркова со стихами Ломоносова. Но вообще-то они похожи – на слух, если не вдумываться. А как раз в оду вдумываться не обязательно: ода не аналитический жанр, здесь важны воодушевление, чувство...

Восторг Ломоносова и торжество в природе, им описанное, имеют причиной восшествие на престол Екатерины Алексеевны; Барков воодушевлен национальным напитком – и тоже природа этому его приподнятому настроению соответствует. Смешно, современники это чувствовали.

Ломоносовская ода была отправлена в печать на десятый день после дворцового переворота, завершившегося убийством Петра III. Ломоносов спешит прославить Екатерину за то, чем она *должна* стать. А должна она стать Минервой, покровительницей наук, создательницей новых учебных и научных учреждений. Входит ли это в планы Екатерины, совершенно неважно. Ломоносов «истину говорит» императрице, напоминает ей о долге, об обязанностях просвещенной правительницы перед Богом и людьми.

А Барков тоже ведь ничего не имеет против наук, против Екатерины, – он, как шалун в классе, передразнивает строгого учителя, отвернувшегося на минуту к доске, и смешит товарищей. Какая у шалуна корысть? Заметит учитель его проделки – задаст нахлобучку. Зато для товарищей этот смех – разрядка, передышка, обновляющая саму способность восприятия, притупленную зубрежкой полезных истин. (Интересно, что сам строгий и мудрый учитель Баркова Ломоносов совершенно хладнокровно относился к барковским пародиям и, повторимся, неизменно покровительствовал их автору. Вот Сумароков – тот обижался всерьез и постоянно писал на Баркова жалобы.)

Плохо, когда в классе большинство учеников шалуны. Еще хуже, когда пошаливают сами педагоги (что в современной литературе становится правилом), – это уже не школа, а дом терпимости. Но в нормальной школе все именно так и должно быть, как было во времена Ломоносова и Баркова: знающий, строгий учитель, прилежные ученики, один-два шалуна.

Разум необходим, знания бывают полезны, но ведь и товарищество, веселый нрав, насмешка над собой, вино, которое «на радость нам дано», – тоже вещи неплохие. Без них и само просвещение может опротиветь.

Бесчеловечен дух просветительской философии. В царстве разума не предусмотрено место для маленьких человеческих радостей. А слабости человеческие, неизбежные наши немощи и падения, в которых мы каемся на исповеди, признаются в царстве разума или подлежащими окончательному исправлению (вплоть до гильотины), или, что еще страшнее, оправдываются.

Оздоровление общества с помощью гильотины – дело недалекого будущего. А пока что эстетика просветительства дает первую трещину, и в эту трещину проникает грязь. На сцену выступает сентиментализм.

Руссо с предельной искренностью раскрывает перед читателем некоторые патологические стороны своей богато одаренной натуры – и беда только в том, что он не кается, он простодушно полагает, что все люди таковы, святых не бывает, а вот за искренность, за *новое слово* как не поставить себе самому жирную пятерку! Дидро – тот просто любит грязь, любит забраться в нее по уши и находит эту позицию оригинальной, смелой, во всех отношениях прогрессивной,

И как тут не сказать еще два-три слова в защиту Баркова? Понимаете, он не боролся с предрассудками, не оказывал человечеству важную услугу. Он просто писал непристойные пародии, прекрасно сознавая их непристойность. Он дурачился – на свой страх и риск. Что поделаешь, есть и такая традиция в классической поэзии. У Катулла об этом сказано: *«Сердце чистым должно быть у поэта, но стихи его могут быть другими»*.

Короткое царствование Петра III, столь благоприятное для Баркова (он написал «Оду на всерадостный день рождения его величества благочестивейшего государя Петра Феодоровича, императора и самодержца всероссийского» и получил должность академического переводчика с годовым окладом в двести рублей), ознаменовалось событием, чрезвычайно важным для судеб русской поэзии. Я имею в виду выход знаменитого указа о вольности дворянства.

Сословие, обладавшее значительными привилегиями за свою службу государству, этим указом от обязательной службы освобождалось – и сохраняло привилегии.

Манифест от 18 февраля возвестил благородному Дворянству на вечные времена свободу и вольность. (Предполагалось, что дворяне и без принуждения будут продолжать службу).

Добровольное служение, слов нет, предпочтительней принудительного. Вот только не у всех и не всегда имеется в наличии добрая воля. Просветителям представлялось, что учение о первородном грехе порождено своекорыстным суеверием служителей религии, а человек вообще добр и так только – заблуждается иногда вследствие «неблагоприятных внешних условий» (ошибки в воспитании, дурная социальная среда, невежество и т. п.), и стоит однажды создать благоприятные условия, указать правильный путь – естественный человек так и зашагает по нему, не оглядываясь и не останавливаясь. В этом-то представлении и заключался коренной недостаток просветительского сознания.

Мы помним, как истолковала указ госпожа Простакова: «Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен? – Да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?»

Алексей Орлов тоже мог руководствоваться буквой указа, когда душил Петра III.

Остановимся на том, что указ развязал руки многочисленному и талантливому сословию – как для хорошего, так и для дурного. И в русской истории время между 18 февраля 1762 года и 19 февраля 1861-го – золотой век дворянской культуры.

Об учениках Ломоносова мы с вами говорим уже долго, хотя люди эти мало жили, мало писали и от того, что именуется у нас сегодня «коридорами власти», были бесконечно далеки.

Ученики Сумарокова, напротив, жили долго, писали много, в литературе (да и не только в ней одной) были сильны и влиятельны. Говорить о них, правда, неинтересно, но и молчанием их не обойдешь – сумароковцы слишком уж заметное место занимают в истории литературы.

Херасков. Сын знатного молдавского боярина, переселившегося в Россию в 1712 году вместе с Дмитрием Кантемиром. Будущему поэту исполнился год, когда боярин умер; Херасков рос и воспитывался в семье отчима, известного знатока и покровителя литературы князя Н. Ю. Трубецкого. Десяти лет был отдан в кадетский корпус, где Сумароков как бы заведовал в это время литературной частью (неофициально, в свободные от службы часы), – и так и стал, с десяти лет, учеником и последователем Сумарокова.

Жизнь Хераскова связана с Москвой, с Московским университетом. Он был его куратором, заведовал университетской библиотекой, газетой, был директором университетского театра, Херасков – патриарх московской литературы, покровитель и опекун Фонвизина, Ржевского, Богдановича. Видный масон. Создатель эпических поэм «Россияда» и «Владимир», о которых Дмитриев отзывался таким образом:

*Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют;  
Хераскову они вреда не принесут!  
Владимир, Иоанн щитом его покроют  
И в храм бессмертья приведут!*

Современники называли Хераскова просто: русский Гомер.

Ржевский – вельможа, сенатор, член академии. Также масон. Виртуозно владел стихотворной формой, дружил с Державиным, издал на свои средства «Душеньку» Богдановича – благородный поступок (с коммерческой же точки зрения – оправдавшийся риск).

Богданович – тоже академик и чиновник (председатель Государственного архива). Его «Душенька» произвела переворот в литературе: впервые были опозитивированы милые женские безделушки, «булавки» и «платыца», впервые явился характер не героический, не трагический, а просто живой – характер русской девушки, простодушной, верной и доброй.

Василий Майков – соратник Хераскова и Новикова, автор «Елисея», которого молодой Пушкин «читал охотно» и в котором впервые в официальной литературе отразилась жизнь городских трущоб. Кстати сказать, единственный поэт своего времени, не знавший иностранных языков, – поэтому умник Дидро именно от поэзии В. Майкова ждал чудес оригинальности и национальной самобытности. После смерти Дидро в его библиотеке было обнаружено изрядное количество книг В. Майкова, вывезенных философом из России, но оставшихся, разумеется, неразрезанными. (Это своего рода традиция: лучшим умам Запада оценочные суждения о России, о русской культуре даются легче, чем изучение русского языка или хотя бы знакомство с элементарными фактами нашей истории.)

Яков Борисович Княжнин, «перемчивый Княжнин», зять Сумарокова и сам знаменитый драматург, друг Потемкина и Бецкого, русский Расин, тиранобор...

Впрочем, пора остановиться. И постараться от послужных списков деятелей русской литературы второй половины XVIII века как-то возвратиться опять к литературе, к русской поэзии. Обратиться, например, к стихам Богдановича.

Если вы их не читали прежде и вот только сегодня вечером, наслушавшись моих рассказов, впервые раскроете «Душеньку», то, скорее всего, выроните книгу из рук на четвертой странице и уснете.

Чудесные иллюстрации Ф. П. Толстого к «Душеньке» и сегодня радуют глаз; рядом с ними текст этой «древней повести в вольных стихах» выглядит именно «древним», устаревшим:

*Хотя ж гулянье по лесам  
Особо Душенька любила  
И после каждый день ходила,  
Со свитой и одна, к тенистым сим местам.  
Но в сей начальный день не шла в густые рощи,  
Иль ради наступившей нощи,  
Или, не зря дороги в лес,  
Боялась всяких там чудес,  
Иль нежные в ходьбе ее устали ноги;  
И Душенька оттоль пошла назад в чертоги.  
Не стану представлять  
Читателю пред очи  
Приятны сны ее в последовавши ноци;  
Он сам удобно их возможет отгадать, –*

тут прямо видишь подмигиванье автора и встречный благодарный оскал читателя, они друг друга понимают – речь идет о ночах брачных:

*Но дни бывали там причиною разлуки,  
И дни, среди утех, свои имели скуки.  
По слуху говорят,  
Что Душенька тогда пускалася в наряд;  
Особо же во дни, когда собиралась в сад,  
Со вкусом шеголих обновы надевала...*

Мы прочли полстраницы, в «Душеньке» их около восьмидесяти. Но повествование так и тащится страница за страницей – монотонно, вяло, утомительно. Невольно вспомнишь отзыв Катенина о «Душеньке»: «Она хороша была в свое время, но останется ли такова на все времена? Краски ни греческие, ни римские, шутки часто подлые, а стихи весьма нечистые» – и отметишь про себя, что Катенин, как обычно, прав.

Мы понимаем умом, что когда-то подобный интерес к бытовым деталям, некоторый первобытный психологизм, попытка привязать душевные состояния, душевные движения героини к реалиям быта – все это было когда-то ново и сенсационно. Но сегодня мы имеем несравненно более совершенные образцы бытовой психологической прозы.

Также и сердца зоилов давно перестали ныть от зависти к Хераскову, хотя племя зоилов не перевелось. Русского Гомера забыли на удивление быстро. Уже Карамзин, щеголяя своей всему свету известной объективностью, хвалил иногда следующие стихи Хераскова:

*Как лебедь на водах Меандра  
Поет последню песнь свою,  
Так я монарха Александра  
На старости моей пою, –*

и этим вызывал почтительное недоумение у своих слушателей: какой святой человек Карамзин! У самого Хераскова отыскал четыре приемлемых стиха, сумел похвалить даже Хераскова...

Вяземский в 1821 году отзывается о Хераскове совсем уже просто: «Он не худой стихотворец, а хуже».

Сказать несколько слов в защиту Хераскова, наверное, нужно. Начнем издалека, с небольшой цитаты из книги Б. Зайцева о Жуковском: «...лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белёва из легких строф молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским – Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот – воздыхание, нежное томление, элегия и меланхолия».

Воздыхание, нежное томление, элегия воцарились в русской поэзии еще со времен Тредиаковского и Сумарокова; меланхолией действительно заразили ее сентименталисты, Карамзин и Дмитриев, но впервые в русской поэзии этот «новый, прекрасный звук» является именно у Хераскова:

*Иной стихи слагает  
Пороками ругаться;  
А я стихи слагаю  
И часто лиру строю,  
Чтоб мог моей игрою  
Понравиться любезной.*

Утрата любви, «смерть, когда любовь теряем», страшат поэта больше, чем «другая смерть», физическая; утешения дружбы едва-едва смягчают горечь этой утраты:

*Томным шествием приходит  
Дружба к помощи моей;  
На любовь она походит,  
Но огня не вижу в ней.  
Дружбой, дружбой восхищаюсь!  
Ей теперь иду вослед;  
Но слезами обливаюсь,  
Что утехи прежней нет.*

Вообще же, при сравнении Хераскова с Карамзиным и Жуковским обнаруживаешь немало общего. Сочетание личной мягкости, доброжелательности, терпимости с верностью строгим моральным принципам отличало каждого из них. Причем строгость у наших поэтов начиналась и заканчивалась на себе, а отношение к другим, особенно к младшим, граничило нередко с попустительством.

Когда Вяземский в 1816 году бросает упрек арзамасцу-отступнику:

*Любви призыву ты не внемлешь,  
Но в клире нравственных певцов  
Перо Хераскова приемлешь, –*

то здесь неприязнь к Хераскову и неприятие нравственности как таковой до того тесно сплетаются, что их не разделить.

Впрочем, как ни относиться к Хераскову, ясно одно: в русской литературе после смерти Ломоносова что-то не так, что-то неблагополучно. Стремительный взлет российской государственности в век Екатерины сопровождался и расцветом искусств. В архитектуре, в живописи, в музыке является целое созвездие первоклассных мастеров: Старов, Растрелли, Шубин, Левицкий, Бортнянский. И всем казалось, что литература тоже находится на высоте, отвечает моменту. Это потом уже, при Пушкине и Гоголе, настало время журнальных статей, начинающих словами: «Бедна русская литература...» или: «Литературы у нас еще нет...» – а в екатерининскую эпоху русские Гомеры, русские Вергилии роились и встречались на каждом шагу, книги их раскупались, звание литератора было одним из наиболее уважаемых в обществе. Едва успев посеять, все устремились на жатву.

Высокий общественный статус литературы в век Екатерины, как мы уже говорили, способствовал действительному ее расцвету к началу царствования Николая I. Но искусственная выгонка русских Вергилиев и Гомеров, форсировка, завышенная оценка наличной литературы неизбежно должны были вызвать в следующем уже поколении движение встречное, вызвать реакцию.

Пересмотр литературных репутаций начался в 1815 году, когда родился «Арзамас», а молодой критик Строев в своем журнале «открыл пальбу на Хераскова»; в 1833 году Н. Полевой уже отвергает скопом «всех этих Сумароковых, Херасковых, Петровых, Княжнинных, которые не писали бы, если бы не читали написанного прежде их другими». К тому же времени

относится и известный нам отзыв Плетнева о Сумарокове: «Неутомимый говорун и пересказчик».

Действительно, сумароковцы были только пересказчики чужого, и их творчество, заслоняя от нас своим классическим фасадом «неученную», «неизящную» российскую действительность, выглядит сегодня разновидностью потемкинской деревни. Тем не менее, дело свое они делали: русское стихотворство крепло понемногу, наращивало мускулы.

Среди поэтов-читателей, перечисленных Н. Полевым, только Петров сумароковцем никогда не был. И вот о нем, о Василии Петрове, стоит поговорить отдельно.



*Василий Петрович  
Петров (1736-1799)*

Последователь Ломоносова, сын священника (и его, как Поповского и Баркова, как самого Ломоносова, отличало от людей круга Сумарокова основательное знание древних языков), этот славный поэт целиком уже принадлежит веку Екатерины, и судьба его довольно типична для этого царствования.

Петров рано лишился отца. Учился самостоятельно – дома, под присмотром матери. Умерла и мать. Шестнадцатилетний Петров забрал свою долю наследственного имущества – кусок войлока, способный служить постелью, – и перебрался в Заиконоспасский монастырь. «Темные монахи» разглядели в юноше исключительные способности; Петров был принят в Славено-греко-латинскую академию, а по окончании оставлен при ней учителем. Преподавал риторику и синтаксис.

И вот в тридцать лет никому не известный преподаватель пишет «Оду на карусель», Екатерина эту оду читает – и следуют все положенные в таких случаях чудеса: присылка Петрову золотой табакерки с двумя сотнями червонцев, вызов ко Двору, дозволение носить шпагу (личное дворянство), двухлетняя командировка в Англию для пополнения образования, дружба Потемкина, вражда Сумарокова и Василия Майкова («Елисей» – это, в первую очередь, отталкивание от стиля Петрова, пародия на Петрова – пародия, кстати сказать, и на Вергилия, которого Петров переводил, и на саму любовь Дидоны к Энею), вражда Новикова, заявившего печатно, что муха больше походит на слона, чем «нескладные и наудачу написанные» сочинения Василия Петрова – на ломоносовские оды, смерть Потемкина, которую Петров искренне оплакал:

*Что смерть как жизни край? и жизнь как путь ко смерти?  
Тот жил, кто имя мог за жизнь свою простерти.  
Твое на целую ты вечность распростер:  
Ты ковы чуждых стран, ты гордых варвар стер,  
Науки ободрил, чин воинства устроил,  
Россию оградил, расширил, успокоил...*

.....

*Ты в поле кончил дни, хотяй почити мало:  
Воинский плац твой одр, и небо покрывало.  
Не слышен был твой стон, не слышен смерти вздох;  
Взор к небу обращен, куда ты позвал Бог, –*

и наконец, известие о смерти Екатерины, потрясшее Петрова настолько, что с ним случился удар, от последствий которого престарелому поэту уже не суждено было избавиться.

Репутация Петрова на сегодняшний день незавидна. Придворный одописец, «карманный стихотворец» Екатерины – лизоблюд, одним словом. Уподобление нескладных сочинений Василия Петрова мухе, по крайней мере, картинно – советские же литературоведы отыскивали для характеристики петровских од такие слова, которым место скорее в обвинительном акте, чем в научной статье. «Квазиломоновская трескотня од В. Петрова» (Лотман), «ода Петрова представляла интересы правящей верхушки» (Г. Макогоненко), «крайняя степень падения оды» (Г. Макогоненко).

Подобные оценки, как вы понимаете, больше говорят об исследователе, о его эпохе, о его пристрастиях, чем об исследуемом поэте. Петров имел своего читателя в прошлом (и весьма квалифицированного: Катенин, Пушкин отзывались с уважением о его творчестве, Дмитриев находил в его одах «обилие мыслей и силу», даже Вяземский, строгий, придирчивый, «привязчивый» Вяземский и тот обмолвился однажды похвалой: «...*пламенный Петров, порывистый и жгатель*»), Петров и в будущем может найти своего читателя. И не исключено, что через сто лет именно «загадка Лотмана», «тайна Макогоненки» привлекут вдумчивого исследователя и лишат его покоя: да что ж это за люди такие были, Господи, что им поэма «Русские женщины», стихи «О советском паспорте», песня «Над седой равниной моря...» и другие однодневки больше нравились, чем «Ода на карусель»?

Прочтите Петрова сами (если достанете, конечно; последнее отдельное издание его сочинений вышло в 1811 году), и вы убедитесь, что это мастер стиха, сочетавший эмоциональность, приподнятость, нередко и силу, присущую ломоносовским одам, с такими синтаксическими ухищрениями, прихотливостью, намеренными архаизмами, которые советское литературоведение приписывает влиянию Тредиаковского и которые с большим основанием можно было бы объяснить общим для двух поэтов-поповичей влиянием языка Церкви.

И вот это хитросплетение слов, живущих и играющих в железном корсете ломоносовского стиха, способно производить чарующее впечатление на читателя. Оправдывать же близость Петрова ко Двору, истолковывать в каком-нибудь превратном свете его естественные и красивые монархические чувства – во всем этом, по-моему, нет необходимости.

Писатель Эренбург рассказал в своих воспоминаниях, что Ю. Тынянов собирался «объяснить» известные пушкинские стихи 31-го года («Клеветникам России», «Бородинская годовщина») – очень может быть, что и для Василия Петрова отыщется со временем такой Ю. Тынянов, который его «объяснит» и «оправдает». И окажется, что Петров – вопреки своим убеждениям, вопреки



своей вере – был крупным поэтом. Что стихи Петрова – «глубже» или «шире» того, кто их написал.

«Перечитывать заново старого поэта», то есть приспособлять вечную поэзию к современным вкусам, – дело нехитрое и, вообще говоря, прибыльное. Но надо стараться по мере возможности придерживаться более чистых источников дохода.

Петров, как Ломоносов, как Сумароков, как пока что и все русские писатели, – с веком наравне и старательно переводит оду господина Тома «Должности общежития». Но у него самые должности (то есть обязанности) общежития описаны с таким поэтическим огнем, что невозможно их спутать с «должностями» более поздних наших поэтов, уязвленных гражданской скорбью или зудом обличительства. Василий Петров и в общежитии остается Василием Петровым:

*О, срам и студ Европы всей,  
Плачевна наших дней судьбина!  
Любезна должность гражданина  
Забвенна ныне у людей!  
Источник общих благ и сила,  
Священна титла, что родила  
Великих свету душ, увы!  
У нас презреннее плевы...  
.....  
А ты, природы отщепеная,  
Народных бегая соборов  
И кроясь в темноте затворов,  
Прервал с собой всю мира связь.  
Сквозь знаки на лице угрюмы  
В тебе бесплодны видны думы;  
Без упражнения и дел,  
О, как твой дух оледенел!*

Для русского уха есть все же что-то магнетическое в словах «век Екатерины».

«Сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было одно из счастливейших для России, едва ли не всякий из нас пожелал бы жить в нем», – писал хладнокровный, здравомыслящий Карамзин.

А романтик Н. Полевой дал веку Екатерины следующую яркую характеристику: «Отнимая целые царства у Стамбула, Екатерина, не боясь, слышала шведские выстрелы под самым Петербургом, крепкою рукою задушила безумную ярость Пугачева, ослепила всю Европу блеском побед и великолепия, уничтожила Польшу, коснулась скипетром берегов Америки, рассыпала миллионы между подданными. Окруженная роскошью, вкусом, великолепием, умом Европы, людьми, каковы были Потемкин, Румянцев, Суворов, Безбородко, Вяземский, Орлов, Шувалов, Бецкий, Панин, – Екатерина

казалась полубогиней. Ее путешествие в Крым, когда римский император и польский король встретили ее среди избранного европейского общества, среди толпившихся ей на сретение изумленных ее подданных, среди грома и пышности, и когда она, с улыбкой говоря спутникам о взятии Царяграда, указывая на безмерные свои области прибавляла: “Мое маленькое хозяйство идет очень порядочно”, – вот характеристика двора и века Екатерины».

«Роскошь», «вкус», «великолепие» – три слова, которые к поэзии Петрова приложимы вернее, чем к какому-либо другому литературному явлению той баснословной поры. Чтобы сегодня воспринять эту поэзию, требуются усилия, требуются кое-какие знания, – но это не невозможно.

«Ода на великолепный карусель» (первый ее вариант) остается, пожалуй, лучшим созданием Петрова; и атмосфера того давнего праздника, действительно великолепного, может быть нами хотя бы отчасти почувствована прямо сейчас, здесь, на этом месте:

*Убором дорогим покрыты,  
 Дают мах кони грив на ветр;  
 Бразды их пеною облиты,  
 Встает прах выхрем из-под бедр:  
 На них подвижники избранны  
 Несутся в путь, песком усталанный;  
 И кровь в предсердии кипит  
 Душевный дар изнесть на внешность,  
 Явить нетрепетну поспешность;  
 Их честь, их царский взор крепит.  
 Но что за красоты сияют  
 С гремящих верха колесниц,  
 Что рук искусством превышают  
 Диану и ее стрелиц? –*

а это, после торжественного вступления в амфитеатр всех четырех кадрили, начались «дамские на колесницах курсы»:

*Подняв главу из теней мрака,  
 Позорищный услышав шум,  
 Со устремленьем томным зрака  
 Стоит во мгле смущенных дум  
 Бледнеющая Пентезилия,  
 Прискорбный дух и вид имея,  
 Прерывным голосом рекла:  
 «Все б греки в Илионе пали,  
 Коль сии б девы их сражали;  
 Ручьями б кровь их в понт текла.  
 И тщетно было б то коварство,  
 Что плел с Уликсом Диомид:  
 Поднесь стояло б Трои царство  
 И гордый стен Пергамских вид...»*

Вслед Пентесилее Василий Петров выводит для нас «из теней мрака» Салтыкова и Репнина, славного Миниха, который в свои восемьдесят три года был главным судьей каруселя; выводит братьев Орловых:

*Подобный здесь царю пернатых  
Полет в героях вижу двух,  
Желанием хвалы объятых,  
Подвижнических мзды заслуг.  
Сияя видом благородным,  
Являют вдруг очам народным  
Соперничество и родство...*

Г. Макогоненко особенно возмущен тем, что ломоносовский стих, ломоносовские образы используются Петровым для описания всего-навсего «конного состязания перед лицом императрицы». Это-то и есть предел падения оды.

«Ломоносов, славя подвиги русских воинов, которые под предводительством Петра превратили Россию в могучую державу, сравнивал их с героическими римлянами. Петров использует это сравнение, чтобы показать “римский дух”... в братьях Орловых, отличившихся на карусели».

Возмущение Макогоненко очень забавно. Всему свету известно, что братья Орловы отличались не только на каруселе. А обычай воспевать досуги героев, описывать подробнейшим образом их успехи в различных метаниях, единоборствах, конных состязаниях был хорошо известен уже во времена Гомера. Приписывать Петрову изобретение этой традиции – большая, но и чрезмерная все-таки честь.

В своей Хотинской оде Ломоносов десять раз упоминает Анну Иоанновну, проживавшую постоянно в Петербурге, и совсем не говорит про Миниха, хотя именно Миних руководил войском, бравшим Очаков и Хотин. В «Оде на карусель» Петров не просто показывает нам престарелого фельдмаршала, который «лавы раздает» особо отличившимся спортсменам, но и вспоминает прежние его победы – именно они придадут настоящий вес карусельным лаврам.

Что же касается «римского духа в братьях Орловых», то Петров действительно в одном месте своей оды сравнивает Григория Орлова с Децием и Камиллом. Только вряд ли он вычитал это сравнение у Ломоносова: просто Григорий Орлов на каруселе 16 июня возглавлял «римскую» кадрили, соответственно этому был и одет. Орлов Алексей командовал в тот день кадрилию «турецкой» – Петров и сравнивает его с Измаилом, родоначальником агарян, что не означает, наверное, присутствия в братьях Орловых специального турецкого духа.

Замечу попутно, что у меня вызывает белую зависть повышенное самочувствие многих наших литераторов, позволяющее им взирать свысока на Орловых, Потемкина, на саму Екатерину... Какой-нибудь Зошенко, едва возвратившись из позорной поездки по Беломорскому каналу, садится и пишет про графа Алексея Григорьевича Орлова (называя его попросту

«Алешей»): «Будь он жив, мы били бы его в морду при первой встрече». Приятное самообольщение... Орловы, потомки стрельца Адлера, который на плахе поразил Петра I своим хладнокровием и был царем помилован, с чувством страха знакомы вообще не были. А Алексей Орлов еще и шестерку разогнавшихся коней останавливал одной рукой. Так что не очень понятно, какая у мнительного, слабонервного Зошенко могла быть с ним «первая встреча». Впрочем, Орлов держал для бедных дворян открытый стол, за который садилось нередко по сто человек, – вот туда мог бы еще попасть автор «Рассказов о Ленине». А дальше столовой ему нечего было делать в доме Орлова, да его бы и не пустили дальше.

Много пишут сейчас про возрождение духа Древней Эллады в России XIX века (московские и петербургские салоны – «северные Афины», Пушкин – Протей, Периклес – Чаадаев, Баратынский – «счастливый образец изящности афинской», Алкивиад – Леонтьев и проч.) – ничего этого не было бы и не могло бы быть без Екатерины и Петра, без великолепного Потемкина, без флотоводца, духовидца, цареубийцы Алексея Орлова с его «греческими глазами» и «повелительной красотой всего колоссального его вида». Дочь-молитвенница раздала миллионы для облегчения загробной его участи; оградить имя отца от мышиных диверсий отважных советских литераторов оказалось не в ее власти.

Птица Минервы вылетает в сумерках; веку мудрецов и поэтов необходимо должен предшествовать век героев – таков именно и был русский XVIII век.

«Ода на карусель» заканчивается славословием, от которого дух захватывает у современного читателя, не привыкшего к открытому и свободному исповеданию монархических чувств:

*Средь многих божеству приличеств,  
Екатерина новый путь  
Открыла достигать величеств,  
Свой дух вливая в верных грудь.  
Как солнце в целом светит мире,  
Всем виден блеск в ее порфире,  
Без ужаса своих громка,  
Без гордости превознесенна,  
Без унижения смиренна,  
Без всех надменней высока.  
Благополучен я стократно,  
Что в сем живу златом веку...*

Хорошо. Отложив книгу, замечаешь, что чтение тебя освежило и укрепило, что ты встряхнулся, обновился – как будто и в самом деле побывал на площади перед Зимним дворцом, протискивался там между зрителями, крутил головой, волновался:

*Я странный слышу рев музыки!  
То дух мой нежит и бодрит...*

Действительно хорошо. И как-то даже удивительно вспоминать о том, что Петров, скромный московский учитель, не мог быть на представлении 16 июня и описал петербургский «великолепный карусель» заочно.

Интересно, что Державин в стихотворении 96-го года, посвященном «исполину», «*который удержал те нравы, какими древний век блистал*» (то есть посвященном все тому же Алексею Орлову), подступался к изображению «каруселя», память о котором и через тридцать лет была жива, – но ничего запоминающегося создать не сумел.

Василий Петров ушел последним из той славной плеяды стихотворцев-поповичей XVIII столетия (Тредиаковский, Поповский, Дубровский, Барков, Костров), чьи заслуги в деле русификации российской поэзии трудно переоценить. У сумароковцев была рассудочность, иногда рассудочная сентиментальность – живое тепло было только у поповичей.

«*К чему бесплодно спорить с веком?*» Что-то полезное можно было перенять у Вольфа и Баттё, даже у г-на Тома, даже у Вольтера и Б. Франклина – но важно было при этом не сорваться с тысячелетнего корня, устоять на нем, сохранить себя. И выходцам из духовного сословия, коренного, исконно русского, до поры до времени это удавалось.

Строя лиру на чужеземный лад, они сохраняли внутреннее равновесие, благодушие, благоволение к миру – сохраняли, короче говоря, почву под ногами. Русскую почву.

А что же благородное дворянство? Как распорядилось оно дарованной вольностью и чем одолжило во второй половине XVIII века русскую поэзию?



*Николай Александрович  
Львов (1751 – 1803)*

В это время жил в России человек, дворянин, которому принадлежит выдающаяся роль в развитии национальной поэзии, хотя писал он немного и особенно крупным поэтом не был. Я говорю сейчас про Николая Александровича Львова.

Теоретик искусств, эрудит, арбитр изящного (Безбородко, собирая свою знаменитую коллекцию, почти ничего не приобретал без совета Львова), аристократ, вельможа (в царствование Павла – тайный советник), крупнейший архитектор и строитель, рисовальщик, поэт, переводчик, театральный и музыкальный деятель, издатель народных песен – вот далеко не полный перечень талантов и заслуг этого сверхъестественно одаренного человека.

Необычайной была прелесть его лица, образцовой – семейная жизнь.

Но вообще-то наш разговор не о дарованиях. Таланты Бог раздает, и, по справедливому суждению Молчалина, «свой талант у всех». В конечном

счете, не так уж важно, что именно получил ты при рождении даром – поэтический талант или горб на спину. Важно лишь то, как ты распорядился полученным.



*Троицкая церковь (1785-1790),  
архитектор Н. А. Львов*

Львов, обладая «решительной чувствительностью к изящности» (по свидетельству Державина), то есть чувствую красоту очень остро, до слез, всю жизнь делился этой своей способностью с другими. Кружок Львова, славный в истории нашей литературы, – это, конечно, в первую очередь Хемницер, Державин и Капнист: все трое обязаны Львову очень многим. Но к тому же кружку принадлежал, скажем, и двоюродный брат Львова

Федор Петрович, который, будучи любителем и знатоком музыки, занимался сам музыкальным образованием сына, а этот сын – известный нам Алексей Львов, создатель Российского гимна. Левицкий, Кваренги, Бортнянский – легендарные имена и тоже принадлежащие к ближайшему окружению Львова. Все знают, что в России дореформенной много было культурных дворянских семейств; хочется добавить, что иные из них (притом наиболее известные – Бакунины, Муравьевы) получили важный импульс от Николая Львова. Без его влияния история этих семейств сложилась бы по-другому и, возможно, была бы скромнее.

На прошлом чтении мы говорили, что поэт – это обособление, аномалия, что это в каком-то смысле чудовище, способное действительно не щадить для звуков жизни, даже и чужой (вспомните хотя бы стихи Тютчева «*Не верь, не верь поэту, дева...*»). Вот Львов – это как раз аномалия аномалии, то есть именно то, что аномалию исправляет. Он мог бы стать ведущим поэтом в своем поколении, имей он нормальное честолюбие; вместо этого Львов отыскивает повсюду других несчастных, уязвленных красотой, измученных своим даром, и снабжает их необходимыми сведениями, участием, любовью – из личных запасов.

Достижения Львова в поэзии скромны, но не вовсе незаметны. Считается, что он предвосхитил поэзию русского сентиментализма. Дал русскому читателю полного Анакреона, переведенного размером подлинника: этот труд лег в основание анакреонтики Державина и Капниста. Одним из первых у нас перевел Львов и шесть вис легендарного викинга Харальда Сигурдарсона, добивавшегося много лет любви нашей Елизаветы Ярославны, совершившего на суше и на море различные подвиги. Впоследствии А. К. Толстой посвятил этому норвежскому титану две прекрасные баллады; львовская же «Песнь Гаральда Храброго» является переложением не скандинавского текста «Вис Радости», а всего лишь французской их версии – да и скальдическая поэзия в принципе неперевода, – но важно то, что для своего перевода Львов использовал ритмику народной песни «Не звезда блесит далече во чистом поле». А богатырская повесть «Добрыня», начатая Львовым, стала первым в нашей поэзии (и весьма искусным) подражанием былинному эпосу. И именно

Львову принадлежала идея издания знаменитого «Собрания народных русских песен с их голосами», ставшего событием в истории русской литературы и музыкальной культуры.

Таким образом, в середине пышного царствования Екатерины с его классическими и ложноклассическими литературными идеалами чуткий Львов возобновляет поиски национального стихотворного размера, вплотную подходит к мысли о необходимости народности для литературы. Это не «народность» некоторых од и песен Н. П. Николева, писавшего с одинаковой легкостью по-французски, по-итальянски и по-солдатски («Гудошная песнь на случай взятия Очакова»), – это та народность, требование которой, идущее вразрез с генеральной линией века Просвещения, станет программным у немецких романтиков.

Подытоживая сказанное о Львове, заметим: он многое делал первым, но он мало любил своих литературных чад, мало ими занимался и не столько стремился сам подняться на вершину славы, сколько расчищал дорогу вслед идущим. Чтобы проиллюстрировать отношение Львова к своему творческому наследию, приведу отрывок из письма, в котором Николай Александрович сообщает Капнисту о том, что некий общий знакомый «потерял не только все мои сочинения, сколько их ни было, но и записки мои, до художеств касающиеся, и все мои журналы. Нет у меня теперь в библиотеке ни строчки, а в голове ни одной мысли. Я чаю, ты бы за это рассердился. И я бы рассердился, да стал глуп очень, так все равно, прости». Тут вы все видите сами. Разграблены архив и библиотека. Львов сознает, что ненормально не сидеться из-за этого, и оправдывается болезнью и вызванным ею «поглощением». Просит на всякий случай прощения... Ясно, что автором, человеком, пестующим свою самость, Львов быть не может. Его природа, пожалуй, выше авторской.

Слово, которое мне сегодня особенно часто приходится употреблять, есть слово «перевод». Все поэты XVIII столетия что-нибудь да переводят; даже Василий Майков, не зная иностранных языков, переводит с церковно-славянского псалмы. Это понятно. Русская поэзия, хоть и родилась у Ломоносова «красавицей», из детского возраста еще не вышла и должна многое перенимать от старших сестер.

И здесь выплывает на поверхность одна тема – тема деликатного свойства.

В учебной литературе до сих пор чрезвычайно высоко оценивается деятельность Новикова. А судьба Новикова служит обыкновенно наглядным пособием при публичной защите тезиса: «Самодержавие – враг просвещения». В самом деле, с одной стороны мы видим развратную императрицу, которая закрепощает вольных украинских хлебопашцев и раздает награбленные деньги любовникам, с другой – благородного просветителя, который наводняет Россию книгами, заслуживает тем самым неприязнь развратной императрицы и попадает в крепость... Живая картина, контраст разительный.

Действительность, как водится, сложнее.

Культурное строительство во все времена стоило очень дорого, а успехи

истинного просвещения в России XVIII столетия очевидны. Укажем на одну только деталь: античная классика была у нас за эти сто лет переведена и издана практически полностью.

Инициатива в деле усвоения общемировой культуры исходила от правительства, шла сверху; Новиков был один из частных предпринимателей, откликнувшихся снизу на эту инициативу. Тайные цели Новикова, наверное, отличались от благородных и ясных целей правительства (он был видный масон, мартинист), но мы с вами, слава Богу, в масонские тайны не посвящены и говорить о них поэтому не будем. Известно, что Новиков в двадцать раз увеличил оборот книжной торговли в России (об этом можно прочесть в «Обзрении русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского) и приохотил нашу провинцию к беспробудному, запойному чтению, подготовив тем самым фундамент для устройства в будущем Ордена российской интеллигенции. Этой заслуги никто у него не отнимает. Но ведь не Новиков платил Баркову жалованье за его занятия Горацем, не Новиков материально поддерживал семнадцатилетний труд Василия Петрова над переводом «Энеиды»... Скажем наконец грубо и прямо: царское правительство тратило огромные деньги на просвещение, на культурное строительство, и тратило безвозвратно – Новиков на просвещении зарабатывал. И заработал так много денег, так широко развернул с их помощью свое «дело», что мог уже формировать общественное мнение, направляя его на цели, весьма отличные от целей правительства. Впрочем, пострадал он не за это, а за свои связи с заграничными масонами.

Попробуем теперь воскресить метод сравнительных жизнеописаний, излюбленный Плугархом, и в параллель к судьбе Новикова рассмотрим другую писательскую судьбу.



*Ермил Иванович Костров  
(1755-1790)*

Ермил Иванович Костров признается крупнейшим поэтом-переводчиком XVIII столетия. Гнедич в свое время начал переводить «Илиаду» александрийским стихом с той песни, на которой остановился Костров, не рискуя (или просто не находя нужным) вступать с ним в состязание. Суворов во всех походах возил с собою костровский перевод песен Оссиана, называл Кострова любимым своим поэтом и неизменно ему покровительствовал.

А в покровительстве Ермил Иванович нуждался.

М. Дмитриев описывает его так: «Костров – кому это не известно! – был действительно человек пьяный. Вот портрет его: небольшого роста, головка маленькая, несколько курнос, волосы приглажены, тогда как все носили букли и пудрились; колени согнуты, на ногах стоял не твердо и был вообще, что называется, рохля. Добродушен и прост чрезвычайно».

Дальше М. Дмитриев рассказывает о том, как Потемкин однажды



заинтересовался Костровым и пожелал его видеть. И как Дмитриев, Александр Карамзин (брат Николая Михайловича) и другие собирали Кострова в дорогу. Каждый что-то уделил ему из своего платья. Поэта «причесали, обули, привесили ему шпагу, дали шляпу и пустили идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашел; но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, что идти с ним рядом было несколько совестно: Костров и трезвый был не тверд на ногах и шатался». Довели его до дверей Потемкина, втолкнули – и тогда уже разошлись по своим делам.

О чем говорит это описание характера и житейских привычек Ермила Ивановича? Ведь если такой человек, мягко говоря незнатный, абсолютно незащищенный, неприспособленный, притом хронический алкоголик, мог все-таки прожить жизнь, писать и переводить, иметь при университете синекуру (1500 рублей в год), пользоваться вниманием таких людей, как Потемкин, Суворов, Шувалов, Дмитриев, – ну, это говорит о том, на мой взгляд, что горькая участь Новикова не была обязательной для человека, решившегося в царствование Екатерины посвятить жизнь литературе.

Говоря о кружке Львова, я упомянул первый раз имя, которое стоит чрезвычайно высоко в индексе русских поэтов.

На двух чтениях мы с вами перебрали немало славных поэтических имен, относящихся к XVIII столетию; среди них было до сих пор только два имени обязательных: Ломоносов и Кантемир. Простительно не знать Хераскова или Богдановича, могут не дойти руки до Петрова, до Николая Львова – но человек, мнящий себя образованным, обязан хотя бы раз в жизни внимательно прочесть Кантемира и Ломоносова. Это классические наши писатели. Можно учиться правильно говорить по-русски, правильно мыслить на русском языке, не интересуясь тем, как это делали образцовые авторы в XVIII столетии, можно и дом на песке строить без достаточно глубокого фундамента. Не будем обольщаться: Кантемир, Ломоносов устареть не могут. Если русская классика ничего не говорит уму и сердцу нашему, то виноваты в этом как раз ум и сердце, а не классика.

Так вот, третий такой автор на нашем пути, автор классический, это Иван Иванович Хемницер. Когда-то его басни входили в обязательную программу начальной русской школы, теперь самое имя его забывается понемногу.

Отец Хемницера, честный немец, перебрался из Саксонии в Россию, прослужил здесь пятьдесят лет по госпитальной части и умер в бедности. Сын своего отца, Хемницер двадцать четыре года провел на государственной службе и тоже ничего для себя не выслужил. Едва-едва мог он пропитать на свои средства старушку-мать, а уж про женитьбу нечего было и думать.

Как поэт Хемницер пользовался известным признанием. Незадолго до смерти был даже избран в члены Российской академии. Имел прекрасных друзей. Его трудно было не любить – тонкого, застенчивого, отлично образованного, простодушного Хемницера. Имелись среди его друзей и люди влиятельные, состоятельные.

Но ведь это Кострову легко было помочь – накормить, обушь, причесать... Благовоспитанному, безукоризненному в житейских отношениях Хемницеру помочь было не в пример труднее. (И это при том, что Костров, вообще говоря, в год пропивал больше, чем Хемницер проживал.)

Друзья думали о нем, хлопотали, искали для него *местечко* и наконец нашли. Тридцатисемилетний Хемницер назначен был консулом в Смирну. Туда он и отправился скрепя сердце, год промучился в этой гибельной малоазийской Смирне и умер. Кажется, от холеры.

Сочинения Хемницера отличает чистота слога, точность выражений, безыскусность. Что может быть проще такого, например, зачина:

*Какой-то в Лондоне хитрец один сыскался,  
Который публике в листочках обещался,  
Что в узенький кувшин он весь,  
Каков он есть,  
С руками  
И с ногами,  
В такой-то день намерен влезть, –*

или такого:

*Невесть разбойники, невесть мурзы какие,  
Да только люди непростые,  
И двое их всего –  
То есть вот этих только двое,  
А то их всех число совсем другое.*

Простота и прелесть подобных стихов являются, конечно же, результатом труда – очень большого, очень напряженного и в известном смысле неблагодарного. Незаметного. «Что в них *особенного*? Что здесь *нового*?» – скажет или подумает читатель при первом знакомстве с ними.

Гораздо выгоднее для поэта отдаться вполне потоку своих чувств, пусть не отстоявшихся, незрелых, не отчетливых для самого поэта, – и затопить ими читателя, захватить, увлечь за собой... Куда увлечь? Господи, да какая разница! Разве не ясно сказано у Поэта: «...и в дуновении чумы»? Была бы только лирическая сила налицо:

*В кабаках, в переулках, в извивах,  
В электрическом сне наяву...*

Возразить, естественно, нечего.

Разве что вспомнишь лишний раз горькие слова Баратынского: «Поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием; он скучен...» – но и эти слова Баратынского лишний раз напоминают о том же: в промышленную эпоху честное служение в поэзии невыгодно.

Стихи, подобные хемницеровским, рассчитаны на идеального читателя, каких в ином поколении может вообще не родиться или родиться один-два. В таких стихах нет ничего лишнего и случайного: каждое слово, каждый знак препинания стоит на своем месте по смыслу, при этом все они строго поляризованы в поле авторской воли и служат общей идее. Единственной наградой автору за колоссальные издержки времени и материала при выработке таких стихов является их долговечность.

И не то чтобы нам не нравилась сама по себе лирическая сила. И нельзя сказать, чтоб мы считали наготу стиля, отсутствие лишних слов священной обязанностью поэта, – напротив, энергичное выражение, яркий образ сильнее и резче выступают на фоне трех-четырёх бесцветных, «проходных» строк.



*Иван Иванович Хемницер  
(1745-1784)*

Но человек, слишком долго занимавшийся поэзией русских символистов или вдруг прочитавший подряд несколько больших вещей И. Бродского («Авраам и Исаак», «Большая элегия Джону Донну»), где элементарным носителем лирического заряда становится не слово, не строка, даже не строфа, а – страница, скоп, кубическая сажень стихов, каждый из которых сам по себе ничего не стоит, – такой человек с истинным удовольствием возвращается к стихам Хемницера.

Литература о Хемницере невелика. Из крупных критиков один только Н. Полевой посвятил ему отдельную статью. Белинский где-то что-то провещал полуодобрительное о «старике Хемницере». Вяземский отозвался о Хемницере так: «Согласимся, что если нравственная цель басни и постигнута им, то не прокладывал он к ней следов пиитических...» С этим как раз трудно согласиться. Для молодого Вяземского, который со слуха был романтик и дилетантски за романтизм ратоборствовал, классицист Хемницер – педант, не поэт. Но именно педанты ясно никогда не пишут. Педант может быть эпигоном классицизма, романтизма, какого-нибудь другого литературного направления – в любом случае он кропотливо имитирует «следы пиитические» и, не постигнув нравственную цель сочинения, не добравшись до тайной пружины, которой заводится весь механизм, впадает в неряшливое многословие.

А нагота стиля у Хемницера подобна сдержанности благовоспитанного человека, который, возможно, и проигрывает при первом знакомстве холодному позеру с его расчисленными жестами или задушевному молодчику, чья природная доброжелательность подогрета двумя бутылками пива, – но при знакомстве многолетнем раскрывает больше и больше привлекательные стороны своей натуры.

Чтобы нам закончить разговор о Хемницере на мажорной ноте, прочитаем вместе отрывки из бесподобного «Метафизика». Сюжет басни вы, наверное,

помните: отец посылает сына учиться за границу, сын возвращается по-прежнему дураком, но дураком ученым. И вот однажды, «в метафизическом беснуясь размышленьи», он оступается на ровной дороге и попадает в ров, в глубокую яму.

*Отец, который с ним случился,  
Скорее бросился веревку принести –  
Премудрость изо рва на свет произвести;  
А умный между тем детина,  
В той яме сидя, рассуждал:  
«Какая быть могла причина,  
Что оступился я и в этот ров попал?  
Причина, кажется, тому землетрясение,  
А в яму скорое стремленье  
Могло произвести воздушное давленье,  
С землей и с ямою семи планет сношенье...»*

Прибегает отец с веревкой: «Я поташу тебя, держися!» – но студент, сидя на дне ямы, вступает с ним в дискуссию и хочет сначала выяснить вопрос о сущности веревки – какая это вещь? Отец,

*Вопрос ученый оставляя,  
«Веревка вещь, – ему отвечивал, – такая,  
Чтоб ею вытацишь, кто в яму попадет». –  
«На это б выдумать орудие другое! –  
Ученый все свое несет. –  
А это что такое?..  
Веревка! – вервие простое». –  
«Да время надобно! – отец ему на то. –  
А это хоть не ново,  
Да благо уж готово». –  
«Да время что?» –  
«А время вещь такая,  
Которую с глупцом не стану я терять.  
Сиди, – сказал отец, – пока приду опять». –  
Что, если бы вралей и остальных собрать  
И в яму к этому в товарищи послать?..  
Да, яма надобна большая!*

«Метафизик» веселил сердца многих поколений русских школьников. Какие-то глубинные струны народной души – с ее здравомыслием, с ее стремлением к предметности, к конкретности духовного опыта – отзывались на эту басню (в том виде, в каком она существовала до конца XIX века и в каком вы ее сейчас услышали, то есть с поправками Капниста) с благодарностью.

Василий Васильевич Капнист – еще один член кружка Львова. Культурный поэт, поэт тонкий и разнообразный, достигший по меркам своего времени чрезвычайно высокого уровня версификации.

Сын героя, павшего в битве при Гросс-Егерсдорфе. Муж совета, побывавший на своем веку и губернским предводителем дворянства, и директором Императорских театров, и даже генеральным судьей Полтавской губернии. Мужественный человек, боровшийся средствами искусства против произвола судейских чиновников. Друг бедняков, создавший между прочими и такие запоминающиеся, щемящие строки:

*...муж с женою,  
Бежа из родины своей,  
Уносят бедность за спиною,  
А у груди нагих детей.  
Богач! на что ты грабишь нища?..*



*Василий Васильевич  
Капнист (1758-1823)*

Грек по происхождению, Капнист был уроженец и патриот Малороссии. Закрепощение крестьян трех украинских наместничеств, произведенное правительством в мае 1783 года, переживалось им очень тяжело. (Хотя земным раем эти области не были и до 1783 года; Екатерина только ввела в минимальные юридические рамки вековой произвол казачьих старшин.) Ф. Ф. Вигель утверждает даже, что Капнист, как и младший товарищ его Гнедич, постепенно сделался тем, что до Беловежского сговора 1991 года именовалось «украинским сепаратистом».

Советское литературоведение назвало Капниста сентименталистом демократического толка. Разберем это определение.

Сентиментальность есть беспредметная чувствительность. То есть это любовь, но любовь духовно слепая, обращенная на второстепенные объекты в обход объектов существенно важных. Сентиментальность демократическая есть, очевидно, такого же невысокого духовного разбора – ненависть.

После Гоголя, открывшего, что правительство – это мы сами, отыскавшего в себе самом все «ужасы России», после славянофилов, сумевших вскрыть религиозные корни русского европейничанья, отделившего власть от народа, трудно всерьез увлечься мелодичными lamentациями Капниста по поводу «властей» и «царей», они же *«из счастливых людей несчастных и зло из общих благ творят»*. Тем самым «цари» и «власти», то есть современники и соотечественники поэта, люди большей частью незлые и благомыслящие, преобразуются во «врагов народа» времен Французской революции, в «красно-коричневых» современной России, в инопланетных чудищ из американского мультсборника. Психика подобных существ загадочна для нас; налогоплательщику достаточно знать, что все они

безусловно вредны, отвратительны и неисправимы. Что если они не сдаются, их уничтожают. Что не сдаются они никогда...

В общем, я не вижу причин, по которым нам следовало бы теперь читать Капниста. Несмотря на то, что темы его переживаний (произвол чиновников, страдания народа) актуальны сегодня, как никогда раньше, творчество Капниста устарело еще больше, чем творчество Богдановича. Это все та же просветительская линия «помощи правительству», но уже без тени надежды на сотрудничество с ним. Капнист вполне сознательно хвалит императрицу именно за те качества, которых у нее нет и никогда не будет. Это не умеренная оппозиция – это вызов, предшествующий началу боевых действий. От белого каления Капниста уже рукой подать до Радищева и декабристов.

Павел I пригрел Капниста, обласкал, позволил напечатать и поставить на сцене «Ябеду», совершенно невозможную в цензурном отношении и малохудожественную пьесу, но было уже поздно что-либо менять. Капнист закостенел в горделивом отвращении ко злу – к тому наружному, фантастическому, неуловимому злу, которое не мы сами, которое ненавидеть так естественно, так легко и так, к сожалению, бессмысленно. Доброго плода это чувство принести не может.

Любопытно, что в споре о русском гекзаметре Капнист выступил оппонентом Гнедича и Уварова. Капнист считал, что Гнедич, ориентируясь на труды Фосса, немецкого переводчика Гомера, совершает ошибку – занимается «воскрешением Тредиаковщины». Резкое, решительное выступление графа Уварова в защиту Гнедича только и убедило последнего продолжать начатое. Будь воля Капниста, мы бы имели «Илиаду», переведенную былинным размером: «Ой ты гой еси, божественный Гектор». (Кстати сказать, далеко не единственный случай в истории русской, да и мировой культуры, когда «вельможа» оказывался дальновиднее «певца» с его благородными чувствами и узким кругозором – и именно пользы-то приносил больше.)

Последний поэт из кружка Львова, о котором мы будем говорить, это Державин.

Но нелепо, конечно же, представлять Державина членом какого бы то ни было кружка. Державин есть Державин. Четвертый и последний классический поэт русского XVIII столетия. Притом, если мы говорили о редком уме Кантемира, о великой душе Ломоносова, о чистоте служения Хемницера (и эти великолепные качества, скажем так, обнаруживаются в их стихах – при внимательном чтении), то Державин прежде всего поэт, поэт по преимуществу. Главным в его стихах являются, безусловно, сами стихи.

Именно Державин стал первым в России поэтом, которого серьезная критика возвела в высший литературный ранг, признав его поэтом гениальным (Н. Полевой, 1833 год).

Но сегодня время наше закончилось, и я только прочитаю на прощание превосходную характеристику державинской поэзии, принадлежащую Гоголю; мы вместе подумаем над нею, а следующее чтение начнем с развернутого разговора о Державине.

«Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия».

«Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми».

«Исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его воодушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, – все скрипит как телега с невымазанными колесами, и стихотворение – точный труп, оставленный душою. Следы собственного неоконченного образования, как в умственном так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях».

1994



Музей-усадьба Г. Р. Державина

## **Чтение третье**





Считается, что Державин в своем творчестве соединил две линии, по которым развивалась до него русская поэзия и о которых мы достаточно долго говорили на предыдущем чтении, – ломоносовскую и сумароковскую. Но, знаете, как-то трудно говорить о *полном* соединении. Потому что Державин, унаследовав от Ломоносова размах, пафос, мощь создающейся имперской государственности, слишком заметно уступает предшественнику в обдуманности и стройности своих творений. А что касается жанрового разнообразия, объединяющего Державина с Сумароковым, то тут приходится иметь в виду, что Державин, в отличие от Сумарокова, поэт очень неровный и, пробуя силы во многих жанрах, почти во всех жанрах, в которых он пробовал свои силы, писал слабо.

Тем не менее мысль о гениальности Державина (высказанная Н. Полевым главным образом для того, «чтобы живых задеть кадилом» – лишний раз задеть Пушкина и Карамзина: «Гений – Державин, а не эти аристократишки») не вызывает у нас возражений. Безусловно, поэтическое вдохновение, посещавшее Державина, не хуже и не лучше вдохновения, посещавшего других великих поэтов. Оно точно такое же по своему достоинству.

Для романтика Полевого гениальность Державина заключалась по преимуществу в том, что он никого не слушал, а следовал всегда своим минутным настроениям, своим капризам, что и означает, по Полевому, – следовал своему вдохновению.

А вот что думал К. Аксаков о Державине:

«Мощный талант Державина метал иногда, из-под глыб всяческой лжи, молнии истинно русского духа».

Итак, Аксаков и Гоголь (если вы помните еще конец нашего предыдущего чтения) обнаруживают в стихах Державина смещение подлинной гениальности с «глыбами лжи». А эта ложь может быть объяснена недостатком у Державина умственного и нравственного образования.

И по Полевому это так, но с одной существенной оговоркой: Державин, видите ли, «истинный представитель гения России, дикого, неоконченного, неразвитого, но – могучего, как земля русская, крепкого, как душа русская, богатого, как язык русский!» То есть Державин не лживый и не малообразованный, он дикий – дикий и могучий. И могучий оттого, что дикий. Такова вся Россия.

Без недостатков образования, без «глыб лжи» не было бы и гениальности.

Во всем этом необходимо разобраться. Отступим немного и начнем разговор о Державине с самого начала.

В прошлый раз мы с вами вспоминали Богдановича, который первым у нас заговорил о милых пустяках: о женских платьицах, обновках – заговорил вяло и прозаично, но тем не менее имел ошеломляющий успех. Читающая публика того времени знала достаточно твердо, что поэзией интересоваться должно, поскольку поэтов награждают, приближают ко Двору, поскольку сам

Вольтер, сам Фридрих Великий занимаются стишками – таков дух времени, – но что поэзия может толковать о материях общедоступных, легких и приятных, что стихи могут быть занимательными – вот это явилось полной неожиданностью.

Державин первый заговорил о себе – о своем обеде, о своей жене, – заговорил с подлинным воодушевлением, с подлинным поэтическим огнем – и тоже имел успех, поскольку многие его современники имели жен и все без исключения обедали.

Для советской формальной критики (ОПОЯЗ: Эйхенбаум с Тыняновым и легионы их последователей), существуй она в ту пору, все в этой ситуации было бы предельно ясно: «литературный факт», то есть читательский успех, есть в обоих случаях, причины этого успеха надо исследовать, надо писать статью о Богдановиче, писать статью о Державине. (Если, конечно, ученый совет утвердит заявку и партком поставит визу – без этого не стоит и затевать исследований, без этого статью не напечатают, и она не станет «литературным фактом».)

Нас интересует другое. Стихи Державина живут и сегодня, в то время как поэзия Богдановича давно уже стала музейным экспонатом. И сегодня, как двести лет назад, любой из нас, обедаая или сражаясь с женой в подкидного дурака, может с помощью Державина почувствовать за всей этой обыденностью и рутинной – тайну, «соседство инобытия». Вот последнее-то нас и интересует.

Екатерина II, прочитав оду к Фелице, чему-то очень удивилась.

«Кто бы меня так хорошо знал, – говорит она наутро Дашковой, – что я, как дура, плачу?»

Удивляемся и мы. Потому что в «Фелице» – и каждый может в этом убедиться сам – никакого такого углубленного психологического анализа, рентгеновских лучей, – ничего этого в ней нет. Ну что, в самом деле, удивительного или нового в том, что Русская Императрица не ездит в Английский клуб? Пишет полезные указы? Стыдится походить на дикую медведицу? «*И лес рубить не запрещает*»?

Слов нет, Екатерина как женщина любила лести. И была сентиментальна – как немка. Но при этом была она на редкость умным и трезвым человеком. И прежде чем расплакаться над «Фелицей», двадцать лет управляла страной, двадцать лет читала себе похвалы в стихах и в прозе. Сам Ломоносов, мы помним, почтил ее одой уже на десятый день правления. И о Петрове мы с вами говорили достаточно долго.

«Фелица» – произведение, в целом не выдержанное (как и все почти у Державина), но черты подлинного вдохновения, искры подлинного поэтического огня в этой оде выказываются щедро. Причем вдохновение поэта имело источником любовь к великой императрице, заочную, свободную от всякой корысти – духовную любовь.

И этого хватило. Императрица на короткий миг увидела себя преобразенной, увидела (выражаясь высокопарно и, может быть, не совсем точно) Божий замысел о себе, свою *икону* – в общем, увидела то, что каждому человеку дается при крещении и что каждый человек на протяжении жизни

омрачает, искажает, порою просто разбивает вдребезги... До самой смерти Екатерина Алексеевна не могла забыть пережитого: тормошила Державина, авансом награждала – надеялась на повторение чуда.

И тут мы воочию наблюдаем коренной порок искусства: духовное переживание, вызванное стихами, не приводит к улучшениям в духовной жизни. Духовное-то оно духовное, это переживание, но оно, очевидно, **не через те ворота входит**.

Екатерина не обратилась к посту и молитве, чтобы очиститься и сделаться достойной себя самой. Она прибегла к средствам реальным, цивилизованным: стала добиваться повторения прекрасного и потрясающего переживания при помощи золотых табакерок, бриллиантовых перстеньков, синекур, посыпавшихся на Державина как из рога изобилия.

Формула К. Аксакова: «Мощный талант Державина метал иногда, из-под глыб всяческой лжи, молнии истинно русского духа» – примечательна по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, это очень точный и картинный очерк всего державинского творчества. Во-вторых, мы получаем возможность, если Аксаков прав, изучать русскую духовность, узнавать о ней что-то важное – просто по стихам Державина. (Слова «истинно русский дух» могут быть пустой обмолвкой у кого-то другого, но не у Константина Аксакова, гегельянца и славянофила).

И вот мы начинаем вглядываться в державинские стихи и обнаруживаем на каждом шагу странное сочетание неряшества и силы.

Лучшие строфы Державина смело можно уподобить землетрясению – они сокрушительны. Они действительно раскалены и стремительно извергают каменные глыбы и языки пламени.

Вот он грозит неправедным Властителям:

*И вы подобно так падете,  
Как с древ увядший лист падет!  
И вы подобно так умрете,  
Как ваш последний раб умрет!  
Воскресни, Боже! Боже правых!  
И их моленю внемли:  
Приди, суди, карай лукавых  
И будь один Царем земли!*

А вот – застывает в горестном недоумении над чьим-то телом, распостертым в новороссийской степи:

*Чей одр – земля; кров – воздух синь;  
Чертюги – вокруг пустынный вид?  
Не ты ли счастья, славы сын,  
Великолепный князь Тавриды?  
Не ты ли с высоты честей  
Незаметно пал среди степей?*

А этот набросок – поэтические поминки по Суворову:

*Нет, не тиран, не лютый рок,  
Не смерть Суворова сразила:  
Венцедаятель, славы Бог  
Архистратига Михаила  
Послал, небесных вождя сил,  
Да приведет к Нему вождя земного  
Приять возмездия венец,  
Как луч от свода голубого.*

Колоссальная энергия высвобождается в подобных стихах, и самое сильное чувство у их читателя, пожалуй, удивление – оттого, что все остается на месте: буквы, бумага, книга, и можно эти стихи снова и снова перечитывать.

Ну и перечитываешь – и тут же по соседству натыкаешься на такие, например, строчки:

*Какое чувство в россиянах?  
Восторг, восторг – они, а страх  
И ужас турки ощущают;  
Их мох и терны во очах,  
Нам лавр и розы расцветают  
На мавзолеях у вождей,  
Властителей земель, морей, –*

то есть натыкаешься на ребус. Причем невнятность содержания находится тут в правильном соответствии с мелодическим строем: стихи на редкость неблагозвучны.

И подобных строк в поэтическом наследии Державина несчетное множество.

Остается сделать вывод, что перед нами поэзия молодого народа – талантливого, но варварского. Полудикого. Вывод, достойный Французской энциклопедии, притом же – возвращающий нас к мнению Николая Полевого, от которого мы оттолкнулись, начиная этот разговор.

Но мы-то помним, что на момент рождения Державина Русская Церковь имела уже 881 год за плечами и говорить о молодости русской культуры в XVIII веке нам с вами неудобно.

Попробуем взглянуть на дело глазами самого Державина. Что думал он сам о значении поэзии и об обязанностях, налагаемых на поэта его призванием?

«Поэзия, – утверждает Державин, –

*Приятна, сладостна, любезна,  
Как летом вкусный лимонад».*

То есть определенный смысл есть в поэзии, но, считает Державин:

*Хранящий муж честные нравы,  
Творяй свой долг, свои дела,*

*Царю приносит большие славы,  
Чем всех пиитов похвала.*

Дворянские долг и честь, служение Царю, служение Отечеству заведомо важнее любых стихов, а потому:

*За слова – меня пусть гложет,  
За дела – сатирик читит.*

Декларации Державина достаточно прозрачны, за ними сразу же обнаруживается плотный костяк монархического правосознания, которое, по мнению некоторых замечательных мыслителей прошлого, русскому человеку *врождено*. Пафос доверия к власти, пафос служения, верности, культ чести, культ ранга... Державин, имея огромное дарование, не становится его рабом, не становится рифмачом-специалистом, которому смысл и радость бытия заменяют *«ярко-певучие стихи»*.

Невозможно представить себе Державина хлопочущим, подобно Батюшкову, над приданием русскому языку «музыкальных звуков», негодующим на неблагозвучную букву «Ы», на «Щ», на звукосочетание «ТРЫ!» Державина волнуют и вдохновляют Бог, Россия, русская императрица, русская военная слава («певцом величия» назвал его Гоголь). Державин влюблен в жизнь; нравятся ему и такие предметы, имена которых содержат букву «Щ» и букву «Ы»: шука с голубым пером, например. Он и в поэзии видит только часть жизни – неотъемлемую, достаточно скромную.

Но вот он умрет, и пройдет совсем немного времени после его кончины – семь лет, – когда Жуковский вдруг обнаружит, что в сущности-то:

*Жизнь и поэзия одно.*

Положим, Жуковский не собирался провозглашать это с такой резкостью и определенностью: у него все довольно туманно и, во-первых, не всякая жизнь имеется в виду, но только та жизнь, на которую поэзия наводит свой «животворящий луч»; а во-вторых, жизнь и поэзия соединяются в одно только в те минуты, когда вдохновение наводит животворящий луч «на все живое»... Примерно так это у него выглядит.

Жуковский отравлен тонкими ядами предромантизма, немецкой сентиментальностью отравлен и, по сути, грезит наяву. Чувствительность, в которую он погружен, не беспредметна, а прежде-предметна – она предшествует поэтическому акту, так что предмет подбирается уже потом, «под настроение». И получаются стихи, и прекрасные, – но можно ли сказать про них, что вот это и есть жизнь? Вся жизнь, без остатка? Тем не менее это было сказано, а главное – услышано было именно это, только это и запомнилось: *«Жизнь и поэзия одно»*.

Державин, с его полунищенским казанским детством, с его разнообразным практическим опытом: он и рядовым солдатом прослужил десять лет, и не совсем чистой карточной игрой пробовал заниматься, даже человека повесил однажды (во время пугачевского бунта), – Державин никогда и не пытался навести животворящий луч поэзии на *весь* свой жизненный опыт.

Жуковский, мы помним, и смертную казнь хотел опозитизировать: как-нибудь так устроить, чтобы все участники экзекуции получали равную пользу и назидание. Державин не затруднился сам кого-то казнить (по военной необходимости), но зато он и знал твердо, что существует некий люфт между приятной, сладостной поэзией и жизнью, в которой не обойтись без военно-полевых судов и скотобоев, без правильно устроенных солдатских нужников, без ртутной мази, – что жизнь и поэзия, короче говоря, не совпадают полностью.

Русский здравый смысл, трезвость ума, стыдливость русской души, скрывающей за балагурством наиболее глубокие свои прозрения и переживания, свойственны были Державину в высшей степени, и он просто не мог попасться на такую элементарную приманку – не мог принять подслащенную картофельную водку за влагу из Кастальского ключа и, упившись ею, созерцать жизнь и поэзию в их единстве.

Мы с вами говорили уже не раз о великолепном презрении Ломоносова к Сумарокову, к этому человеку, который ни о чем, кроме бедного своего рифмачества, не думает. Остается только подверстать к Ломоносову Державина, вспомнить еще раз формулу: *«За слова – меня пусть гложет, за дела – сатирик читит»* и в заключение пожурить Жуковского за некоторую духовную вялость, за маниловское прекраснодушие – словом, за некоторую порчу, которая была им внесена в канон русской духовности.

Но мы этого делать не будем.

И вот почему. Екатерина II высоко ценила «слова» Державина (хотя русский язык не был для нее родным и каким-то выдающимся знатоком поэзии она не являлась), а вот «дела» Державина (а в делах императрица разбиралась, как никто другой) не приводили ее в восторг. Реквиемом по знаменитой державинской формуле звучат слова императрицы, записанные Храповицким: «В третьем месте не мог ужиться, надобно искать причину в себе самом. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи».

Дела Ломоносова, который сам, в одиночку стал русским университетом, создал мимоходом русский литературный язык, которого хотели, но не могли отставить от Российской академии, потому что Ломоносов больше весил, чем Российская академия, и дела Державина, который служил губернатором в Олонце, служил в Тамбове, заседал в Государственном Совете, всюду горячился, добивался справедливости, нигде ничего не добился, – эти дела несоизмеримы, конечно.

Великий современник Державина преподобный Серафим Саровский учил: «Стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя». Державин, по собственному хвастливому признанию, был «горяч и в правде чорт», то есть он не имел мирного духа. Не мог ужиться с несправедливостью, не мог служить с подлецами. Притом все его обижали: цари, вельможи, заседатель тамбовского земского суда Шишков. Награждали его недостаточно, непропорционально заслугам. Не давали развернуться...

Во времена Державина был в России такой А. П. Крылов, бедный драгунский капитан, который при приближении Пугачева заперся с горсткой людей в Яицком городке и три с половиной месяца выдерживал осаду – без припасов, без надежды, без экзальтации. Городок отстоял, вышел по болезни в отставку и вскоре умер, оставив вдове и двум малолетним сыновьям честное имя. Вдова хлопотала еще о пенсии – пенсии почему-то не дали. Тогда она занялась чтением Псалтыри по покойникам, как-то сама продержалась и детей подняла. Старшего сына Марии Алексеевны Крыловой вы все хорошо знаете – это наш Крылов, баснописец. Получается, что драгунский капитан А. П. Крылов служить мог.

Во времена Державина жили еще в России Безбородко, Панин, Воронцов, Оленин, кавалерист-девица Дурова, флотоводец Ушаков, другие многие – эти все тоже могли служить. Державин служить не мог, очень уж остро чувствовал несправедливость. Рассмотрим несколько примеров этой его чувствительности.

Тридцатилетний Державин принял посильное участие в военных действиях против Пугачева, сумел дважды ускакать на лошади от встретившихся ему неприятельских разъездов (то есть мог и погибнуть), но при распределении наград столкнулся с несправедливостью: имение, пожалованное ему, «было относительно невелико» (оценка произведена Д. Благим), триста душ всего, и неудобно расположено, да и чин достался ему незначительный, шестого класса. Другие получили больше.

Семидесятилетний Державин горько жалуется на эту несправедливость в своих «Записках».

Страдать за правду нелегко, но думающий человек в любых обстоятельствах сохраняет внутреннее равновесие. Так и Державин, в начале царствования Александра I выключенный из числа членов Государственного Совета (но оставшийся сенатором и получивший через год должность министра юстиции), снес эту несправедливость «равнодушно и после утешился, когда избранными в Совет членами, после его отставки, доведено стало государство до близкой в 1812 году гибели».

Закончим разговор о служебной деятельности Державина на этой безумной фразе (извлеченной из тех же «Записок»).

Думается, нам всем более или менее понятно, что Державин, при огромном самомнении его, при вспыльчивости, при совершенно недостаточной для государственного деятеля такого масштаба начальной подготовке, просто не мог служить успешно. Бывает и такое, большого греха в этом нет. Не каждому дается служба. Только при чем здесь: «*За дела – сатирик читит*»?

А если мы обратимся теперь к делам Жуковского: издание ли это образцового для своего времени журнала, успех ли его поэтической миссии «во стане русских воинов» вблизи Тарутина, помощь ли писателям, имеющим значение *мировое*, – разнообразная и действенная помощь, которую он сумел оказать Пушкину, Баратынскому, Гоголю, – перевод ли «Одиссеи», остающийся до сих пор лучшим в нашей литературе, воспитание ли для

России царя (и не самого плохого в русской истории), – то мы увидим, что и Жуковский, не становясь, может быть, вровень с Ломоносовым, все же далеко превосходит Державина значимостью своих дел.

И нам ничего уже не остается, как заговорить о «глыбах лжи», то есть о технической стороне державинской поэзии.

Существует рассказ о том, как Капнист и Дмитриев по просьбе самого Державина готовили к печати первую книгу его стихов.

Гаврила Романович вошел в комнату, в которой поэты занимались пересмотром и сортировкой стихов, увидел, что для печати «отложено небольшое число пьес», взял и опять все перемешал, сказав: «Что ж, вы хотите, чтобы я снова начал жить!» Тем дело и кончилось.

Поступок впечатляющий, конечно, поступок в духе Александра Македонского или Цезаря, – но ведь и последствия такого рода поступков достаточно однозначны.

Попробуйте назвать хотя бы пять-шесть стихотворений Державина, которые были бы лишены каких-то выдающихся технических изъяснов. Это трудно сделать.

«Снигирь», перевод 81 псалма, «Река времен в своем стремлении...», стихи на смерть князя Мещерского, «Лебедь»...

Трудно, очень трудно. То есть сортировку можно и продолжать, но, занимаясь поисками очередного шедевра, вдруг замечаешь, что одно или даже два стихотворения из числа отобранных раньше успели перейти опять в разряд «не выдержанных».

Нехотя вспомнишь синтаксическую головоломку из «Снигирия»:

*Доблестей быв страдалец единых,  
Жить для царей...*

Из «Лебеда» всплывает в памяти не совсем удачное место: это когда народы, составившие россос род, вдруг показывают пальцем на летящего в небе Державина и произносят:

*Вот тот летит, что, строя лиру,  
Языком сердца говорил,  
И, проповедуя мир миру,  
Себя всех счастьем веселил, –*

чувства тут хорошие, но просодия хромеет нестерпимо...

Ничего не получается! Есть поэт Державин, поэт выдающийся, но что касается «Стихотворений Державина», то такой книги нет, она так и не появилась.

Драгоценная руда и пустая порода до того перемешаны в стихах Державина, что рядовому любителю поэзии лучше и не подходить к ним, тут нужен рудокоп: здоровяк и специалист.

Мы с вами говорили на первом чтении о том, что в поэтическом акте соединяются божественное и человеческое, вдохновение и ремесло, – Державин все это опять разделил: упоение и восторг взял себе, а труд, изнурительный и неблагодарный, препоручил читателю.



За три дня до смерти Державин начал писать большое стихотворение «На тленность», но успел сочинить только восемь строк, которые были потом найдены, опубликованы и приобрели широкую известность – вполне заслуженную, надо сказать. Они прекрасны.

И прекрасно то, что Державин, гениальный лирический поэт, находясь в зените славы, окруженный любовью, почтением, восхищением современников, закончил свое поприще словами:

*А если что и остается  
Через звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы, –*

то есть до конца сохранил духовную трезвость, духовное мужество.

Стихи не вечны.

А перед вечностью все прах, все вздор. И если не стоит уповать «*на тщетну власть князей земных*» (как учил вслед царю Давиду Ломоносов), то и на пленительную власть поэтов, сынов гармонии, надеяться тоже не стоит.

«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Не философов и ученых», – записал Паскаль в минуту озарения, перевернувшего его жизнь.

«...И не поэтов», – как бы добавляет Державин от своего жизненного опыта.

Вот первое соображение, которое приходит на ум по поводу превосходного зачина предсмертного державинского стихотворения «На тленность». Второе заключается в том, что будь эта вещь Державиным закончена, он, несомненно, сумел бы ее испортить, и вот эти восемь строк – они просто потускнели бы и затерялись в окружении вымученных и уродливых стихов, которыми так пестрит поэтическое наследие Державина.

А вот что он сам думал о своем творческом пути: «Я хотел парить и не мог постоянно выдерживать красивым набором слов свойственного единственно российскому Пиндару велелепия и пышности. Для того в 1779 году избрал я совершенно особый путь, будучи предводим наставлениями Баттё и советами Львова, Капниста, Хемницера».

Державин прав в том, что ему не судьба была парить вслед Пиндару-Ломоносову, который, по слову Гоголя, «всю русскую землю озирает с какой-то светлой вышины», но он самообольщается, когда полагает, что горацианская «золотая середина», которой проповедником в Новое время и был Баттё, хоть сколько-нибудь ему далась.

Слишком поздно попал он в образованный круг, слишком поздно начал учиться и пользоваться советами Львова, Хемницера, Оленина... Он пришел в литературу сформировавшейся личностью – и личностью достаточно грубой.

Державин не был никогда «культурным человеком» – вот о чем хочется сказать с полной определенностью.

И неряшество, поэтическое и житейское, свойственное Державину, нередко огорчало его более культурных, более просвещенных друзей.

В одном из писем к Капнисту Львов сообщает последние новости о «нашем искреннем приятеле», то есть о Державине, который написал замечательно дурные стихи и, как ни советовал ему Николай Александрович «много вычеркнуть, кое-что поправить», оставил все как было.

Дальше следует экспромт Львова:

*Но можно ль удержатъ советом бурю  
Такого автора, который за столом  
В беседе и с пером  
Все любит тюрю, –*

а потом окончание письма: «Ты утешаешь его стихами о потере Катерины Яковлевны, несравненной сея жены; потому что он говорит – я не хочу учиться... и для того Дарья Алексеевна хочет итить за него замуж. Ну-ка, кто скажи что действительнее?»

Первая жена Державина, которую очень любили и ценили в кружке Львова, которую сам Державин воспел в трогательных стихах под именем Пленеры, умирает в июле, а Дарья Алексеевна, свояченица Львова и член того же дружеского кружка, становится женой Державина в январе. Всего лишь полгода пробыл Державин на положении вдовца: явились потребности... проблемы, связанные с крепостью телесного состава... дух немощен, плоть бодр... что ж, вы хотите, чтобы я снова начал жить?!.. Тонкого Львова все это коробит.

И вот он в сердцах подравнивает Державина к фонвизинскому Митрофанушке.

Сходство, может быть, и есть – микроскопическое. Но только Державина оно не роняет. Торопится ли он заключить второй брак, опасаясь во вдовом состоянии впасть в разврат, отказывается ли править «средственны стишки», хладнокровно полагая, что и такие стишки на что-нибудь сгодятся, вкушает ли с удовольствием тюрю – во всех этих случаях он никакого греха не совершает. Даже и тени греха здесь нет.

Нам понятна досада Львова; понятно и то, что досада такого рода проходит без следа за несколько дней. Не надо ее драматизировать.

Они друзья, Державин и Львов, и каждый в глубине души спокоен за другого, каждый знает, что его друг – благородный человек, благородный дворянин, имеющий прямое понятие о долге и честные правила... После смерти Львова Державин возьмет к себе в дом трех его дочерей, будет хранить память о друге, молитвенную память – вот это важно, а чистота отделки стихов, гастрономическая эрудиция, отменные манеры, тонкий вкус – это все так, томление духа дворянского, «забывшегося от счастья» после 18 февраля 1762 года.

К концу XVIII века секуляризация русской жизни достигла, пожалуй, наивысшей отметки за всю предыдущую (да и последующую) историю России. И культура Львова, Оленина, Ивана Дмитриева – это культура петербургская, европейская. Культура беспочвенная. Традиционный уклад сохраняется в провинции, в медвежьих углах, но и там лишен санкции земных

властей на свое существование, осмеивается зубастыми столичными сатириками и дичает в пугливом отчуждении.

(Никто еще не догадывается о том, что Митрофан, его шальная матушка, Еремеевна – это и есть ближние, каких Бог нам дал, живые люди, грешные, как и мы сами, а все эти Правдины, Стародумы и проч. – сочиненные головные схемы, проклятые манекены из витрины галантерейного магазина – и к ним просто *опасно* привязываться.)

Петровские реформы удались, гигантская стройка заканчивается – вот только здание пока стоит отдельно от фундамента. Чуть в стороне. Считается, что фундамент со временем сам как-нибудь заберется под строение, привлеченный совершенством пропорций и изяществом внутренней отделки.

Никто уже не вспоминает о том, для чего задумывалась при Алексее Михайловиче, для чего велась при Петре Алексеевиче эта колоссальная стройка.

«Отстоять твердо гонимую веру» никак не входит в планы Оленина или Львова. Да и кто ее гонит? Россия сильнее всех и способна сама согнуть в бараний рог кого угодно, а вера... Кто же всерьез думает о таких вещах!

Львов проектирует иногда и православные храмы: ставит, например, на традиционном четверике звонницу, а на звоннице – ротонду, ажурную беседку, игрушечку... Или строит храм в форме кулича, окружая русский кулич ионическими колоннами... Чудные эти строения сохраняются до сих пор, до сих пор возносятся в них моления «за создателей святого храма сего»: настолько уже изощренным мастером был Николай Львов, что в церквах, построенных им, можно при желании и богослужение совершать – хотя, конечно, не это в них главное.

Строит он и приоратский дворец в Гатчине – для мальтийских рыцарей. Почему нет?... Перед зодчим стояла сложная техническая задача – он и решил ее блестяще: создал землебитный дворец, который стоит уже двести лет в сыром петербургском климате, вызывая тем самым почтительное недоумение у специалистов. А только это и было интересно Львову: выстроить из местных материалов достаточно прочное и долговечное землебитное здание. Цели мальтийского ордена, цели католической церкви, тысячелетняя ненависть Рима к Константинополю и Москве, сама «тайна беззакония» – весь этот круг вопросов мог восприниматься Львовым и его единомышленниками, русскими европейцами, лишь как забавный анахронизм, как пережиток темной эпохи, безвозвратно канувшей в прошлое.

А вот молодой Державин, «как воспитан он был в страхе Божиим и родительском», то и послушался советов «тетки по матери двоюродной, Феклы Савишны Блудовой», и порвал завязавшиеся было отношения с масонскими кругами. Он и впоследствии, будучи в силе и в славе, умудрялся не иметь с масонскими сектами ничего общего.

Державину просто повезло. Высокая его покровительница Екатерина II отнестись к масонам не лучше, чем Фекла Савишна Блудова. Болотову, Моговилову отказ вступить в тайные общества стоил карьеры – ну, правда, и приобрели они взамен немало...

Болотов, Державин, Мотовилов – в самой внешности их есть что-то общее, выражающее прежде всего прямодушие, искренность, мужественную твердость:

*О русский бодрственный народ,  
Отечески хранящий нравы!  
Когда расслаб весь смертных род,  
Какой ты не причастен славы?*

Вскользь заметим, что было бы напрасным трудом искать отблесков этой славы на тонких, окутанных меланхолией лицах Хераскова, Львова, молодого Карамзина, Жуковского.

К середине XIX века в России появятся деятели культуры, миряне, в которых высшее европейское просвещение и «отечески нравы» соединятся: сольются в горниле твердого церковного Православия и образуют сплав, по прочности и ценности не уступающий алмазу. Во второй половине XVIII века синтез еще невозможен: время не пришло, не вызрели предпосылки. В Державине вкус к западноевропейской литературе и верность отеческим преданиям пока просто соседствуют – не смешиваясь, не враждуя. Отсюда все шероховатости державинской поэзии, отсюда и ее жизненность.

Ближайшие два поколения поэтов – Карамзин и Дмитриев, Озеров, Батюшков, Жуковский – станут вполне уже европейцами, и, скажем, Дмитриев в старости больше француз, чем одичавшие за годы революции и империи современные ему французы – Дантесы, Кюстины, Растиньяки. Именно поэзия Державина стала мостиком, перекинутым в будущее: к «Беседе» адмирала Шишкова, к Крылову, Грибоедову, Катенину, к зрелому Пушкину – вот настоящие наследники Державина. Опыт Державина, авторитет и обаяние его имени оказались совершенно незаменимым подспорьем в той литературной борьбе, которая продолжалась десятилетия и увенчалась созданием русской классической литературы – последней по времени (а по достоинству, вероятно, первой) литературы в череде великих национальных литератур прошлого.

Наш разговор о Державине слишком затянулся, приходится его сворачивать. Конечно жаль, что о многих особенностях державинского стиля (метафоричность, «словесная живопись») мы не успели поговорить. Но гораздо грустнее то, что разговор наш об этом удивительном поэте – в целом – не состоялся.

Совсем не так следовало бы говорить о нашем «невинном, великом Державине» – в другом тоне, даже и другим языком. Где только их взять? Кто у нас сегодня владеет пламенным словом Языкова или Дениса Давыдова?

*Был век бурный, дивный век,  
Громкий, величавый;  
Был огромный человек,  
Расточитель славы, –*

вот готовая характеристика поэта и его эпохи.

*То был век богатырей!  
Но смешались шапки,  
И полезли из щелей  
Мошки да букашки, –*

а это уже про нас.

Золотое детство Новой русской литературы только попусту тревожит и смущает нас, благополучно доживших до собачьей старости литературы всемирной. Неразвращенный вкус, бодрый ум, порывистые движения, звучный голос – куда деть все это, к чему применить? Нас этому не учили.

«Ты в лучшем веке жил...» – негромкие, мудро-совестливые слова Баратынского, обращенные к Богдановичу, объясняют достаточно много и в нашем отношении к Державину. Примениться к его внутреннему опыту, постигнуть нравственную причину многих его радостей и скорбей для нас так же трудно, как трудно принять на свой счет иные места Книги Бытия. «По рождении Иареда, Малелеил жил восемьсот тридцать лет, и родил сынов и дочерей... Мафусаил жил сто восемьдесят семь лет, и родил Ламеха...» – превосходно, но теперь не живут столько и намного раньше вступают в брак.

Постараемся хотя бы не забывать о том, что был у нас Державин – небывалый, невероятный поэт. И пусть не сбылось предсказание Пушкина, что Державин, переведенный, удивит когда-нибудь Европу; современную Европу может удивить разве что пластмассовая погремушка *уникальной* конструкции, изготовленная по *высочайшей* технологии. Давайте радоваться тому, что мы – русские и можем на родном языке прочесть сегодня и перечесть завтра:

*Необычайным я парнем  
От тленна мира отделяю,  
С душой бессмертною и пеньем,  
Как лебедь, в воздух поднимаю.  
  
В двояком образе нетленный,  
Не задержусь в вратах мытарств;  
Над завистью превознесенный,  
Оставлю под собой блеск царств.*

Православный человек, Державин знает о мытарствах все, но и воздушные мытарства не пугают его в минуту вдохновения. (Поэты вообще умирают легко – конечно, в стихах, а не на деле – и проходят мытарства без запинки. Это профессиональная болезнь: свое дарование, радость творчества, минуты душевного подъема, душевной легкости поэт начинает воспринимать как некий аванс, выданный в счет бесспорных будущих благ. «Ужели некогда погубит во мне Он то, что мыслит, любит...» – ясно же, что не погубит. Совершенно бесподобно стихотворное пожелание, адресованное одним поэтом в горние сферы: «В минуту вдохновенья хотел бы я на Божий суд предстать»!)

*Не заключит меня гробница,  
Средь звезд не превращусь я в прах;  
Но, будто некая цевница,  
С небес раздамся в голосах.*

*И се уж кожа, зрю, перната  
Вкруг стан обтягивает мой;  
Пух на груди, спина крылата,  
Лебяжьей лоснюсь белизной.*

*Лечу, парю – и под собою  
Моря, леса, мир вижу весь;  
Как холм, он высится главою,  
Чтобы услышать Богу песнь.*

Огромный земной шар наплывает на нас, высится над нами, как холм, круглой курчавой своей главою – зачем? Что ему нужно от нас? А вот ему нужно услышать оду «Бог», написанную сорокалетним русским поэтом в Нарве, в небольшом покойчике, нанятом специально для этой работы у одной престарелой немки «с тем, чтобы она ему и кушанье приготавливала...»

Неплохо, правда?

На рубеже столетий происходит стремительная смена литературных стилей, начинается радикальная ломка привычных, устоявшихся правил и норм. В литературе, как и в жизни, все запутывается и усложняется. Пушкин, например, по образованию и воспитанию – французский классик, но приобретает литературную известность как романтик, отдает честь классицизму, достаточно рано приходит к реализму «фламандской школы», сентименталист Дмитриев его переживает.

Постараемся разобраться в этой путанице, как-то определиться со стилями, хоть это и нелегко будет сделать.

В цитате из державинского «Рассуждения о лирической поэзии», которую мы только что разбирали, промелькнуло имя Баттё – не первый раз уже в наших чтениях. Попробуем для начала поговорить о Баттё, о классицизме, о поэтике вообще.

Первая поэтика (притом сохранившая значение до настоящего времени) была написана Аристотелем, стремившимся в своей работе развить и откорректировать более раннее учение Платона.

Согласно Платону, идеи первичны, чувственные вещи только подражают божественным идеям, художник же подражает чувственным вещам. Художник у Платона оказывается «третьим от истины», снимает копии с копий.

Вслед за Платоном Аристотель видит родовую сущность всех видов поэтического искусства в подражании. Но поэзия, по Аристотелю, способна подняться над изображением эмпирических фактов, заговорив об **общем**. Если история, например, говорит только о том, что было («что сказал Алкивиад»), то поэзия способна сказать и о том, что могло бы быть – в

соответствии с правдоподобием и необходимостью. («Что сказал бы Алкивиад, не будь он честолюбцем». «Что сказали бы на его месте Патрокл, Терсит, Мильтиад». «Что *должен* был сказать Алкивиад».)

Платон изгоняет поэтов из идеального Государства. Поэзия социально тлетворна, так как через наше сопереживание подпитывает неблагородные эмоции и влечения души. (Здесь Платон в значительной степени предвосхищает учение Церкви о первородном грехе: интуиция и воображение художника суть «добродетели падшего естества» и сами по себе – сами из себя – не могут способствовать улучшению человеческой природы. Грязный стол не вытрешь дочиста грязной тряпкой).

Аристотель отвечает учением о трагическом катарсисе (очищении). «Трагедия есть подражание <...> через сострадание и страх приводящее к очищению». (Кажется, не все понимают, что тут речь идет об очищении души от аффектов, а не о просветлении или реабилитации самих аффектов).

Учение о трагическом катарсисе всегда имело много сторонников в околотеатральной среде. Оттуда уже «катарсис» (с ударением на втором слоге) проник на телевидение, на радио, так что у современного человека редкий день обходится без столкновения с этим тяжеловесным словом.

К сожалению, сам я почти не бываю в театре, и мне трудно оценить учение Аристотеля о трагическом катарсисе. Охотно допускаю, что случаи очищения через сострадание и страх происходят в зрительном зале ежедневно, если не ежечасно, – но кажется, что очищение души, достигнутое столь нехлопотливым и сравнительно недорогим (цена билета) способом, не бывает особенно долговечным.

Трактат «Об искусстве поэзии» сохранился не полностью, и мы не знаем, какие аргументы приводил Аристотель в защиту лирической поэзии – и приводил ли их вообще.

Идеи Аристотеля легли в основание поэтики Горация и, при ее посредстве, стали фундаментом таких выдающихся памятников французского классицизма, каковы «Поэтическое искусство» Буало (1674) и «Начальные правила словесности» Баттё (1747). Вот о последней работе поговорим подробнее: это аттестат зрелости европейского классицизма.

Принцип подражания прекрасной природе сохраняется здесь: «Одна природа есть предмет всех искусств». Но понятие природы наполняется чрезвычайно богатым содержанием: природа у Баттё четырехчастна. Во-первых, это мир, в котором мы живем: вселенная физическая, вселенная нравственная и вселенная политическая. Во-вторых, это исторический мир, мир прошлого («В воспоминаниях мы дома...»). В третьих, мир баснословный, мифологический – мир олимпийских богов и вымышленных героев. И наконец, «мир идеальный или возможный».

Согласитесь, что подражание природе, понимаемой настолько широко,



Никола Буало (1636 - 1711)

есть уже задача творческая. Но подражать не значит копировать – в этом Баттё тоже следует за Аристотелем. Копия мертва, поэтому копирование живой природы есть ее умерщвление. «Подражание есть то, в чем природа видна не такая, как она есть в себе самой, но какую ей можно быть и какую разум понимать может». Таким образом, художник под контролем разума создает *возможный* мир. Из частей живой природы, воспринятых им в разное время, в разной обстановке, в разных душевных состояниях, он позднее, в минуту вдохновения, создаст такое целое, которое будет «совершеннее самой природы, не переставая, однако ж, быть натуральным».

Высший критерий эстетики доступен разуму – вот самый важный, самый капитальный пункт теории Баттё. Все эти опьяняющие, душегрейные творческие состояния – «озарения» и «экстазы» – не принимаются на веру ученым аббатом. Изображения, «противные естественным законам», отвергаются. Баттё знает, что «иступление» художника нередко оборачивается его «унижением» и «безумием».



*Баттё Шарль (1713 - 1780)*

(Тем самым устанавливается заслон на пути воздействий, которые, вы помните, привели к такому плачевному провалу киево-печерского затворника Никиту, – то есть на пути воздействий демонических. Правда, православная традиция знает, что и разуму человеческому, поврежденному в результате грехопадения, нельзя доверяться всецело. Но для отпавшего Запада теория Баттё может считаться образцом духовной трезвости.)

И наконец, из всего вышесказанного вытекает идея общественной полезности искусства. Окончательная формула Баттё: «Искусства для того подражают прекрасной природе, чтобы нас прельщать, возвышая нас в сферу, совершеннейшую той, в которой мы находимся».

Довольно симпатичная теория – уравновешенная, разумная; в России ее пропагандировал и развивал Мерзляков, учитель (по Московскому университету) Грибоедова, Тютчева и Лермонтова, во Франции – знаменитый Лагарп. Именно на этой теории воспитаны Крылов и Катенин, Пушкин и Баратынский...

И рухнула она не из-за каких-то внутренних нестроений и противоречий, а просто потому, что жизнь, породившая и после подпитывавшая, подпирившая эту теорию, – она иссякла, ушла. Франция, достигшая высшей славы под скипетром Бурбонов, не может больше выносить «монархии прочной, серьезной, требующей подчинения любви», и затемняется отвратительным кровавым балаганом так называемой Великой французской революции.

В эстетику проникают новые идеи – германские.

Кант вводит в основание науки о красоте утилитарный принцип удовольствия; а принцип подражания прекрасной природе, мирно



просуществовавший более двух тысяч лет, отмирает у него сам собою, поскольку действительность непознаваема и природа как вещь в себе для нас закрыта. Гегель отрывает эстетику от земли, трактует историю человеческой культуры как историю самораскрытия Духа, учит, что «искусство должно сделать центром своих изображений божественное».

И эти идеи дают значительный тактический выигрыш, привлекают в сферу искусства дополнительные силы, подключают дополнительные энергии, но стратегически – это начало конца, начало разложения и гибели искусства. Со временем «удовольствие» Канта-читателя неизбежно заменится «удовольствием» читателя комиксов, «божественному» Гегеля придет на смену «божественное» Е. П. Блаватской.

Комикс и Блаватская демократичнее, дают больше потрясающих переживаний на вложенный грош, и окончательное их торжество абсолютно неизбежно в эпоху братства-равенства-свободы, когда «начальство ушло», а точнее сказать – когда насильственно был устранен всякий авторитет, не дававший третьему сословию распоясаться, удерживавший рыночные отношения в ограде рынка, кабацкие – в стенах кабака.

Среди таких Удерживающих на Западе была особенно заметна в течение долгого времени великая классическая традиция, опиравшаяся на Аристотеля, Августина, Аквината.

Любой первокурсник возразит на это, что классицизм во Франции выролдился задолго до революции, что во второй половине XVIII века эпигоны классицизма занимались даже не копированием природы, но копированием античных произведений искусства, признанных образцовыми (то были, как правило, хорошие римские копии с утраченных греческих подлинников), что именно во Франции, в цитадели классицизма, вызрела просветительская идеология и т. д. и т. п.

Разумеется, первокурсник прав, и классицизм – только срединное звено в довольно длинной причинно-следственной цепи, которая выковывалась на христианском Западе после его отпадения от Вселенской Церкви. Нас питает и животворит совсем другая традиция, восходящая от Оригена к великим каппадокийцам, получившая последний мощный импульс в учении св. Григория Паламы.

И все-таки классицизм – это не рядовая веха в истории непрерывно меняющихся литературных и художественных стилей, а поворотный, ключевой пункт в истории западной культуры. И вот почему.

Классицизм был актуален в европейском искусстве почти двести лет, корни классицизма, как мы убедились, были протянуты в глубину тысячелетий; при его разрушении высвободилась колоссальная энергия. Именно этой энергией пропитан европейский романтизм. Но ведь недаром сложена поговорка «Ломать – не строить». Романтизм был хорош в оппозиции, а победив, выдохся лет за тридцать и при этом не оставил после себя ни одного произведения, которое могло бы считаться (в рамках нового стиля) образцовым, классическим. Шекспир, во имя которого романтики сокрушали стеснительные правила классицизма, так и остался Шекспиром,

романтики – романтиками, понятием собирательным. Потом литературные стили мелькают уже как в калейдоскопе; наконец мы нечувствительно оказываемся в сегодняшнем дне, когда нам остается только перетасовывать обломки: пристраивать на русскую печь, оставшуюся от сожженной избы, обломок греческой капители и утешаться остротой такого сочетания.

Это-то конструирование новых ценностей из наличных обломков именуется сегодня звучным термином «постмодернизм», хотя и совпадает, до мельчайших даже деталей, с досужим развлечением обезьян Бандар-Логов, описанных Киплингом в известной сказке.

Ломать больше нечего, строить – с самого начала, по кирпичику – нет ни энергии, ни плана. Похоже, что процесс модернизации классицизма оказался несколько однобоким и вполне необратимым.

Г. Макогоненко определяет коренной недостаток классицизма следующим образом: «Правда должного, а не сущего». Безусловно, отличительная особенность классицизма заключается именно в этом, но является ли эта особенность недостатком – большой вопрос.

Вот, например, грех. И порождение греха – смерть. Их не должно быть, но они существуют. Обязаны ли мы признавать их *правду*, служить этой правде, поклоняться ей? Только об этом спорим мы сейчас с Г. Макогоненко, поскольку от изображения греха классицизм никогда не уклонялся, как и от изображения маленькой человеческой правды, которая присутствует в каждом грехе в виде скрывающей жало приманки. Но классицизм, помимо этих изображений, твердо исповедовал высшие, надличностные принципы, в первую очередь – принцип долга. Вот за это его и упразднили.

Хочется ведь служить своим прихотям, культивировать самые дикие свои фантазии, самые мелкие капризы – и одновременно с этим жить в Истории, прикасаться к Абсолютному... Хочется верить, что есть сущее вне должного.

Но мы опять отвлеклись. На очереди у нас – русский сентиментализм.

Его расцвет приходится на узенький временной промежуток между 1790-м (год возвращения Карамзина из заграничного путешествия) и 1806 годом, когда Дмитриев, находясь в расцвете сил, вернулся в Сенат и простился с поэзией. (Карамзин написал последнее свое стихотворение в 1814 году, но фактически отошел от поэзии на одиннадцать лет раньше.)

Короткое и мирное царствование русского сентиментализма протекало на фоне грандиозных исторических перемен. За эти несколько лет авторитетнейшая монархия Западного мира провалилась в полуподвальную область буржуазных отношений, образовавшаяся воронка грозила затянуть в себя весь мир. Центр тяжести Европы, центр европейского равновесия перемещается на Восток.

Мефистофель у Гете объявляет себя «частью той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Не стоит верить на слово черту, обманщику и клеветнику, но, когда происходит исторический сдвиг *такого* масштаба, добро и зло действительно начинают двоиться, и правильно оценить происходящее становится неимоверно трудно.

Рухнул классицизм, провалилась Франция – и это горестно, это непоправимо. Но провалилась и просветительская вера в разум, в изначальную доброту человеческой природы, рухнул просветительский оптимизм – и это не может не радовать.

Романтизм навсвое пронизан дьявольскими энергиями разрушения, но он же выражает и ностальгию по цельности европейского прошлого – по той цельности, которая сложилась задолго до 1054 года и сохранялась в значительной степени до Реформации: романтизм одним из своих ликов обращен в средние века.



*А. В. Суворов при Нови, 1799*

Из кровавой утробы Великой Французской революции рождается Наполеон, в котором церковное сознание видит одного из ярчайших предтеч антихриста (подробнее об этом можно прочесть у Нилуса: «На берегу Божьей реки», ч. 1), но возникает и реакция на насильственное потрясение мирового порядка – контрреволюция, и Итальянский поход Суворова есть одна из самых блестящих, самых поэтичных страниц мировой истории. Бонапарт четыре года кропотливо трудится над завоеванием Италии, четыре года молодые офицеры французской армии сеют в Италии передовые идеи (отбирая взамен серебряные ложки) – Суворов освобождает страну за четыре месяца, встречает Пасху в Милане, уча пленных революционных генералов чисто выговаривать по-славянски: «Воистину воскрес!» – дарит австрийцам захваченные у общего врага пушки («Где им взять? А мы еще заберем») и уходит умирать на Крюков канал к своему доброму приятелю графу Хвостову – уходит через Альпы, налегке, в родительской шинели и с языком пламени над головой, как то изображено на знаменитой картине Сурикова. Менее известны почему-то задушевные строки Пушкина, обращенные к французскому поэту-бонапартисту:

*Ты помнишь ли, как за горы Суворов  
Перешагнув, напал на вас врасплох?  
Как наш старик трепал вас, живодедов,  
И вас давил на ноготке, как блох? –*

хотя стихи эти, по-моему, являются необходимым дополнением к последнему подвигу Суворова, завершают его в слове точно так же, как эпитафия Симонида завершила и увенчала славное дело при Фермопилах.

И вот эта раздвоенность, всегда проявляющаяся в роковые минуты истории, хорошо известна соборному разуму святой Православной Церкви. «Когда умножился грех, стала призобиловать благодать», – читаем у апостола Павла.

Для людей, ищущих Бога вне церковной ограды и читающих Писание без стесняющих воображение святоотеческих очков, именно эти слова апостола нередко становились камнем преткновения. Древнейшая ересь николаитов, наиболее отвратительные секты сирийского гностицизма – каиниты, сифиты,

адамиты – сходились на том, что грешить нужно как можно больше: тогда, мол, и благодать изольется немерено... Воззрение, никогда не исчезавшее окончательно, к сожалению. В сущности, это только вариация на тему второго искушения Спасителя: «Бог тебя любит, ангелы подхватят – скорей бросайся с крыши вниз». А без этого героического прыжка, добавляет черт шепотом, вовек не приблизятся к тебе ангелы. Кто не рискует, тот не выигрывает и т. д.

Достоевский, необычайно глубоко чувствовавший диалектику отношений света и тьмы, показал в своих романах действие благодатных сил, легко и удобно проникающих в самые грубые, закостеневшие в греховных привычках сердца, – и все эти Мармеладовы, Снегиревы, Митя Карамазов, Шатов никак не потеряны для Божьего милосердия. Но Достоевский показал и путь Ставрогина, Свидригайлова – путь людей, богато наделенных благодатными дарами, но употребивших их на войну против Бога, сумевших с их помощью погубить себя полнее и окончательно, чем то удастся рядовому, недаровитому грешнику.

В России задолго до грозы двенадцатого года начинается невидимая подготовка к этому испытанию, происходит таинственное движение благодатных сил, их перераспределение и концентрация.

В 1779 году при общем ликовании вступает на престол Людовик XVI – и тут же, как бы случайно, против воли, великий старец Паисий Величковский оказывается вблизи российской границы, в Нянце. И здесь же оказываются десятки русских монахов, которые переживают в православных Молдавии и Валахии тот период гонений на монастыри, о котором мы говорили в прошлый раз. Гонения скоро ослабнут, монахи вернутся на родину – но вернутся уже учениками святого Паисия.



*Николай Михайлович  
Карамзин (1766-1826)*

А в ноябре 1778 года происходит совсем уже незаметное событие: купеческий сын Прохор Мошнин поступает послушником в Саровскую пустынь.

Гроза двенадцатого года еще дремлет, но уже и в самой России при взгляде со стороны многое начинает двоиться. Центром сентименталистской эпохи является трагическая личность императора Павла, в котором чистота помыслов и редкое душевное благородство омрачались больше и больше грозной психической болезнью; в центре литературы оказывается двоящаяся фигура Карамзина.

Молодой Карамзин – республиканец, западник, масон. И к этим радикальным достижениям приводит его симпатия к просветительскому идеалу свободной, гармонически развитой личности. Но уже в 1811 году Карамзин, сохраняя все идеалы юности, оказывается в охранителях, в консерваторах, выступает противником либеральных реформ, задуманных императором Александром.

Здесь мы наблюдаем непосредственно картину происходящего исторического перелома: часовой армии свободы мужественно остается на посту, а мир поворачивается – и переносит его вместе с охраняемым постом во вражеский стан. Восемь лет непрерывных триумфов наполеоновской военно-административной машины, восемь лет углубленных занятий русской историей привели Карамзина к неожиданному выводу: наилучшим гарантом гражданских прав и свобод является в России самодержавный строй. (Все-таки права человека остаются для Карамзина на первом месте.)

Крушение классицизма – это крушение идеала героической личности, жертвующей своими склонностями в пользу долга. Ведь если государство – Левиафан, если государь (незловивый и добропорядочный Людовик XVI, к примеру) – тиран, то жертвовать становится нечему и незачем.

Классицизм пал жертвой просветительской идеологии, либерально-атеистическое мироощущение развело его конструкции. Но непригодность для жизни просветительских идеалов обнаруживается достаточно быстро, и сентиментализм – только первый кризис воцарившейся идеологии, ее детская болезнь.

В чем же сущность сентиментализма?

Человек по-прежнему стремится к гражданской свободе, но теперь он стремится к ней не потому, что это разумно и целесообразно (какая уж целесообразность в «штурме Бастилии», где, как на грех, не оказалось 14 июля ни одного арестанта, в обожествленном разуме м-ль Обри, в гражданской войне и массовом терроре), а просто отдельная личность, развиваясь, приобретает настолько уже богатый внутренний мир, что становится невозможным и неприличным держать ее в оковах. А критерий развитости личности, счастливо обнаруженный незадолго до революции, – чувствительность.

Человек рыдает над сдохшим ослом (у Стерна) – значит, человек тонко чувствует, внутренний мир его богат.

И вот эта слезинка, капнувшая на околешую скотину, смывает с человека пути первородного греха, рабский образ с него смывает, и миру является новая тварь: Человек Чувствительный.



Александр Васильевич  
Суворов (1730 – 1800)

Когда классицист Державин напомнил современникам, упивавшимся сентименталистскими стихами и прозой, о том, что Суворов, «скиптры давая, звался рабом», то в этом, помимо перечисления известных фактов, заключался еще и упрек деятелю новой формации, который, не имея еще никаких заслуг, да что там заслуг – из пленок уже высказывал Человеком с большой буквы: «*Не скот, не дерево, не раб, но человек!*»

Упрек Державина, однако, не вызвал переполоха. Его просто не заметили.

Потому что бывают времена, когда все простое, здоровое, ясное перестает восприниматься таким,

каково оно есть, и начинает томить – прискучивает. Когда хочется остренького. «Горя не видел настоящего», – говорят в народе про человека, захваченного такими настроениями. И действительно, эпоха, в которую подобные настроения становятся преобладающими, оканчивается, как правило, катастрофой.

Бестактно было со стороны Державина напоминать о том, что Суворов «спал на соломе». Суворов ведь и о чистоте солдатского белья заботился (сам проверял), и требовал в приказах, «чтоб за каждым батальоном вырыто было по три ямы в назначенный размер, переменять оные через три дня...» – Какое значение могла иметь вся эта казенщина и обыденщина в дни Карамзина, когда открылось, что не мужчинам, а женщинам назначено вести мир к добру и совершенству. Да, женщинам, потому что их натура утонченнее и непосредственнее мужской. А истинная жизнь – жизнь сердца.

Нам трудно понять сегодня, что в этом такого электризирующего: смерть осла, жизнь сердца, мир, который нужно куда-то вести... И живи мы в эпоху Карамзина, мы, может быть, точно так же не понимали бы этого – но тогда мы постыдились бы в этом признаться.

Тут мы сталкиваемся – и в России это впервые проявляется с такой силой, – сталкиваемся с явлением моды. С одной из наихудших ее разновидностей – с модой интеллектуальной.

Молодой Карамзин был современником Ксении Петербургской, жил два года в одном городе с нею и, разумеется, не подозревал о ее существовании. Зато он знал (в числе немногих избранников), что в дальних странах существуют дивные мужи – украшение человечества: Виланд, Лафатер, Тальма... Собственно говоря, для этого он и отправился в свое знаменитое путешествие – чтоб рассказать Виланду и Лафатеру о том, что в России, преображенной гением Лефорты, знают и почитают их имена.

Суворов тоже путешествовал на Запад (во главе вверенных ему полков) и, владея пятью иностранными языками, подолгу общался с эрцгерцогом Карлом, с принцем Конде, с последним польским королем Станиславом Августом, с другими выдающимися представителями западного мира – на их территории. Преимущество Карамзина перед Суворовым заключалось не только в том, что он – писатель и журналист – мог поделиться своим опытом с читающей публикой, но и в том, что его опыт общения с европейскими знаменитостями был читающей публике по плечу.

Карамзин-журналист продолжил дело, начатое Новиковым, хотя программы их журналов на первый взгляд не имеют ничего общего. Моралист Новиков обличал придворные обычаи с позиций внеконфессиональной масонской «духовности»: модный жаргон, эlegantные причуды дворянской молодежи отвергались им на тех же основаниях, на каких отвергались привилегии (а заодно и заслуги перед отечеством) отцов и дедов этих молодых людей. Гуманист Карамзин старался светскость, «людскость» распространить как можно шире, сделать придворные обычаи, придворную культуру достоянием средних слоев общества.

Новиков связан генетически со свирепыми республиканцами Якобинского

клуба, с Катонами и Брутами 1793 года, с героями нашего 14 декабря. Карамзин выступает провозвестником той «буржуазной фальсификации барства» (К. Леонтьев), которая станет основным стилем западноевропейской жизни после 1848 года. Новиков и молодой Карамзин находятся в одном лагере – в лагере либерально-атеистического прогресса, просто их деятельность принадлежит разным стадиям либерального движения.

Именно молодой Карамзин стал в России застрельщиком того процесса, к которому Пушкин готов был снисходительно примениться («*К чему бесплодно спорить с веком?*»), которого полное развитие захватил уже Гоголь, осознавший до конца зловещий смысл происходящих в общественном сознании перемен.

Послушайте, что пишет он в своей последней книге (освистанной Белинским из зальцбруннской подворотни) о моде:

«Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья... Что значат эти странные власти, образовавшиеся помимо законных?.. Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне?.. Газетный листок становится нечувствительно законодателем его не уважающего человека».

Мерно, скупо, как удары великопостного колокола, падают слова Гоголя: «Дьявол выступил уже без маски в мир».

«Московский журнал», где были напечатаны «Письма русского путешественника», пока еще заслуживает уважения. Это еще не «газетный листок» (чем станет журналистика в руках Булгарина и Полевого). Но это уже странная власть.

«Сочинения Карамзина были приняты с необыкновенным восторгом, – рассказывает М. Дмитриев. – Красота языка и чувствительность – вот что очаровало современников. Молодые люди и женщины всегда воспримчивее и к чувствительному и к прекрасному... Их-то любимцем сделался Карамзин как автор...» А эти молодые люди, добавим от себя, будущие царские министры, государственные деятели: Дашков, Блудов, Вяземский.

Очень известный эпизод, связанный с началом литературной деятельности Карамзина, – эпидемия самоубийств, вызванных повестью «Бедная Лиза».

Эпизод, о котором принято вспоминать с умилением, хотя посиневшие лица бедных утопленниц, право же, совсем не милы и не забавны. Но и громы метать, по всей видимости, не в кого: несчастные девицы без того наказаны слишком жестоко, Карамзин в воду никого не толкал и вообще учил не этому.

«Кто виноват?» – Виноватых, как водится, нет.

Между тем механизм дьявольской ловушки в данном случае совершенно открыт, да и сам ловчий, «человекоубийца искони», не маскируется. Учение Церкви (считающей самоубийство самым черным, неискупимым грехом) не опровергается, не подвергается даже сомнению – оно просто не учитывается. «Не спросили, забыли поинтересоваться». Тут сама Истина впервые

становится чем-то неинтересным, пыльным, *старомодным*. Истина больше не обязывает. Истина переходит в ведение благочестивых старух и школьных учителей – Панглов, смешных педантов.

А русский путешественник внимает языку сердца, и какое ему дело до прописных истин, о которых прекрасно сказал поэт-сентименталист Дмитриев:

*Так громко, высоко!.. а нет, не веселит,  
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!*

На дворе новый век, девятнадцатый, и новый критерий подлинности – патентованный, признанный всем цивилизованным миром: чувствительность. «К чему бесплодно спорить с веком?» Чувствительной девушке бережит сердце трогательная участь Лизы, которую все жалеют, все любят, – и так хочется попасть поскорее на ее место, чтобы и тебя все пожалели и полюбили, чтобы жизнь, такая спокойная, однообразная и сытая, приобрела наконец некий высокий смысл. Тем более что теперь, как слышно, именно женщины, чья натура утонченнее и непосредственнее мужской, должны будут вести мир к совершенству... Бултых!

И еще одна деталь духовной биографии молодого Карамзина привлечет наше внимание. Известно, что Робеспьер был некоторое время его кумиром. И есть основания полагать, что симпатию к этой злой личности Карамзин сохранял до конца. Вопреки разуму, вопреки своему пониманию истории гуманный, ясный, неизменно хладнокровный Карамзин был Робеспьером как бы загипнотизирован, зачарован.

Робеспьер и Карамзин... Казалось бы, трудно найти двух более непохожих людей. Бешеный честолюбец, провинциальный Тартюф, заливший кровью родную страну, ненавидевший знатность, богатство, талант, – и русский аристократ, образец душевного благородства, такта, нестяжательности, *«счастливый семьянин, мудрец чистосердечный»*, обожаемый читателями, обласканный царской семьей... Что между ними общего?

Дело в том, что тип мирочувствия у них совпадает. Сентиментальность и жестокость – родные сестры, и Робеспьер, «сентиментальный тигр», был весьма чувствительным человеком в частной жизни: почитал добродетель, невинность, ценил буколические сцены... Карамзин по природе своей не был жесток, и у него кругозор был несравненно шире, богаче запас жизненных наблюдений, чем у кровожадного и узколобого фанатика Робеспьера, но с этим узколобым фанатиком Карамзину оказалось *по пути*. Они сделали одинаковый выбор: живое сердце предпочли мертвому катехизису.

Добро, которое не для Бога делается, становится для них обоих во главу угла. Бог Сам по Себе, добро само по себе. Добро самоценно. «Спешите делать добро...»

Старомодная мудрость Нового Завета («сила Моя совершается в немощи», «что высоко у людей, то мерзость пред Богом») вынуждена ступать перед бурным натиском самородного добра. Причем злой человек чувствует



себя в этой буре как рыба в воде: высокая цель оправдывает любые средства, и можно злодействовать свободно. А с добрым человеком, однажды вступившим на этот путь, ничего особенного не происходит – так, понемногу отступает благодать, понемногу замутняется духовное зрение...

Робеспьера Карамзин, что называется, «видел издали» (присутствовал на его выступлениях в Национальном собрании), а вот Пушкина знал хорошо. И надо сказать, что выбор между двумя знаменитыми современниками не стоил Карамзину большого труда: сердце (а оно, как известно, ошибиться не может), немного поколебавшись, окончательно склонилось к 1818 году на сторону покойного якобинца. Духовная трезвость Пушкина, врожденное ему здравомыслие были восприняты Карамзиным как бесчувственность и цинизм, оттолкнули его от Пушкина. А тигриные свойства Робеспьера не помешали Карамзину любить в этом деятеле главное – его чудную сентиментальность.

Обратимся наконец к стихам Карамзина. Державин высоко ценил их и сетовал на то, что Николай Михайлович уделяет поэзии недостаточно внимания: *«Пой, Карамзин! – И в прозе // Глас слышен соловьян».*

А вот Катенин заметил однажды, что «мудрено восхищаться поэзией прозы юного Карамзина или прозой его стихов», и Катенин, конечно же, прав в том отношении, что стихи у Карамзина не рожденные, а сочиненные, искусно сфабрикованные. Именно прозаичные.

Но и Державин прав не меньше. Стихи Карамзина внесли в нашу книжную поэзию новый звук – и звук русский, В каком-то смысле (достаточно узком) Карамзин более русский поэт, чем все его предшественники.

Вяземский, характеризуя общее «направление лир» Петрова и Державина, пишет о некоторой *напряженности* их стихов – и с этим приходится согласиться. Присущая многим стихам Державина жесткость, уродливые формы, которые приобретает под его властной рукой синтаксический строй русского языка, не одного читателя заставляли помянуть недобрым словом пресловутого татарского предка Державина и его казанское детство. Все это черты не русские, даже не славянские.

А вот Карамзин (хотя фамилия его и содержит татарский корень) не совершает в стихах ни малейшего насилия над языком, покоряется его духу, И мягкость – не чувствительное содержание, а благородная мягкость интонации – придает его скромной Музе славянский вид:

*Блажен не тот, кто всех умнее –  
Ах, нет! он часто всех грустнее, –  
Но тот, кто, будучи глупцом,  
Себя считает мудрецом!*

Или еще:

*Как трудно общество создать!  
Оно устроилось веками;  
Гораздо легче разрушить  
Безумцу с дерзкими руками.*

Рисунок верен, линии проведены твердой рукой, но в этой руке – мягкий карандаш. Не так уж важно, был ли Карамзин поэтом, некая власть над словом была ему дана. Меня стихи Карамзина переносили всегда в атмосферу детства: неповторимая *родительская* интонация у этих прозаичных строчек, их не спутаешь ни с какими другими.

Гердер, рассуждая в своей «Философии истории человечества» о судьбах славян, особенно подчеркивает их мягкий характер.

«Они обрабатывали землю и пользовались ею, их спокойное, бесшумное существование было благодатным для земель, на которых они селились, – пишет Гердер. – Они занимались добычей руды, умели плавить металл, изливать его в формы, они варили соль, изготовляли полотно, сажали плодовые деревья и, как того требовал их характер, вели веселую музыкальную жизнь. Они были милосердны, гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу».

«Коль скоро они не стремились к господству над целым светом и готовы были лучше платить налог, только чтобы землю их оставили в покое, то многие народы, а больше всего немцы, совершили в отношении их великий грех».

«Несчастье этого народа заключалось в том, что он не смог установить долговечного военного строя, хотя у него и не было недостатка в мужестве в минуту бурного сопротивления».

Среди славянских народов только русские сумели создать долговременный военный строй, сумели, по счастливому выражению Случевского:

*Стать царством и народ спасти, –*

но чего это стоило нам!

Настолько силен был натиск с Запада, что Московские цари вынуждены были в конце XVI века ввести крепостное право. (И спустя триста лет тот же Случевский прекрасно напишет о пережитом времени:

*Век крепостничества погас.*

*Но он был нужен, он нас спас, –*

только сначала нужно было пережить эти триста лет.) А спасительные реформы Петра были проведены в жизнь настолько по-немецки, настолько грубой, насильнической рукой, что природная славянская мягкость была в нас подавлена надолго. И только в екатерининскую эпоху она начинает понемногу оттаивать и подавать голос: у Хераскова, у Михаила Муравьева, у Нелединского-Мелецкого, а в полную силу – у Карамзина:

*Все для меня обновилось;*

*Всем веселюсь:*

*Солнцем, зарею, звездами,*

*Ясной луной.*

*Сон мой приятен и кроток;*

*Солнечный луч*

*Снова меня призывает*

*К радостям дня.*

Заслуживает нашего внимания и попытка Карамзина установить стихотворный размер, «совершенно русский» (1795 год, сказочно-богатырская поэма «Илья Муромец»).

Карамзин утверждал, что «почти все наши старинные песни сочинены такими стихами», и на какое-то время ему поверили, на какое-то время сочиненный им размер (нерифмованный четырехстопный хорей с дактилическим окончанием) воцарился в качестве «русского размера», «русского лада». Им пользовался Гнедич при переводе песен Оссиана, использовал его и молодой Пушкин. Во время Отечественной войны, когда возникла нужда в оперативной патриотической поэзии, этот размер работал:

*А Кутузов – щит отечества,  
Мышцей крепкою, высокою  
Сокрушивший тьмы и тысячи  
Колесниц, коней и всадников  
Так, как ветер великий севера  
Истребляет пруги алчные,  
Губит жабы ядовитые,  
Из гнилых болот налезшие  
И на нивах воссмердевшие...*

(А. Ф. Воейков)

Мы с вами говорили на прошлом чтении про попытки Львова в этом роде; теперь мы видим, как Карамзин (примерно в те же годы, что и Львов) пытается залатать брешь, зияющую между книжным стихотворством и народной поэзией. Неблагополучие ощущается лучшими представителями дворянской культуры задолго до выхода на проповедь первых славянофилов.

Крупнейшим поэтом сентименталистской поры стал Иван Иванович Дмитриев. Хотя нужно сразу же оговориться, что по всем своим понятиям Дмитриев – французский классик. Эти понятия он перекладывал (и довольно успешно) на русский язык. А в сентименталисты Дмитриев попал за компанию с Карамзиным, которому был дальним родственником и близким, доверенным другом. Именно Карамзину, хоть он и был младше Дмитриева шестью годами, принадлежала в этом творческом союзе роль лидера и идеолога.

Карамзину же принадлежит и широкоизвестная стихотворная надпись к портрету Дмитриева:

*Министр, поэт и друг: я все тремя словами  
Об нем для похвалы и зависти сказал.  
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал,  
Но рифмы и чины к нему летели сами.*

Действительно, Дмитриев был крупным государственным деятелем, заслуги его перед русской словесностью тоже крупны и бесспорны.



*Иван Иванович  
Дмитриев (1760-1837)*

Я уже говорил о том, что ландшафт русского литературного языка в XVIII столетии резко контрастен: лесные массивы (народная речь), монастырские уголья (церковно-славянский язык), котлованы и пустыри с горами строительного мусора (варваризмы) – вот на этой основе и был создан в следующем веке прекрасный сад нашей классической литературы. А пока что требовалась черновая, подготовительная работа: вырубить лес, озеленить пустырь, переделать келейный корпус и звонницу в павильон Трех Граций... Ломоносов создал теорию, оставил блестящие образцы новой поэзии – требовалось запустить эти образцы в массовое производство, требовалось поднять средний уровень версификации. Над разработкой литературного языка и трудились два поколения русских поэтов в XVIII столетии. Только Державин мог распоряжаться этим необъезженным языком по своей воле, гнал стих через рвы и ухабы, оставляя соперников далеко позади, – зато и дров в этой скачке было им наломано немало. Еще в начале XIX века Херасков, патриарх московского Парнаса, выступает перед молодыми поэтами с программным требованием *гладкости* стиха. («Чистите, чистите, чистите!» – известный призыв Хераскова, одно воспоминание о котором до слез смешило участников «Арзамаса» и через десять лет после смерти Михаила Матвеевича.) Элементарные гладкость и чистота стиха все еще были редки.

Именно Дмитриеву суждено было поднять планку, установить и закрепить новый уровень версификации – и именно тот, на котором она в общем и целом остается по сегодняшний день.

И именно поэтому стихи Дмитриева не читаются сегодня. Дмитриев – очень уважаемое имя в истории литературы, но, кроме известного зачина:

*Стонет сизый голубочек,  
Стонет он и день и ночь;  
Миленький его дружочек  
Отлетел надолго прочь, –*

ни одной отроки Дмитриева на слуху у современного любителя поэзии нет. Стихи Дмитриева сегодня не живут.

Чтобы нам отчетливее представить, отчего и как это произошло, сравним два четверостишия.

Первое называется «Репейник и Фиалка».

*Между Репейником и розовым кустом  
Фиалочка себя от зависти скрывала;  
Безвестною была, но горестей не знала, –  
Тот счастлив, кто своим доволен уголком.*

«Закон природы» – так называется другое четверостишие.

*Фиалка в воздухе свой аромат лила,  
А волк злодействовал в пасущемся народе;  
Он кровожаден был, фиалочка мила:  
Всяк следует своей природе.*

Первое четверостишие принадлежит Дмитриеву. В пятьдесят шесть лет маститый поэт выпускает книгу апологов, нравоучительных четверостиший; всего их в сборнике как раз пятьдесят шесть. Плод многолетних досугов, многолетних раздумий, кропотливый и высококвалифицированный труд (большинство апологов – переводы из второстепенных французских поэтов начала XIX века), лебединая песня Дмитриева...

А «Закон природы» – это плод досугов Языкова и Пушкина. Вот они встретились как-то в Тригорском, раскрыли со скуки книгу Дмитриева, что-то их там насмешило – в результате Языков накатал в два приема двенадцать четверостиший:

*Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей;  
Страшатся цуки крокодила;  
От тигра гибнет волк, а кошка ест мышей,  
Всегда имеет верх над слабостию сила.*

Апологи Языкова, сочиненные в минуту отдыха, не уступают в техническом отношении апологам Дмитриева, написанным всерьез и из последних сил; но ведь стихи Языкова еще и пародия – и на старика Дмитриева, и на жанр нравоучений... Здесь нет литературного соперничества, литературной борьбы. Это – избиение.

Ведь главное требование, которое Дмитриев предъявлял к литературному творчеству, звучит так: «Писать на языке, подходящем к разговорному образованного общества», – вот он и получил язык образованного общества на свою голову. Уж что-что, а обидеть, унижить, выставить в смешном виде – это в светских гостиных умели всегда.

То есть высота, на которую Дмитриев с неимоверным трудом вскарабкался, до которой смог дотянуться (честь ему и хвала за этот подвиг), стала для поэтов Золотого века таким местом, на котором они ели и пили, рождались и умирали – одним словом, жили.

Но есть у Дмитриева вещь, которую и сегодня приятно прочесть: написанная в 1794 году сатира «Чужой толк». Этой сатирой Дмитриев похоронил торжественную хвалебную оду – нормативный жанр в эстетике классицизма, – их перестали писать, их стало неприлично писать после Дмитриевской антиоды.

*Что за диковинка? лет двадцать уж прошло,  
Как мы, напрягли ум, наморщивши чело,  
Со всеусердием всё оды пишем, пишем,  
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим!* –

так начинает Дмитриев и потом, перебрав несколько причин, по которым ода могла разонравиться читателю, начинает просто показывать образ действий записного одописца: вот он разворачивает газетный листок, встречает сообщение о новой победе Суворова в Польше – и неизбежное совершается. Мельница начинает молотить.

*Он тотчас за перо и разом вывел: ода!  
 Потом в один присест: такого дня и года!  
 «Тут как? Пою!.. Иль нет, уж это старина!  
 Не лучше ль: Дажьд мне, Феб!.. Иль так: Не ты одна  
 Попала под пяту, о чалмоносна Порта!  
 Но что же мне прибрать к ней в рифму, кроме черта?  
 Нет, нет! нехорошо; я лучше поброжу  
 И воздухом себя открытым освежу».*

Вот он гуляет на открытом воздухе и размышляет о том, что героя надо же хвалить! Полагается же его с кем-то из прежних героев сравнивать! С кем только?

*С Румянцевым его, иль с Грейгом, иль с Орловым?  
 Как жаль, что древних я не читывал! а с новым –  
 Неловко что-то все. Да просто напишу:  
 Ликуй, Герой! ликуй, Герой ты! – возглашу.  
 Изрядно! Тут же что! Тут надобен восторг!  
 Скажу: Кто завесу мне вечности расторг?  
 Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света  
 И то, и то...*

Полная непринужденность, точность и изящество в каждом жесте, виртуозная передача разговорной речи, – кажется, что Сумароков встал из могилы и расквитался-таки с Ломоносовым за его «надутость» и «ученость». И вот уже читающая Россия, стягнув о себя оковы классических правил, облегченно смеется над дмитриевским педантом, а педант, немного ей подыгрывая,

*Над парюю стихов просиживает ночь,  
 Потееет, думает, чертит и жжет бумагу;  
 А иногда берет такую он отвагу,  
 Что целый год сидит над одою одной!  
 И подлинно уж весь приложит разум свой!  
 Уж прямо самая торжественная ода!  
 Я не могу сказать, какого это рода,  
 Но очень полная, иная в двести строф!  
 Судите ж, сколько тут хороших есть стишков!  
 К тому ж, и в правлах: сперва прочтешь вступлень,  
 Тут предложение, а там и заключение –  
 Точь-в-точь как говорят учены по церквам!  
 Со всем тем нет читать охоты, вижу сам.  
 Возьму ли, например, я оды на победы,  
 Как покорили Крым, как в море гибли шведы;  
 Все тут подробности сраженья нахожу,  
 Где было, как, когда, – короче я скажу:  
 В стихах реляция! прекрасно!.. а зеваю!  
 Я, бросивши ее, другую раскрываю,*

*На праздник иль на что подобное тому:  
Тут найдешь то, чего б нехитрому уму  
Не выдумать и век: зари багряны персты,  
И райский крин, и Феб, и небеса отверсты!*

Кто-нибудь заметит, пожалуй, что в своей сатире Дмитриев неоднократно бьет лежачего, бьет старика Петрова, которому в 1794 году недолго оставалось жить и о котором, кстати сказать, сам Дмитриев в почтовой прозе и в стихах не раз отзывался с большим уважением: «...*вот Петров, // Счастливейший поэт времен Екатерины; // Его герои – исполины; // И сам он по уму и духу был таков*».

Но у литературы свои законы и своя мораль. И Дмитриев, уважая в Петрове поэта и человека, просто не мог с ним не полемизировать. Они, конечно же, антиподы в лирике – певец великих людей и великих дел, пылкий, «громкий» Петров и сдержанный, опрятный Дмитриев с его культом отточенных поэтических безделок.

Кто же из них остался прав в литературном споре? Дмитриев много сделал для разработки литературного языка; Петров, обладая слогом архаичным и шершавым, создавал такие вещи, которые и сегодня, двести с лишним лет спустя, сохраняют свежесть и злободневность («вещий пиит» – так обмолвился о Петрове Пушкин), доходят до самого сердца:

*Война, война висит ужасна,  
Россия, над твоей головой,  
Секване мочь твоя опасна;  
Она рог стерти хочет твой.  
Ты в том винна пред ней едином,  
Что ты ей зришься исполином;  
Ты кедр, а прочи царства – трость.  
Так ты должна болеть, сражаться,  
И в силах ты должна теряться,  
Чтоб ей твоею тратой рость.*

.....  
*Чудовища всеродны ада,  
Все злое, кроме лишь себя,  
Она бы выставити рада,  
Россия, супротив тебя.  
Но турк пошлет свои знамена,  
И аду казнь ее замена.*

После Дмитриева стало невозможно писать такие темные и шершавые стихи (хотя, по существу, в них устарело сегодня только одно слово: «Секвана»), Дмитриев победил. Но сегодня, когда победитель и побежденный давно уже спят в могиле, это никому не интересно. Борьба закончилась, остались стихи Дмитриева и стихи Петрова. Первые, более чистые, более музыкальные, уступают вторым в содержательности и силе.

Очень интересны последние годы Дмитриева: он жил в Москве, в отставке от царской службы и от поэзии – и, надо сказать, в отставке почетной. Он закончил свои дела, красиво закончил, и жил не столько наблюдателем новой, сколько представителем прошлой литературной эпохи.

Пушкин набросал портрет Дмитриева в эти его последние годы:

*...в душистых седилах*

*Старик, по старому шутивший:*

*Отменно тонко и умно,*

*Что нынче несколько смешно.*

Не могу отказать себе в удовольствии и приведу хотя бы две шутки Дмитриева из числа сохранившихся в его обширной переписке.

«Я получил от Хвостова стихи – прощание его с землею. Говорит, что он скоро полетит весь в лучах. Это любопытно было бы видеть».

А вот он, прочтя альбомное стихотворение Шевырева, обращенное к какой-то московской даме: «*Да не полюбишь никогда // Моих стихов, облитых кровью*», – сообщает эти строки своему корреспонденту и добавляет: «Какою? разве из носу, от долгого сиденья за бумагою».

Вяземский, шурин Карамзина, близко знавший Дмитриева, упивавшийся его устными рассказами из времен Екатерины и Павла, ждал чудес от печатных воспоминаний Дмитриева – и был ими жестоко разочарован. Дмитриев в мемуарах официален, сдержан, корректен – застегнут на все пуговицы. Он и лучшие свои вещи – «Чужой толк», «Модную жену» – не хотел включать в итоговое издание своих сочинений. Самобытные и ярко талантливые, эти вещи были единичны, нехарактерны для такого поэта, каким сознавал, каким созидал себя Дмитриев, и нарушали композицию заветного двухтомника. Насилу Вяземский его переубедил.

Современный лиризм предполагает жизнь, расколоченную вдребезги, вывернутую наизнанку душу, *сердце сочащее*, нередко и разбитый нос. А уж за удачную вещь – пусть в тифозной горячке написанную, но *прозвучавшую*, вызвавшую энтузиазм у широкого читателя, – готовы в самом буквальном смысле заложить черту душу. Солгать, украсть...

Дмитриев дорог нам не только потому, что он много сделал, – он и сохранил многое. Человек, предполагающий перешагнуть из этой временной жизни в жизнь вечную, должен многим запастись в дорогу. И писательское целомудрие Дмитриева, я уверен, еще не раз привлечет вдумчивого читателя.

Время, в которое Дмитриев оставил литературу, – время Аустерлица и Тильзита, 1805–1807 годы. И около этого времени не без помощи Дмитриева русская поэзия окончательно мужает и твердо становится на ноги.

Начинает Жуковский – и блестяще начинает. Уже существуют первые гусарские песни Дениса Давыдова. Начинается Батюшков. В расцвете сил и таланта находится Мерзляков, почтеннейший профессор (впоследствии и декан) Московского университета, автор чеканных, тяжелостопных строф «Оды на разрушение Вавилона» и нежнейших, интимно знакомых русскому сердцу песен «Среди долины ровныя...» и «Ах, что ж ты, голубчик, невесел сидишь...»



*Встречаюсь ли с знакомыми –  
 Поклон да был таков;  
 Встречаюсь ли с пригожими –  
 Поклон да пара слов.  
 Одних я сам пугаюся,  
 Другой бежит меня.  
 Все други, все приятели  
 До черного лишь дня!..*

Друг Мерзлякова и друг Жуковского, двадцатидвухлетний Андрей Тургенев умирает в самом начале XIX столетия, успев, однако, написать превосходное стихотворение «К отечеству» и одну из лучших русских элегий «Угрюмой осени мертвящая рука...»

Гнедич упорно трудится над переводом «Илиады», появляются первые басни А. Измайлова.

Обретает литературную известность князь Иван Михайлович Долгоруков, поэт-дилетант, родной внук Натальи Борисовны Шереметевой.

Жизненный подвиг этой замечательной женщины, воспетый в романтической поэме Козлова, увековеченный в несравненных «Своеручных записках...», как-то замысловато контрастирует с основным тоном поэзии ее внука – напористым, несколько даже расхлябанным:

*Парфен! Напрасно ты вздыхаешь  
 О том, что должен жить в степи,  
 Где с горя, с скуки изнываешь.  
 Ты беден – следственно, терпи.  
 Блаженство даром достается  
 Таким, как ты, на небеси;  
 А здесь с поклону все дается.  
 Ты беден – следственно, проси.  
 Иной шага не переступит,  
 С софы не тронется своей,  
 А сходно все достанет, купит.  
 Ты беден – бегай и потей.*

Не правда ли, вам послышались в этих стихах некоторые цинизм, жесточенность? Ничего подобного. Послушайте, что будет дальше:

*О бедность! горько жить с тобою!  
 Нельзя и чувствам воли дать.  
 Я, рассуждая сам с собою,  
 Не мог вовек того понять,  
 Как могут люди быть такие,  
 У коих множество всего,  
 И в том же свете есть другие,  
 У коих вовсе ничего?*



*Алексей Фёдорович  
 Мерзляков (1778-1830)*

И тени цинизма нет, а только обескураживающее простодушие – чисто русская черта характера и вместе с тем отличительная особенность природного таланта, не озабоченного тем, как он выглядит со стороны. В стихах князя Долгорукова нет подтекста, в них до дна выбалтывается (за сто лет до Розанова) взбалмошный, доверчивый и мягкосердечный русский обыватель.

Надо сказать, что Долгоруков, потомок древнего и знатного рода, имевшего почти тысячелетнюю историю, о бедности писал не понаслышке. Имения Долгоруких были конфискованы при Анне Иоанновне; огромное состояние полтавского победителя фельдмаршала Б. П. Шереметева досталось брату Натальи Борисовны, который не уделил и полушки родившемуся в ссылке племяннику Михаилу (и эта несправедливость в какой-то степени способствовала неслыханному расцвету садово-паркового искусства в Кусково, Останкино и Архангельском, дала возможность троюродному брату нашего поэта, не считаясь с общественным мнением, вступить в брак с талантливой актрисой собственного крепостного театра). Не особенно удалась князю Ивану Михайловичу и карьера чиновника.

Впрочем, он сам описал свою жизнь, свои злоключения в большом стихотворении «Я», довольно необычном по той откровенности, с которой автор выболтал о себе все – много даже и совсем лишнего, ненужного.

Вот несколько отрывков из этого стихотворения, посвященных годам учения молодого князя:

*Да что-то я на все тупенек смладу был:*

*Иное не далось, иное позабыл.*

.....

*Что денег Бог пошлет, в минуту сосчитаю,*

*А математики совсем, мой друг, не знаю.*

.....

*Учился фехтовать за дорогую цену,*

*И вечно попадал не в цель, а прямо в стену.*

*Бывал все в барабан бои до одного,*

*А ныне, хоть убей, не помню ничего.*

*В манеже три зимы меня ль не муштровали,*

*Кезде на лошадях всемерно приучали;*

*Но всуе затевать, чего нет на роду:*

*Не только что с коня – с клячонки упаду.*

Бог весть какой величины поэт получился бы из князя Долгорукова, если бы он ответственнее относился к своему таланту. Может быть, и не очень крупной. А так, валяющий экспромтом страницу за страницей, он очень оригинален и мил.

Что-то старомосковское, фамусовское – то есть фамусовские добродушие и любезная откровенность без расчетливости Фамусова, без его житейской хватки...



*Иван Михайлович  
Долгоруков (1764-1823)*

Семен Сергеевич Бобров. Тоже не совсем обычный поэт. Уроженец Ярославля, прибывший в Москву за знаниями и здесь почувствовавший, что не боги, так сказать, горшки обжигают, что в груди Семена Боброва тоже горит огонь, погасить который не властно ни время, *«ни дождь разъедающий, ни жестокий Борей...»*

Талантливость Боброва очевидна, сознание избранничества развилось в нем с необычайной силой; закончилось все это пьянством, чахоткой и безвременной смертью.

Полусумасшедший поэт, но с проблесками гениальности.



*Семен Сергеевич  
Бобров (1763–1810)*

*Какая густота подьѣмлетя седая  
К горящим небесам с простывших сих полей!  
Смотри! почти везде простерлась мгла густая,  
И атмосфера вся очреватела ей!*

*С востока ночь бежит к нам с красными очами... –*

так пишет Бобров (в стихотворении «Прогулка в сумерки»), и уж точно здесь ощущается «соседство инобытия», вот только какого? Мистическая струя, пробивающаяся в творчестве Боброва, мутновата, источник ее сомнителен. Бобров – сын священника, и в своем стремительном взлете он от этого сословия оттолкнулся, влетел в Московский университет, в кружок Новикова, в масонский журнал «Покоящийся трудолюбец», в *«дней Александровых прекрасное начало»* – и сгорел в их атмосфере, которая вот уж действительно «чреватела» густой мистической мглой.

Подобно В. Петрову, Бобров – поэт, который может еще дожидаться своего часа, обрести своего читателя. А при жизни он не знал читательского признания, и это, наверное, справедливо: эстетические притязания Боброва резко своеобразны, имеют мало общего с обычными человеческими представлениями о прекрасном. Боброва интересно изучать, легко восхищаться его стихами – для чтения они не годятся. Находясь в первоклассном поэтическом времени, Бобров нетерпеливо отмахивается от всех утешений, предлагаемых им, и устремляется в будущее – и в будущее, надо сказать, довольно скверное (футуризм, «научная» поэзия). Новатор и экспериментатор по призванию, что хорошего мог он создать, гребя всю жизнь против течения, способного дать (и давшего в следующем поколении) Пушкина, Тютчева, Баратынского?

Знакомясь с жизнью Семена Боброва, трудно отделаться от впечатления, что перед тобой именно *загубленная* жизнь. Бобров посвятил ее борьбе с ломоносовской системой стихосложения – и именно в те годы, когда система наконец заработала, начала на деле раскрывать свой громадный потенциал.

Проще было бы тронувшуюся с места снежную лавину повернуть вспять.

Тимофей Милетский, первый декадент в мировой литературе, ровно за четыреста лет до Рождества Христова написал:

*Старого я не пою: новое мое – лучше!  
Царь наш – юный Зевс, а Кроново царство миновало:  
Прочь, старая Муза! –*

и этими словами, кажется, навечно очертил и исчерпал круг возможностей авангардизма как художественного метода.

Легче легкого прогнать прочь старую Музу – единственная трудность заключается в том, что у юной Музы авангардиста «лучше» – не получается. Получается всегда хуже.

Пушкин – тот не был новатором. Пушкин ни от чего «старого» не отрекался, никаких открытий не сделал, он *все* получил готовым. У Пушкина было превосходное жизненное правило: «На свете дураков нет. У всякого свой ум, мне не скучно ни с кем, начиная от будочника и до царя». И он не скучал, подбирая крупницы золота, рассыпанные здесь и там у старых поэтов (и у Семена Боброва в том числе), и переливая их в совершенно новую, единственную на свете форму – «Жизнь и сочинения Александра Сергеевича Пушкина». А Семен Бобров, отмахнувшийся от опыта предшественников именно потому, что они были «дураки» (не читали Мильтона, Юнга и А. М. Кутузова) и «подлецы» (воспевали царей и цариц, состояли на государственной службе), оставил после себя лишь несколько тысяч стихотворных строк, вычурных и надутых, среди них же и самый снисходительный читатель не сыщет словечка, сказанного в простоте...

Остается сказать несколько слов о знакомстве Боброва с Радищевым. Разумеется, такое знакомство не могло сойти безнаказанно для более слабой (т.е. более разносторонней, менее фанатичной) натуры Семена Сергеевича. Многолетняя его борьба против рифмованных стихов, против силлаботонической системы стихосложения обычно и объясняется влиянием Радищева, для которого рифма и метр были лишь малой частью отвратительного старого миропорядка, подлежащего полному искоренению. Радищев, в свою очередь, высоко ценил творчество Боброва и, собравшись однажды посетить Крым, предполагал взять с собою плащ «для тумана, а Боброва в услажденье».

Первый русский революционер, собирающийся усладиться стихами первого русского авангардиста... Запомним на будущее эту многозначительную картину.

Не приходится сомневаться в том, что из Боброва сделали бы литературную знаменитость, родись он на сто лет позже; для своего времени, более уравновешенного, более нормального, он стал посмешищем.

Вяземский откликнулся на смерть Боброва эпиграммой:

*Нет спора, что Бибрис богов языком пел,  
Из смертных бо никто его не разумел.*

Очень характерно то, что молодые карамзинисты, будущие арзамасцы, ценившие в жизни все высокое, культивировавшие наивно-возвышенные представления о значении поэтического искусства для судеб мира, высоты и святости обыденной жизни совсем не чувствовали и не понимали.

Наполеоном ли стать на Аркольском мосту, броситься ли в пруд Бедной Лизой, но выделиться, «выйти из толпы» (по известному выражению Пушкина), прозвучать, так сказать, полнозвучным аккордом – без этого и жить не стоит.

И вот эти молодые люди непрерывно играют – с жизнью и со смертью, – то так, то этак заставляют повернуться пресловую индейку-судьбу: вдруг да прозвучит вожденный аккорд и восхищенный мир заплещет... Все они страшно деятельны, энергичны, шумят и хохочут, вечно куда-то спешат, скачут – и это определенно одержимость, хотя пока что и в легкой форме. Пока их просто «несет» – они как бы катятся с пологой ледяной горки, и даровое движение веселит их, будоражит кровь. («*Вези куда-нибудь*» – последнее слово известнейшего деятеля этой формации, завсегдагая тайных обществ и литературных кружков великолепного Репетилова).

Заигравшийся Вяземский пишет на смерть Боброва две эпиграммы и один шуточный некролог. Любой идиот понимает, что перед лицом смерти (во всяком случае – чужой) шутить нехорошо, непристойно, – умный Вяземский этого уже не понимает. А ведь Бобров не был даже литературным противником Вяземского и его веселых друзей. Просто общее внимание было на несколько дней привлечено к личности усопшего (что и естественно), давняя репутация поэта-неудачника, спяну воображавшего себя гением, делала из этой личности легкую мишень для сатирика – вот Вяземский и расстрелял мимоходом эту мишень, просто практики ради.

Другое дело князь С. А. Ширинский-Шихматов. То был кровный враг, член первого разряда «Беседы любителей русского слова», и с ним перестали церемониться задолго до смерти.

Шихматов начал печататься в 23 года, а уже в 26 лет стал членом Российской академии – быстрый успех. Знаменитый адмирал Шишков (о нем, как и о созданной им «Беседе», весь разговор впереди) «открыл» молодого поэта и стал на долгие годы почитателем и покровителем его таланта. Покровительство в данном случае было у места. Сын отставного поручика (почти как князь Мышкин у Достоевского), князь Ширинский-Шихматов был небогат, болезненно застенчив, не имел связей в литературном и придворном мире. Шишков ввел его в общество (А. Измайлов посвятил этому событию отдельную басню, довольно злобную, под названием «Шут в парике»), выхлопотал и пенсию от Императорского Двора в полторы тысячи рублей.

Природная нерасположенность карамзинистов к Шихматову была этим покровительством усилена до крайности. Александр Семенович Шишков, *угрюмый славенофил*, являлся еще с 1803 года главным врагом карамзинистов, но заслуги перед родной страной, соответствующий заслугам чин, личное благородство – все это затрудняло применение против него обычных приемов литературной борьбы. Наглая фамильярность и зубоскальство, замалчивание и апелляция к городовому были здесь одинаково неудобны, не подходили, так сказать, к лицу... Безвестного, нечиновного Шихматова, прослужившего четверть века простым воспитателем в Морском кадетском корпусе, нетрудно было залагать – и тем самым огорчить, потревожить неуязвимого Шишкова.

Шихматов, болезненно переносивший нападки карамзинистов, довольно рано оставил литературу и, имея вообще склонение к духовной жизни, принял монашество. Умер он в Афинах (где был настоятелем посольской церкви) в один год с Пушкиным и Дмитриевым. Архимандрит Аникита – заметное, уважаемое имя в истории Русской Церкви. С ним связано, в частности, возобновление Старого Руссика на Афоне.

Литературную известность принесли Шихматову его лиро-эпические поэмы. «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» – самая ранняя из них и наиболее известная (по крайней мере, вызвавшая наибольшее число пародий и эпиграмм). Вот маленький отрывок из этой поэмы, живописующий поединок русского ополченца с сарматом у стен Москвы:

*Пылая мужеством обильным,  
Алкая славы и хвалы,  
Среди курения и мглы,  
Спешит сразиться сильный с сильным.  
Победой увенчать чело,  
Врага низвергнуть в мрачность гроба.  
Стеклись, сразились, пали оба,  
И солнце жизни их зашло.*

Уровень версификационного мастерства Ширинского-Шихматова исключительно высок. Современники прозвали поэта «Ширинским-безглагольным», поскольку он, создавая большие эпические полотна, умел обходиться вовсе без глагольных рифм. («Как жалко мне, что он частей и прочих речи, //Как и глаголы, не щадил», – писал по этому поводу Вяземский.)

Трудно представить, однако, что мастерски написанные поэмы Шихматова обретут когда-нибудь вторую жизнь, снова окажутся в широком обращении. Им недостает рукотворности, художественного беспорядка. Шихматов прирожденный лирик, сильный лирик, но однообразный – это какой-то педант в лирике. Ровный накал стихов Шихматова сообщает его творчеству колорит искусственности, безжизненности.

(Давно замечено, что поэты «Беседы», известные всему свету как ретрограды и обскуранты, бессильные враги благих преобразований Карамзина, были в своей поэтической практике гораздо ближе к нарождавшемуся на Западе романтизму, чем их противники. Безусловно, это говорит о талантливости беседчиков, об их художественном чутье, но еще больше – о той фантастической, предгрозовой духовной атмосфере, которой «очревател» на рубеже столетий официальный Петербург и которая отразилась законным порядком в деятельности полуофициальной «Беседы любителей русского слова». Молодые же карамзинисты Петербурга не любили, Москву презирали, с английским предромантизмом знакомы не были, германской философией не интересовались – высшим авторитетом в литературе еще долго оставался для них покойный Вольтер.)



*Сергей Александрович  
Ширинский-Шихматов  
(1783 – 1837)*

Творчество Шихматова целиком принадлежит предромантизму. Очевидные для нас сегодня недостатки его поэм (перенапряженность, условная психология героев) как раз и были для своего времени серьезным художественным открытием, прорывом к новой, романтической поэзии. Этим и объясняется их успех у читателя 10-х годов. Но уже к середине 20-х годов на гребне литературной моды оказываются поэмы Пушкина и Козлова, в которых те же недостатки сгущены, очищены от посторонних примесей, возведены в степень нового стиля. Поэмы Шихматова стремительно и бесспоротно устаревают.

«Беседа» была обществом ретроградным, охранительным, то есть по определению неагрессивным. Инициатива в литературной борьбе принадлежала с самого начала карамзинистам, беседчикам оставалось только огрызаться. Все же и у «Беседы» имелись свои поэты-сатирики. Среди них очень заметен князь Д. П. Горчаков.

Крупная личность и крупный характер, сформированный веком Екатерины, храбрый офицер, лично известный Кутузову и Суворову, отставной коллежский советник, мирно скончавшийся в Москве за год до событий 14 декабря, – классицист, член академии, религиозный вольнодумец и суровый патриот. «Русский Ювенал».

Стихи Горчакова предназначались узкому кругу знатоков и единомышленников. Все, что размещалось за пределами этого избранного кружка (печать, морочащая олухов; олухи, способные восторгаться слащавой и мутной «коцебятиной»), было Горчакову малосимпатично и просто неинтересно.

Автор крылатых слов:

*И наконец я зрю в стране моей родной  
Журналов тысячи, а книги ни одной! –*

не мог соблазниться участием в начинавшемся на Святой Руси «литературном процессе».

Библиография печатных трудов Д. П. Горчакова вполне уникальна: она включает в себя как раз одну книгу, одну-единственную, изданную внучкой поэта в 1890 году. Но и это издание, по авторитетной оценке Ермаковой-Битнер, не имеет «никакой научной ценности». Проблематична и научная ценность будущих изданий Горчакова (если они будут, конечно): архив поэта давно сгорел, рукописи погибли... Певец, «презревший печать» (слова Пушкина о князе Горчакове), почти не оставил материальных следов в литературе, промелькнул в ней какой-то тенью.

И в одном, по крайней мере, отношении эта тень была **черной**: известно, что современники долго пугались в вопросе, кому же все-таки принадлежит авторство пресловутой «Гавриилиады» – двадцатилетнему шалопаю Пушкину или шестидесятилетнему члену академии Горчакову (бывшему, кстати сказать, почетным гостем на публичном экзамене в Лицее 8 января 1815 года – наряду с Державиным)? Советское литературоведение взлелеяло даже мечту о двух «Гавриилиадах», из которых вторая, горчаковская, просто затерялась до времени.

Ключом к религиозному безмыслию князя Дмитрия Петровича могут служить следующие его строки:



*Дмитрий Петрович  
Горчаков (1758–1824)*

*Мы слишком в жизни сей страдали,  
Чтоб мучить нас еще в другой.*

Поэтические страдания князя имеют четкую биографическую основу: имея призвание к военной службе, но дослужившись к двадцати двум годам только до майорского чина, он вышел в отставку, «оскорбленный тем, что его заслуги недостаточно оценили в высших сферах».

Суворов вступил в Семеновский полк четырнадцать лет и в двадцать два года был еще сержантом, но пример Суворова, как мы уже замечали, не был в центре внимания лучших литературных сил страны. Следуя за князем Горчаковым, мы вступаем в совершенно новый период русской политической истории. Именно с этого времени обида на Бога и на царское правительство, которые «не ценят заслуг» и вообще «бездарны», проникает в среду русского дворянства. А через десять-двадцать лет она уже полыхает по всей стране, приобретает характер грозного эпидемического заболевания.

«Россия дурно управляется» – вот полное исповедание новой веры, вдохновившей декабристов на попытку военного переворота. «Хуже не будет». «Пусть я прапорщик и ничему не учился, но уж конечно не глупее Аракчеева». «Как-нибудь справлюсь с управлением хозяйством и финансами России, раз с этим справляется Аракчеев». «В странах, где нет Аракчеева, виноград и персики поспевают к середине лета. Я это видел своими глазами во время заграничного похода 1813–1814 годов». И т. д. и т. п.

Но о декабристах, об их незамысловатой вере весь разговор впереди.

Пока что отметим следующее: благородного Горчакова равнодушие высших сфер не сделало политическим заговорщиком.

Вражду с Карамзиным в литературе (вот, например, реплика Горчакова на «Письма русского путешественника»:

*А сей, вообразив, что он Российский Стерн,  
Жемчужну льет слезу на шелковистый дерн,  
Приветствует луну и входит в восхищенье,  
Курсивом прописав змее свое прощенье, –*

в меткости ей не откажешь), Горчаков в политике оказывается союзником зрелого Карамзина, принадлежит к партии консервативной оппозиции, к партии противников скоропалительных либеральных реформ, затеянных Александром I в начале своего царствования.

Скажу еще раз о том, что эти годы – время величайшей духовной смуты, величайшего духовного соблазна. Даже и сегодня, спустя двести лет, невозможно понять до конца, что было тогда «хорошо» для России, что



«плохо»: вольтерьянское безбожие или масонская духовность, либерализм Сперанского или консерватизм Шишкова. Все двойся. Князь Горчаков, поклонник Вольтера и Гельвеция, и князь Ширинский-Шихматов, сотрудник архимандрита Фотия по переводу «Православного исповедования», мирно сотрудничают в консервативной «Беседе», пиетист Жуковский и вольтерьянец Вяземский оказываются соратниками в рядах либерального «Арзамаса». Граф Уваров, выдающийся министр просвещения николаевской эпохи, автор исторического акта (1832 год), провозгласившего Православие, Самодержавие и Народность основами русского государственного строя, входит в эти годы в «Беседу» и в «Арзамас» одновременно, является также членом масонской ложи Фесслера – этого сциентиста, которого Сперанский пригласил в Россию на должность профессора Духовной академии...

*Смотри! почти везде простерлась мгла густая,  
И атмосфера вся очреватела ей! –*

только и остается сказать в заключение. Соблазн и муть, почти непроницаемые, – вот что такое «дней Александровых прекрасное начало».

Г. В. Флоровский в «Путиях русского богословия» указал на историческую заслугу русского масонства: именно оно противостояло долгие годы вольтерьянству, «подлинной болезни, нравственной и душевной», и вызвало-таки в обществе спасительную реакцию – «духовное пробуждение <...> от тяжкого духовного обморока». Не меньшей похвалы (но и не большей) заслуживает русское вольтерьянство, в меру своих сил оберегавшее общество от мутного мистицизма розенкрейцеров.

Два зверя, безбожие и оккультизм, спорили между собой за русскую душу и надолго ослабили один другого. Поле осталось за терпеливым и мудрым Филаретом, митрополитом Московским.

К 1831 году, когда Жуковский, выученик масонского Благородного пансиона, и бывший вольтерьянец Пушкин смогли выступить совместно, издав сборник патриотических стихов «На взятие Варшавы», борьба в основном была уже закончена.

А в 1811 году, казалось, нечего было и мечтать о благоприятном ее исходе. Зло безнаказанно вызревало и наливалось. Наполеон, «сын Революции <...> ужасной», тяготел над миром; Россия униженно следовала в фарватере французской политики, имевшей целью создание мирового правительства.

В 1811 году один из главных карамзинистов Василий Львович Пушкин создает своего «Опасного соседа» – бурлескную поэму, в которой описан, и очень живо, очень талантливо, быт московской бордели. Здесь же ниспровергнут лишний раз «угрюмый певец», «славянофилов кум» Ширинский-Шихматов; но особенно крепко достается в поэме князю А. А. Шаховскому.

Поучительна история вражды, которую добродушный и легкомысленный Василий Львович питал к Шаховскому на протяжении десятилетий. Возникла она следующим образом. Шаховской, первый комедиограф своего времени, в

комедии «Новый Стерн» (1803 г.) высмеял двух посредственных литераторов, эпигонов Карамзина, Шаликова и В. Измайлова. Забавная комедия, которую и сегодня можно прочесть без скуки, имела большой успех у современников. Всем вдруг стало понятно, что истинная чувствительность (если таковая существует) должна отличаться от ложной чувствительности графа Пронского. «Удар, нанесенный Шаховским, был так силен, – пишет советский исследователь Гозенпуд, – что сентименталисты <...> уже не могли оправиться». Сказать или сделать что-нибудь чувствительное сверх того, что уже было изображено Шаховским в его одноактной комедии, оказалось невозможным, и сентиментализм мирно испустил дух.

В 1810 году В. Л. Пушкин выступает в печати с программным посланием «К В. А. Жуковскому», заключительная (и лучшая) часть послания была посвящена личности и учению адмирала Шишкова:

*Арист душою добр, но автор он дурной  
И нам от книг его нет пользы никакой;  
В странице каждой он слог древний выхваляет  
И Русским всем словам прямой источник знает:  
Что нужды? Толстый том, где зависть лишь видна,  
Не есть Лагарпов курс, а пагуба одна.  
В Славянском языке и сам я пользу вижу,  
Но вкус я варварский гоню и ненавижу.  
В душе своей ношу к изящному любовь;  
Творенье без идей мою волнует кровь.  
Слов много затвердить не есть еще ученье;  
Нам нужны не слова, нам нужно просвещение.*



*Александр Александрович  
Шаховской (1777–1846)*

То есть образованный человек, деятель русской культуры, не обязан разбираться в языке русского богослужения. Развивать и совершенствовать свой вкус, изучать 16-томный курс эстетики, составленный Лагарпом, – вот первоочередные задачи, стоящие перед писателем в России.

Князь Шаховской поднимает перчатку, брошенную Шишкову. В ироикомической поэме «Расхищенные шубы», над которой работал в это время Шаховской, появляется проходной персонаж по имени Спондей, любитель покушать. Когда Гашпар, главный герой поэмы, выступает в некоем собрании с затянувшейся речью, Спондей внезапно выстреливает в него последними четырьмя стихами из послания «К В. А. Жуковскому» (только расположенными в обратном порядке) и заканчивает свою эскападу настойчивой просьбой говорить «кратче» – дело в том, что пробило десять часов и Спондею пора завтракать.

Вот и все. В ответ на эту обиду и появляется в «Опасном соседе» отрывок, посвященный Шаховскому. Этого автора, по мысли В. Л. Пушкина, могут читать и ценить только в таких местах, где:

*Пуни, пиво и табак стояли на столе.  
С широкой задницей, с угрями на челе,*

*Вся провонявшая и чесноком и водкой,  
Сидела сводня тут с известною красоткой.  
.....  
Две гости дюжие смеялись, рассуждали  
И Стерна Нового как диво величали.  
Прямой талант везде защитников найдет!  
Но вот кривой лакей им кофе подает...*

Так родился полемический прием, которому суждено было расцвести пышным цветом в русской демократической поэзии 60-х годов XIX века.

Читающая публика, жадная до всякой новизны, приняла с восторгом и эту новинку: слова «прямой талант везде защитников найдет» надолго стали пословицей. Сам Василий Львович, перечисляя на старости лет свои заслуги перед Поэзией и Правдой, особенно выделил эту:

*Я злого Гашпара убил одним стихом.*

И вот здесь стоит остановиться и задуматься.

Безусловно, «Расхищенные шубы» – слабая вещь, но все правила приличия, принятые в общезитии, в ней соблюдены. Не вызывает сомнения и существо вопроса: добродушный, прожорливый Спондей действительно похож на Василия Львовича, некоторые легковесность и пустозвонство действительно отличают послание «К В. А. Жуковскому».

«Опасный сосед» – вещь ярко талантливая, но выпад против Шаховского, содержащийся в ней, груб и несправедлив. «Новый Стерн» так же не у места в публичном доме, как «Влюбленный Демокрит» Реньяра или «Метафизик» Хемницера. В сущности говоря, Шаховской стал жертвой элементарной провокации: пронырливый Василий Львович *подбросил* пьесу своего заклятого врага в домишко «с калиткой на крюке» – и, торжествуя, пригласил понятых...

Совсем по-другому оценивали эту ситуацию карамзинисты.

«В его “шубах” не одному Пушкину досталось, но всем честным людям, – пишет Батюшков в 1812 году князю Вяземскому. – Какое невежество! какая бесстыдность!»

«И какая знакомая мораль!» – добавим уже от себя.

Тонкая и учтивая ирония – зло, ею задет «честный деятель». Грубое оскорбление – добро, еще и не так следовало бы обругать невежественного, бесстыдного, злого Шаховского.

Чем же доказывается невежество Шаховского? Тем, что он иронизировал над честным деятелем. А бесстыдство и злость? Тем же.

Мораль такого типа именуется в обиходе готтентотской. Запомним на будущее, что задолго до Чернышевского и Д. Минаева готтентотскую мораль во всем ее немудрящем блеске продемонстрировал перед нами Константин Николаевич Батюшков – превосходный человек и тонкий поэт. Очевидно, дело тут не в личных качествах, не в степени образованности и даже не в пресловутой «внутренней культуре». Ну что, в самом деле, общего у Батюшкова с Чернышевским? Да только одно: принадлежность к прогрессивному крылу в литературе.

Добро, которое не для Бога делается (мы уже говорили об этом), замутняет духовное зрение, горячит кровь, вызывает повышенное самочувствие: «Тут подлещы, там негодяи, здесь я с горсткой честных людей». Понятно, что личные грехи перестают смущать литератора, столь густо обступленного негодяями и подлещами. Присягнувший на верность какой-нибудь очередной партии Добра неминуемо попадает из царства благодати в царство пошлости.

Любопытно проследить за тем, как покарала Немезида активнейшего из карамзинистов – князя Вяземского. В юности своей он долго преследовал А. А. Шаховского злыми насмешками (пользуясь при случае его художественными открытиями: см. стихотворение 1811 года «Отъезд Вздыхалова», написанное полностью по мотивам «Нового Стерна»), девять его эпиграмм, направленных против опального комедиографа, составили цикл «Поэтический веночек Шутовского». В старости, когда стал чище жить и лучше писать, сам попался на зубок бешеному правдолюбцу Белинскому, стал известен читающей России под именем «князя Коврижкина», «холопа в литературе».

Что ж, «Коврижкин» как аргумент в литературном споре ничем не уступает «Шутовскому».

Назовем еще два-три имени и на этом закончим наконец перечисление новых поэтов, заявивших о себе в начале царствования Александра I.

Панкратий Сумароков – внучатый племянник Александра Петровича Сумарокова, автор очень талантливых пародий и эпиграмм. Провел пятнадцать лет в Тобольске, куда был сослан царем – держитесь крепче, я процитирую сейчас советский источник – «за необдуманную подделку крупной ассигнации». Сумел оживить литературную жизнь Сибири.

Сумарокова карамзинисты не трогали, может быть, уважая в нем жертву самовластья.

Анна Бунина – девица из хорошего дворянского рода, но одинокая, бедная и больная. Императрица назначила Буниной пенсию – наверное, этим объясняются нападки на нее нестяжателей-карамзинистов, будущих арзамасцев. А иначе трудно объяснить их вражду – Бунина очень порядочный поэт, образованный, опрятный, строгий, и, как заметил Карл Грот, сын академика: «Имя “Русской Сафо” дано ей вовсе не в насмешку, а как лестная, шутливая похвала со стороны многочисленных и достаточно компетентных поклонников ее дарования». Притом на подвижническую и печальную жизнь Буниной набросила трагическую тень ее неразделенная любовь к И. И. Дмитриеву. И вот тончайший, культурнейший Батюшков пишет по поводу этой любви эпиграмму (как бы от лица Дмитриева), просто обескураживающую своей грубостью и топорностью:

*Ты – Сафо, я – Фаон, об этом и не спорю,  
Но, к моему ты горю,  
Пути не знаешь к морю, –*

как-то их все смешило, этих молодых, этих передовых людей.

Последние шесть лет жизни Бунина медленно умирала от рака, не могла уже ни сидеть, ни лежать, могла только стоять на коленях и так жила, писала, переводила – очень странно, что по этому поводу не родилось ни одной эпиграммы. Тут арзамасцы недоглядели.

Средний уровень русской поэзии в это время уже очень высок, близок Золотой век, выход на поверхность золотоносной жилы, и в породе уже очень часто попадаются частицы золота. Вот одна из таких крупинок у Буниной:

*Блеснул на Западе румяный царь природы,  
Скатился в океан и загорелись воды.*

Безусловно, душевный склад Буниной старомоден, строй ее лиры несовременен, но стоит ли так уж сильно надеяться на эту нашу современность, которая тоже ведь уйдет в прошлое – со своими модами, со своим «Союзом Независимых Государств». Еще неизвестно, чей душевный строй окажется ближе далекому потомку, – а он будет общий у нас с вами и у Анны Петровны Буниной.



*Анна Петровна Бунина  
(1774–1829)*



*Владислав Александрович  
Озеров (1769–1816)*

В это же время расцветает дарование Озерова, ставшего властителем дум своего поколения – поколения, отстаившего Россию в Отечественной войне.

Трагедия Озерова – гибрид классической трагедии и сентиментальной повести. Чувствительные монологи его героинь в исполнении великой актрисы Семеновой потрясали зрителей, хотя, конечно, не прибавляли пьесам Озерова достоинств чисто драматических.

Мы помним, что князь Шаховской когда-то выступил против чувствительности Шаликова и В. Измайлова, он же был до 1818 года членом дирекции Императорских театров – и вот в среде карамзинистов родилась легенда (абсолютно беспочвенная) об интригах Шаховского, повредивших театральную карьеру Озерова и приведших к душевной болезни драматурга. Шаховской и Озеров надолго стали Ариманом и Ормуздом арзамасской мифологии.

Мы далеко не всех талантливых поэтов начала XIX века вспомнили сегодня (не успели поговорить о Милонове, о Марине, даже о Каменском) – молодых дарований было много, и в обществе интерес к поэзии был чрезвычайно велик.

Расцвет налицо. Но за этим расцветом явственно ощущается неблагоприятное, какой-то ветер гуляет по стране – злой сквознячок, предвестник «большого ветра от пустыни».

Кризисное время, напоминающее так сильно канун Первой мировой войны, когда тоже наблюдался в России кратковременный расцвет искусств.

В предчувствии смертельной опасности гений нации напрягается, торопясь выполнить свое задание, – тот же закон понуждает фруктовые сады цвести особенно обильно и плодоносить до истощения в канун самых морозных, губительных зим.

И еще одна черта этого времени (для современников вовсе незаметная, но ослепительная для потомков) должна быть обязательно упомянута. Прекрасно сказал о ней Иван Сергеевич Аксаков, воспользуемся его словами: «И вот, в урочный час, словно таинственной рукой раскидываются по воздуху семена <...> и падут они, как придется, то на Молчановке в Москве на голову сына гвардии капитан-поручика Пушкина <...> то в тамбовском селе Маре на голову какого-нибудь Баратынского, то в брянском захолустье на Тютчева...»

Названы три имени. В иерархии русских поэтов за ними закреплены (и думается, навечно) верхних три места. Вспомним еще Языкова, Дельвига, Веневитинова, Хомякова... Весело просто перечислять эти имена. Родившись в урочный час, пережив детьми нашествие иноплеменников, они остались в истории обаятельнейшим литературным поколением России, ее славой, нашим утешением.

1803 год памятен в истории русской поэзии как год рождения Тютчева. В том же году адмирал Шишков, первый в России детский поэт, член академии (впоследствии – многолетний ее президент), печатно выступает против литературной моды, против Карамзина.

Шишков и Карамзин. В дальнейшем это противостояние разовьется в противостояние «Беседы» и «Арзамаса», к концу 30-х годов оформится окончательно как противостояние западников и славянофилов. Тема огромная, и нам неизбежно придется сузить ее и упростить, иначе наша тема, тема поэзии, совсем утонет в волнах историософии, культурологии и прочих стихий века сего.

Итак, в своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» Шишков выступил против нового литературного стиля, опиравшегося на разговорную речь образованного общества. По мысли Шишкова, эта речь настолько засорена галлицизмами, что не только не способна служить образцом, но и русской-то речью может быть названа с большой натяжкой.

Развивая учение Ломоносова о трех стилях, Шишков подразделяет русский язык на три уровня, на три «слога». Источником высокого слога становятся у него священные книги Русской Церкви, источником простого слога – народная поэзия и русские летописи, а вот средний слог (т.е. именно язык образованного общества) должен, по мысли Шишкова, находиться в живой связи с высоким и простым слогами, должен из их запасов непрерывно *обогащаться*.

Карамзин, как известно, никогда не отвечал на критики, не ответил он и на вызов Шишкова. За него это сделали образованнейшие из карамзинистов – Макаров и Дашков. Их антикритика свелась к тому, что они, во-первых, уличили Шишкова в каких-то микроскопических погрешностях против церковно-славянского языка, а во-вторых, с торжеством указали Шишкову на тот факт, что его собственный «средний слог» не вполне свободен от галлицизмов. («Сам дурак», «сам съешь» – еще один полемический прием, которому уготована была блестящая будущность.)

Больше с Шишковым не спорят, его обходят стороной; литературная молодежь воспитывается в духе отрицания его идей (причем детальное знакомство с ними не является чем-то обязательным или хотя бы желательным), и, по свидетельству современника, «всякий, кто осмеивал этого старовера и славянофила, имел верный успех в модном свете».

Можно было бы порадоваться за русское общество начала XIX века – порадоваться тому, что языкознание сделалось для него предметом важным, вызывающим сердечное участие и горячие споры, – но, к сожалению, радоваться здесь особенно нечему. Перефразируя поэта Некрасова, можно сказать, что «не очень много занимались языкознанием тут, и не в языкознании была тут сила».

Ведь о чем, в сущности, спорят Шишков с Карамзиным?

Основная интуиция молодого Карамзина выражена в «Письмах русского путешественника» тремя словами: «Россия есть Европа». Европейская жизнь потому и описывается Карамзиным с такою приятностью и аппетитом, что это (по замечанию Лотмана) «некоторое возможное будущее России». Как всякий западник, молодой Карамзин принимает Запад целиком: трагическое мирочувствие Руссо и просветительский оптимизм Вольтера нравятся ему одинаково, несовместимости этих мирочувствий он не замечает. «Единство и братство всех просвещенных народов абсолютно неизбежно. Небо над всей Европой безоблачно. Русский человек есть европеец, только недоделанный».

Как всякий западник, Карамзин отстает от европейского просвещения. Шишков же, утверждая наличие вечных черт национального характера, утверждая (в 1803 году) незакономерность влияния одной национальной культуры на другую, находится в завтрашнем дне европейской науки. Это – темы немецкого романтизма.

Основную интуицию Шишкова удобнее и легче всего будет выразить словами Катенина – писателя, не принадлежавшего «Беседе» формально, но, как бы это поточнее сказать... Аполлон Григорьев сказал бы, что сама «Беседа» была у нас *допотопной формацией* Катенина.



*Александр Семёнович  
Шишков (1754–1841)*

Итак, символ веры молодого Карамзина – «Россия есть Европа».

А вот точка зрения Катенина: «Россия искони не имела ничего общего с Европой Западной: первые свои познания искусства и науки получила она от Цареграда, всем рыцарям ненавистного, ими коварно завоеванного на время, жестоко и безумно разграбленного. В наших церквях со слезами и в черных ризах умоляли на милость гнев Божий, когда крестовики в своих пели торжественные молебны».

Арзамасец Батюшков называл церковно-славянский язык «мандаринным, рабским, татарско-славенским» и восклицал: «Когда переведут Священное Писание на язык человеческий?»

А вот мнение Катенина о славянской Библии: «Мы признаем ее краеугольным камнем нового здания, которое воздвигнул Ломоносов, достраивали Петров, Державин, Костров, Дмитриев, Озеров, князь Шихматов, Гнедич и другие, писавшие с дарованием в роде высоком».

Но это все Катенин напишет позже, после войны 1812-1814 годов, в которую сам Катенин был боевым офицером в Преображенском полку, а Шишков, государственный секретарь Российской империи, «двигал духом России... Писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь» (С. Т. Аксаков). А пока что добродушный и прямолинейный Александр Семенович в своем «Рассуждении о старом и новом слоге» мимоходом удивился тому, что многие молодые писатели, впрочем «весьма острые и благомыслящие», предпочитают новый слог старому, хотя старого-то и не знают, «не читав ничего, кроме переводимых по два тома в неделю романов, и не бывав сроду ни у заурени, ни у обедни».

Вот это последнее замечание и вызвало бурю ненависти к Шишкову. И прежде всего, оно было определено как «донос». И это очень смешно.

Имя Карамзина в «Рассуждении» не упоминалось ни разу; но если бы даже Карамзин действительно отроду не бывал в церкви, а Шишков написал по этому поводу формальный донос и отнес его в канцелярию Священного Синода, то, разумеется, никаких последствий для Карамзина такой донос в 1803 году не имел бы. А вот Шишкову, подавшему свое мнение по вопросу, лежащему вне сферы адмиральской компетенции, пришлось бы явиться к митрополиту Амвросию и получить соответствующее внушение.

Тем не менее, эти слова («доносчик», «донос»), распространяясь шире и шире, оказывали вполне понятное воздействие на пылкую дворянскую молодежь, определяли ее отношение к личности адмирала Шишкова. Здесь мы присутствуем чуть ли не при рождении той «странной власти», которая стала в России XIX века «сильнее всяких коренных постановлений», – вы понимаете, что я говорю сейчас про либеральную жандармерию. Она появляется на свет намного раньше, чем официальная жандармерия, которую выужден был завести Николай I после событий 14 декабря.

Ненависть молодых карамзинистов к Шишкову очень понятна психологически. Карамзиниста ведь «несет»: он по-новому совершенно чувствует, он культивирует такие вкусы, такие привычки, о которых и слышу



не было лет 10–20 назад в стране Скотининых и Простаковых, он в восторге от себя самого и от своих друзей – и вдруг из пустыни (ибо мир, в котором не живут сердцем, пустыня) раздается этот грубый, равнодушный голос, напоминающий о церковной службе, которую нужно выстаивать два-три часа (а каково это человеку подвижному!), за которой нужно молчать, выслушивать ненавистную славянщину, после которой какой-нибудь поп, того и гляди, ткнет тебе в губы руку для поцелуя или даже крест... Тут мудрено не прийти в бешенство! И кто напоминает, кто учит? Старик Шишков, который сам женат на лютеранке, в доме у которого на французский манер, как у всех порядочных людей, воспитываются племянники! Что ему нужно, чего ему не хватает?!

В историческом споре Карамзина с Шишковым Карамзин, как мы помним, не участвовал. Он занимался русской историей, погружался в работу все глубже, в чем-то менялся, старел... Пройдет совсем немного времени, и Шишков с одобрением напишет, что в своей «Истории» Карамзин «не образовал язык, но возвратился к нему, и умно сделал».

То есть язык «Истории государства Российского» есть именно тот язык, за который ратовал президент Российской академии А. С. Шишков. В год выхода в свет первых восьми томов «Истории» ее автор избирается наконец членом академии.

5 декабря 1818 года Карамзин произносит вступительную речь. И говорит он о том, что высшей целью мировой истории является «раскрытие великих способностей души человеческой». Ничто иное. Русская поговорка «Каков в колыбельку, таков и в могилку» вполне оправдалась на Карамзине. Верность гуманистическим идеалам он сохранял до конца.

Но ведь только в XX веке гуманизм выговорил свое окончательное слово: человекобожие, антихристианство. В 1818 году сам черт, наверное, не до конца представлял, куда заведет вдохновенное им движение. Шишков, во всяком случае, этого не знал. Для него достаточно было, что Карамзин «возвратился к языку» (якобы), перестал его портить. Вражда между Шишковым и Карамзиным затухает, не успев разгореться.

Но карамзинисты полны боевого задора, у них зубки прорезались и, как это обычно случается с молодыми зубками, зачесались; карамзинисты создают «Арзамас» – общество скорее ритуальное, чем литературное.

«Беседа любителей русского слова» («губителей», в прочтении карамзинистов) была основана в 1811 году, на следующий год началась европейская война, а уже по ее окончании, в 1815 году, организовался «Арзамас». Подробнее об этом времени мы поговорим, если Бог даст, в следующий раз. Сегодняшнее чтение закончено. И только одно замечание – на дорожку, чтоб было о чем подумать в перерыве.

Название «Арзамас» родилось следующим образом. Некий воспитанник Академии художеств, женившись, перебрался на жительство в Арзамас. И раз уж все равно приходилось ему там жить, открыл при своем доме частное учебное заведение – школу живописи.

По какому-то случаю об этом прослышал Вяземский, узнали другие молодые карамзинисты, и им это показалось невероятно смешным: в захолустном Арзамасе обнаружилась Школа Живописи! Стали обыгрывать смешную ситуацию, перебрасываться словечками; кто-то придумал назвать эту школу Арзамасской академиею – получилось еще смешнее («хохот пуще», как сказал бы Грибоедов); и наконец, *в подражание* учредили в Петербурге «Арзамасское ученое общество».

Таким образом, молодые карамзинисты избрали Арзамас как символ русского захолустья и русской дикости, подняли для борьбы с угрюмым славенофилом Шишковым такое вот издевательское, веселенькое знамя, которое означало: «Вот тебе твоя народность. Ар-за-мас! На, ешь...»

Довод неотразимый, конечно; набравший особенную силу в послевоенский период нашей истории. Но именно к Арзамасу приписаны Саровская пустынь и Дивеево – это все Арзамасский уезд. Преподобный Серафим Саровский прожил здесь 55 лет, а с 1810 по 1815 год находился в строгом затворе, молясь за Россию, чье существование подвергалось в эти годы смертельной опасности. И именно к этим местам приковано сегодня (после обнародования архиепископом Аверкием «Великой дивеевской тайны») внимание всего православного мира.

Такая вот история с «Арзамасом», такое совпадение, которое можно при большом желании счесть случайностью.

1996



## Чтение четвертое



Сегодня мы продолжим разговор о русской поэзии в царствование Александра I и закончим 1825-м годом, то есть будем говорить о времени, непосредственно предшествовавшем Золотому веку нашей поэзии.

Небольшой промежуток времени, но насыщенный, богатый событиями, главное из которых, безусловно, Отечественная война 1812 года, грандиозное столкновение двух сил, которые мы назовем вслед Тютчеву, – Россия и Революция.

Наполеон, «сын революции ужасной», вступает в русские пределы, и его крушение, гибель его шестисоттысячной армии становятся новым звеном в той цепи святых чудес, из которых состоит даже и до настоящего времени история России.

О Французской революции мы с вами заговаривали уже неоднократно; может быть, вам запомнились слова К. Леонтьева про «общечеловеческий вред», ею причиненный.

Тот же Леонтьев за три года до смерти пишет про Францию 1888 года: «Все в ней, в ее жизни стало бледнее на наших глазах (на глазах людей уже немолодых, как я). Религию гонят и презирают, и верующие люди уже не находят в себе сил для кровавого в пользу веры восстания, пышности настоящей, аристократической, нет, есть капиталистическая фальсификация барства. Монархия прочная, серьезная, требующая подчинения любви, уже неосуществима». И дальше следуют рассуждения Леонтьева о падении французской литературы, также совершившемся на протяжении одной, не очень долгой, человеческой жизни.

И все это очень примечательно! Мы знаем, что Леонтьев юношей-студентом принял участие в Крымской войне и вынес из своего опыта общения с пленными французами довольно невыгодное впечатление о французском национальном характере («сухие фанфароны», «масса самоуверенных парикмахеров» и т. п.), в тридцать три года вынужден был проучить хлыстом французского консула на Крите, в сорок один – начал писать трактат «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», почти полностью построенный на французском материале... И вот теперь, на пороге старости, Леонтьев начинает по-другому видеть прошлое: оказывается вдруг, что Наполеон III, «Дюдеванша», Мюссе были все же довольно яркими, довольно симпатичными людьми – по сравнению с парижскими знаменитостями последнего извода, совершенно уже бесцветными.

В канун столетнего юбилея Французской революции Леонтьев свидетельствует, по сути, о снижении отметки, на которой находится европейское человечество, об ухудшении *качества* его жизни. Таков главный результат революции, в этом и состоит причиненный ею «общечеловеческий вред».

Старшие славянофилы первыми у нас начали бить тревогу, указывая на сползание под гору европейского человека. Хомяков, воспевший былое величие Запада в проникновенных стихах:

*О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая  
На дальнем Западе, стране святых чудес:  
Светила прежние бледнеют, догорая,  
И звезды лучшие срываются с небес, –*

увидел раньше других, что в западной культуре «душа убывает». И. Киреевский, начинавший литературную борьбу издателем «Европейца», закончил тем, что в европейском человеке после 1848 года с грустью разглядел элементарную одержимость: «Чувствуя тьму свою, он, как ночная бабочка, летит на огонь, считая его солнцем. Он кричит лягушкой и лает собакой, когда слышит Слово Божие».

Но старшие славянофилы, возвысившие чистоту жизни над чистотой слога, но Константин Николаевич Леонтьев, с пугающей точностью предсказавший ход истории в XX столетии, – люди все-таки посторонние по отношению к миру и к его литературе. Члены Церкви – миряне, они писали по послушанию, благословение Церкви ясно отпечаталось на их трудах.

Но вот П. Валери, которого никто еще не заподозрил, кажется, в «догматизме», в предосудительном желании сподобиться вечных благ и избавиться вечных мук, оглядывается однажды назад, начинает всматриваться в жизнь, какою она была до 1789 года, и у него вдруг вырывается такое полупризнание в любви: «Европа была тогда лучшим из возможных миров; власть и терпимость в ней уживались <...>. Даже улица была сценой хороших манер. Торговцы умели построить фразу. Даже откупщики, даже девки, даже шпионы и сыщики изъяснялись так, как нынче никто. Казна взимала с учтивостью. Дни <...> не были уплотнены и загружены, они катились медленно и вольно; расписания не дробили мыслей и не делали смертных рабами усредненного времени и друг друга. Все бранили правительство; все еще верили, что можно найти нечто лучшее. Но заботы отнюдь не были невероятными».

Революция нанесла Франции неисцелимую рану; агония великой страны продолжалась четверть века, и эти судороги, эти конвульсии остались в истории под именем Наполеоновских войн, затем... Угасание и разложение – «смесительное уравнение», по излюбленному выражению Леонтьева.

Спустя сто лет даже Поль Валери, «удачник в демократии», холодный и умный законодатель парижской интеллектуальной моды, оказывается в курсе происходящего и мимоходом подтверждает (что называется, камни вопиют): жить стало хуже.

Труднее и *хуже* становится жизнь. Никакие триумфы техники и санитарной гигиены не могут уже скрыть этого.

Жизнь становится хуже, и человек становится хуже. В литературе это особенно заметно. Не будем обсуждать путь, пройденный французской литературой за триста лет, – от высочайшего уровня, установленного Декартом сразу, с первой попытки (и именно с этой высоты сказали свое

слово миру Паскаль, Корнель, Мольер), к уровню Сименона, Сартра и Камю, – путь во всех отношениях катастрофический. Рассмотрим хороших французских авторов, расположившихся по разные стороны от роковой черты (1789 год), но не слишком далеко от нее.

Ведь нельзя сказать, что Реньяр, Лесаж, Мариво лучше пишут, чем Стендаль, Бальзак, Мериме. Нет, Стендаль, Мериме, даже и Бальзак, пишут тоже *неплохо*. Разница не в уровне письма – разница лежит в качестве жизни, которую они описывают, о которой свидетельствуют. В мире Мариво не то чтобы просто удобнее, приятнее жить, чем в мире Стендаля (это-то понятно, это и Валери готов подтвердить), – в мире Мариво пока еще стоит жить. В мире Ж. Сореля и Растинька жить уже нельзя. Незачем становиться третьим в этой компании, не сто́ит.

Основная интуиция передового европейского человечества выражена очень ярко Прудоном: «Великий Пан умер! Боги удалились, цари уходят...» Это 1848 год, минута торжества, не омраченного еще Венгерским походом Паскевича. Радость, как видите, бьет через край...

(Широчайшую известность приобрела впоследствии аранжировка этой победной мелодии, выполненная Ницше: «Бог умер». Тут взгляд изнутри протестантского мира, ставший откровением для этого мира. Снаружи было заметно уже очень давно, что протестантский бог при смерти, и Тютчев, по долгу службы много живший в Германии, с большой художественной силой запечатлел минуту прощания в стихотворении 1834 года «*Я лютеран люблю богослуженье...*»)

Но мир, из которого «боги удалились», для житья непригоден. Мир без Бога воистину пошл, вернее сказать – пошл его обитатель, завистливый, суетливый средний европеец, устраивающийся в Божьем мире на началах равенства, братства и свободы. («Свобода» в этой популярной триаде и означает жизненное устройство без Бога и без Царя. Зависимость от банка, дающего или не дающего кредит, зависимость от государственного чиновника, определяющего состав той тошнотворной бурды, которой будут пичкать ваших детей в школе под видом «гуманитарных наук», зависимость от сырого и вонючего газетного листка, процеживающего информацию сквозь невидимые вашему глазу фильтры, – все это «свободе» не мешает.)

Неудивительно, что в многотиражной западноевропейской литературе середины века (Гюго, Диккенс, Жорж Санд) такое обилие дешевых эффектов, риторики, бумажных страстей – это не просто падение вкуса (хотя и оно тут, безусловно, присутствует), это и веление времени. Нужна большая трескотня, нужны сильные средства – хлопушки, дымовые шашки, магниевые вспышки, – чтобы не замечать того, что тихо стоит перед глазами. Оборвалась последняя ниточка, связывавшая жизнь государства с абсолютным началом; место народа, ведомого и хранимого Богом, заступила масса безликих индивидуальностей с их конституционными правами; душа народа умерла или уснула, а значит, и поэзия, эхо народной души, должна смолкнуть.

Но это все впереди. А на очереди у нас взрыв богоборческой ярости, богоборческого восторга – поход Наполеона на Россию.

Наполеон I. Сын безвестного адвоката, сделавший карьеру во время гражданской войны (самое интересное в этой головокружительной карьере – и о чем никогда не вспоминают – это *другие*, те безымянные для нас французские офицеры, которые не захотели расставлять французские пушки для стрельбы по французскому городу Тулону, остались капитанами, лейтенантами... остались людьми), первый сверхчеловек Новой истории, удачливый полководец, выдающийся администратор, французский император, коронованный патриархом римской церкви, взявший в жены дочь апостолического императора Франца, сделавший маршалами сыновей конюхов и портных, назначивший королями своих братьев и кузенов...

И все эти маршалы, кузены, конюхи и короли в разнообразно расшитых мундирах переходят Неман и скачут по зеленой равнине... Восторг, восторг!

И идут они, надо сказать об этом прямо, на *пустое место*. Ибо именно такова многовековая мечта европейцев о России.

Для них находится здесь некий «Восток», сакральное притяжение которого, мистическое значение для судеб мира ощущаются довольно остро, чувствуются кожей, – но это притяжение, не поддающееся рациональному объяснению, только попусту раздражает дисциплинированный ум западного человека. Отвлеченный им от неотложных хозяйственных дел «гордый взор иноплеменный» снова и снова начинает вглядываться в наши заснеженные просторы, вооружаясь год от года все более совершенной оптикой, – и снова и снова не находит у нас *ничего*.

Царская охранка... погромы... необразованная церковь... снега, медведи... Иван Базилид... пьяные и бесхарактерные slavs (а слова с этим корнем во всех главных европейских языках имеют одинаковую эмоциональную окраску: раб, слюни, подхалим, презренный, гнусный и т. п.)... Ничего больше.

Какое-то наваждение, мираж, с которым необходимо покончить любыми средствами – для внутреннего равновесия, что ли. И снова и снова накатываются с запада волны, чтобы захлестнуть, поглотить, цивилизовать это заколдованное место.

Россия – сердце мировой истории. Западного человека (ведь и его душа христианка по рождению) волнует, тревожит, притягивает Россия. К несчастью, у нашего падшего мира голова с сердцем не в ладах. Поверить в Россию гордый иноплеменник не может, обаяние русской духовности успешно преодолевает, осмысляя ее как начало деструктивное, предательское, прямо враждебное духу прометеевско-фаустовской цивилизации<sup>3</sup>. Подыскиваются рациональные обоснования необходимости натиска на Восток: жизненное

---

<sup>3</sup> «Древний, азиатски оккультный идеал начинает пожирать дух Европы. Это, коротко говоря, отказ от всякой нормативной этики и морали в пользу некоей новой, опасной и жуткой святости» – на такие мысли навел Г. Гессе успех у европейского читателя «Братьев Карамазовых»; схожие опасения выразил и Т. Манн в известном этюде «Достоевский – но в меру». Особенно любопытно то, что сегодня журнал «Guten Tag» мягко порицает этих авторов за некую, не вполне понятную грамматически, «восторженность Россией».

пространство, которым малонаселенная Россия способна поделиться с Европой; азиатские орды, готовые нахлынуть из тундр и лесов Левобережной Украины и погубить Цивилизацию; фальшивое завещание Петра Великого... Все это малосерьезно и совсем уже не рационально, но как повод следовать темному и сложному инстинкту – годится и это.

Но почему же тогда, спросите вы, с такой симпатией относились к России французские энциклопедисты? Это же выжимка, это авангард европейского человечества! И никакой недоброежелательности к нам...

Дело в том, что мистическая одаренность этой группы людей была обескураживающе мала. Обаяния русской духовности они не чувствовали, поскольку духовная область вообще была для них закрыта; Россия их не притягивала и не отталкивала. Энциклопедисты ставили на Россию как на молодую варварскую страну, способную стать хорошим полигоном для испытания передовых идей. Россия, по их мнению, больше подходила на роль Новой Атлантиды, чем Франция, где слишком сильны были вековые предрассудки, слишком глубоко въелось в кожу простолюдина устаревшее христианское вероучение...

Здесь уместно будет наконец сказать несколько слов на тему, второе тысячелетие сохраняющую актуальность, – о «молодости» России и о ее «отсталости». С одной стороны, эти тезисы выглядят смехотворными. Россия не просто очень старое государство, она – законная наследница древней и благородной культуры Восточной Римской империи и через ее посредство связана с живой традицией Элады и Египта. Только в России (да еще на Афоне) сохраняется эта связь.

Но есть и другая сторона. И в среднеевропейских представлениях о русской отсталости содержится важное для нас указание. Безусловно, мы не можем похвалиться тем, что оставались на высоте своего призвания (быть страной-хранительницей вселенского Православия, быть Царством) равномерно с 1453 года по настоящий день, что выполнили свое задание полностью. Россия как политический и хозяйственный организм давно уже утратила свой путь и двинулась вдогонку за Западом. Но слишком велика инерция Православного Царства – избавиться от нее и слиться с Западом не за страх, а за совесть России никогда не удавалось. То мы приближаемся почти вплотную, то вдруг опять откатываемся назад лет на сто, возвращаясь к себе... Не следовать за Западом мы не можем (нас растерзают сразу же), следовать за ним нам тяжело и противно, *несродно*, – мы отстаем. И в этом до сих пор было спасение наше.

«Россия молода» – значит, есть надежда, что наше государство вступило на кривую дорожку «Реформации, Возрождения и крестовых походов» с непоправимым опозданием.

«Россия отстала» – то есть она и в худшие свои годы чуть ближе ко Христу, чем отступающий от Него с победным пением и развернутыми знаменами Запад.



В 1812 году, когда Европа, уставшая от крови и безобразий предшествующего двадцатилетия, готова была склониться перед Наполеоном, принять из его рук гарантии коллективной безопасности, согласиться на новый мировой порядок, – отсталая Россия оказалась способной разглядеть истинный смысл происходящего. Священный Синод нашей Церкви в послании своем по случаю вступления Наполеона в пределы России именовал его антихристом.

И мы не должны забывать о том, что один из сильнейших прорывов зла в мировой истории, одна из величайших попыток антихриста воплотиться были пресечены подвигом русской армии, русского народа, русского Царя.

А для Запада так и осталось загадкой, что же, собственно говоря, произошло в России в 1812 году. Лучшие европейские умы довольно скоро сошлись и успокоились на той мысли, что не произошло *ничего*. Нет, все запомнилось и заботливо сложилось в сердце, на самом его дне (из этих глубин и вырвался вскоре грязевой протуберанец Крымской войны), но на уровне сознательном вопрос о причинах крушения Соединенных Штатов Европы был, что называется, замят. «Ничего не случилось, сохраняем спокойствие».

Конечно, Великая армия (отличившаяся на этот раз великим мародерством) исчезла; конечно, азиатские орды вошли в Париж, ни одного стекла там не разбив, восстановили мир и порядок в Европе, которых ей хватило на сто лет, и возвратились домой. Это было, но этого как бы и не было.

Потому что ведь «во мне, а не в писаниях Монтеня содержится все, что я в них вычитываю» (Паскаль), – и дисциплинированный западный ум, обращаясь к событиям 12-го года, находит в них только то, что испокон веку содержалось в дисциплинированном западном уме, и не находит того, что произошло в 1812 году в России. В своем мозгу западный человек находит идею «настоящего русского мороза». Мороз погубил французскую армию, как на полстолетия раньше землетрясение разрушило город Лиссабон. Грустно, но ничего не поделаешь. Такие вещи иногда случаются.

О русском морозе 12-го года существует на Западе целая литература. Не будем трогать французских авторов, их можно понять и извинить, – откроем первый попавшийся английский роман (не хочу называть имени автора, на родине его почему-то причисляют к классикам, хотя в России XIX в. дарованиями такого калибра подпирали заборы) и посмотрим, что пишут про нашу Отечественную войну союзники наши, просвещенные мореплаватели.

«Он (Наполеон. – *Н. К.*) движется на древнюю Москву, но под стенами древней Москвы его ждет суровый русский мужик. Это дикий и непреклонный воин! Он бесстрашно ожидает неотвратимую лавину. Он верит в снежные тучи своей зимы. Безбрежная пустыня, ветры и метели уберегут его; Воздух, Огонь и Вода помогут ему. Кто они? Три грозных Архангела...» и т. д. и т. п.

Все это очень смешно. Готовясь к вторжению в Россию, Наполеон наверное уж заглянул в какое-нибудь общедоступное пособие по физической географии и выяснил из него, что поздней осенью в Подмоскovie бывает

холодно. Русский человек так же чувствителен к низкой температуре, как и нерусский, и, оказавшись на морозе без еды, теплой одежды и ночлега, погибает так же быстро. Заморозить свою армию (завести ее в безводную пустыню, утопить в болоте) не есть какая-то доблесть или редкость – посредственные полководцы обычно так и поступают. Десятки примеров тому можно найти уже у Плутарха.

Холода более сильные, чем ударившие в России в октябре-ноябре 1812 года, не помешали Наполеону закончить в свою пользу Эйлавскую кампанию, как не помешала *жара* дикому русскому мужику графу Суворову разбить в Италии несколько французских армий. Да и Кульм, Лейпциг, шестидневный поход на Париж – все это происходило в теплую погоду.

Тем не менее идея «настоящего русского мороза» плотно, как пробка, сидит в общеевропейском мозгу. И будет сидеть там до конца, потому что под этой пробкой запрятана истина, с которой невозможно согласиться, которую нельзя вынести. От которой можно сойти с ума.

Гордый Запад отчасти по принуждению (сила солону ломит), но отчасти и добровольно (больно уж хорош Жених, сын погибели, диктующий по пять писем за один присест, берущий в свидетели своих баталий тысячелетия на вершинах пирамид) заневестился-таки под старость, склонил-таки шею под ярмо царской власти. И что же?

Народец Пятниц, только-только пробужденный к исторической жизни человеколюбивым Робинзоном-Лефортом, только-только получивший от французских энциклопедистов первый похвальный лист за успехи в преодолении своей варварской девятилетней христианской культуры, – вот эти слонявые slavs поднялись как один человек в своем азиатском захолюстье, одолели Жениха и повернули вспять историю (перед духом которой, воплотившемся в Наполеоне, склонились ведь и Гете, и Гегель).

Горячка первой любви фригидных западных сердец была потушена – и так пренебрежительно быстро, легко! Просто нашлепали по заднице и поставили в угол злых мальчишек, вздумавших поиграть во всемирную монархию. Императорские орлы, пересчитанные на верхушках пирамид тысячелетия, само «солнце Аустерлица» – все отобрали, изломали и закинули на мусорную кучу. (Республики, конституции, парламенты – пожалуйста, устраивайте какие хотите, но Царь на земном шаре может быть только один, и он уже есть – уже помазан на царство в Успенском соборе.)

И европейцы, опамятававшись, отрезвившись, насмерть перепугавшись, шелкнули каблуками в первую минуту, решили, что эти slavs *сами будут*, раз уж им посчастливилось... Нет. «Не нам, не нам, а имени Твоему. Живите как привыкли».

**Сами не хотят.** Просто не дают шалить.

Вот с этой минуты и начинается ненависть Запада к России – та, основанная на разнородности духовного опыта (оторопь Хорька перед Слоном: «Сколько же птичьего мозгу выпивает за ночь эта туша?!»), приправленная страхом упорная ненависть, о которой Пушкин устало напишет в 1831 году как о чем-то очень привычном:

*И ненавидите вы нас...  
 За что ж? ответствуйте: за то ли,  
 Что на развалинах пылающей Москвы  
 Мы не признали наглой воли  
 Того, под кем дрожали вы?  
 За то ль, что в бездну повалили  
 Мы тяготеющий над царствами кумир  
 И нашей кровью искутили  
 Европы вольность, честь и мир?*



В наши дни журнал «Guten Tag» благодушно напоминает русскому читателю о том, что Россия в пушкинскую эпоху заслуживала ненависти и что ей «в европейском контексте был присвоен эпитет “жандарм”».

Как говорится, с правдой не поспоришь. Россия – жандарм, который слишком долго маячил на европейском толкучем рынке, напоминал о скучных и неприятных правилах, установленных отсутствующим Хозяином, отмахивался от реальной выгоды, лез на ножи и под выстрелы ради абстрактных принципов («легитимность», «ключи от Вифлеемского храма»), мешал добрым людям жить, поживать, наживать... Мешал опуститься на четвереньки.

Пустое место, на которое нахлынула в 1812 году Великая армия, оказалось в очередной раз занятым.

Здесь был Серафим Саровский с его тысячедневной молитвой, был царь Александр, решивший однажды и навсегда, что почетнее ему будет затеряться песчинкой в русском море, отпустить бороду, скитаться за Уралом, питаясь печеным картофелем, чем оставаться царем в покорившейся Наполеону России; были молодой архимандрит Филарет (Дроздов), «полный замыслов и воли», и престарелый митрополит Платон, горько расплакавшийся при получении страшного известия об оставлении Москвы («Боже мой, до чего я дожил!»), но оставшийся в Вифании, вблизи неприятельских разъездов, на все время пребывания французов в первопрестольной и доживший-таки до

ее очищения; были генерал Балашов, посланный к французам парламентарем 13 июня и предсказавший Наполеону судьбу Карла XII, и капитан Головин, услышавший в японском плену в августе 1813 года о том, что Москву «русские в отчаянии сожгли и удалились, а французы всю Россию заняли по самую Москву», и от души посмеявшийся вместе с товарищами над такой выдумкой изобретательных японцев; были здесь русские дети – паж Баратынский, шестилетний Иван Киреевский, потерявший в 12-м году отца (он умер, заразившись тифом в одном из госпиталей, которые устраивал на личные средства для гуртов раненых и обмороженных французских пленных), девятилетний Тютчев, сохраняемый добрыми родителями в Ярославле, восьмилетний Хомяков, дом которого сгорел в московском пожаре... Был здесь Кутузов – отставной генерал, выехавший в мае 12-го года в свое бездоходное имение Горошки в надежде поправить хозяйство и хоть как-то залатать зияющие бреши семейного бюджета. Мало кто помнит у нас (в школе таким пустякам не учат), что Кутузов задолго до войны 12-го года был смертельно ранен – дважды, с промежутком в двенадцать лет. Два раза турецкая пуля проделала невероятный путь из левого виска Кутузова в правый – «навылет в голову позади глаз». Врач, наблюдавший быстрое выздоровление Кутузова после второго ранения, в 1787 году, написал в медицинском заключении: «Надобно думать, что Провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного».



*Михаил Илларионович  
Голенищев-Кутузов (1747-1813)*

Страна поднялась. Сто лет обезьянничанья слетели с России как отсохший струп – и открылась молодая, чистая кожа. Помещики и их крепостные, шишковисты и карамзинисты, петербургские чиновники и московские просвирни – все вдруг почувствовали, что разделяющее их расстояние ничтожно перед размерами общей беды, все вдруг «узнали (по счастливому выражению Вяземского), что у нас отечество есть».

Позже Гоголь вспомнит эту святую и страшную минуту («в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек») и именно в ней увидит залог будущего преображения и воскресения России.

И литература тогда (последний раз, может быть, в русской истории) была на высоте момента – вся, словом и делом. Денис Давыдов и Жуковский, Катенин и Вяземский, некстати захворавший Батюшков, семнадцатилетний Грибоедов – все одушевлено, все рвется в действующую армию.

*Вы помните, текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирает  
Шел мимо нас... –*

писал Пушкин в предсмертном, прекрасном своем стихотворении, в котором чувства юного школяра, чувства великого народа сливаются настолько, что их уже не различить.

«Вся Россия – один человек».

В 12-м году всероссийскую славу приобрели два поэта, сумевших послужить общему делу именно своими стихами, словом своим. Но если «Певец во стане русских воинов» Жуковского – произведение все-таки корпоративное, отразившее (как и «Слово о полку», но только с меньшим совершенством) дружинный дух – дух вождей армии, дух офицерского корпуса, – то басни Крылова проникали с одинаковой легкостью в царский дворец и в крестьянскую избу, в кабинет ученого и в военную палатку. Они цементировали русское общество. Страна оживала от столетнего духовного обморока, множеству русских людей Крылов помог найти кратчайшую дорогу к себе, к своей заповедной русскости.

Заговорив о Крылове, мы начинаем отходить от темы 12-го года. Хотя басни Крылова воевали с французами не хуже какого-нибудь Н-ского корпуса, хотя Кутузов в самом деле читал своим офицерам «Волка на псарне» после сражения под Красным, читал по рукописи и при словах:

*Ты сер, а я, приятель, сед, –*

снял картуз с седой головы, – но Крылов стал Крыловым задолго до войны, принесшей ему всенародное признание. «Ворона и Лисица», «Лягушки, просящие Царя», «Музыканты», «Пустынник и Медведь» – все это написано в мирной обстановке.

Мы привычно говорим о том, что победа в войне с Наполеоном дала мощный толчок развитию национальной литературы, и редко вспоминаем о том, что в 1812 году приходилось в отчаянной борьбе спасать наличную литературу, в которой существовали уже такие капитальные ценности. «Смерть за отечество отраднa и славна», и благословен любой дикарь, защищающий вооруженной рукой свой очаг и могилы предков, но слава русских ратников, не пустивших цивилизованных живодеров, мастеров штыкового боя и кучной артиллерийской стрельбы, в тихую квартиру петербургского библиотекаря Крылова, – эта слава, конечно, благороднее и законченнее. Совершеннее.

Пушкин назвал Крылова «представителем духа своего народа». Нешуточный отзыв, требующий от нас предельной собранности и серьезности. Попробуем?

Детство Крылова было опалено пугачевщиной. О мужестве его отца, руководившего обороной Яицкого городка, мы вспоминали на прошлом чтении. Пушкин сообщает в «Истории Пугачевского бунта», что Пугачев, взбешенный неудачей очередного приступа, «покаялся повесить не только <...> Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге». Будущий баснописец, таким образом, не только перенес вместе с

матерью все ужасы шестимесячной осады Оренбурга, но и был в четырехлетнем возрасте заочно приговорен к смерти. Известно, что у Пугачева в этом отношении («повесить») слово с делом не расходилось. Вышло, однако, по-другому. Пугачев сгинул, мальчик остался жить.

Чудом уцелев в огненной печи русского бунта, семья Крыловых перебирается на жительство в тихую Тверь, и вот здесь ее подстерегает несчастье, тоже тихое, обыденное, непоправимое, – смерть отца.

*«Горька судьба поэтов...»* – всех без исключения, но судьба Крылова складывается на заре его жизни как-то особенно горько. Раннее сиротство, неудача с пенсией (Андрей Прохорович, добровольно расставшись с военной службой, на гражданской просто не успел ничего выслужить), беспросветная нужда. Служба в канцелярии с десятилетнего возраста, глухая провинция, чиновники – персонажи капнистовской «Ябеды». Живой, любознательный ребенок на побегушках у этих чиновников...

На таких картинах выросла у нас во второй половине XIX века целая литература, и требуется немалый труд, требуется настоящее духовное мужество, чтобы обуздать воображение, этой литературой распаленное, и не унесться мечтами в тот волшебный край, где детство Крылова, детство Ваньки Жукова и «Детство» Максима Горького сольются воедино. Где жизнь нескольких поколений православных русских людей представится нам в виде лубочной мелодрамы, которую две-три марионетки («Гриша Добросклонов» и «Салтычиха») ломают на фоне задника, расписанного под цвет «свинцовых мерзостей русской жизни».

Есть, однако, авторы более древние, чем Максим Горький, есть авторитеты более надежные. Есть царь Давид, сказавший: «Юнейший бых, ибо состарехся, и не видех праведника оставлена, ниже семени его просяще хлеба». Есть Промысл, есть предусмотренное Им честное вдовство, честное сиротство. И есть Россия – страна великого страдания и великой святости, где жизнь очень часто бывала трудной и горькой, законы – суровыми, а люди зато – добрыми, поразительно чуткими к чужому горю, талантливо сострадательными. Где во времена Крылова еще твердо помнили о том, что грехи роняют род, а не смерть старшего в роде, не отсутствие денег или сильной протекции.

Род Крыловых именно после несчастья резко пошел вверх, дав России неподражаемого поэта и мудреца.

«...Не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Андрей Прохорович и Мария Алексеевна Крыловы были – праведники не праведники, но хорошие русские люди, каких много было у нас во все времена, и Бог не оставил их детей, о чем они, конечно же, и просили в своих молитвах, на что и надеялись.

И здесь не обошлось без Львовых.

Федор Петрович увез способного мальчугана из Твери в Петербург, в доме у Николая Александровича Львова Крылов первое время жил. Обнаружился литературный талант (сам Бецкой одобрил какой-то ученический перевод, выполненный тринадцатилетним Крыловым), начали завязываться знакомства в театральном и журнальном мире, отыскался заработок... Уже через год

Крылов смог выписать к себе младшего брата, затем и мать. Талант оказался скромным, но достаточно прочным и продуктивным: театральные сочинения, сатирическая проза, стихи – все это отвечало требованиям рынка, обеспечивало стабильное и независимое существование. Так оно и тянулось год за годом – десять лет, пятнадцать лет... Все это время литературная известность Крылова достаточно велика, прочна, и только одной мелочи ему не хватает – своего читателя, читателя-друга.

Век Просвещения получил в революционном Париже неисцелимую рану. Конвент перевел просветительскую сатиру в область практических дел; гильотина, однажды появившись, не могла уже развоплотиться и спрятаться назад в книжку.

Но лязганье и хрясканье революционной жатвы не долетают до петербургских салонов с далекой площади Людовика XV, и русское просветительство еще держится какое-то время. Жалко так сразу расставаться с красивыми и в общем-то правильными идеями. Надо подождать: возможно, учителя одумаются, отложат в сторону зазубрившийся топор и возьмутся опять за указку.

Один из лучших русских сатириков (а после смерти Фонвизина, пожалуй, и самый лучший), Крылов участвует в этом безнадежном ожидании. С годами накапливается усталость, нарастает разочарование. Правильные идеи, как парус, высоко подняты над плоским морским горизонтом, но корабль не двигается вперед, скорее пятится – ветер дует неправильный.

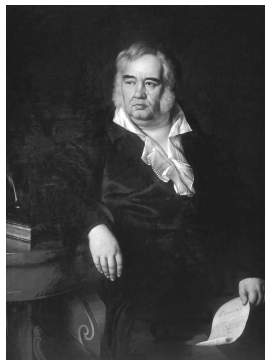
Крылов наконец выходит из игры – просто прекращает на время профессиональную писательскую деятельность. Около десяти лет его нет в наличной литературе; за это время успевают появиться, справить свой скромный триумф и закатиться русский сентиментализм, сменяется литературная эпоха – и вдруг ни с того ни с сего начинают с 1805 года появляться басни: «Дуб и Трость», «Ворона и Лисица», «Ларчик». Спустя четыре года выходит из печати первое отдельное издание крыловских басен. Как-то незаметно, бесшумно родилась одна из главных книг в русской литературе.

В пору моего детства еще устраивались иногда состязания лошадей-тяжеловозов. Особенно славилась владимирская порода – диковинные существа, похожие на коней былинных богатырей. И вот представьте себе такую лошадь, собравшуюся сдвинуть с места неимоверный – высотой до небес! – призовой воз. Усилие нарастает с каждой секундой, жилы надуваются, упряжь трещит – воз совершенно неподвижен. И даже в высший момент испытаний, всегда таинственный момент равновесия сил, воз так же неподвижен, как за час до их начала. Отчаяться и бросить – только и остается. И вот тут-то, без предупреждения, без дополнительных усилий (не хватало каких-нибудь пяти граммов), воз трогается с места и едет сам. Все косные силы преодолены и побеждены. Инерция покоя преобразилась в инерцию движения – воз еще и подталкивает лошадку. Можно трусить по укатанному снегу, потряхивая гривой.

Все это называется просто: лошадь повезла.

Что-то похожее произошло и с Крыловым. Долгое прозябание, многолетний труд без радости, без благодатных утешений. И вдруг на подходе к пятому десятку лет – «лошадь повезла». Повезла, когда выгорело без остатка молодое честолюбие (люди вызнаны вдоль и поперек, и слава уже не очень манит), когда определилась неудача жизни, когда все в этой жизни стало понемногу заплывать жирком, обрастать уютными холостяцкими привычками.

Жизнеописание Крылова, составленное П. А. Плетневым по свежим следам, в 1847 году, остается до сих пор лучшим. Из него вы можете узнать о некоторых живописных причудах стареющего Крылова. Хотя слава его уже при жизни была легендарной, хотя Крылов считался своим человеком и в «Беседе любителей русского слова», и в Академии наук, и при дворе Марии Федоровны, и в семействе ее сына-императора, а среди современников-литераторов не знал ни соперников, ни врагов, ни даже обычных недоброжелателей (поскольку никому не вредил и не мешал, имея притом благовую привычку «машинально соглашаться со всяким, что бы кто ни говорил») – нежелание пускать посторонних в свою внутреннюю крепость, безгневное и оригинальное юродство оставались для него во всю вторую половину жизни наиболее характерны.



*Иван Андреевич Крылов  
(1769-1844)*

Во вступлении к своему труду Плетнев называет Крылова «в полном смысле русским человеком». Здесь это только признание очевидного для всех факта и ни в коем случае не похвала. Благородный Плетнев до глубокой старости сохранял верность Карамзину – его идеалам, его *стилю*, – и для Плетнева русский человек оставался разновидностью Человека Европейского, чуть недоделанным европейцем.

По мысли Плетнева, Крылов обладал громадным внутренним потенциалом, но рано успокоился, почил на лаврах, не сделав «ни одного покушения расширить тесную раму своих трудов», и «в своем праздном благоразумии, в своей безжизненной мудрости <...> похоронил, может быть, нескольких Крыловых».

Крылов, другими словами, виноват в том, что не пытался на старости лет освоить передовой опыт новейших европейских знаменитостей (Байрон, Ламартин, Г. Гейне), а так и писал до самого конца одни басни.

Образ Крылова, хоронящего в себе романтическую поэму или драму, восхитительно нелеп. Воображение наше способно ведь «расширить тесную раму» любых трудов – и почему бы нам не укорить Крылова в причаду за то, что он не стал великим химиком, не совершил географических открытий, убил в себе борца за освобождение Северной Италии от австрийского владычества и т. п.? Но в гениальной натуре Крылова имелись действительно



такие стороны, которые никак не вписываются в иконописный образ «дедушки Крылова». Многие удивятся, узнав, что Крылов был одним из лучших скрипачей-любителей своего времени, что он, подобно Пушкину и Достоевскому, родился страстным игроком и около десяти лет жизни погубил за картами («Жаль будет, если он проиграет талант свой» – слова Александра I о Крылове) и проч.

М. Гордин, которому принадлежит статья о Крылове в современном Биографическом словаре (кстати сказать, одна из лучших статей в этом пестром издании), попытался сформулировать основные положения жизненной философии Крылова, ставшей результатом тяжелого духовного кризиса, пережитого им в 90-е годы. И вот что получилось у М. Гордина.

Крылов, «сохранив веру в справедливость просветительских идеалов, утратил веру в способность человечества следовать разумным идеалам и разочаровался в самой человеческой природе». Отныне Крылов «наперекор своему собственному просвещенному интеллекту постоянно станет делать упор на вековечный настрой здравого смысла, зачастую весьма наивного и убогого».

Выводы Гордина фатальным образом воскрешают в памяти давний упрек, сделанный Гоголем своему анонимному Близорукому приятелю: «Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога». Фатальным – потому что упрек этот вообще страшно злободневен. Редкое современное исследование, редкая новая книга о классическом русском авторе могут быть им обнесены.

«Бесы влагают помыслы в сердце человека, тайны его не зная; Бог один знает сердце человека», – читаем в одном из памятников древнерусской литературы. Вот высота и тонкость мирочувствия, заведомо превышающая возможности современного литературоведения, которое дальше помыслов не идет. Ищут вошь, затаившуюся у корня волос, и думают, что проникают в тайну богосозданной человеческой личности. Между тем, помыслы у всех людей совершенно одинаковы: меньше дать, побольше получить, осудить соседа, себя оправдать и пожалеть, – и не помыслами, не вшами (у кого они есть), не запахом мочи отличается один классик от другого.

Крылова отличала независимость, почти беспримерная в истории нашей литературы: он не нуждался в единомышленниках, не искал понимания, он рано замкнул от людей свою внутреннюю клетку. Современники только одно знали о нем твердо: Крылов – загадочный человек, «Крылов никому не говорит правды» (то есть не говорит правды о себе). Несравненная житейская опытность и большой ум помогли ему создать уникальную систему защиты. Сам же Гордин пишет о том, что «от последних пятидесяти лет жизни Крылова не осталось никаких документов, содержащих его прямые суждения по каким-либо политическим, нравственным или литературным вопросам».

Тем не менее, отважный исследователь решил не пасовать перед загадкой, которая была не по силам Жуковскому, Пушкину, Грибоедову и прочим корифеям Золотого века, и, как вы только что слышали, шутя раскрыл все тайны Крылова. Великий писатель, «представитель духа своего народа», на проверку оказался циником, скрывающим под маской добряка и обжоры

опустошенную душу. «Примитивный мужицкий здравый смысл» хранился в его поэтической лаборатории как некий мерзостный реактив в колбе или спринцовке – вот этим-то реактивом Крылов тридцать лет прыскал, зажимая нос, на самые заветные свои убеждения и сердечные привязанности, снова и снова убеждаясь в том, что ни одно убеждение, ни одна привязанность не могут устоять против мерзкой жидкости...

Крылов был, короче говоря, сложенным и отчаявшимся человеком, искавшим в художественном творчестве тех маленьких радостей, какие человек, лишенный поэтического дара, находит в расковыривании болячек, расчесывании сыпей, растравливании ран.

Что ж, существуют и такие писатели. И казалось бы, если ты – литературовед, если подобный человеческий тип понятнее тебе и ближе, то и занимайся на здоровье каким-нибудь Хармсом или Кафкой, исследуй их творения... Нет, веселее почему-то писать про Крылова: «Он чувствовал то же, что и все просвещенные люди, но молчал, прикрываясь примитивным настроением здравого смысла». Господи, помилуй! Да из чего же видно, что Крылов именно это чувствовал? Кафка вел дневник, там рассказывается, в частности, что из печки, мимо которой случилось ему ходить, высунулся однажды некто с женской грудью и запустил в Кафку свои когти. Солидное свидетельство, не означающее, однако, что Пушкин, Фет, Бунин и другие поэты, воспевшие в стихах растопленную печь, были лицемерными обманщиками. Возможно, они не притворялись здоровыми людьми, а в самом деле видели в печке только наивную печку, а в кочерге – примитивную кочергу.

Поэт, написавший «Крестьянина и Работника», не мог быть разочарован в человеческой природе уже просто потому, что неплохо знал себя самого – знал человека, которому Бог дал радость вылепить не спеша такую бесподобную вещь.



*Крестьянин ахнуть не успел,  
Как на него медведь надел.  
Подмял Крестьянина, ворочает, ломает  
И, где б его почать, лишь место выбирает:  
Конец приходит Старика.  
«Степанушка родной, не выдай, милый!»  
Из-под медведя он взмолился Батраку.  
Вот, новый Геркулес, со всей собравшись силой,  
Что только было в нем,  
Отнес полчерепу медведю топором,  
И брюхо проколол ему железной вилой.*

Водопад звуков, живописующих торжество расправы над лесным людоедом, изумителен, но вообще-то тема басни очень проста. Она о человеческой неблагодарности. Неблагодарность присуща ведь и нам с вами, она присуща (в неодинаковой степени, конечно) любому человеку: «Несть бо человека, иже поживет и не согрешит». Такова наша природа после

грехопадения, глупо разочаровываться в ней, не менее глупо ею очаровываться и, например, называть неблагодарность «вынужденным проявлением свободы» (как это делает Р. Барт). Неблагодарность уродлива и *смешна* при свете вечной правды, и наша задача – действительно увидеть ее такой хотя бы однажды, получить опытное представление об этом уродстве и этом сраме, чтобы потом узнавать их под любой маской. И здесь искусство незаменимо. Неблагодарность осуждалась до Крылова тысячу раз, но никто, кроме Крылова, не написал бы этих именно строк:

*Чему обрадовался сдуру?*

*Знай колет: всю испортил шкуру!* –

а они превосходны. Чутьочку светлее стало в мире в тот день, когда они родились.

Волнение и радость, которые мы испытываем сегодня, читая Крылова, дают нам представление (очень слабое, конечно) о тех чувствах, которые испытывал в процессе творчества сам мастер.

Трудно, наверное, не замечать мажорной основы крыловского миро-чувствия, не замечать той благодарности за поздний и прекрасный дар, которая присутствует почти осязательно в тридцатилетних трудах и – насколько они нам открыты – днях баснописца Крылова. Еще труднее поверить в то, что Крылов испытал разочарование в прекрасной человеческой природе своих современников.

Крылова любили, и он, по свидетельству Плетнева, к народной любви, которая его окружала, не был равнодушен: «Он, при всей осторожности своей и наружном хладнокровии, с большим чувством и как бы с умилением рассказывал о следующем. Однажды летом шел он по какой-то улице, где перед домами были разведены садики. Он издали заметил, что за одною отгородкою играли дети, и с ними была дама, вероятно мать их. Прошедши это место, случайно взглянул он назад – и видит, что дама брала детей поочередно на руки, поднимала их над заборчиком и глазами своими указывала на Крылова каждому из них».

К числу активных почитателей крыловского таланта относились вдовствующая императрица, министр финансов Канкрин, Оленин, Перовский, Жуковский, Плетнев, другие сановные знаменитости достопамятной николаевской эпохи, сам император подарил однажды сыну-цесаревичу бюст Крылова на Новый год (причем произошло это лет за пятнадцать до смерти модели) – и тем не менее у Крылова не выходил из головы этот незначительный эпизод с петербургской дамой, которая никогда не приближалась к Крылову, не пыталась навалить на его старые плечи груз своих восторгов, – она занималась делом у себя в палисаднике, и она отнеслась к Крылову с той деликатной, благородной, незаметной миру любовью, о которой только и может мечтать художник, когда на досуге размышляет о возможных наградах за труды свои.

М. Гордин – остроумный и эрудированный исследователь, но его попытка проникнуть во внутренний мир Крылова не могла быть успешной.

Любовь к людям начинается с любви к Богу – об этом можно прочесть в Евангелии от Матфея (22, 36–40), – заканчивается она иногда тем, что и люди проникаются к нам доверием, раскрываются для нас, начинают отвечать нам любовью.

Неудивительно поэтому, что нас, современных русскоязычных авторов, никто особенно не любит и не читает. А у литературы есть известное свойство: о чем ни пиши, расскажешь в первую очередь о себе самом – жизненный опыт автора торчит из любого текста, как ослиные уши. Пишем мы о Крылове – получается у нас Крылов-человеконенавистник, «насмешник из-за угла», неряха-интеллигент, наставивший фигу в кармане на ненавистное, во всем на свете виноватое русское правительство... Что ж, все это естественно и как вариант культурного времяпрепровождения совершенно невинно. Никому не запрещено фотографироваться в Летнем саду у ограды памятника Крылову. Но зачем называть эти скромные попытки самоутверждения – наукой?

Пресловутая русская лень именно в Крылове нашла, кажется, свое высшее выражение и оправдание.

На эту тему существуют десятки анекдотов, приведу здесь один из наиболее характерных (в изложении Плетнева):

«Когда-то приобрел он для украшения жилища своего несколько картин <...> Из них одна висела в средней комнате над диваном, где случалось сидеть и хозяину. Сперва картина держалась на двух гвоздиках. После один из них выпал – и она повисла боком. Долго ее все видели в этом положении. Что же отвечал Крылов, когда начали его предостерегать, чтобы не досталось голове его от картины? “Ежели действительно придется ей упасть, то рама, по косвенному положению своему, должна в падении описать кривую линию и, следовательно, она минует мою голову”».

Что тут скажешь? Конечно, забавно...

Но вот по телевидению нашему недавно показывали французский документальный фильм про одного из выдающихся артистов современности. Этот заботился о своем быте, выстроил даже несколько дворцов, где не было выпавших гвоздиков и повисших боком картин, жил там один (то есть не во всех дворцах сразу, а поочередно), имел вышколенную прислугу, охранников, личного врача – и умер в пятьдесят лет от дурной болезни; дворцы же стали предметом судебного разбирательства между троюродной племянницей артиста и каким-то собаколюбивым Обществом, которому артист неосмотрительно покровительствовал.

Крылов, как вы слышали, не захотел утруждать себя хлопотами по перевеске повиснувшей боком картины. Имея много других занятий, он рассчитал, что это дело терпит, что от этой картины его голове не достанется, – и в общем-то оказался прав. Он умер от воспаления легких в семьдесят шесть лет, оставив все свои дела (имущественные, творческие, личные) в полном порядке, причастившись в последний день жизни Святых Тайн, сохранив «спокойствие и даже некоторую веселость» перед лицом смерти.

О «христианской кончине живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной», молятся все без исключения православные христиане за каждой литургией – не все ее достигают. Крылов такую смерть заслужил, заработал – и что значит перед этим фактом досужие пересуды о безалаберности Крылова, о его лени?

Тот же Плетнев пронизательно замечает: «Беспечность и празднолюбие Крылова происходили более от равнодушия к тому, чем жизнь увлекает других, нежели от истощения душевных его сил».

Вообще, русская лень не так проста, как может показаться кому-то с первого взгляда. И хотя американская деловитость, немецкая методичность, всепобеждающий динамизм еврейского племени по-своему неплохи (сегодня только ленивый не ставит эти качества в пример русскому человеку), но здравый смысл и Евангелие рекомендуют оценивать всякую деятельность по ее плодам. Плоды современной деловитости, к сожалению, редко бывают съедобными. Согласитесь, по крайней мере, что вот это «равнодушие к тому, чем жизнь увлекает других», – равнодушие к дарам современной цивилизации, равнодушие к ее *целям* – далеко не всегда может быть исчерпывающе объяснено неспособностью, отсталостью и ленью.

Русский человек не ленив. Правда, он медленно запрягает, но ездит порой очень быстро. И примеров тому можно привести великое множество, вспомним пока что один – из области художественной литературы, к которой давно бы следовало нам возвратиться. Иван Александрович Гончаров, создатель классического образа Обломова и сам человек не деловой, продремавший большую часть жизни в холостяцкой квартире на Моховой, написал три главные книги своего огромного романа за семь недель – труд, после которого отдыхать, дремать одну только человеческую жизнь – явно недостаточно. Сегодня, как и во времена Гончарова, есть множество романистов, которые не спят и не едят, а все хлопочут, «собирают материал», все трудятся и потеют, – но кто из них подарит нам нового «Обломова»?

Ключевский объяснял способность русского человека к кратковременным вспышкам нечеловеческого по своей интенсивности труда, сменяющимся опять и опять длительными периодами застоя и спячки, географическими условиями (суровая зима, весенний разлив рек запирали русского крестьянина в четырех стенах на долгие месяцы, зато время, благоприятное для посева или уборки урожая, сжималось для него нередко до двух-трех дней). Возможно. Мы мало знаем о таких вещах и никогда не будем знать больше. Возможно, географические условия сформировали великорусский характер, а может быть, наши предки в свое время выбрали для жизни географические условия, сродные своему племенному характеру. Может быть, Бог помог им сделать правильный выбор, приведя на эту землю и утвердив на ней.

Русский человек не ленив, хотя и проводит иногда на покойном, слегка продавленном диване целые недели. Лень, «мать всех пороков», всегда презиралась на Руси. Но и трудолюбие само по себе (а уж тем более связанное с ним материальное преуспевание) никогда не являлось в глазах наших предков какой-то абсолютной добродетелью.

Работа ведь бывает разная. Десятствовать мятю, оцеживать комара, красить раки праведных – все это тоже труд; «лишнее осуждение» тоже как-то зарабатывается. И Нагорная проповедь ничего не говорит о блаженстве трудящихся – торгующих ли, пашущих ли.

(Кстати сказать, поговорка «Лень – мать всех пороков», несмотря на широкое распространение у нас, имеет западное происхождение. По-русски же, как и по учению отцов церкви, корнем всех страстей и пороков в человеке является гордость.)

Западный человек, гордый успехами своей громоздкой цивилизации, и думать давно забыл о том, что же могут означать ретроградные и обидные для народного самолюбия слова Спасителя: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?», «Если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?», «Не заботьтесь о завтрашнем дне».

А русский созерцатель на диване ни на минуту о них не забывает. Он не бездействует на своем диване – он дрейфует. Как опытный мореплаватель, ловит он в свои паруса благодатный ветер, ветер с правой стороны. А если вдруг задует слева, он скорее срубит мачты, скорее ко дну пойдет, но не дастся в обман, главное – в сердце своем не поверит, что движение важнее цели, что юркие твари, тащившие куда-то «бессмертную сущность» доктора Фауста и при этом напевавшие:



*Пётр Александрович  
Плетнёв (1791-1865)*

*Чья жизнь в стремлениях прошла,  
Того спасти мы можем, –*

в самом деле были ангелы Божьи.

Про людей, чья жизнь проходит «в стремлениях», сказано в Евангелии совсем уже коротко и страшно: «Они уже получают свою награду».

Можно (и нужно) хвалить мастерство Крылова, но очень непросто вести об этом предмете содержательный разговор. Басенный стих Крылова растет из родной почвы, как куст какой-нибудь смородины: скромно цветет, обильно плодоносит, не дичает, не вымерзает, разрастается понемногу... Формальному анализу эти стихи не поддаются.

Современной науке почти что и нечего сказать о Крылове. Список государственных мужей и второстепенных поэтов первой четверти XIX века, в которых мог метить Крылов, создавая тот или другой басенный персонаж, давно составлен – тема для кандидатских диссертаций исчерпана, вопрос закрыт. Остаются, правда, нелитературоведы – множество простецов, которые зачитываются Крыловым, не понимая того, что в «Квартете» выведен под видом Медведя сам граф Аракчеев, не пытаясь даже разобраться в том, граф ли Разумовский изображен под видом Осла в басне «Осел и Соловей» или все-таки князь А. Н. Голицын. Но что говорить о простецах? Должны же и они чем-то утешаться – эти бедолаги, которым недоступна высшая алхимия Бахыта Кенжеева и Елены Шварц.

В литературной жизни сегодня Крылов незаметен, как незаметен был Слон в его Кунсткамере. Ведущие наши литературоведы – идеологи, критики, молодые штурманы и великие кормчие литературного процесса – никогда о нем не вспоминают. В специальной литературе с трудом можно отыскать две-три страницы, где говорилось бы ясно и твердо о том, насколько велики чисто формальные достижения Крылова. И не теоретиками литературы написаны эти страницы – они составились сами собою из отдельных высказываний практиков. Пушкин, Жуковский, Батюшков, Катенин, Гоголь (все самоучки, лишенные благодати современного филологического образования) не стеснялись говорить вслух о «красотах стихотворенья», коими одолжил русскую поэзию Крылов.

Тем не менее, жизнь и труды Крылова неплохо изучены русской наукой. У литературоведения были и будут всегда свои скромные герои, свои «капитаны Тушины» – их трудом и создается тот капитал, который идеологи транжирят потом в журнальных спекуляциях. Академики Плетнев и Грот, Михаил Ефстафьевич Лобанов (товарищ Крылова по Публичной библиотеке и его биограф, тоже академик) заложили прочный фундамент для будущих исследований. Изучение басенных автографов Крылова, начатое в середине XIX века В. Ф. Кеневичем, увенчалось в 1956 году академическим изданием крыловских басен. Заслуживают уважения многолетние полезные труды советского ученого Н. Л. Степанова, хотя он, по условиям своего времени, делал излишний нажим на сатирическую составляющую крыловского творчества, в целом все же эпического, а не лирического.

Малый жанр эпоса, басня имела глубокие и разветвленные корни в допетровской культурной традиции; первые сто лет русского регулярного стихотворства также ознаменованы усиленным вниманием к басне. Публика охотно читает ее. Все крупные поэты, от Кантемира и Тредиаковского до Дениса Давыдова, Озерова, Батюшкова и Жуковского, ее пишут.

И вот Крылов, немолодой уже человек и немолодой писатель, скромно вступает в эту исхоженную область словесности – где трудились до него десятки талантливых людей, а Сумароков, Хемницер и Дмитриев, не повторяя и не заслоняя один другого, нашли каждый своего читателя, добились славы – и с первой попытки исчерпывает жанр русской басни, закрывает его.

Писать басни после Крылова оказалось невозможным. Единственное исключение за сто шестьдесят лет – исключение, подтверждающее правило, – пять-шесть басен в наследии Козьмы Пруtkова.

Крылов не только лучший, но и последний, абсолютный русский баснописец.

Наши предки высоко ценили древнейшую разновидность басни – притчу. Уже в «Изборнике» Святослава сборники притч характеризуются – наравне с Книгой Иова – как книги «хитростяная и творитьная», «в них же всякая твари и ухыштрению большую острогу умьную обряшттеши, яко Господа единого мудрого речи суть».

То есть в этом памятнике XI века утверждается без каких-либо оговорок и обиняков, что искусство баснописца способно производить ту же «остроту умьную», которой запечатлена Книга Иова, включаемая Церковью в состав книг Ветхого Завета. (Тем самым Церковь свидетельствует и удостоверяет, что данная книга создана под непосредственным наитием Святого Духа).

И современные исследователи древнерусской притчи говорят в один голос об очень важном – срединном! – ее положении между двумя группами жанров, на которые распадается для нас вся литература Древней Руси, – между «заземленными» жанрами (историческая повесть, послание) и жанрами «чудесными» (житийная литература). Место между обыденностью и чудом, между землей и небом занимает притча, басня – именно она становится центром равновесия древнерусской литературы.

Аллегорический метод препятствует разгулу самовыражения, набрасывает узду на страстную человеческую природу создателя басни; вместе с тем, степень художественного обобщения, «умная острота» в басне достигается средствами искусства, полностью зависит от личного мастерства художника.

Все писавшие о Крылове с умом писали в первую очередь об уме Крылова. Подвижный, насмешливый, стыдливый, любящий и умеющий выразить себя живописно ум русского народа и ум Крылова как-то сливаются: народный ум материализуется в басне Крылова.

При этом понятно, что любой сборник русских пословиц содержит множество красот и глубин, не давшихся Крылову, и что в народе нашем тем более сохранялись (да и до сих пор таятся) целые пласты самобытной мудрости, не учтенной даже и в знаменитом собрании Даля. Что Крылов, короче говоря, не присвоил себе весь ум русского народа количественно. Но он овладел методом – довольно элементарным творческим методом, – суть которого я вам постараюсь сейчас изложить.

Мы уже вспоминали с вами, когда говорили о Ломоносове, слова Спасителя: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» – что любишь, тому и уподобишься, при том и останешься в вечности. Любовь к русскому слову, к русскому складу ума и сделала Крылова «представителем духа своего народа», одним из главных выразителей национального духовного типа в нашей литературе.

Однако люди, любящие родное слово, встречаются на земле гораздо чаще, чем великие национальные поэты. Одной любви мало для создания признанных литературных шедевров, точнее сказать, – не всякая любовь к истинным даже ценностям является совершенной. Представьте себе человека, не свободного от страстей, в первую очередь – от гордости, который полюбил русскую духовность и сделал ее изучение своей специальностью. Опыт показывает, что любовь такого человека при ближайшем рассмотрении окажется состоящей из целого ряда антипатий. Тут будет неприязнь к товарищам по профессии, карьеристам и интриганам, неприязнь к русскому народу, погрязнувшему в пьянстве и не читающему книг о русской духовности, наконец – острая неприязнь к России, этой стране, где



выдающемуся исследователю национального духовного типа не создают условий для научной работы.

По мысли отцов церкви, гордость – медная стена, отделяющая человека от Бога, а следовательно, и от людей. Разрушить медную стену, смириться, позволить многомиллионному народу говорить через себя – такова в самых общих чертах суть крыловского метода. Это в самом деле элементарно: любой ученик двухлетней церковно-приходской школы в прошлом веке знал о том, что смиренномудрие и чистота – качества похвальные, помогающие во всяком деле. Но это трудно: Крылов один в России, и его басни – единичное, штучное явление в литературе, («Народные рассказы» Л. Толстого с их образцовой, шегольской простотой напоминают крыловскую басню только по внешности. Еще Баратынский сказал: *«Нет явления без творческой причины»* – причины указанных выше литературных явлений строго противоположны. Противоположно, стало быть, и воздействие, оказываемое ими на читателя. Крылов любит народную речь, народный склад ума, смиренно покоряется их стихии и – незаметно, может быть, для себя самого – становится ее орудием. Толстой ненавидит современную ему искусственную цивилизацию, и народный язык послужил тут всего лишь первой попавшейся дубиной, которую великий писатель поднял с земли и гвоздил ею «жизнь богатых классов с ее глупым матерьяльным благополучием» до тех пор, пока не был назван «зеркалом русской революции» и не добился многими и лютыми трудами отлучения от Церкви.)

В соборе оптинских старцев, недавно канонизированных Церковью, двое должны быть упомянуты здесь из-за своего особого отношения к Крылову. Но сначала напомним о том, что старец, иеросхимонах, духовник крупного монастыря – это, помимо всего прочего, человек безмерно занятый, имеющий в сутки не более пятнадцати минут личного времени. И вот известно, что преподобные Амвросий (Гренков) и Нектарий (Тихонов) любили в эти короткие минуты отдыха слушать чтение басен Крылова.

И это очень странно! Мы знаем, что святой находится в непрерывном молитвенном общении с Богом; духовное просветление его настолько велико, что малейшая пылинка тщеславия, рассеянности, малодушия так же невыносима для души святого, как для нас с вами был бы тяжел груз воспоминаний о каком-нибудь зверском убийстве. И вот мы видим, как святой Амвросий, святой Нектарий регулярно принимают в душу к себе стихи Крылова – эти стихи ничему там не мешают.

Крылов, который был привязан к земле всеми привычками, симпатиями, самим своим весом, – «заветной лирой» приходит в монастырь и прочно там поселяется. Это удивительно. Постараемся понять, как такое могло произойти.

На прошлом чтении мы говорили про Екатерину II, которая расплакалась над «Фелицей» (эту оду мы называли тогда иконой великой императрицы – не идеализированным, но идеальным ее изображением), однако осталась при всех своих слабостях и недостатках, может быть, даже укрепилась в них с

помощью чудных стихов Державина: «Какая есть. Умные люди понимают меня и ценят. А на дураков нечего смотреть». В этом, говорили мы, и заключается коренной порок искусства: духовные переживания, которые в исключительных случаях способна вызывать земная поэзия, не приводят к сколько-нибудь заметным улучшениям в духовной жизни. Поэзия не спасает и не губит, она только помогает проделать жизненный путь (ведет ли он к спасению или к вечной гибели) с большей отточенностью, с большей пластической выразительностью. Беда в том, что читатель проникает «во области заочны» с черного хода: переживает духовные состояния, получает духовные утешения и ничем их не оплачивает, причаясь попутно смотреть свысока на всю эту темную толпу непробужденного народа, для которого дверь в Поэзию закрыта навсегда.

Существует мнение, что поэты зато расплачиваются полной мерой за свою удивительную способность переносить людей контрабандой из земной юдоли в соседство инобытия («Нам музы дорого таланты продают», «Любовь камен с враждой Фортуны – одно» и т. д.). Очередное наше чтение будет полностью посвящено Пушкину, и тогда нам неизбежно придется говорить о взаимных отношениях, о взаимных границах между земной поэзией и Благодатью.

Пока что замечу следующее. Мне глубоко симпатичны многие поэты – современники Крылова. Шихматов и Озеров (хотя они и вставали на котурны), Карамзин и Дмитриев (хотя они и идеализировали действительность). Эти люди учили добру, указывали своим читателям высокие цели. И литература, которую они создавали, нисколько не была лживой – высокое есть в жизни. Просто самому Шихматову, самому Карамзину высота их литературы легче давалась, обходилась дешевле, чем высота их жизни. Что уж говорить о читателях! Вполне понятно, что всякий петербургский чиновник или офицер, насладившись раз в неделю сверхчеловеческим благородством героев Озерова, вынужден был остальные шесть дней укреплять расшатавшиеся нервы жирной кулебякой, карточной игрой, городскими сплетнями – просто из чувства самосохранения.

Мы помним успех – и успех совершенно законный, – который имели у современников пародии Баркова. Они предохраняли людей от того, что именуется в наши дни культурной шизофренией. Реальная жизнь горожан с её будничными заботами, будничным словарем и жизнью, изображенная в трагедии Озерова или в поэме Ширинского-Шихматова, образовывали два самостоятельных мира, два полюса бытия, между которыми возникало тайное напряжение, возникало недоумение: где же правда? Или по крайней мере: где же больше правды?

(Аполлон Григорьев рассказывает про своего отца, воспитанного сентименталистской эпохой и даже бывшего однокашником Жуковского по Благородному пансиону, что Александр Иванович в зрелые годы мог с одинаковым удовольствием припомнить как чувствительную песенку Дмитриева:

*Возрыдала б, возопила:  
Добры люди! как мне быть?*

*Я неверного любила...  
Научите не любить, –*

так и уличную переделку той же самой песенки, где «не любить» вполне свободно превращалось в «не родить». То или это – под настроение.)

Классицизм и сентиментализм поднимали человека на большую высоту – настолько большую, что удержаться на ней без некоторых умолчаний и сокращений было невозможно. Фальшь высокого вызывала навстречу себе откровенность низкого, которое тоже ведь имманентно присуще человеческой природе.

«Человек не ангел и не животное, – пишет Паскаль, – и несчастье его в том, что, чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное <...>. Не следует человеку думать ни что он равняется животным, ни что он равен ангелам, и нельзя допускать, чтобы он не ведал ни того, ни другого; следует ему знать и то, и другое одновременно».

Вот, пожалуй, наилучшая надпись к портрету Крылова: не ангел и не животное. Крылов – это человек. Это золотая середина, это человеческая норма. Потому-то он ничему не мешает, никого не заслоняет. Потому-то его нельзя пародировать, невозможно ему подражать.

Умною остротой крыловских басен мы все напитаны с детства. Они вошли в плоть и кровь нашу, повлияли на выражение наших лиц. *«И даже хаживал один на паука», «А куму не сенца, хотелось бы мяснова», «Про жизнь пустынную как сладко ни пиши, а в одиночестве способен жить не всякой», «С чего ты взял, что я охотник до лещей?»* – из этого мы и состоим во многом, это в нас до конца.

Удивительно то, что Крылов, «сгорев душою», утратив интерес к тому, чем жизнь увлекает многих: пылких юношей, прозаичных дельцов, хищных политиков, озлобленных интеллигентов, – сохранил страстную привязанность к народному слову, непереводаемому на язык цивилизованного общения, но точному, вкусному, животрепещущему и громокипящему, озаряющему унылую русскую равнину целой радугой смысловых и фонетических оттенков. В зрелом творчестве Крылова не осталось ничего личного – оттого-то и могли им подкрепляться преподобные Амвросий и Нектарий. Самоотречение Крылова, отказ от драматургии, отказ от горделивых притязаний на роль общественного деятеля и привели к рождению того мудреца, того великого национального поэта, которого мы знаем под именем Крылова.

Многие думают, что освоили Крылова в детстве и потом переросли его, поднялись выше. Это иллюзия. Постарайтесь разгадать и исполнить Божий замысел о себе, найдите к себе дорогу – только тогда вы с Крыловым сравняетесь. «Никто не больше никого», говорят испанцы, и нельзя перерастить человека, который равен самому себе.

Михаил Матвеевич Херасков был назван современниками «русским Гомером» за те громоздкие эпические поэмы из русской истории, которые он старательно составлял по лучшим иностранным образцам («Освобожденный Иерусалим», «Генриада») и в которых герои Троянского цикла выглядели очень мило в русском и татарском платье:

*Отвсюду зрится смерть, отвсюду и победа.  
Князь Курбский копием ударил в грудь Мирседа...  
И се! бежит Бразин, как молнией гоним;  
Оборонялся он еще мечом своим.  
Микулинский у рва злодея достигает,  
Но он в глубокий ров стремглав себя свергает, –*

и не его вина в том, что заветный ларчик, где сохранялась до срока русская эпическая поэзия, открывался по-другому – «просто открывался». Когда сроки исполнились, пришел человек, не искавший славы русского Гомера или славянского Вергилия, выпустил на волю своих зверюшек, поселян, вельмож – и оказалось, что тяжелого эпического золота в этих забавных фигурках больше, чем во всех богах и героях имперского российского Пантеона.

Западноевропейское Возрождение плохо прививается к древнему стволу русской культуры; гипсовые Дианы, Аполлоны, Роланды быстро портятся в нашем климате, «нарядно обнажаясь» до проволочного каркаса.

В своем послесловии к академическому изданию гнедичевской «Илиады» петербургский профессор А. И. Зайцев писал недавно, что «интерес к поэмам Гомера и их эмоциональное восприятие должны рассматриваться как надежный признак здоровья всей человеческой культуры».

Что-то похожее следует думать и о Крылове. До тех пор, пока мы у себя в России любим Крылова, все слухи о вырождении и скорой гибели русского народа следует считать преждевременными.

О Жуковском мы с вами уже заговаривали, уже я цитировал Бориса Константиновича Зайцева, который, повторяя в свою очередь Вл. Соловьева, писал о том, что «лирическая наша поэзия России XIX века родилась близ Белёва из легких строф молодого Жуковского», и о том, что с Жуковским в русской поэзии явился «новый звук». Вот и Ахматова у Лидии Чуковской подтверждает: «В стихах Жуковского, во всех, такой замечательный, необыкновенный, особенный звук...» В общем, существует устоявшееся мнение о стихах Жуковского, и нет смысла, наверное, ему не доверять.

«Новый звук», «особенный звук» – это и есть родовая черта, по которой узнают по-настоящему талантливого лирического поэта.

Каждый человек, приходя в мир, приносит с собой что-то новое. И именно с острого переживания чьей-то чужой неповторимости, непохожести на всех других начинается на земле любовь. Какая-нибудь мелочь, вроде формы бровей, привлекает однажды наше внимание и, если не побережешься, становится довольно скоро необходимым условием нашего бытия, нашего блаженства.

Но точно так же и неповторимый человеческий голос лирического поэта, «тысячная интонация», присущая ему одному, находит своего ценителя – находит читателя, способного полюбить этот чудный новый звук до самозабвения.

*...в храме, средь боя  
И где я ни буду,  
Услышав, его я  
Узнаю повсюду.  
Не кончив молитвы,  
На звук тот отвечу,  
И брошусь из битвы  
Ему я навстречу, –*

свидетельствует Лермонтов.

Ребенок долго учится ходить, мучительно; но научившись однажды, он уже не думает о том, как удержать равновесие и куда повернуть носок, – ноги сами несут малыша в нужную сторону. И все мы топчем землю дни напролет, вовсе не замечая своей походки. Но, приглядевшись к тому, как мы ходим, посторонний наблюдатель сможет узнать о нас довольно много...

Жуковский – первый в России поэт, для которого чеканить гармоничные, безукоризненные строки было так же естественно, так же «нетрудно», как ходить или дышать. Начиная с первых звуков «Сельского кладбища», раздавшихся в 1802 году:

*Уже бледнеет день, скрываясь за горю;  
Шумящие стада топятся над рекой;  
Усталый селянин медлительной стопой  
Идет, задумавшись, в шалаши спокойный свой, –*

и до стихов 1851 года, в которых

*Лебедь благородный дней Екатерины  
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый, –*

перед нами один и тот же Жуковский, чья прекрасная душа выражается в стихах свободно, без видимого усилия.



*Василий Андреевич  
Жуковский (1783 – 1852)*

Гете в заключительной части своих разговоров с Эккерманом предлагает каждому из нас попробовать «с помощью человеческой воли и силы создать что-либо, подобное тем творениям, над которыми стоят имена Моцарта, Рафаэля или Шекспира».

Разумеется, это неосуществимо. Можно собрать со всего света лучших предпринимателей и администраторов, открыть для них неограниченный кредит – ни одного нового стихотворения, о котором стоило бы говорить, как и ни одного нового человека с его неповторимым голосом и походкой, они не создадут. Думается, что всем это более или менее понятно.

Но кажется, не все понимают, что сами эти Рафаэли и Жуковские (высокоодаренные и даже, по терминологии Гете, «боговдохновенные» люди) так же мало способны создавать великие произведения, над которыми стоят их имена, *своей*, человеческой волей и силой, как и любой посторонний обыватель, чье имя ни над чем не стоит и никого не интересует.

«Дарование есть поручение» (Баратынский), а не выигрыш в лотерее, которым можно распорядиться по своему усмотрению. То новое, что поэт приносит в мир, ему не принадлежит.

Только что мы с вами восхищались Крыловым, басни которого, при всей их известности, доступности, кажущейся элементарности, вот уже скоро вести лет не поддаются ни подделке, ни сколько-либо талантливому передразниванию. А вот «тысячная интонация» вдохновенного лирического поэта в принципе поддается подделке с большой легкостью.

Поэтический огонь, излившийся однажды в приготовленную поэтом литейную форму, остывает быстро; готовая форма тиражируется потом не только жадными до чужого успеха друзьями-литераторами, но и самим творцом. «От добра добра не ищут».

Интуитивное озарение становится приемом, которого почитатели ждут от полубившегося поэта снова и снова. Индивидуальность легко превращается в манерность.

На первом чтении я, рассказывая о юношеском грехопадении Новгородского святителя Никиты, употребил слово «прелесть». В православной аскетике это слово означает коварное обольщение, «совращение от злого духа» (по словарю Даля). В современном русском языке слово «прелесть» означает прелесть – ту мимоидущую и скоропреходящую земную красоту, закрепление которой на писчей бумаге было во все времена одной из главных задач лирического поэта.

*Этот листок, что иссох и свалился,  
Золотом вечным горит в песнопенье.*

В воспоминаниях Фета мы встречаем любопытный разговор о поэзии. Начинается он с того, что Николай Сергеевич Тургенев говорит своему знаменитому брату:

– Стоит ли заниматься таким пустым делом, которое всякий ленивый на гулянках может выполнить.

– Вот ты и не ленив, – возражает раздосадованный писатель, – но даже одного стиха не напишешь, как Жуковский.

– Ничего нет легче, – мгновенно парирует Николай Сергеевич. – «Дышет чистый фимиам урною святою».

– А ведь похоже, – вынужден сознаться Иван Сергеевич, отсмеявшись.

Жуковский, как и Лермонтов, Блок – как любой лирик по преимуществу, – передает миру «новый звук». Податливо, сомнамбулично передает другим то, что ему самому придано извне, по сути же – навязано. От других великих лирических поэтов России Жуковского отличала только полная безмятежность, странная уверенность в том, что поэзия – не просто невинное и полезное, но прямо богоугодное дело. «Поэзия небесной// Религии сестра земная», «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли».

Принять за истину последние два утверждения мы никак не можем. Поэзия есть поэзия, Бог есть Бог, мечты есть мечты. Словесный винегрет из этих компонентов, как бы ни был он на вид привлекателен, ядовит смертельно.

Святость на земле достигалась отдельными подвижниками во все времена. Век нынешний уже подарил нашей Церкви несколько новых святых. Так что секрет достижения святости, в отличие от многих других старинных секретов и рецептов, человечеством не утрачен. Пост, молитва, сохранение заповедей, благодушное перенесение скорбей...

«Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною», – говорит Спаситель, а не «ложись и мечтай». Мечтательность если и не наихудший, то уж наверное наидлиннейший путь к Богу.

Остановимся здесь.

Жуковского нередко называют «единственным святым в русской литературе». Конечно, Православная Церковь ничего не знает о св. Василии (†1852), но любители и знатоки русской словесности у нас мало интересуются мнением Церкви. Им кажется, что называть Жуковского только чистым, только хорошим, только добродетельным человеком – недостаточно. Жуковский, считают они, заслуживает более сильных слов себе в похвалу.

Беда современного человека в том, что его глаз «идеализирует в сторону безобразия» (Ницше): современный человек все больше интересуется злом, копается, роется в нем, нечувствительно им дышит... Речь идет не о любви ко злу – пока еще, слава Богу, мы все относимся ко злу отрицательно. Но именно осуждаемое нами зло находится в центре нашего внимания. Детектив, криминальная хроника в газете сделались излюбленным народным чтением, каким были еще двести лет назад жития святых. Учащиеся начальной школы свободно ориентируются в профессиональном жаргоне уголовников, лица с высшим филологическим образованием жалуются на непонятность церковнославянского языка. Слова, характеризующие различные признаки и оттенки добра, стремительно теряют прежние вес и цену.

Само слово «добродетель» не имеет сегодня положительного содержания. Не курить, не таскать кошельки из чужих карманов, вовремя платить налоги – этим и исчерпывается современное значение слова. Добродетельный человек буржуазно-демократической эпохи – это такой человек, которого невозможно *посадить*. Вот хочется посадить, и надо бы посадить, но, к сожалению, нельзя. Нет оснований.

Жуковский – человек незабываемой александровской эпохи, в которую добродетель умела еще быть картинной, интересной. Заманчивой.

Тонкий человек, женственно-мягкий, Жуковский являлся вместе с тем дельным и здравомыслящим лидером мощного литературного движения, крупным специалистом сразу в нескольких областях гуманитарного знания, неутомимым ходатаем за всех и за вся. Полжизни проведя при Дворе (и при каком Дворе!), Жуковский не изменился – остался тем, кем был «от юности своя»: человеколюбом, бедняком, монархистом.

Поразительно, что этот бессребреник, этот мудрец, чуткий, как Эолова арфа, скромный, как барышня, и работающий, как хорошая крестьянская лошадь, мог иметь чин тайного советника (что соответствует армейскому генерал-лейтенанту)! Николаевскую эпоху подобное чинопроизводство характеризует с неожиданной для массового сознания стороны.

Чекан Жуковского, отпечаток его идеальной личности полезно иметь каждому из нас. Русский ребенок, не читавший с широко раскрытыми глазами:

*Все великое земное  
Разлетается, как дым!  
Ныне жребий выпал Трое,  
Завтра выпадет другим...—*

не очень счастливый русский ребенок. А ведь кроме «Торжества победителей», есть еще «Лесной царь», «Ивовики журавли»... Есть еще «Светлана»!

*Сели... кони с места враз;  
Пышут дым ноздрями;  
От копыт их поднялась  
Вьюга над санями.  
Скачут... пусто все вокруг;  
Степь в очах Светланы,  
На луне туманный круг;  
Чуть блестят поляны.  
Сердце веще дрожит;  
Робко дева говорит:  
«Что ты смолкнул, милый?»  
Ни полслова ей в ответ:  
Он глядит на лунный свет,  
Бледен и унылый.*

*Кони мчатся по буграм;  
Топчут снег глубокий...  
Вот в сторонке Божий храм  
Виден одинокий;  
Двери вихорь отворил;  
Тьма людей во храме;  
Яркий свет паникадил  
Тускнет в фимиаме...*



Мария Протасова (1811).  
Рис. В. А. Жуковского



В. А. Жуковский, 1811

А какое утешение в сегодняшних скорбях можем мы получить, просто прочитав подряд два крошечных стихотворения Жуковского: «Завоевателям» («Где всемогущие владыки...») и «Воспоминание» («О милых спутниках, которые наши свет...»)! Ведь если бы мы не относились всерьез к миражам земной славы и преуспения, то наш надсадный плач по России, «которую мы потеряли», сменился бы молчаливой теплой благодарностью за те духовные сокровища,



которые в изобилии создавались нашими предками на этой земле и которые в силу духовной своей природы просто не могли никуда пропасть и не пропали. Достались нам в наследство.

*Не говори с тоской: их нет<sup>4</sup>.  
Но с благодарностью: были.*

Благодарность, молитвенная память, жизнь бесконечная – все это пустой звук для расцерковленного слуха. Но для нас с вами представление о несуществующей, уничтоженной России так же невозможно, как мысль об убитой человеческой душе. Душа и Россия вечны. Верю в это дышит каждый стих Жуковского. Русский национальный гимн «Боже, Царя храни» и какая-нибудь «Песня бедняка», наспех переведенная из Уланда, одинаково дают пищу сердцу, одинаково для нас необходимы:

*И знаю: будет добрым пир  
В небесной стороне;  
Там буду праздновать и я:  
Там место есть и мне.*

Огромно влияние Жуковского на дальнейший ход русской поэзии. Именно из его школы вышли два обаятельнейших лирика XX столетия – Блок и Есенин. Что уж говорить о поэтах, выступивших непосредственно ему вслед! «Братья Разбойники» и «Мцыри» показывают нам силу притяжения поэзии Жуковского. Эти вещи (слабые для таких поэтов, как Пушкин и Лермонтов) должны были появиться: требовалось усвоить урок мастера, требовалось научиться копировать «Шильонского узника» с его подавляющим техническим совершенством, чтобы потом продвинуться дальше. Чуть дальше.

Все это так. Но когда Мережковский в одном из своих скверных романов выводит Жуковского каким-то благодушным истуканом, каким-то идолом, страшным своей невозмутимой, непроницаемой добропорядочностью и вызывающим буквально моральную тошноту у чуткой Елизаветы Алексеевны, – то, к сожалению, это только на девяносто пять процентов клевета. Какая-то микроскопическая доля истины в таком изображении есть.

Томительна и даже иногда страшновата прославленная духовность Жуковского. Дух ведь именно «дышет» – движается, живет и животворит все живое, – у Жуковского он стоит, как теплая вода в банке.

Люди, чрезмерно приблизившиеся к Жуковскому, это были несчастные люди, не обретшие ни душевного мира, ни простого человеческого счастья. Романтический поэт – уж это известно – «не змиею сердце жалит, но, как пчела, его сосет». Замечено также, что женской «святыни не нарушит поэта чистая рука, но ненароком жизнь задушит иль унесет за облака».

-----  
<sup>4</sup> – курсив Жуковского. В настоящей книге все выделения в цитатах принадлежат их авторам. В дальнейшем я не буду оговаривать этого.

Рано умерли сестры Протасовы; заболела, превратилась в тень и тоже умерла рано Елизавета Рейтерн... Можно и не говорить о том, что отношение Жуковского к каждой из этих прекрасных женщин было безупречным с точки зрения самой строгой житейской морали. Но трудно отделаться от мысли, что жизнь этих женщин могла быть намного длиннее и радостнее, не повстречайся им в первой молодости Жуковский – замечательный поэт и добрый вельможа.

Отсутствие у Жуковского чувства юмора – не грех и даже не недостаток (многих выдающихся лирических поэтов отличала та же особенность), но вот многолетняя возня Жуковского с мальчишками из «Арзамаса», натужное легкомыслие арзамасских заседаний, многопудье протоколов, исписанных рукою Жуковского, в которых даже искорки подлинного сердечного веселья нет... Вот эта черта тоже зловещая.

И додумался же однажды Василий Васильевич Розанов до того, что «корень крушения» России под натиском революционеров усмотрел в «мягкости Александра II, и отдаленно – в том идеально-романтическом воспитании», которое дал нашему царю Жуковский!

Вот и Флоровский с душевным прискорбием пишет о «набожно-поэтическом» настроении, которое царило в годы ученья юного Жуковского в Благородном пансионе, сохранявшем еще «дух 80-х годов Московского университета, когда тот весь стоял, собственно, под знаком масонства».

«Жуковский был и остался навсегда (в своих лирических медитациях), – размышляет Флоровский, – именно западным человеком, западным мечтателем, немецким пиетистом, всегда смотревшим “сквозь призму сердца, как поэт”. Поэтому именно он умел так изумительно переводить <...>. Это сама немецкая душа сказывалась по-русски».

Плетнев рассказывает о последних днях Жуковского: «Отец духовный прибыл в понедельник на Фоминой неделе, 7 апреля, и нашел Жуковского в постели больным. Его предупредили, что больной еще желает отложить исполнение христианского долга, чтобы совершить его с детьми в праздник Петра и Павла, в день именин сына своего (т. е. почти через три месяца – Н. К.). В 11-м часу утра, во вторник отец Иоанн вошел в спальню Жуковского, который, жалуясь на расстройство мыслей, объявил о необходимости отсрочки Св. причастия».

Кому-то эти подробности покажутся малозначимыми перед лицом приблизившейся к Жуковскому смерти. Но на воцерковленного человека тихим ужасом повеет от неторопливого рассказа о благочестивом поэте, который всю жизнь о Боге томился, всю жизнь о Боге писал – и который начинает руками и ногами отбиваться от живого Бога, реального, пришедшего поддержать и укрепить старого поэта в горький предсмертный час.

(Между тем, для мистической александровской эпохи вся эта ситуация совершенно типична. Что-то похожее произошло и с самим «царственным



*Елизавета Евграфовна  
Рейтерн (1821—1856)*

мистиком», когда он разболелся в Таганроге. «Разве я в такой опасности?» – говорит император в ответ на предложение причаститься.)

В исторической перспективе пиетизм – это одна из ранних стадий разложения первоначального лютеранства. Отсутствие сколько-нибудь серьезного догматического содержания предопределило быстрое ослабление и падение пиетизма; распад лютеранства продолжался далее по новым направлениям: супранатурализм, рационализм и т. д.

Но какое-то время пиетизм был страшно популярен в Германии, вследствие чего и воцарился, с опозданием лет на восемьдесят, в Благородном пансионе при Московском университете. Влияние этой духовной отравы на молодую, неокрепшую душу Жуковского оказалось, к несчастью, слишком глубоким – фактически пожизненным.

Однако во времена Жуковского инерция Православного Царства была еще очень сильна в народной жизни. Двенадцатый год выявил это с полной очевидностью. Основные государственные законы, бытовые привычки, внутренняя логика русского языка, вода и воздух, лето и зима – все склоняло человека на правую сторону, позволяя мгновенно возвращаться на духовную родину из самых дальних и рискованных экспедиций.

Жуковский выслушал отца Иоанна, расплакался, дал согласие приобщиться... Правая чаша перевесила. В среду Жуковский исповедуется и причащается, в четверг говорит духовнику: «Это блаженство – принять в себя Бога», – в ночь с пятницы на субботу умирает.

Правая чаша перевесила. Но странно было бы искать в стихах Жуковского последней зрелости, конкретности духовного опыта, духовной очевидности. Близорукий человек может прожить прекрасную жизнь – просто некоторые жизненные явления останутся для него навсегда закрытыми. Мягкое сердце не помеха острому зрению, но и помощи одному от другого ожидать не приходится.

На втором чтении я с похвалой отзывался о поэтах-поповичах нашего XVIII столетия за то, что они на голом петербургском болоте, продуваемом всеми ветрами петровской реформы, умудрялись сохранять благоволение к миру. Годы безвременья шли сплошной чередой, разнообразные жизненные невзгоды обрушивались на наших поэтов, незнатных и нечиновных. Труд и горе стерегли их. Но они были у себя дома, а дома, как известно, и стены помогают. (То есть, конечно, помогают добрые люди, с которыми ты связан насмерть таинствами Церкви, кровным родством, общими детскими воспоминаниями, общей культурной почвой.)

Жуковский весь благоволение, весь приятие мира. С верою и любовью входит он в русский дом, глядит в упор на русскую жизнь – и видит какую-то другую жизнь, чужую, никогда не бывалую, любит не то, что есть на самом деле, а то, что кажется сквозь колдовское стекло, которое немецкий мастер-блоха незаметно всунул ему в зрачок.

Что же мы скажем в заключение о поэзии Жуковского? Она остается до сих пор живым фактом литературы, остается почти вся, но остается не для любого возраста. Жуковский – образцовый поэт для юношества. Лирика Жуковского – важный рубеж, который необходимо пройти, пережить во внутреннем опыте, но на котором нельзя удержаться: не на чем закрепить.



*Александр Фёдорович  
Воейков (1778 - 1839)*

Черный человек Жуковского, Александр Федорович Воейков оставил в истории литературы заметный след. Был в «Арзамасе» не на последнем счету; во второй половине жизни перешел в «лагерь реакции» – и там не затерялся.

О Воейкове много плохого написано, хотя это был человек не хуже нас с вами – несколько приземленный, в бытовом плане элементарно злой, но талантливый и умный. Имелись у него и такие отличия, которым наше время мало что может противопоставить: участие в ополчении 12-го года, принадлежность к старинному дворянскому роду.

Вольно было Жуковскому выдумать себе какого-то иного Воейкова – меланхолика и идеалиста, вольно было выдать за него свою Светлану! Все это – домашние дела Жуковского, о которых так много лишнего сообщает (и с препротивным умилением!) Б. К. Зайцев, и которые вовсе не должны бы нас занимать.

Планы семейной жизни впятером, которые вынашивал Жуковский, затеяв брак Воейкова с младшей из сестер Протасовых, как две капли воды похожи на известный проект Манилова «жить под одною кровлею или под тенью какого-нибудь вяза» с Павлом Ивановичем Чичиковым – с реальностью они так же слабо связаны. Но мечты Манилова чисты, тонкая примесь сублимированной эротики отсутствует в них; с мечтами Манилова можно знакомиться, не испытывая неприятного чувства.

Во всяком случае, порыв Воейкова, разрушивший эту нездоровую идиллию в зародыше, вызывает у меня сочувствие. Редкий мужчина согласится уступить руль своего семейного корабля постороннему человеку – другу свояченицы (сколь бы ни были высоки его душевные качества). Это неудобно, это и не принято... А главное, что за нужда?

Каторжный характер Воейкова причинил много огорчений Екатерине Афанасьевне Протасовой и ее замечательным дочерям. Вся читающая Россия осведомлена об этом. Впрочем, редкий брак обходится без взаимных обид и огорчений. Разбирать же с проникновенным видом, кто прав, а кто виноват в чужих семейных дрязгах, – занятие столь же обычное и малопочтенное, сколь и сами эти семейные дрязги.

Вообще же, бытовая злость, которой отличался Воейков, – качество непохвальное.

Но есть литературная злость, без нее не обойтись в словесном искусстве, как в кулинарном деле не обойтись без соли и хрена. Литературная сатира помогает избавиться от лишнего в литературе: очищает воздух, расчищает



*Александра Андреевна  
Воейкова (Протасова),  
(1795 - 1829)*

пространство. Подлинным художественным ценностям насмешки не страшны (не повредила же роману «Война и мир» тупая сатира Д. Минаева), камни и грязь отскакивают от поверхности неуязвимого шедевра и рикошетом поражают горе-сатирика.

Литературная злость Воейкова самой высокой пробы: его «Дом сумасшедших» остается до сих пор лучшей литературной сатирой в русской поэзии.

Воейков писал «Дом сумасшедших» двадцать пять лет, эта вещь сопровождала его до могилы; жизненный опыт автора уточнялся и отстаивался в ней, накапливался, оставляя в теле сатиры годовые кольца. Это вещь многослойная и многодельная.

Передовое наше литературоведение всегда чуть стороной обходило этот «Дом сумасшедших». Талантливо – да, и остроумно, оригинально, местами очень глубоко, но как же это за слоем прогрессивным проступает вдруг слой реакционный?.. Беспринципность! Поздние, наиболее реакционные слои сатиры у нас просто никогда не печатают.

Бог с нею, с принципиальностью наших замечательных пушкинистов и горьковедов. Их нравственный ригоризм не меньше, чем ум Молчалина и душа Скалозуба, заслуживает «дней целых» всестороннего и увлекательного обсуждения. Но пусть уж эти дни настанут когда-нибудь потом, после нас.

Полный текст «Дома сумасшедших» необходимо иметь в своей библиотеке каждому любителю русской поэзии. Полезно помнить при этом, что вещь, которой половину жизни посвятил один из умнейших и учейших авторов всего нашего Золотого века, не так-то легко раскусить. Сосуд, заполнявшийся годами, не вычерпашь за один прием. Вещь, которая двадцать пять лет писалась, и читаться должна двадцать пять лет.

Полезно также сравнить с литыми, дельными строфами «Дома сумасшедших» вялые и шершавые сатиры Батюшкова, которые без конца цитируются и переиздаются – именно потому, что уже сто пятьдесят лет никого не задевают и не смущают.

Батюшков у нас вообще статья особая. Этого прославленного поэта мало читают; имя Батюшкова в России поистине стало счастливей и самого Батюшкова, и его стихов.

Вспомним, что сказано о нем в «Доме сумасшедших»:

*Чудо! – под окном на ветке  
Крошка Батюшков висит  
В светлой проволочной клетке;  
В баночку с водой глядит,  
И поет он сладкогласно:  
«Тих, спокоен сверху вид,  
Но спустись на дно – ужасный  
Крокодил на нем лежит».*



*Константин Николаевич  
Батюшков (1787 – 1855)*

Здесь каждая деталь многозначительна и по-своему точна: маленький рост, сладость звуков

(итальянская), которую Батюшков стремился усвоить для русской поэзии, но главное – какая-то искусственность, нереальность его жизненного подвига.

Вот и Пушкин, по свидетельству современника, в зрелые свои годы «что-то разлюбил Батюшкова и уверял, что в некоторых стихотворениях его можно было уже предвидеть зародыши болезни, которая позднее <...> поглотила его».

Есть что-то тягостное в поэзии Батюшкова, тягостное и душное. Этот маленький человек, тяжелый ипохондрик, просидевший в деревенском затворе месяцы и годы, истязавший себя всеми попытками беспощадного самоанализа, заслужил прозвище «российского Парни». Пел, надсаживаясь, веселье, которого не чувствовал, и любовь, которой не знал. «Певцом чужих Элеонор» с убийственной меткостью назвал его однажды Взъемский.

Всем карамзинистам без исключения занятия легкой поэзией представлялись страшно серьезным и важным делом, но Батюшков стал у нас подлинной «жертвой просвещения». Легкомысленности, сладострастия в его натуре не было ни на грош, он занимался художественной разработкой этих тем по чувству долга.

Русофильствовать, благодушествовать, писать философскую лирику может поэт высшей европейской культуры (Тютчев, к примеру, или Рильке), карамзинисты были людьми средней европейской культуры. Конечно, не для них «*Афон и Саров текли половодьем из слов*», но и лучшие воды Запада (испанский театр, Шекспир, немецкая классическая философия) также протекли мимо них. Неподвижным центром маленькой вселенной карамзинистов оставался город Париж.

И Батюшков, русский офицер и русский патриот, перетрудился и надорвался – с ума сошел, пытаясь доказать себе и другим, что на заснеженных полях его бедного Отечества могут вырастать розы, почти не уступающие тем, что цветут в общеевропейском доме у императора Наполеона...

«Певцом безнадежности» назвал Батюшкова советский исследователь Г. А. Гуковский; безнадежна была сама попытка совестливого, нервного Батюшкова выразить и закрепить на бумаге чувства такого жеребца, каким посчастливилось родиться Парни.

Батюшков не родился поэтом, а сделался им. Исходным материалом послужили тут: любовь к литературе, честолюбие (потанное, но жгучее), каторжный труд, беспрецедентно высокий уровень начальной подготовки.

Рано лишившись матери, Батюшков получает тщательное воспитание в нескольких частных пансионах Петербурга, а затем попадает в семью двоюродного дяди, Михаила Никитича Муравьева, и более двух лет живет в его доме. Муравьев – не только известный поэт, но и известный педагог, бывший в свое время руководителем воспитания императора Александра. Живя у дяди, Батюшков находится в постоянном общении с Олениным и Николаем Львовым, знакомится со знаменитыми членами их литературно-просветительских кружков. Семнадцати лет Батюшков поступает на службу в канцелярию попечителя Московского университета – и оказывается сослуживцем Катенина, Гнедича...

Такая исключительно благоприятная обстановка не привела к форсировке собственных поэтических достижений. Обилие материалов и сведений долгое время лежало без движения. Путь Батюшкова в поэзию был долгим и трудным.

Переписка с Гнедичем, относящаяся к этим «годам учения» (между 1805 и 1813), является сегодня едва ли не самой интересной частью литературного наследия Батюшкова. Изящество, трезвый ум, россыпи дельных и тонких замечаний, касающихся технической стороны поэтического искусства... Рядом с письмами собственные достижения Батюшкова в поэзии за эти годы выглядят более чем скромно: в год он пишет одно-два стихотворения – пишет с усилием, которое очень заметно при их чтении и которое иногда вознаграждается двумя-тремя удачными строчками. Складывается впечатление, что Батюшков – прирожденный аналитик; синтетическая, творческая его способность была не так велика. При малой продуктивности таланта, при высочайшей требовательности к себе творчество стало для Батюшкова добровольным мученичеством. Огромный критический потенциал, как кислота, разъедал дотла те крохи непосредственной поэзии, которые способна была произвести муза Батюшкова.

Считается, что Батюшков многолетним самоистязанием добился-таки высшей гармонии и стал непосредственным предшественником Пушкина в русской поэзии. Так В. Вейдле писал в одной из последних своих книг, что, мол, Пушкин так богат (признанием, в первую очередь), а Батюшков такой бедняк, – простая справедливость требует, чтобы батюшковский приоритет был наконец признан официально или, лучше сказать, всенародно. Должны мы все не забывать, что это батюшковский стих принес Пушкину и радость максимальной самоотдачи, и всемирную славу.

Рассуждения Вейдле, «слишком человеческие» по чувству (каждому приятно восстановить справедливость и одарить бедняка – особенно так за чужой счет), и по сути своей вызывают тягостные сомнения. Пушкин учился у многих, он не гнался никогда за лаврами первооткрывателя. Он двигался по столбовой дорожке, густо забитой людьми и экипажами, и к двадцати семи годам обогнал всех на этой дорожке. В самом начале пути приходилось ему, наверное, и у Батюшкова чему-то учиться. Но дело в том, что батюшковские стихи, написанные в силу пушкинских (таковы, по общему мнению, два произведения Батюшкова: «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» и особенно «Есть наслаждение и в дикости лесов...»), родились в Италии в 1819 году, когда Пушкиным были уже написаны «Возрождение», «К Чаадаеву», «Молитва русских», «Пробуждение» и некоторые другие стихотворения, гармония и сила которых вполне удостоверяют самодержавность юного Пушкина в русской поэзии.

Помня о том, как внимательно относился Батюшков к творчеству Пушкина и как рассеянно жил Пушкин в 1819 году, можно бы, наоборот, предположить, что это батюшковская свеча, истерзанная за годы холостых усилий, чуть ли не зубами изгрызенная, все-таки вспыхнула перед концом от свечи Пушкина.

Но скучно заниматься этим. В действительности совсем не важно, где именно брал Пушкин свое добро. Как любил говорить П. Валери, лев состоит из съеденных баранов. Подражать барану, испытывать баранье влияние, питаться бараниной – три разные вещи, но как трудно бывает различить их! С большой осторожностью следует подходить к вопросу о «заимствованиях» и «влияниях» в искусстве.

Если бы все так просто обстояло в этом непростом и деликатном деле, как думают многие (один писатель «открыл», другой – «украл» и прославился), то почему мы-то с вами до сих пор ничего не крадем? Пушкин обобрал Батюшкова – мы же и самого Пушкина можем обобрать! Отбросим постыдную лень. Подарим России двадцать новых классических авторов.

А если все не так просто, если из личного бесстыдства и чужих строчек ничего прочного в поэзии соорудить нельзя – к чему тогда заводить этот тяжелый разговор о приоритетах?

Об отношении Пушкина к поэзии Батюшкова лучше всего судить по составленным им заметкам, сделанным на полях 2-й части (стихотворной) «Опытов в стихах и прозе». Как старый арзамасец и как добрый человек, чуткий к несчастью ближних, Пушкин в 1830 году должен был относиться к Батюшкову с особенным участием. Только что он посетил дом, специально нанятый для Батюшкова в Грузинах, отстоял там всю ночь, пытался заговорить с больным поэтом – и Батюшков не узнал Пушкина. Эта встреча «гениев Арзамаса», первая после двенадцатилетней разлуки, оказалась последней их встречей. Конечно, Пушкин был потрясен ею.

И вот он открывает книгу Батюшкова, испытывая грусть и некое благоговение («Увы! Бедный Йорик. Я знал его...»), перелистывает, пишет на полях одобрительные отзывы: «прекрасно», «какая гармония», «прелесть», а под каким-то особо несуразным произведением заботливо помечает, что оно «писано в первой молодости поэта». Постепенно атмосфера сгущается. Давно замечено, что стихи, создание которых оплачено трудовым потом, мозолями, болью в пояснице, требуют суровой оплаты и от читателей своих. Порок же лицемерия не был присущ Пушкину (равно как и добродетель терпения). Буквально видишь, как он понемногу закипает, как испаряется его напускное благодушие. А стихи тянутся и тянутся, царапают и царапают слух... Нет, Пушкину не нравится то, что он читает, и ничего с этим поделать уже нельзя. «Дурно», «дурно», «какая дрянь», «как плоско!» – аттестует он в раздражении несколько стихотворений подряд и наконец, отчеркнув в произведении «Ответ Г-чу» два стиха:

*Твой друг тебе навек отныне  
С рукою сердце отдает, –*

помещает тут же на полях их прозаический перевод: «Батюшков женится на Гнедиче!»

Молния пушкинского остроумия, полыхнув, разряжает атмосферу: Пушкин продолжает делать пометки, доводя начатое мероприятие до конца, – но за его оценками («прекрасно» и «прелесть» попеременно с «дурно» и «гадость») чувствуется уже отчужденность, сквозит душевный холодок.



Поэт, который одиннадцать лет копил силы и стихи для своего единственного сборника, потом еще год держит корректуру, сидя в деревне, а в результате все-таки «женится на Гнедиче», – такой поэт, при всех его неоспоримых заслугах и достоинствах, не мог быть Пушкину товарищем на Парнасе. Молодость прошла. Запоздалое внимание к творчеству Батюшкова обернулось для Пушкина «схождением», явилось, по сути дела, пустой тратой времени.

Писатель Ю. Карабчиевский, автор известной книжки «Воскресение Маяковского», обнаруживает у своего героя странную психологическую черту – неспособность увидеть в готовом стихе то, чего он (Маяковский) туда не вкладывал. Карабчиевский объясняет этот дефект отсутствием у Маяковского чувства юмора.

Между тем, «дурная пародийная двусмысленность» многих стихов Маяковского и их принципиальная конструктивность (о которой Карабчиевский пишет в других местах своей книги) – две стороны одной медали. Слово мстит за насилие над собой. «Выматывающая силы и нервы борьба со стихом», желание навязать уступчивой русской речи свою волю, добиться того, чтобы она, проклятая, перестала выражать то, что в нее вложено от века, а выразила бы то, что требуется в настоящую минуту сочинителю, – все это и предопределило жизненную неудачу Маяковского, а не недостаток у него чувства юмора. Блок вовсе не имел этого чувства (и в «Воскресении Маяковского» этот факт упомянут), однако ничего смехотворного в блоковской лирике нет – никакой пародийной двусмысленности.

Остается добавить, что вся жизнь Батюшкова в искусстве прошла под знаком безотрадной и безнадежной «борьбы со стихом». И если элементы автопародии встречаются в его творчестве реже, чем в творчестве Маяковского, то виноваты в этом высокий вкус Батюшкова, моральность его мышления, чистота служения – короче говоря, сословные предрассудки, «прах старого мира», который Маяковский и последователи его отряхнули со своих ног, – а не принцип, лежащий в основе поэтической деятельности Батюшкова.

Безысходно отношение Батюшкова к родному слову: «Язык-то сам по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы? Что за Щ? Что за Ш?...» Любой студент-заочник, проучившийся полгода на словесном отделении любого пединститута, смог бы за пять минут доказать Батюшкову, что нелюбимые им буквы русского алфавита имеют к татарщине такое же точно отношение, как к японщине или калифорнийщине, – да что толку! Любая информация (положительная, отрицательная, нейтральная – любая) о «плоховатом», «татарско-славянском» наречии русского народа была бы попросту лишней для Батюшкова, который «сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка <...> что слово, то блаженство»!

Блаженство и мука, отвращение и привязанность – все эти душевные

состояния слабо зависят от деятельности рассудка, «Не по хорошу мил, а по милу хорош», – гласит мудрая русская пословица. Рассудок лишь обслуживает наши сердечные предпочтения и антипатии, зачастую вопиюще нелогичные и несправедливые.

Грустно думать о том, что «пламенное желание усовершенствования языка нашего, единственно по любви <...> к поэзии», которым отличался Батюшков, не принесло чаемого плода. Но что делать? Законы духовной жизни нелицеприятны и достаточно строги. Нельзя же, любя что-то одно (итальянскую поэзию), ненароком усовершенствовать что-то совсем другое (русский язык). Тем более что этот последний Батюшкову элементарно не нравился.

Если совершенство родного языка не присутствует реально в твоём внутреннем опыте, то о каком усовершенствовании его на практике может идти речь?

Язык живет своей жизнью, при этом язык верно служит нам, хотя он старше нас и мудрее. Очень недальновидно третировать его свысока, обижать, обзывать недоучкой. Язык ведь не останется в долгу перед тобою. У всех на виду утешит и обласкает какого-нибудь молодого шалуна, «гуляку праздного», а тебя, умного, скромного и честного, оставит обниматься с одноглазым поэтом Гнедичем.

Живое дело – русская речь. Отделает так своего обидчика, что до могилы не забудется едкая насмешка. Гордый ум может и не снести обиды, может внезапно обрушиться под ее тяжестью.

Радостных дней выпало на долю Батюшкова совсем немного, черная меланхолия была постоянной его спутницей от колыбели и до тридцатипятилетнего возраста. В этом возрасте обнаружили у него явные признаки душевной болезни. Весной следующего (1823) года Батюшков трижды покушается на самоубийство и после этого окончательно уже переходит на попечение родных. В апреле 1824 года он пишет письмо Александру I, предлагая царю «немедленно удалиться в монастырь на Белоозеро или в Соловецкий». Царь наш отправляет больного поэта в Германию (и Жуковский сопровождает Батюшкова в этой скорбной поездке до Дерпта); спустя четыре года немецкие врачи отступаются от Батюшкова, признав его болезнь неизлечимой.

В память о недолгом пребывании поэта на дипломатической службе император Николай назначает ему пожизненную пенсию в 2000 рублей, и настает тишина – мрачный эпилог к жизненной драме Батюшкова, растянувшийся на десятилетия. «Ровно тридцать лет и три года», как в сказке, продолжалась болезнь Батюшкова. Он умер в разгар Севастопольской обороны, пережив императора Николая, но так и не узнал, кажется, что в России правил царь с таким именем.

Попытки осмыслить эту драму, извлечь из нее какой-нибудь общепользительный урок предпринимались в нашей литературе не раз. Были тут откровенные спекуляции на ходовую тему, но две попытки осмысления заслуживают кристального внимания.

Болезнь Батюшкова пытались объяснить, во-первых, чувством тревоги, которую внесли в его жизнь сыновья М. Н. Муравьева – будущие декабристы, якобы посвятившие поэта в свои планы. Михаил Дмитриев пишет, пересказывая догадку дяди (который был не только «министр, поэт и друг», но и курировал долгое время работу Тайной полиции): «Батюшков, с одной стороны, не хотел изменять своему долгу; с другой – боялся обнаружить сыновей своего благодетеля. Эта борьба мучила его совесть, гнала его чистую поэтическую душу. С намерением убежать от этой тайны и от самого места, где готовилось преступное предприятие <...> отправился он в Италию». Но и в Италии, по мысли Дмитриевых, «грызла его роковая тайна» и т. д. Остальное понятно.

По другой версии (ее, кажется, придерживался в наши дни П. Г. Паламарчук), первопричиной батюшковской болезни послужили грозные события 12-го года. Батюшков – чистейший, беспримесный западник, воспитанный в духе преклонения перед французской культурой, – имел несчастье увидеть эту культуру в работе, на марше. Потрясение основ, на которых покоилось стройное и гармоничное мирозерцание Батюшкова, не могло пройти бесследно для его хрупкой психической организации.

Письма Батюшкова, относящиеся к военной поре, выражают действительно сильнейшее душевное смятение:

«Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся как нарочно перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня поразило, что я насилу могу собраться с мыслями...»

«Ужасные поступки <...> французов <...> в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством <...> Зачем мы не отжили прежде общей погибели?»

«Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук – все осквернено шайкой варваров! <...> Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды? Чем наслаждаться?»

В марте 1814 года Батюшков в свите Александра I вступает в Париж. Близкое знакомство с мировой столицей только усиливает в душе поэта чувство горечи.

«Французы <...> должны быть благодарны нашему царю за спасение не только Парижа, но целой Франции, – и благодарны: это меня примиряет несколько с ними. Впрочем, этот народ не заслуживает уважения».

Позднее, в период Ста дней, Батюшков еще раз помянет недобрым словом парижский народ. Известие о возвращении Наполеона застаёт Батюшкова в Петербурге, почти одновременно с этим известием в семье его петербургских друзей умирает дочь. Ликование «благодарных» французов, смерть молодой девушки, никому не сделавшей зла, безысходное горе родителей – все это производит в крохоткой душе Батюшкова страшное возмущение, предвещающее отчасти знаменитый карамазовский бунт против Творца: «А Наполеон живет и стоит. *Изверг, подлец* дышит воздухом. Удивляюсь иногда неисповедимому

Провидению. Дай Бог, чтоб ему свернули шею скорее или разгромили это подлое гнездо, которое называется Париж. Ни одно благородное сердце не может любить теперь этого города и этого народа, шаткого, корыстолюбивого и подлого. Я видел его вблизи и потерял к нему последнее уважение».

Впрочем, степень разочарования Батюшкова в идеалах своей юности не стоит преувеличивать. В конце концов, он не сошел с ума в 1815 году, а вступил в «Арзамас», принял посильное участие в журнальной борьбе с «варварами»-шишковистами, азартно ругал «мандаринный», «рабский» язык Русской Церкви, в одном из писем своих издевательски назвал родную землю «землей клюквы и брусники», а уезжая в 1818 году из России, написал буквально следующее: «Спешу в Рим, на который я и взглянуть недостойн!»

Русский западник всегда умел пренебречь скучной эмпирикой – умел, наблюдая самые отвратительные моменты западной истории, как-то скосить глаза и в очередной раз увидеть лишь неизбежные и неизбывные «грехи России». Владимир Францевич Эрн очень удачно сравнил наших западников с двуликим Янусом: «К Западу они повернуты Маниловыми, к России – бесцеремонными Собакевичами». Батюшков – изобретатель презрительной клички «славянофил» – не имел нужды растревать себя неприятными воспоминаниями об «ужасных поступках французов в Москве». Ясно же, что отдельные промахи, допущенные передовым разездом европейского человечества в Москве (ну там устройство конюшни в кафедральном соборе Русской Церкви, чудом неудавшаяся попытка взорвать Кремль и прочее), суть явления случайные и поверхностные, связанные вообще с переизбытком деятельности у человека фаустовского типа. «Кто трудится вечно и вечно стремится, – поют ангелы у Гете, – того мы можем спасти», тому не сочтутся за грех мелкие ошибки. Брусника же и клюква постоянны и отражают вековечный, позорный застой. Знаковое осквернение русских святых в 1812 году – это рябь на поверхности европейского моря, которую благовоспитанный человек просто не должен замечать; клюква же и брусника – это грозный фатум русской жизни, стыдиться их до головокружения – прямая наша обязанность от колыбели и до могилы. «Несть се благодать, и дар, но долг паче».

Вообще же, две версии батюшковской болезни, с которыми вы познакомились, кажутся одинаково правдоподобными и глубокомысленными. В жизни все устроилось нелепее и проще: мать и сестра Батюшкова были душевнобольными, болезнь нашего поэта была наследственной.

Чувствую сам, что сказанное сегодня о Батюшкове прозвучало с излишней жесткостью и определенностью.

Хотя своя неправда, своя «смертная часть» в Батюшкове, безусловно, имелась. Ну так что же? Нехорошо любить ложь в человеке; немногим лучше – закрывать глаза на ложь в человеке; но хуже всего – человека, со всей его ложью, не любить. И если в моем изложении фигура одного из классических

русских авторов оказалась освещенной только со своей «смертной» стороны, то в этом, со всей очевидностью, проявилась моя неправда, мой недостаток любви к покойному Константину Николаевичу.

Чем совершеннее человек, чем человек православнее, тем меньше зла видит он в окружающих, тем острее ощущает неистребимость злого начала в своей собственной душе. «Все жители этого города от большого до малого войдут в Царство Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои» – вот та степень духовного самочувствия («мера александрийского кожевника»), выше которой Церковное Предание не указывает нам ничего.

В конце концов, сам Наполеон оказался недостаточно плох для роли антихриста. Не случайно же угодил он в плен именно к англичанам – он, имевший смелость злодействовать с открытым забралом и лицемерием, национальным недугом англосаксов, себя не запятнавший! И не случайно получил этот прекрасный подарок – шесть лет очистительных страданий, шесть лет тишины.

Что уж говорить о Батюшкове!

Конечно, его представления о достоинстве родного языка, о путях развития русской культуры, о месте русского человека в семье народов были вопиюще неточными. В этом отношении злую шутку с Батюшковым сыграло его первоклассное образование. Чем глубже погружался он в творения ведущих европейских умов, тем меньше оставалось у него шансов пробиться к истине. Предпочтенью простосердечные творения Тихона Задонского, доморощенные теории адмирала Шишкова прославленным трудам Мармонтеля, Фенелона, Вольтера, Бартеlemi – такой подвиг слишком заметно превышал силы Батюшкова, подточенные регулярным и тщательным воспитанием в элитарных пансионах Санкт-Петербурга. Крылову больше повезло с педагогами. Расставшись со злым понытчиком из тверской канцелярии, он сохранил способность умственной инициативы, умственного роста – Батюшков прожил в искусстве целую жизнь, ни на шаг не отступив от колеи, прорезанной для него воспитателями-иезуитами.

Но нам, с нашими правильными понятиями, вряд ли удастся побывать на той высоте, которая покорила Батюшкову.

Дело в том, что количественные различия не имеют существенного значения в царстве поэзии.

В дождевой капле меньше воды, чем в Ладожском озере; в солнце больше огня, чем в серной спичке. Но стихия огня, одна из четырех мировых стихий, присутствует в горящей спичке, как и стихия воды – в дождевой капле.

В зажженной спичке не просто больше огня, чем в громадной Ладоге, – в отличие от последней, в спичке он есть. От спички может сгореть великий город; ею же в принципе может быть зажжено и новое солнце.

Батюшковская свеча горела несколько минут, и этого достаточно для тех, кто любит свет высокой поэзии, кто его ищет.

(Что же касается специфических «итальянских звуков» в стихах

Батюшкова, то тут уместно будет вспомнить авторитетное суждение Катенина о «напевной, приторной роскоши звуков, которую сами итальянцы напоследок в своих стихах заметили» и от которой сумели отказаться. Величайшим поэтом Италии был и остается до сегодняшнего дня суровый Дант, чей слог Катенин называет «истинно образцом». К сожалению, Батюшков в своих итальянских штудиях не этому образцу следовал.

Впрочем, легко заметить, что лучшие батюшковские строки: *«О память сердца! ты сильнее рассудка памяти печальной...», «Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд, где капля меду средь полыни...»*, счастливо-наглая «Вакханка», в которой каждый стих до сих пор кусается и жжется, величавые, скорбные строфы элегии, в которой поэт описал Москву, увиденную им в декабре 1812 года:

*И там, где зданья величавы  
И башни древние царей,  
Свидетели протекшей славы  
И новой славы наших дней;  
И там, где с миром почивали  
Останки иноков святых  
И мимо веки протекали,  
Святыни не касаясь их...  
.....  
Лишь угли, прах и камней горы,  
Лишь груды тел кругом реки,  
Лишь нищих бледные полки  
Везде мои встречали взоры!.. –*

совсем не заражены приторной, модной певучестью.)

Если Жуковского мы назвали образцовым поэтом для юношества, то для Батюшкова невозможно указать сколько-нибудь представительную категорию читателей. Редкие минуты был он великим поэтом; добивался же этих состояний каторжным трудом, следы которого, повторимся, слишком заметны в его творчестве. Читателей у Батюшкова во все времена было немного.

И только литератор в России такой роскоши – не тратить времени на чтение Батюшкова – позволить себе не может.

Не все понимают, кажется, что у Жуковского, Пушкина, Лермонтова учиться бесполезно. Сколько ни учишься – заново не родишься, на царского сына не выучишься, «Русалку» и «Ангела» в семнадцать лет не напишешь. Батюшков, слабо начинавший, прибавлявший по капле, мучительно долго преодолевавший трудности, общие для любого человека, собравшегося написать страницу по-русски, – живое учебное пособие для становящихся авторов.

Жизненный опыт Батюшкова – опыт писателя, сумевшего разжечь крохотную искру природного дарования, сумевшего наперекор судьбе

добавить две-три странички к многотомному своду классической русской литературы и заплатившего за это страшную цену, – останется навсегда поучительным и актуальным. Батюшков у нас – поэт для специалистов, поэт для поэтов.

Время, о котором мы говорим, – плохое время. Современники чувствовали себя в нем превосходно: ругали Аракчеева, бредили Байроном и Шиллером, смотрели на родную землю так, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело», – мы же видим сегодня на этом месте узенькую перемычку между двумя пропастями, уводящими отвесно в преисподнюю земли.

Страна должна была погибнуть в 1812 году, но не погибла и, оказавшись довольно неожиданно во главе европейских народов, бодро двинулась к новой гибели – к неизбежному крушению всей государственной постройки в 1825 году.

Подумайте сами, что случилось бы с русской литературой Нового времени, если бы Бог не спас Россию в декабре 25-го?

В кровавой мясорубке сгнули бы Пушкин и Баратынский, Хомяков и Киреевский. Тютчев прожил бы жизнь нищим эмигрантом, Гоголь – жителем «ближнего зарубежья». Достоевский и Фет в колонии для беспризорных детей получили бы новые имена – Бесфамильный и Непомнящий. Лев Толстой вовсе не родился бы.

На память о безвременно погибшей России остались бы Ломоносов и Державин, Крылов и Карамзин, мерцали бы начатки какого-то непонятого великого будущего в стихах Жуковского, Батюшкова, молодого Пушкина... В общем, осталась бы от нас вполне уважаемая литература среднего европейского уровня – не хуже польской или швейцарской.

И только одно произведение резко выделялось бы своим подавляющим, загадочным совершенством – грибоедовское «Горе от ума», законченное к началу 1824 года.

В канун выступления «ста прапорщиков», ста «дураков» (грибоедовские оценки деятелей декабристского движения) рождается первый полновесный шедевр русской классической литературы XIX века, – литературы, про которую принято думать, что она была преимущественно правдивой и реалистичной, то есть хорошо «отражала жизнь».

Слов нет, великая русская литература XIX века, как праведный Ной до потопа, «ходила пред Богом» и была поэтому правдивой (откуда же возьмутся фальшь, ходульность, непростота в *таком* присутствии). Но как, скажите на милость, могла она являться непосредственным отражением жизни, будучи в десятки раз живее, осмысленнее и правдивее, чем земная жизнь в любом реальном ее варианте?

По мнению многих, Россия, получив в декабре 1825-го отсрочку на девяносто лет, использовала это время не самым лучшим образом. Никто не обеспокоился всерьез укреплением расшатавшихся государственных основ –

лучшие силы страны ушли на литературную, театральную и т. п. деятельность.

С этими «многими» (среди которых особо выделяется талантливейшая личность В. В. Розанова) согласиться все-таки невозможно. Нельзя доказать, с одной стороны, что из Гончарова или Тютчева получились бы сколько-нибудь дельные капитан-исправники. С другой стороны, сочинение посредственной драмы «Царь Иудейский» не помешало же великому князю Константину Константиновичу успешно руководить военно-учебными заведениями России (и если кто-то показал себя молодцом в дни революции и гражданской войны, то это были юнкера и кадеты). Лучшие силы страны не расплылись в XIX веке, а спокойно реализовывали себя, выражая тем самым покорность Божьей воле, сделавшей их силами именно литературными, а не хозяйственными или политическими. Пушкин и Гоголь (как в XVIII веке Потемкин и Суворов) служили России тем талантом, который у них был.

Другое дело, что силы худшие всегда стремились сделать из русской классики орудие борьбы против исторической России. Анекдотический пример: революционеры извлекали из готового тиража «Бесов» огаревский стишок про *студента* (использованный Достоевским как яркий образец лживости и бездарности агитационной противоправительственной литературы) и распространяли в качестве прокламации... Можно, пожалуй, и самого Достоевского обвинить в том, что он «не предусмотрел» и «соблазнил». А заодно уже призвать к ответу святых евангелистов, которые не предусмотрели Белинского с его развязной болтовней о Христе: «Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства» и т. д.

Борьба за культурное наследие, созданное в петербургский период русской истории, идет давно; приближается час последней битвы. Ни в коем случае не должны мы уступать великую русскую литературу врагам России, врагам Русской Церкви! «Забирайте своего Пушкина, кушайте его с маслом – у нас есть Сергей и Серафим». Вот только этого от нас и ждут.

Русская классика не забавный пустячок, не игрушка для праздных людей, забывших о долге перед родной страной. Великое искусство нельзя по произволу «создавать» или «не создавать» – эта сиятельная особа сама решает, к кому прийти и когда прийти.

«Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить, – утверждает Достоевский. – Потребность красоты <...> неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете». Прекраснейшие вещи, вполне возможно, существуют на Юпитере, но мы ничего о них не знаем, и потребность в этих вещах надежно разлучена с человеком. Мы не способны нуждаться в том, чего нет в нашем внутреннем опыте.

«Космос перее Хаоса». Красота появилась на земле раньше человека, и только для человека существует на земле красота.

Сегодня мы с вами особенно сильно нуждаемся в красоте, нуждаемся в целительном, утешительном воздействии высокого искусства, но скарденая



эпоха предлагает нам все каких-то неудобочитаемых авторов: Вик. Ерофеева, Пьецуха, поэта Кривулина... Очень трудно становится в России с красотой.

И если бы не классическая русская литература XIX века, свалившаяся на наши глупые головы невероятным подарком, в пору было бы действительно «не захотеть жить на свете».

Может быть, порыв декабристов и был прежде всего направлен (конечно, на подсознательном уровне) против пробуждавшейся великой литературы: отменить, раздавить в коконе, сделать все заново и как у людей – «не хуже, чем в Польше». И если это так, то пьеса Грибоедова не просто оказалась случайно первой ласточкой, сделавшей нам весну, но и поставила заблаговременно жирный крест на всей затее бестужевых и рылеевых. Декабристы опоздали. В главном они опоздали. Великая литература уже была в декабре 1825-го, уже поднялась на крыло.

О Грибоедове трудно говорить. Наверное, Грибоедов не самый великий русский писатель, но среди великих русских писателей он, конечно же, самый несообщительный, самый герметичный. Достоевский собирался писать о нем большую статью, но так и не собрался – умер, не разъяснив нам «Горя...». Гончаров назвал пьесу «магическим кругом, из которого никогда не выбьется наша литература». Блок – величайшей русской драмой, не разгаданной до конца. Эти оценки легче повторить, чем развить или оспорить.

Популярный роман «Смерть Вазир-Мухтара», проливая ослепительно яркий свет на личность Ю. Н. Тынянова, не сообщает о Грибоедове ничего существенно важного. Флоренский, познакомившись с романами Тынянова в Соловецком лагере, с грустью подытожил свои впечатления в письме к родным: «Обычное для новых писателей стремление подмарать и лягнуть там, где не могут сказать плохого ответственно».

О себе скажу, что если бы у нас опять началась эпоха обобществления частных библиотек и людям разрешали бы оставить себе на остаток жизни только по одной книге художественной – мой выбор остановился бы на «Горе от ума». Почему-то именно это произведение я перечитываю каждый год, начиная с младшего школьного возраста, и каждый год радуюсь заново. Ощущение легкости в груди, свежесть на языке – снова и снова.

Мы не смогли согласиться с определениями поэзии у Жуковского; более острым, более осмысленным кажется мне суждение Баратынского об искусстве: «Хмель на празднике мирском». Из этой формулы следует, в частности, что высоким искусством точно так же можно злоупотребить, как и лучшим, изысканнейшим вином. Излишек наслаждения влечет за собой известные последствия: пресыщение, физическую и моральную усталость. На конце – уныние.



*Александр Сергеевич  
Грибоедов (1795 – 1829)*

Грибоедовский хмель чист. «Горе от ума» – кладезь, конечно, но без ужасного крокодила на дне.

Кстати говоря, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, отчего так активно действуют в литературном процессе книги рано умерших, или до времени замолчавших, или просто мало написавших авторов? Катулл и Есенин, Марло и Лермонтов, Гоголь и Клейст не столько насыщают и утучняют душу, сколько бередят ее, задевают за живое – и вызывают в молодом сердце то беспокойство, которое необходимо будет искать выход в актах творчества. *«Вот эта книжка небольшая»* со стихами Тютчева или Баратынского, тоненький том сочинений Вакенродера или Г. Бюхнера оплодотворяют в позднейшей литературе целые пласты, вызывают к жизни целую поросль молодых побегов. Талант, не выболтавшийся до конца, привлекает к себе неотразимо – заражает желанием продолжить начатое, подхватить, развить... И как угнетает живую литературу тяжеловесная скрижаль иного автора, полностью реализовавшего свой талант! Гениальные писатели, конечно, Гете и Лев Толстой, но 180 томов их сочинений, грубо говоря, не оставляют места для дополнительного, 181-го тома. Пусть каждый из них титан, создавший целый мир дивных художественных образов. Но ведь в этом мире, где все вопросы решены, все возражения предусмотрены, все дикое растения выполоты и распределены между амбаром и гербарием, а воздух выпит могучими легкими, – живому человеку остается только стать во фронт и медленно умирать от благоговения.

«Сберегший душу свою потеряет ее». 90 томов Полного собрания сочинений великого писателя хуже сохраняют для потомства его живую душу (в существе своем простую и неразделимую), чем это сделали бы две-три счастливые страницы, самим писателем давно написанные и им же потом погребенные под тысячами других страниц, чуть менее счастливых.

Наброски и фрагменты, оставшиеся от какого-нибудь талантливого неудачника, сломавшего шею на дальних подступах к заветной теме, могут вдохновить читателя на большие дела, могут подарить ему целую жизнь, наполненную сложным и важным содержанием, – поскольку сообщают читателю важный импульс и задают ему верное направление; 90 томов Полного собрания сочинений норовят жизнь у читателя отобрать – замкнуть на себя, привязать к миллиону слов и к трем пудам бумаги. 90 томов высокохудожественного текста, создававшегося гениальным писателем изо дня в день на протяжении 60-ти лет, требуют такого читателя, который будет 60 лет изучать и постигать это богатство.

Понятно, что в реальной жизни немного найдется людей, способных потратить жизнь на такое бесплодное занятие. Никому не нужны наши 90 томов, никому не нужен *весь* наш внутренний мир. Важен бессмертный дух, который действует в нас: любит, ненавидит, оценивает, а не опись оценок, совершенных им на протяжении нашей земной жизни. Одно наше слово, один наш взгляд могут рассказать о нас все; повторяться не нужно.

90 томов не могут войти полностью в культурный обиход, в них количественно слишком много ума и таланта, качественно однородного. Из всего этого богатства останется в живом обращении только малая часть, то есть читатели сами сократят Полное собрание сочинений до удобоприемлемого формата, сами выполнят ту неприятную, но абсолютно необходимую работу, которую в других случаях любезно берутся выполнить палочки Коха, героические чекисты, тегеранские обыватели, безымянные для меня возбудители тифа, убившего Г. Бюхнера, голландский посланник в Петербурге с приемным своим сыном...

Михаил Михайлович Дунаев, чье капитальное шеститомное исследование «Православие и русская литература» я буду часто вспоминать и цитировать, отзываясь о нашем авторе так: «Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829) – скорее рационалист, склоняющийся к просветительским идеалам, нежели художник, осмысляющий христианские вопросы». Чуть дальше Дунаев говорит об «односторонности изображения» как о существенной черте грибоедовского художественного метода. Другими словами, *охват* российской действительности в прославленной комедии невелик. Фамусова Грибоедов разглядел и описал подробно, а вот Серафима Саровского не заметил.

Одно из основных правил аскетики гласит: в чем осудишь, в том и согрешишь. Дунаевская оценка как раз и страдает односторонностью. Отсутствие в тексте прямого обсуждения «христианских вопросов» исследователь заметил и осудил, а художника, сверхъестественно одаренного и дар свой явившего миру, – проглядел.

Художник отвечает перед читателем только за художественную разработку своего предмета, а никак не за выбор такового. Жизнь какого-нибудь карманного воришки, описанная великим художником, больше расскажет о Боге и о Его законах, действующих в мире, чем жизнь величайшего христианского подвижника, изображенная писателем, чуть менее даровитым. Собственно говоря, вот это микроскопическое «чуть» и правит бал в искусстве. «Чем дольше живу, – пишет Флоренский родным из Соловецкого лагеря, – тем ярче встает зародившееся с детства убеждение, что есть классическая литература и есть произведения условной ценности, причем разница между ними качественная, а переход прерывный». Вот «Горе от ума» – это и есть «классическая литература», а все известные нам художественные произведения, написанные с умыслом «на православную тематику», суть произведения условной ценности.

Вы можете не любить сатиру как таковую. Вы можете ограничить круг чтения Гомером и Гончаровым, вовсе исключив из него Свифта и Ювенала. Но вы не должны объявлять недостатком классического автора то, что составляет самую суть сатирического метода изображения жизни. «Негодование рождает стих» поэта-сатирика так же, как восторг рождает оду или дифирамб, а свободное созерцание – эпическую поэму. Сатирическая поэзия есть разновидность поэзии лирической; сатира – жанр

по определению субъективный и односторонний. Многосторонний сатирик столь же вероятен и столь же нужен людям, сколь нужен волкодав, который не только стадо охраняет, но еще и дает по ведру молока в день. Сатира, *дополненная* эпическими и агиографическими элементами, – это точь-в-точь увековеченная Марциалом «волосатая плешь». Честная лысина не умаляет достоинства человека, хотя и не красит его. Но *«волосатая плешь – ведь это мерзость»*.

Впрочем, разговор о какой-то односторонности Грибоедова (пусть это будет неумный и неконструктивный разговор) вести можно. Формальные основания для этого есть. Грибоедов был сатирик и, как все сатирики, концентрировал свое внимание на темных сторонах общественной жизни. Но был ли он «рационалистом, склоняющимся к просветительским идеалам»? Что-то сомнительно. Полторы страницы пушкинского «Путешествия в Арзрум» дают совсем другое понятие о Грибоедове. «Человек необыкновенный», чья «бурная», блестящая жизнь увенчалась «мгновенной и прекрасной» смертью, скорей уж похож на героя шекспировской трагедии, чем на любого из напудренных соратников Д'Аламбера и Дидро. Более того. Пушкин не случайно ведь говорит об «озлобленном уме» Грибоедова. Сам Пушкин смотрел сквозь пальцы на многие слабости своих современников, снисходительно применялся к господствующим среди них философским поветриям, пристрастиям, предрассудкам, модам. Пушкин не хотел «напрасно спорить с веком». Грибоедов одним из первых в России вступил в неравный спор с идеалами века Просвещения.

Кандидат Московского университета в 13 лет, вундеркинд, полиглот, пианист-импровизатор, полномочный министр-резидент России и лучший русский драматург – в общем, настоящий «птенец гнезда Петрова», настоящий русский европеец – вдруг объявляет мракобеса Шишкова своим учителем, создает (вместе с Катениным и Жандром) «дружину славян», сумевшую заменить безвременно одряхлевшую «Беседу», едва ли не первый задумывается о «черном волшебстве», которым «сделались мы (российское дворянство. – *Н. К.*) чужие между своими», дает мимоходом исчерпывающее определение всей породе дворянских революционеров («сто человек прапорщиков хотят изменить государственный быт России» и «дураки»), наконец – чеканит формулу, сохраняющую и для наших дней всю силу своего излучения: «В русской церкви я в отечестве, в России. Мы русские только в церкви, – а я хочу быть русским». А в это время, напомним, Пушкин задрал штаны бежал за Ариостом, русский царь награждал орденом издателя «Сионского вестника», а духовный цензор архимандрит Иннокентий (Смирнов), разрешивший к печати одну книгу православного содержания, тихо умирал в пензенской ссылке...

Какой рационализм?! Здесь все приходилось делать заново, вслепую, посреди расплывавшегося и торжествовавшего зла. Тут была работа – тяжелее, чем в штормовую погоду заводить пластырь под пробойну быстро тонущего корабля.

На прошлом чтении мы подробно говорили про ужасную духовную атмосферу «дней Александровых прекрасного начала». Вспоминали и тех немногочисленных литераторов александровской эпохи, в которых теплилась искорка «нашего Русского, народного самосознания» (И. Аксаков).

Никакого влияния эти люди не имели. Шишков был посмешищем. Державина терпели, его даже уважали, но мнение этого уважаемого человека о самых важных современных вопросах («о камерах, присяжных, о Бейроне») никого не интересовало. Державин мог картинно передать лиру Жуковскому, мог, сходя во гроб, картинно благословить Пушкина – то есть Державин подходил на роль свадебного генерала, необходимую, что ни говори, в гражданском обиходе. За это ему прощалось и председательство в «Беседе», и заведомо неодобрительное отношение к идее военного переворота. Какой спрос с выжившего из ума старика?

За одинокими фигурами Шишкова, Державина, Болотова угадывается сочувственная им масса простых людей России, обреченных исчезнуть из мира, не оставив в нем письменного следа. Или же – перестроиться, выучиться географии под присмотром души Правдина с его командой солдат.

Гром Аустерлица многих в России заставил перекреститься: явился Крылов, резко свернул в сторону Карамзин. Но и Крылов с Карамзиным, раньше других осознавшие несовместимость исторического опыта России с комплектом расхожих просветительских идей, не усомнились в доброкачественности самих этих идей. «Время России еще не пришло. Будет у нас и Бейрон, будут и присяжные, но надо потерпеть. Нельзя резать поживому, нельзя торопить естественный ход событий. Царь в России – естественный продолжатель дела Петра, главный русский европеец. Надо помогать царю».

И. С. Аксаков в биографии своего великого тестя так пишет о рассматриваемой нами эпохе: «Хотя французское влияние вторглось к нам еще при Екатерине <...> однако же на литературе, равно как и на умственном движении ее времени, лежит все-таки печать большей серьезности и важности, чем в позднейшую пору: люди Екатерининских времен были грубее, но крепче, строже, ближе к Русской народности; самый их разврат был крупен, но довольно односторонен и внешен, – менее легкомыслен, менее растлевающего свойства. С царствованием Александра I-го начинается более полное отчуждение от народа и более полное господство иностранной моды – и уже не в нарядах только, но в мыслях и воззрениях. Все становится изящнее, деликатнее, галантейнее и как-то пошлее».

Антропологи-палеонтологи давно ищут по свету переходный экземпляр, который связал бы обезьяну с человеком. Называется такой экземпляр «недостающим звеном», – вероятно, в знак того, что поиски бесполезны и что сторонникам эволюционной теории будет вечно недоставать доказательств. Зато в истории русского самосознания «недостающее звено» существует: Катенин и Грибоедов связали концы, разъединенные черным волшебством

лефортов и брусосов, сковали одной цепью Державина (и жившую в нем допетровскую Русь) с Пушкиным – и весь ток русской классической литературы хлынул по этой цепи.

Роль Катенина в этом подвиге первостепенная – именно из его рук получил Пушкин готовые формы, по которым выстроил свое зрелое творчество. Но и Грибоедов, совопросник Катенина, раньше Катенина вступивший в борьбу с карамзинизмом и раньше Пушкина создавший на русском языке литературный шедевр мирового уровня, не должен отступать для нас в тень. Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829) – одна из ключевых фигур в истории русского самосознания.

«Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками», об этом тоже не следует забывать. Тем более что «страсти» и «обстоятельства», глухо упомянутые Пушкиным, знакомы не понаслышке и нам самим. Современные обстоятельства, скажем прямо, особенно благоприятствуют развитию и распространению тех именно страстей, которые затемнили жизнь Грибоедова.

Демоны гордости и нечистоты имели в его сердце свою часть – «часть смертную». Умом и талантом Грибоедов далеко превосходил обычную человеческую меру, но в некоторых других отношениях был «с веком наравне» и вряд ли особенно стремился умирить свою жизнь, приобрести сердечную простоту и чистоту. Сердце Грибоедова могло ошибаться.

Только не надо думать, что голубиные сердца Жуковского или Карамзина реже ошибались. Отнюдь нет. Просто их ошибки были в другом роде: более деликатные, более галантерейные...

Столкнувшись с тем или иным жизненным явлением – будь то солнечный луч или лобное место, молодая утопленница Лиза или пожилой философ Кант, русская императрица Александра Федоровна, явившаяся в виде Лалла Рук, или издыхающий в нищете Камознс, – они одинаково ощущали в груди некую приятную теплоту, тихо вздыхали и произносили от полноты сердечной: «Все хорошо. Все правильно. Во всем Бог». За это современники любили Жуковского и Карамзина и называли их святыми людьми.

В мире Грибоедова не было ничего умирительного. Дорога жизни вела его через пустыню, где месяц (не какой-нибудь, а *плешиный* катенинский) бесстрастно светил на камни, на колючки, на разновидных жалающих гадин. И только мощный разум спасал его от отчаяния, напоминая о существовании иных пластов бытия. «Все плохо, все более или менее неправильно, но если мы захотим стать опять русскими – спасение для нас еще возможно». Понятно, что современники недолюбливали Грибоедова, находя его манеры неприятными, а ум – озлобленным.

Пушкинская ранняя строка «Ум ищет божества, а сердце не находит» дает ключ к жизненной драме не одного только Пушкина, но и всех классиков нашего Золотого века, шедших в своем творчестве от «французского» корня. Пушкин, Баратынский, Катенин, Вяземский, Грибоедов – это прежде всего

люди, страшно обкраденные в первой молодости, пришедшейся у них на те годы, когда так страшно свирепствовала в России язва вольтерьянства. Сердце, «средоточие душевной и духовной жизни» (Юркевич), было более или менее опустошено, более или менее разорено у каждого из них. Но французская атеистическая мысль, прививаясь к благородному стволу русской культуры, сразу же начинала перерождаться: сохраняя ясность и изящество, она стремительно теряла свою легковесность, свое позорное самодовольство. Трезвость и моральность мышления, родовые наши черты, пересиливали французский кураж.

Поэты, перечисленные мною, не всегда утешают. Еще реже способны они умилить, разжалобить читателя. Но это последние русские поэты, в чьем творчестве отсутствуют процессы тления, ржавения, гнилостного брожения – даже в зародыше.

Стойкий иммунитет против любых суррогатов духовности, будь то внеконфессиональный мистицизм или безрелигиозное подвижничество борцов за права человека, – великолепный подарок русскому человеку от поэтов пушкинского круга.

К любому из них применимо острое слово Баратынского: «Такая поэзия лучше хлору очищает воздух».

Литературный шедевр сам за себя отвечает, сам себя поддерживает. Если вы в первый раз прочли «Горе...» и ничего особенного в нем не нашли – значит, вам уже бесполезно, уже поздно что-либо объяснять. А если вы волнуетесь, как юнец, в десятый раз перечитывая старую пьесу, – это тем более необъяснимо.

Чтобы ответственно судить о «Горе...», нужно быть, во-первых, не глупее его создателя, а во-вторых, нужно восемь лет размышлять о пьесе так же напряженно и неотступно, как это делал Грибоедов с 1816 по 1824 год.

«Горе...» выше моего суда, выше моего понимания. Скажу только несколько слов *по поводу* «гениальнейшей русской драмы» и на этом закончу сегодняшнее чтение.

«Колоссальная языковая емкость» грибоедовской пьесы, «виртуозная укладка стиха», о которых пишет советская исследовательница И. Н. Медведева, генетически связаны с классической драматургией Франции. Этим вещам Грибоедов учился у Расина и Мольера. Но его «Горе...» – пересоздание, не перевод. У французских классиков Грибоедов заимствует «виртуозность укладки» и «колоссальную емкость», а не стих и не язык. Заимствует, по сути дела, одну гениальность.

«Крылов <...> приготовил язык и стих для <...> Грибоедова» – в этой благоглупости Белинского, как и в некоторых других его высказываниях, содержится рациональное зерно. Крылов, пересоздавая на русской почве Лафонтена, трудился, можно сказать, на глазах у десятилетнего Александра Грибоедова. Опыт Крылова Грибоедовым, несомненно, учитывался.

Стих «Горя...» не явился для русского театра новинкой. Уже у Шаховского мы встречаем вполне удовлетворительные образцы вольного рифмованного ямба. По замечанию Медведевой, «вольные ямбы русской драматургии в основе своей традиционны и восходят к комедийной практике французского классического театра». Грибоедов, таким образом, совершил не «открытие» вольного ямба, а как раз его «закрытие». Все, что написано этим размером по-русски после Грибоедова, воспринимается как неуклюжая пародия на «Горе от ума», отторгается, изгоняется за пределы живой литературы.

Творческая смелость и удачливость Грибоедова оказались таковы, молния ударила с такой силой, что на этом месте никому уже не придется гулять и рвать цветы. Это место пусто. Нужен гений, чтобы снова вдохнуть душу стиха в искореженную, выжженную форму, а гений (как учил Ап. Григорьев) приходит со своим словом.

Вслед Крылову, убившему русскую басню, Грибоедов у нас на глазах «закрывает» еще и русскую стихотворную комедию. (А вскоре Ершов прикроет стихотворную сказку, Кольцов – литературную «русскую песню»; об этих важных событиях мы поговорим подробнее в свое время).

«Горе от ума» рассматривалось исследователями как драма бытовая, психологическая, социально-политическая, музыкальная, причем концы у исследователей каждый раз сходились. То есть эта пьеса исключительно богата содержанием. Но все ее богатство пронизывает, организует и удерживает в равновесии мощная лирическая струя. Лицо грибоедовского шедевра с его «необщим выраженьем» определяет именно лирическое начало.

Снова и снова сталкиваемся мы с упрямым фактом: в русской поэзии лирика и эпос заведомо преобладают над драмой. Примем этот факт как данность. Очевидно, в русском космосе нет многообразных и автономных правд, которые могли бы сшибиться и высечь искру трагического. Иисус Христос, Солнце Правды, не оставляет нам выбора. Конечно, можно и в полдень крепко зажмуриться и жаловаться на темноту, но такой образ действий еще не делает человека трагическим героем. В первых русских трагедиях («Борис Годунов», «Преступление и наказание») речь пойдет совсем не о том, о чем шла она испокон века в классической драматургии Запада. Но об этом после.

Напоследок еще ненадолго задержимся над одним из персонажей грибоедовской комедии. Поговорим о Софье.

До Гончарова умнейшие наши критики и знатоки не находили в этом образе ничего. Даже Пушкин, даже Ап. Григорьев Софью как-то проглядели. Да и после Гончарова мы ничего нового уже не добавили к оценке Софьи Павловны. Было, правда, интересное суждение Н. К. Пиксанова, которое я приведу полностью: «Долгие годы и даже десятки лет исполнение роли Софьи не выдвигало ни одной актрисы, и это не было случайностью. Играть семнадцатилетнюю Софью должна актриса молодая, навыков же, артистической зрелости и продуманности требуется как от самой опытной,



пожилой актрисы. По преданию, некоторые актрисы первое время отказывались играть Софью. В образе Софьи, которую многие авторитетные ценители литературы находили неясной, заключено сложное и трудное сочетание трех психических рядов: глубокой, сильной, горячей натуры, внешней книжной сентиментальности и развращающего общественного воспитания».

Все верно. Но можно и добавить к сказанному кое-что. Видите ли, «мир во зле лежит», и в человеческом общежитии больше приходится думать о выборе наименьшего зла, чем о поисках абсолютного добра. Общественное воспитание всегда развращает (хотя Фамусов – корифей ума и титан духа по сравнению с вельможами брежневской или ельцинской Москвы). Запойное чтение всегда расслабляет и заражает мечтательностью (хотя мечтать над серьезным романом Ричардсона или Руссо не то же самое, что погружаться с головой в творения Маркеса или Фаулза). Сильная и глубокая натура – вот это редко.

Литературный персонаж в общем (и лучшем) случае должен раскрываться до дна, как раскрываются для нас Фамусов, Репетиллов и Чацкий, как раскрываются даже головокружительно-сложные персонажи Достоевского – Раскольников, Свидригайлов. Живой человек имеет тайну, имеет заповедную глубину, закрытую и для самих близких людей. «Бог один знает сердце человека».

Софья у Грибоедова – живой человек, такой же, как и мы с вами. И я действительно не знаю, что она будет делать потом, после катастрофы в четвертом действии. Дело в том, что она сама этого не знает.

Грибоедов, по-видимому, не ждал многого от «негодяйки», которую создал и оживил своим волшебным пером. Но мнением Грибоедова по этому вопросу можно пренебречь: родители всегда пристрастны к своим детям, и чем ребенок неудачнее, тем больше достается ему родительской любви. Умная, страстная, скрытная Софья сутью своей удалась в отца – Грибоедова, в отличие от Чацкого, который при всем объеме умных и даже блестящих изречений, подаренных ему Грибоедовым, лично совсем не умен (на что первым указал еще Пушкин). Не сомневаюсь, что Софья, представься ей случай, могла бы удивить своего создателя не меньше, чем Татьяна Ларина внезапным замужеством смогла удивить своего.

Софья – энергетический узел пьесы. Совсем не случайно умный Вяземский обнаружил в построении пьесы столько несуразностей, которых мы с вами не видим: «Сам герой комедии, молодой Чацкий, похож на Стародума. Благородство правил его почтенно; но способность, с которою он ех-а-бурто проповедует на каждый попавшийся ему текст, нередко утомительна. <...> В этом главный порок автора, что посреди глупцов разного свойства вывел он одного умного человека, да и то бешеного и скучного». Дело в том, что для Вяземского Софья не ожила. А без живой Софьи пьеса распадается на ряд «выдвижных» эпизодов и лиц, кое-как скрепленных железной проволокой – сквозной темой московского Альцеста.

В глазах многих Софья непоправимо уронила себя уже тем, что в

семнадцать лет предпочла тусклого Молчалина бравурному Чацкому. Не будем ломиться в открытую дверь, доказывая очевидное: выбирать между Молчалиным и Чацким Софье не пришлось; появившийся в доме Фамусовых после трехлетней отлучки Чацкий принимается завоевывать сердце, уже безнадежно занятое.

Но для нас любопытна именно та смелость, с которой Чацкий идет на штурм. Никакой подготовки, никакой разведки, марш-марш вперед... Не то Юлий Цезарь переходит Рубикон, не то каппелевцы идут в психическую атаку.

Странно это все-таки. Хотя и бытует у нас в определенной среде писарская прибаутка «Курица не птица, баба не человек», но вообще в русском общезнании принято считаться с особым устройством женского сердца, которое имеет свой внутренний дворик, свой, с позволения сказать, кремль – с домашними ларами и пенатами, со святыньками какими-то... местнотимыми. Принято все это оберегать. Уж на что Хлестаков столичная штучка и во дворец всякий день ездит, однако и он сначала ободряет провинциалку Анну Андреевну тем, что «деревня тоже имеет свои пригорки, ручейки», а потом только подступает... Чацкий не таков. Робости, свойственной обычному мужчине в первую пору влюбленности, он не испытывает. Внимание к внутреннему миру Софьи Павловны отсутствует у него в зародыше. Чацкий с порога обрушивается на саму среду, бытовую и культурную, в которой Софья Павловна выросла, кроме которой – буквально! – ничего не видала и не знает.

*Что нового покажет мне Москва?  
Вчера был бал, а завтра будет два.  
Тот сватался – успел, а тот дал промах.  
Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах.*

Что до альбомов московских барышень, то они вскоре заполнятся новыми стихами – стихами из «Горя...» А что до Софьи Павловны, то она со второго своего слова с Чацким отклоняет огульное «гоненье на Москву» – мягко, но решительно, – с этого и начинаются в пьесе терзания Чацкого, его «горе от ума».

Кто более прав – Чацкий или Софья в своем отношении к Москве? Вопрос этот не так наивен, как может кому-то показаться. Вот я, например, Москву совсем не люблю. Правда, сегодняшняя Москва, лужковская и черетелиевская, ниже десятью ступенями в культурном отношении, чем Москва грибоедовская. Но и сегодняшняя Москва – это не просто дурно застроенное географическое пространство, на котором живут спартаковские болельщики, по которому гуляют разжиревшие чиновники и где человек из города Бордо имеет счастье во всех молодых реформаторов внушать участие. Москву называют еще почему-то сердцем России.

Среди современников Чацкого известны два-три чудака, отзывавшихся о Москве с нежностью: Пушкин, например, или Лермонтов... Существует мемуарная литература (назову только переизданные за последние годы «Рассказы бабушки» Благово, «Московское семейство старого быта»

Вяземского, «Капище моего сердца» Долгорукова), в которой жизнь московского барства в грибоедовскую эпоху предстает волшебной сказкой. Какие типы! Какие характеры! Знакомая нам семья Ростовых, вся их «пог’ода дуг’ацкая», принадлежит к тому же общественному слою, что и семья Фамусовых. Мало-мальски образованный русский человек знает имена Ольги Семеновны Заплатиной (по мужу Аксаковой), Натальи Петровны Арбеновой (Киреевской), Екатерины Михайловны Языковой (Хомяковой), которые в грибоедовской Москве смогли подыскать себе и мужей приличных, и достойный круг занятий.

Сатирик Грибоедов не обязан был концентрировать внимание на светлых и отрадных явлениях в жизни московского барства. Но что за нужда была Софье ломать свою жизнь по минутной прихоти Чацкого? Софья, слава Богу, не тургеневская девушка, которая в древней и чудной Москве дожидается чудища заморского – какого-нибудь болгарского головореза, только и способного напитать ее бешеную гордыню. Софья хочет быть счастлива дома и со своими.

Выбор Софьи оказался неудачен, слов нет. Софья ошиблась, обожглась на первой любви своей, как обжигаются на первой любви миллионы молоденьких девушек от времен царя Саула и до сегодняшнего даже дня. Софью жалко. Впрочем, как говорят в народе, «могло быть хуже» – то есть хуже Молчалина для Софьи мог быть только Чацкий. Тут уже и прекрасный русский город Саратов, и мирные досуги (чаепитие, беседа, Волга!) в сочувствующем девичьему горю кругу родных – все было бы отрезано и похоронено. Усадили бы бедняжку в знаменитую карету и увезли далеко-далеко – за Любек. Именно там располагаются чистейшие источники химии и ботаники; там бы и пришлось ей под присмотром Чацкого вперять в науку ум, жаждущий познаний. Ну и без детей пришлось бы ей обходиться – на это у Александра Андреевича ума достало бы.

Впрочем, выбор Софьи осуждается у нас совсем не за то, что он был неудачен и не принес Софье счастья. Литературную критику в России проблемы девичьего счастья заботят менее всего. Критики наши бездомны и бессемейны, на свет они появляются взрослыми людьми – прямо вылупливаются из головы Белинского. Весь этот «круг явлений, вызывающих самоубийство в отрочестве <...> круг ошибок младенческого воображения» для них не существует. Критики наши сто лет потели, сто лет перебирали социальные и исторические предпосылки, обусловившие конкретную младенческую ошибку, с единственной целью – вынести обвинительный приговор обществу, в котором *«девушки прекраснейшие спорят за честь достаться в жены»* Молчалину. Такое общество, как вы понимаете, не исправишь косметическими операциями. Тут требуются радикальные лекарства.



ГОРС ОТЬ УЛИ Р. С. Грибоедов. Росс. Худож. Театр.  
Софья—М. Н. Герасимова.

Наилучшим лекарством был признан в конце концов динамит – «динамитец», как ласково называл его Владимир Ильич.

Интересно, что умнейшие наши писатели, но много и тяжело согрешавшие против седьмой заповеди, – Вяземский и (увы!) Пушкин – подозревали Софью Павловну в развращенности, в испорченности; неглупый тоже И. А. Гончаров с легкостью эти подозрения развеял. «Для чистого все чисто». Примечательно также, что в позднейшей литературе (в основном, правда, в произведениях третьего или даже четвертого ряда – в «Неоконченной повести» Апухтина, в романах Сирина) является целый выводок девиц, похожих по видимости на грибоедовскую Софью. Тоже они несообщительны, скрытны, тоже хороши лицом и так же натягивают нос главному герою, сходясь с какими-то малоподходящими людьми... Речь в подобных вещах идет о страшной власти красоты, о непреодолимой преграде, воздвигнутой роком между темной душой красавицы и алчущим красоты художником и т. п. Тут приходится сказать вот о чем: знает ли Бог сердце подобной красавицы – вопрос дискуссионный; во всяком случае, автор этого сердца не знает. В подобных вещах вместо художественного образа мы имеем дагерротип какой-нибудь случайной Нины Ивановны или Надежды Михайловны, которая злонамеренно не отдалась автору и которую недоумевающий автор поместил в свое сочинение, размалевав и демонизировав.

Пора заканчивать. Грибоедов вводит нас в мир классической русской литературы XIX века. Жизнь, которую описывает эта литература, содержательнее и гармоничнее, чем реальная жизнь в России в любую ее историческую эпоху.

Сегодняшний мир, в котором американская массовая культура совершает победное шествие над десятками миллионов свежих русских могил, для жителя и вовсе непригоден. Отвернуться от этого мира, уйти в реальность великого искусства – легкий путь, опасность которого нам еще предстоит обдумать до конца.

В 1825 году этой опасности нет. Есть другая – авантюризм военных заговорщиков, готовых вторгнуться Россию в братоубийственную смуту. Тьма сгущается. Над Великой Русской равниной раздается только дикий голос Рылеева, заклинаящий демонов, зовущий на родную землю Брута и Риэгу.

## Чтение пятое



**Е**сли вы интересовались когда-нибудь известной «легендой о старце Феодоре Кузьмиче», то вы знаете, насколько холодно относится к ней официальная историческая наука.

Чем же провинился перед исторической наукой Феодор Кузьмич, живший тише воды, ниже травы в окрестностях Томска и мирно скончавшийся в январе 1864 года? Такой вопрос не имеет смысла. Всем понятно, что в легенде задействовано еще одно историческое лицо – оно-то и раздражает наших историков. «Феодор Кузьмич» только маска на этом прекрасном лице. Любое другое лицо, выглянувшее из-под той же маски (какой-нибудь «Сергей Никифорович, назвавшийся Феодором Кузьмичом», или «потерявший память Иван Абрамович»), мгновенно уничтожило бы всякий интерес к легенде. То есть эта легенда – не о Фёдоре Кузьмиче; никакой «легенды о старце Феодоре Кузьмиче», по сути дела, нет.

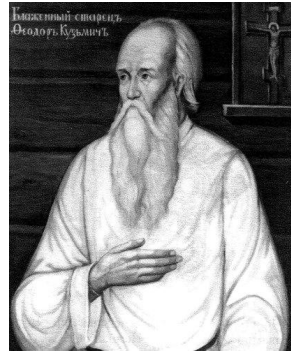
Есть легенда об императоре Александре I, который сначала спас мир, разбив злого повелителя двенадцати языков, потом устроил спасенный мир на разумных и прочных основаниях, а потом – потом оставил мир, сделался странником, бездомным бродягой, «белобрысым босяком».

Это легенда о величайшем из земных владык Нового времени, принявшем добровольно жестокое страдание и страшное унижение: поселение в Сибирь, этап, телесное наказание.

«Порфиросный отрок», воспетыйержавиным, «славный вожь царей», воспетый Жуковским, «наш Агамемнон», воспетый Пушкиным, в этой легенде спустился с высоты трона и растворился среди людей своих. Новый Агамемнон превратился в старого Кузьмича, не помнящего родства и не имеющего предшественников среди героев Эллады. Греческий Агамемнон, как вы помните, был зарублен топором в ванной комнате собственного дворца – у нашего Агамемнона осталась на старости лет только одна нерешенная жизненная проблема: приходилось отбиваться день и ночь от приглашений жителей окрестных сел, мечтавших переселить своего удивительного и славного старца поближе к себе.

Это очень красивая легенда. Удивительную красоту этой легенды почти не портит то обстоятельство, что она, скорее всего, является пересказом истинного происшествия. Почти наверняка эта легенда – простая быль.

Я облек свое утверждение в условную форму исключительно из уважения к мнению исторической науки, которая до сих пор не признала (и никогда не признает) императора Александра в старце Феодоре Кузьмиче. Про себя-то я несколько не сомневаюсь в их полной идентичности. Но я не сомневаюсь также в том, что с выводами науки считаться необходимо.



Только незрелые люди смотрят на науку свысока и ехидно спрашивают у наших историков: почему-де вы признаете за историческую истину события, которые не имеют документального подтверждения («пакт Молотова», «олокост» и т. п.), а другие события, столь же, если не более, вероятные (уход Александра I и, скажем, убийство Есенина чекистами), отрицаете с фанатическим упорством только потому, что они не имеют документального подтверждения?

Увы! Науку нельзя улучшить лихим кавалерийским наскоком, науку нельзя исправить извне. Наши сомнения, наша уверенность, наши ехидные вопросы не попадут в поле зрения ученых уже потому, что научный уровень изданий, в которых они могут появиться, невысок. Как и у Молчалина, у науки есть «два таланта», делающих ее самодостаточной: преемственность и специализация. Вы можете быть добрым и умным человеком, примерным прихожанином, горячим патриотом – одни эти качества не позволят вам создать новую школу в исторической науке, как не помогут они вам выстроить и сдать в эксплуатацию новую водопроводную станцию. Научные школы создаются узкоспециализированным трудом нескольких поколений ученых. Научные школы вырастают из определенных начал, некогда принятых их основателями на веру; направление развития и возможные формы роста жестко задаются этим выбором, этой верой.

Понятно, что современный российский историк – духовный сын или, точнее сказать, духовный внучатый племянник академика М. Н. Покровского – считает незыблемой научной истиной ряд произвольных и странных мнений, проникших в академическую среду в годы военного коммунизма. Историк наш обязан верить в то, что царская Россия была страной «помещичьей» и «отсталой», что русский царь был крупнейшим помещиком своей отсталой страны, что отказаться добровольно от своих поместий не может никогда ни один помещик и что в отсталой России, лишенной благодати «парламентаризма», «протестантской этики» и прочих факторов неумолимого и неминуемого «прогресса», разлучить помещика с его поместьем могла только группа узколобых фанатиков, объединившаяся с группой профессиональных убийц в так называемую «партию нового типа».

С этих позиций нашего историка не сдвинешь.

Пусть так. В конце концов, это наш общий грех – то, что у нас такая историческая наука. Будем помнить добрый совет, который содержится в басне Крылова «Лягушки, просящие Царя», и, окружив наших историков вниманием и заботой, станем терпеливо ждать. Наша любовь к русской науке, внимание к трудам и к бытовым нуждам наших ученых обязательно произведут в последних нравственный переворот, возродят в них любовь к отечеству, гордость за отечество, заставят их внимательнее вглядываться в особенности исторического пути России. Если же терпения и любви у нас не хватит, если мы не сохраним хотя бы ту науку, которая у нас есть, – будут тогда наши внуки изучать русскую историю по Пайпсу, Янову и Мих. Задорнову.

Пусть уход Александра – только легенда, только красивая сказка. Пусть так. Но время, в которое рождаются *такие* легенды, – необычное время в исторической жизни нации.

К 1825 году подъем России заканчивается. Россия уже не на подъеме – Россия в фокусе. В этот час бесшумно выходит на мировые просторы русская литература.

Для русской поэзии наступает Золотой век.

Поэт Гнедич, «немножко всегда театралный» (по отзыву Плетнева), любил предложить своим слушателям следующую притчу: «Представьте себе на рынке двух торговцев съестными припасами: один на чистом столике разложил слоеные, вкусные, гастрономические пирожки, другой на грязном лотке предлагает гречневики, облитые вонючим маслом. К кому из них обратится большинство покупателей? Разумеется, к последнему».

Вот и я хочу предложить вашему вниманию сходную задачу, небольшую и нетрудную.

Представьте себе двух земных владык, двух императоров. Один из них, в грош не ставя двуногую тварь, стремится к власти над миром, семнадцать лет шагает по трупам и, пережив унижительный и страшный разгром, умирает в плену – умирает без покаяния, по-прежнему считая, что один-два миллиона убитых не составляют счета там, где на кон поставлена подлинно великая ставка: власть над миром. Второй император, получив власть над миром в ходе законной и праведной самообороны, тяготится этой страшной ношей и, по всей вероятности, добровольно отказывается от нее.

Первый император, захватив на время чужую столицу, спиливает крест с Ивана Великого, простодушно принимая его позолоту за чистое золото, терпеливо минирует Кремль со всеми его святыми могилами, не забывая в минуту бегства отдать приказ о взрыве. Другой император без охраны, в одной карете спешит в 1815 году через кишашую шайками дезертиров Францию, чтобы спасти вражескую столицу от погрома, от педантичной ярости пруссаков и англичан, – и успевает вовремя.

Спрашивается: чья личность привлекает к себе абсолютное большинство покупателей и изготовителей историко-художественных сочинений? Кого лучше знают, кого выше ценят в Париже и в Москве, во всякой мировой столице и в любом захолустье?

Задача моя хороша уже тем, что в ответе на нее совсем нельзя ошибиться.

Станным анахронизмом выглядят на мировой политической арене фигуры шести последних русских царей. Это герои Софокла, злым античным роком перенесенные в роман Троллопа или в пьеску Скриба. Наверное, это и самые интересные люди в мировой истории Нового времени.

Простосердечное высказывание современного джорданвилльского насельника архимандрита Владимира: «Все наши цари, начиная с императора Павла – святые» – задает ту меру ответственности, с которой мы должны подходить к русской истории 1796–1918 годов. Небрежность, легкомыслие, проявленные по отношению к *святому* (а ну как архимандрит Владимир прав?), попросту опасны. Лучше уж вместе с нашими историками-марксистами натужно отрицать дело, которому служили последние русские цари, чем



снижительно, свысока отзываться об их личных качествах, как это делают сегодня многие наши борзописцы.

Счастье быть русским – трагическое, трудное счастье.

«В искушеньях долгой кары перетерпев судьбы удары», Русь окрепла было на 150–200 лет, но потом судьба отложила в сторону старомодный «тяжкий млат» и взялась за отбойный молоток, наносящий удары без счета и без передышки. И стало понятно, что не было долгой кары, как не было и вины, за которую следовало бы нас так долго карать, а был и остается с нами пожизненный знак отличия – «русский крест».

Парижский Булгаков (Сергей Николаевич) назвал однажды Россию «сердцем мировой истории». Принимая это почетное наименование, следует помнить о том, что Россия сегодня – совсем уже не молодое сердце, одинокое и больное сердце, *усталое* сердце мировой истории.

Судьба России отражается как в зеркале в судьбе шести ее последних царей, задушенных и застреленных, обманутых и оболганных, но сумевших дотащить великую мысль Константина Великого (идею симфонии, идею Православного Царства) даже до XX века. Во что им обошелся этот подвиг, знают они одни.

Отличительную особенность царского служения определил со свойственной ему простотой и силой император Николай I: «Не сам я взял то место, на котором сию, его дал мне Бог, оно не лучше галер».

Все русские цари XIX-го столетия обладали яркой индивидуальностью; у каждого из шести последних царствований свое лицо, своя музыка, свой неповторимый стиль.

Резким своеобразием отмечен и путь Александра I – путь, уводящий с поверхности на глубину. «Вождь вождей, царей диктатор» повторяет в XIX веке подвиг святого Алексия, человека Божия (IV–V вв.).

Западный мир давно утратил верное представление о святости, но суть этого именно подвига особенно ему непонятна.

В классической литературе Запада можно встретить образы мудрых и праведных правителей, на время оставляющих трон («Мера за меру» Шекспира, «Счастливые нищие» Гоцци). Но их уход, важный для завязывания драматической интриги, не имеет здесь самостоятельной цены. Более того, герои Шекспира и Гоцци, отказываясь от тягот правления, совершают, по сути дела, недолжный поступок: открывают дорогу к власти порочным и низким людям.

Отказ от действия – смертный грех в глазах западного мыслителя и западного художника. Они усматривают в этом «азиатски-окультистский идеал», «восточный фатализм» или, выражаясь прямее, рабскую покорность перед жизненными обстоятельствами (повелевать и править которыми издавна привык вольный западный обыватель – носитель фаустовского духа и хранитель прометеевского огня).

Фауст у Гете совершил целый ряд выдающихся по своей гнусности поступков, а потом все-таки попал в рай – не потому, что осудил свою жизнь и попытался ее изменить, но именно потому, что гнался за призраком земного

счастья до конца: «трудился», «стремился», «вступал в бой». Святой Алексей, просидевший семнадцать лет неузнанным у порога родного дома, питавшийся подаянием, был, очевидно, прямой противоположностью неутомимому хлопотуну и сенсуалисту Фаусту.

Впрочем, не следует забывать о том, что «восточный фатализм» святого Алексея имел сугубо западное происхождение: этот святой родился и умер в Риме. И подвиг его, открывшийся только в час смерти, некогда всколыхнул Вечный город. Довольно-таки давно это было (в 411 году), но было же! Стечение народа в тот день было таково, что Гонорий, император Запада, лично участвовавший в переносе тела святого из дома несчастного Евфимиана в церковь мученика Бонифатия на Авентинском холме, распорядился бросать золото и серебро в толпу, чтобы расчистить проход для траурной процессии. Тщетно! Люди по-прежнему стекались отовсюду, стремясь прикоснуться ко гробу, и не обращали внимания на валяющиеся в стороне деньги... Сегодня этот святой сделался совершенно чужд духу Запада.

Зато на Руси он стал особенно любим, особенно близок народной душе. Русский человек чуток к чужому страданию. Поэзия добровольного страдания, страдания ради Христа, издавна завладела его воображением.

Чин русских князей-страстотерпцев – особая область в Царствии Небесном, густо заселенная. Неслучайно ведь первыми русскими святыми стали юные сыновья князя Владимира Борис и Глеб, прославленные Русской Церковью (вопреки глухому неодобрению Константинополя) только за то, что не вступили в бой за жизнь и свободу, не сопротивлялись негодю брату, дали себя убить.

Западному человеку все эти сложности непонятны, все эти тонкости глубоко противны. Ну что *хорошего*, в самом-то деле, во всех этих душе-раздирающих сценах: безобразный Торчин точит нож на дрожащего и плачущего Глеба, злые слуги Евфимиана льют помои на голову кроткого Алексея, николаевский профос отсчитывает двадцать плетей благообразному Феодору Кузьмичу... Дикость, средневековье какое-то! Разве так должны жить культурные люди? Вот Фауст-то и трудился ради этого – осушал, каналы рыл, – чтобы одолеть эту дикость. Дело надо делать, господа, трудиться надо...

«Враг труда» – мнение молодого Пушкина об Александре I, полностью совпадающее с общеевропейскими представлениями о жизни. Нелюбовь Пушкина к Александру I – злопамятливая, мелкая и несправедливая – одна из многих человеческих слабостей Александра Сергеевича, от коих он так успешно освобождался по мере своего возмужания. В предсмертном прекрасном стихотворении своем «Была пора: наш праздник молодой...» Пушкин находит совсем другие слова для характеристики Благословенного царя:

*Народов друг, спаситель их свободы!  
Вы помните – как оживились вдруг  
Сии сады, сии живые воды,  
Где проводил он славный свой досуг,  
И нет его – и Русь оставил он,  
Взнесенну им над миром изумленным...*

Классическое определение русского народного духа, принадлежащее П. Е. Астафьеву, выглядит так: «Глубина, многосторонность, энергичная подвижность и теплота *внутренней жизни и ее интересов* рядом с неспособностью и несклонностью ко всяким задачам *внешней организации*, внешнего упорядочения жизни и – соответствующее равнодушие к внешним формам, *внешним благам и результатам* своей жизни и деятельности. *Душа выше и дороже всего: ее спасение*, полнота, цельность и глубина ее внутреннего мира – *прежде всего*, а все прочее само приложится, несущественно».

Не стоит торопиться с эмоциональной оценкой перечисленных здесь свойств. Сами по себе они не являются «положительными» или «отрицательными». Достаточно знать, что эти свойства присущи нашей духовной природе, что они накладывают на любые наши дела, как добрые, так и злые, нестираемый отпечаток – «русский след».

Царь Александр, отказывающийся от власти над миром, потому что душа дороже власти над миром, и какой-нибудь Федя Протасов (персонаж Толстого), вполне равнодушный к нуждам семьи, не признающий за собой никаких обязательств перед обществом, перед нацией, перед родной землей, но испытывающий зато постоянный и теплый интерес к цыганскому пенью, принадлежат к одному духовному типу. Мы можем по-разному оценивать этих людей, но мы их одинаково понимаем.

А попробуйте-ка объяснить иноземцу, на что жалуется русский человек в известном отрывке из «Путешествия Онегина»:

*...Зачем я пулей в грудь не ранен?  
Зачем не хилый я старик,  
Как этот бедный откупщик?  
Зачем, как тульский заседатель,  
Я не лежу в параличе?  
Зачем не чувствую в плече  
Хоть ревматизма? – ах, Создатель!  
Я молод. Жизнь во мне крепка;  
Чего мне ждать? тоска, тоска!..*

М. М. Дунаев превосходно анализирует этот отрывок в первом томе своего исследования. Герой западноевропейской литературы, пишет он, обычно стремится всеми силами души к тому, чем пушкинский Евгений обладает изначально (знатность, богатство, успех у прекрасных дам), и если добивается чего-то похожего к последней странице романа, то угопает в блаженстве. Если же нет... ну, мы имеем тогда дело с произведением трагического плана. Герой русского романа с тоскою и отвращением отворачивается от «джентльменского набора» жизненных благ. Скучно быть здоровым и богатым, скучно преуспевать в мире, где правят бал похоть очей и гордость житейская, – намного перспективнее в этом мире быть бедным и больным. «Жало в плоть», хотя бы и в виде ревматизма в плече, может стать

неплохим подспорьем для человека, стремящегося к духовному росту; дело в том, что самонадеянность, похоть, жестокость трудно уживаются с ревматизмом в плече. Евгений Онегин – довольно пустой малый, но, как русский человек, чувствует эту истину на подсознательном уровне.

(Вот и эти злосчастные «новые русские» шокируют сегодня Западную Европу своим разгулом, обновляют там многовековые ненависть и презрение к русскому имени. А в чем, в сущности, дело? Никого ведь не волнует тот факт, что деньги «новых русских» украдены и вывезены из страны, бедной капиталом, что эти деньги – образование, хлеб, медицинская помощь, которых завтра будут лишены русские дети. По мнению западных аналитиков, у России нет будущего и «на этой территории экономически целесообразно проживание пятнадцати миллионов человек» (М. Тэтчер). Чем скорее вымрут остальные сто тридцать миллионов, тем короче станет путь России в мировое сообщество. Западного обывателя оскорбляет в лучших чувствах то обстоятельство, что многие русские лихоимцы без должного благоговения относятся к счастливо приобретенному капиталу, с легкостью пускают на ветер святое – деньги.)

Глубокое и веское суждение о русском национальном характере некогда высказал преподобный Силуан Афонский. Этот святой, один из наиболее близких к нам по времени (†1938) русских святых, имел к тому же замечательного биографа – архимандрита Софрония (Сахарова). Из книги этого последнего «Старец Силуан» я и делаю сейчас большую выписку, не только содержащую означенное суждение, но и передающую обстановку, при которой оно было произнесено:

«Вскоре после Первой мировой войны 1914–1918 годов в Монастыре (речь идет о русском Пантелеймоновском монастыре на Афоне. – *Н. К.*) начали организовывать эксплуатацию монастырского леса; купили тогда паровую машину для лесопилни. Эконом, отец Ф., способный, естественно одаренный русский человек, после установки машины и пуска ее в ход, довольный ее работою, стал восхвалять немецкий гений (машина была немецкой фабрикации). Превознося немцев, он поносил русское невежество и неспособность. Отец Силуан, который в свободное время от своей работы в магазине ходил на лесопильню “помогать”, молча слушал отца Ф.; лишь к вечеру, когда рабочие-монахи сели за стол ужинать, он спросил отца Ф.: “Как ты думаешь, отец Ф., почему же так немцы лучше русских умеют строить машины и другие вещи?”

В ответ отец Ф. снова стал восхвалять немцев как народ более способный, более умный, более даровитый, в то время как “мы, русские, никуда не годимся”.

Отец Силуан на это ответил: “А я думаю, что тут совсем другая причина, а не то, что неспособность русских. Потому, я думаю, это, что русские люди первую мысль, первую силу отдают Богу и мало думают о земном; а если бы русский народ, подобно другим народам, обернулся бы всем лицом к земле и стал бы только этим заниматься, то он скоро обогнал бы их, потому что это менее трудно”.

Некоторые из присутствовавших монахов, зная, что в мире нет ничего труднее молитвы, согласились с отцом Силуаном».



Думаю, что вы получили представление о достоинствах прозы архимандрита Софрония – прозы совершенно прозрачной, свободной, легкой и одновременно весьма насыщенной, требующей от своего читателя и определенного духовного опыта, и постоянного духовного усилия. (Нетрудно заметить, что литературные произведения, признаваемые ныне «классикой XX века», отличаются прямо противоположным устройством: самые примитивные, самые грубые мысли и чувства спрятаны в них под многослойной, изысканно-сложной словесной упаковкой.) У архимандрита Софрония на одной неполной странице уместились и судьба Пантелеймоновского монастыря, некогда богатейшего на Афоне, чьи насельники после революции вынуждены заниматься продажей леса, и спор монахов, для которого, думается, в пятой части «Карамазовых» могло бы найтись место, и вечный тоже тип русского западника (который и в монастыре продолжает тупо расправлять свою рану, который и со Святой Горы ничего в мире не видит, кроме имманентной миру русской «неспособности»), и проникновенные слова святого...

Но возникает естественный вопрос: а какое отношение имеет все это богатство к теме наших чтений? Допустим, русский человек первую мысль, первую силу отдает Богу и мало думает о земном – при чем же тут «Петроградское небо мутилось дождем...» и «Пора, красавица, проснись...»? Поэтические сборники точно так же принадлежат земле, как и названные преподобным Силуаном «машины и другие вещи». Говорят, правда, что есть «небесная» составляющая у поэтического творчества, – но разве ее нет у творчества технического? Изящное техническое решение, счастливая находка дизайнера так же непредсказуемы, так же редки и долговечны, как и подлинно поэтические строки.

Монах отказывается от мира не потому, что мир сплошь плох. «Мир во зле лежит», это правда, но есть и другая правда: «Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть...» Мир наш прекрасен, несмотря на зло, облотившее его со всех сторон. Отказываясь от радостей и скорбей земли, отворачиваясь от ее трагической красоты, новоначальный инок приносит великую *жертву*.

Понятно при этом, что царящее в мире зло только подталкивает монаха в спину – облегчает для него разрыв с миром, в то время как лучшие, прекраснейшие вещи земли становятся для него соблазном и помехой. Семейные радости и ратные подвиги, шум моря и тишина цветущего сада, умные машины и бессмертные стихи афонскому монаху одинаково не нужны и нежелательны.

Или все-таки неодинаково?

Похоже, что круг наших чтений замкнулся и мы опять стоим перед вопросом, который пытались обойти в начале первого чтения: что есть поэзия? Тогда мы ограничимся указанием на вполне очевидный факт: поэзия – то, что приходит извне, вдыхается в поэта снаружи. Когда Аполлон Майков воскликнул: *«Вдохновенье – дуновенье Духа Божья!»* – то он просто повторил без долгих раздумий самое древнее, самое общее воззрение на ту силу, посредством которой совершается поэтическое творчество.

Уже Платон знает эту силу и называет ее «божественным вдохновением», «божественной силой», «божественным определением» и, наконец, «одержимостью» (см. диалог «Ион», почти полностью посвященный проблеме художественного вдохновения). По наблюдению Платона, действует эта сила, не затрагивая разум слушателя или читателя, а чисто физически – подобно магниту, который «не только притягивает железные кольца, но и сообщает им силу делать в свою очередь то же самое». Божество притягивает и намагничивает рапсода, рапсод сообщает эту силу своим слушателям, слушатели передают ее дальше, «так что иногда получается очень длинная цепь».

(Насколько общим было это воззрение во времена классической древности, видно из того, что «материалист» Демокрит говорит о поэзии буквально в тех же выражениях, что и «идеалист» Платон: «Без безумия не может быть ни один великий поэт», «Все, что поэт пишет с божественным вдохновением <... > прекрасно» и т. п.)

В эпоху так называемого Возрождения языческие представления о природе художественного творчества были автоматически перенесены в сферу христианского искусства. (Мильтон, например, взяв за образец зачин «Илиады», начинает свое громоздкое сочинение обращением к Святому Духу: наставь, мол, меня и возвысь, дабы я смог в своей эпической поэме «решающие доводы найти»... Это смешно, как всякая крайность, но и очень типично для людей отпавшего Запада. Лучшие из них твердо верили в то, что умные книжки, выходящие из печати в передовых, развитых странах, – это и есть Бог в процессе Своего становления.) Постепенно установился взгляд, что искусство – сугубо доброкачественная и где-то даже богодухновенная область человеческой деятельности. Дьявол ведь «обезьяна Бога» и не способен сам, своею силой создавать прочные ценности. Поэтому красивое стихотворение, пришедшее поэту в голову, имеет строго небесное происхождение – будь этот поэт язычником, будь он атеистом, будь он прямым сатанистом. Платон же и Демокрит, писавшие о божественном вдохновении уже в V веке до Воплощения Бога Слова, просто были «христианами до Христа», опередившими свое время.

Неприятную поправку во все эти прекраснородушные эклектичные построения вносят слова Псалмопевца: «Вси бози язык бесове».

В самом деле, хотя мы можем легко и свободно, не совершая насилия над духом языка, толковать о некоей одинаковой «божественности» творений Гомера и Гоголя, Софокла и Шекспира, Платона и Пушкина, но говорить

всерьез о каком-то сходстве между троичным Богом христиан и жестоким, «всегда вероломным» (по замечанию Гомера) языческим богом Аполлоном мы не можем. «Божественное вдохновение» поэтов-язычников имело совершенно недвусмысленную демоническую природу. И существует подозрение, что другого источника у древнего искусства поэзии нет – даже и в настоящее время.

Прославленный Ориген, размышляя «о силах, враждующих с родом человеческим», задумался однажды и о таких силах, которые имеют прямое отношение к теме нашего разговора. В третьей книге своего трактата «О началах» Ориген пишет: «Существуют еще некоторые энергии мира сего, т. е., некоторые духовные силы, имеющие определенную деятельность, выполнение которой они выбрали себе сами, по свободе своего произволения. К этим силам принадлежат князья, производящие мудрость мира сего, так что, например, существует некоторая особая энергия и сила, которая внушает поэзию, есть другая [сила, внушающая] геометрию, – и так каждое искусство и каждую науку этого рода сообщает особая сила. Очень многие из греков думали, что поэтическое искусство [даже] не может существовать без исступления ума...»

Обратим внимание, во-первых, на поразительную перекличку двух умов: Пушкин не читал Оригена, но повторил его почти дословно: «Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии».

Во-вторых, уточним, что Ориген в своем трактате строго отличает «мудрость мира сего» (поэтическое искусство, грамматику, риторику, геометрию, музыку и медицину) от «премудрости князей мира сего» (сюда Ориген относит астрологию, оккультные науки и т. п.), прямо враждебной Богу. И та и другая производятся «князьями», падшими духами, но первая внушается людям не по желанию им повредить, а как бы по ошибке: падшие духи первого рода «считают свою мудрость истинною, а потому также и других желают научить тому, что сами признали за истину».

Ориген был гением продуктивности, неистощимым творцом новых идей в богословии; часть его идейного наследия была впоследствии отвергнута Церковью, но, насколько мы можем судить по дошедшим до нашего времени документам (10 «анафематизмов Юстиниана» и 15 «анафематизмов Венской библиотеки»), мнение Оригена о демонической природе поэтического искусства Церковью никогда не осуждалось. Новое время перестало бояться падших духов. Гете хладнокровно отчеканивает в одном из своих разговоров с Эккерманом: «Поэзии, бесспорно, присуще демоническое начало». Александр Николаевич Афанасьев, помещая поэтическое творчество среди дарований, издавна «присвоившихся ведунам и ведьмам» («Поэтические воззрения славян на природу», т. III), вовсе не думал этим набросить какую-то тень на поэтическое творчество.

К. Леонтьев в письме 1888 года, которое я уже цитировал в начале прошлого чтения, вспоминает авторитетное суждение афонского старца, своего учителя и духовника, о природе того обаяния, каким окружен для нас мир классической древности: «Бог – это свет, и духовный, и вещественный,

свет чистейший и неизобразимый... Есть и ложный свет, обманчивый. Это свет демонов, существ, Богом же созданных, но уклонившихся <...>. Классический мир и во время падения своего поклонялся хоть и ложному свету языческих божеств, но все-таки свету... А современная Европа даже и демонов не знает. Ее жизнь даже и ложным светом не освещается!» (Замечу в скобках, что начиная со второй половины XIX века Запад успешно решил проблему освещения своей жизни ложным светом. Спиритизм и оккультизм, квазииндийская философия и еврейский каббализм отгеснили старый добрый материализм на задворки интеллектуальной моды. В настоящее время жизнь крупнейших культурных центров Запада удивительно похожа на захолустную ярмарку в николаевской России: здесь много громкой и плохой музыки, астрологов, падших женщин, акробатов и кулачных бойцов, здесь царство лекарей, способных вылечить импотенцию, вырастить новый зуб, вытравить лишний плод, – здесь ты при всем желании ничего духовно здорового, духовно крепкого не найдешь и ничего не купишь, лишь Блаватскую толкнешь иль в Вивекананду наступишь.)

Важное опытное наблюдение над духовной природой самой материи стиха сделано было однажды уже знакомым вам архимандритом Софронием (который, кстати сказать, в миру был художником, человеком искусства). Вот что он рассказывает о своем опыте: «Однажды (в Париже) я был на вечере широко известного поэта, читавшего свои произведения <...>. В полночь я возвращался к себе. По дороге я думал: как соотносится это проявление человеческого творчества, одного из наиболее благородных, с молитвой? Войдя к себе в комнату, я начал молитву: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный...» И вот: тонкое пламя незримо и нежно пожигало на поверхности моего лица и груди нечто легкое как воздух, однако несогласное с Духом Божиим».

И вот куда завело нас наше исследование! «Вечная русская слава», великая поэзия великой России оказалась на поверку ложным светом – изделием древнего демона, не дышащего, может быть, прямой злобой против Творца, но обособившегося, несогласного с Духом Божиим, нашедшего себе эту блестящую игрушку самовольно, «по свободе своего произволения».

Остановимся на минуту. Все наши чувства возмущены этим чудовищным поклепом, весь наш жизненный опыт против него восстает. Мы ясно видим, что тут какая-то ошибка, что этого просто не может быть. И разум готов уже прийти на помощь – готов обосновать едва ли не врожденную нам интуицию о доброкачественности, о благотворности для нас благородного поэтического искусства.

Не будем, однако, идти на поводу у нашего падшего естества. Поймем раз и навсегда, что это как раз может быть. И хуже того: это так и есть. А теперь успокоимся и двинемся дальше.

Отдельные богословы, отдельные пастыри и архипастыри Русской Церкви могут неплохо отзываться о поэтическом творчестве, могут хвалить отдельных поэтов, но вы не должны относиться к этому слишком серьезно.



Подобные заявления делаются из снисхождения к вашей немощи, вас просто не хотят раньше времени напугать и оттолкнуть. Вот когда ваш коготок увянет прочно, когда вы начнете входить всерьез в таинственный и древний мир Церкви, тогда вы узнаете, что величайшие творения Пушкина, Гоголя, Достоевского на внутрицерковном жаргоне называются «молоком». Молоком питаются духовные младенцы, взрослые члены Церкви переходят на твердую пищу.

Речь не идет о том, что взрослому члену Церкви классическая литература вредна или опасна, – она ему просто не нужна. «Я не хочу сказать, что чтение произведений наших великих писателей было грехом, – говорит, например, святой Варсонофий Оптинский, – но есть чтение более полезное и назидательное. Во-первых – чтение Псалтыри...» Впрочем, в последнее время наметился определенный перелом в отношении Церкви к нашему классическому наследию. Высказываются мнения, что классическая литература может использоваться для внутрицерковных нужд, что она может быть полезна – конечно, не для самих православных, а для их детей. Один из авторитетнейших деятелей современного Православия отец Серафим (Роуз) так говорит об этом в своей лекции 1982 года: «Ребенок, приученный к хорошей литературе, драме и поэзии и ощутивший ее воздействие на душу, т.е. получивший истинное наслаждение, не станет легко приверженцем современного телевидения и дешевых романов, которые опустошают душу и уводят ее с христианского пути <...>. В нашей борьбе против духа мира сего мы можем использовать лучшее, что может предложить мир, чтобы пойти дальше этого лучшего».

Итак, классическая литература сегодня – «лучшее, что может предложить мир». Раньше это было не так. В эпоху Возрождения мирская, светская литература послужила блестящей приманкой, вытянувшей западного христианина из храма, отдалившей его от Церкви на какой-то шаг. Сегодня, по мысли отца Серафима, те же самые книги способны возбудить течение встречное – способны захватить, увлечь современного человека, бесконечно далеко отошедшего от Церкви, и вернуть его на прежнее место: на какой-нибудь шаг от Церкви.

Мир сегодня стал настолько уже плох, что для борьбы с его духом годятся любые подручные средства – даже такие несовершенные, как «хорошая литература, драма и поэзия». Но остановиться на них – значит остановиться у входа в Церковь, отказаться от благодати, остаться без Бога. А чтобы сделать решающий рывок, чтобы оторваться от мира и вступить в спасительный ковчег Церкви – на это нужны силы, которых «хорошая литература, драма и поэзия» дать не могут.

*Ни Платон, ни Пифагор, ниже Аристотель –  
Не обретаются из них духовный сказатель...*

Останавливаться нельзя! Как бы ни были хороши творения русских классиков, все-таки «надо доходить скорее до того, чтобы Иоанн Лествичник больше нравился, чем Ф. М. Достоевский» (К. Леонтьев). Достоевский

издалека указал на Церковь как на конечную цель человеческих стремлений; книга преподобного Иоанна Лествичника стала учебником христианской жизни для многих поколений православных, помогла множеству взрослых членов Церкви спасти себя и других.

Мечты отдельных философов и богословов о каком-то грядущем «освящении и христианском преобразении» светской культуры (Зеньковский) не имеют серьезных догматических оснований. Да и время подобных мечтаний прошло. Тема о «практическом монофизитстве» людей православных и о «свободном халкидонстве» различных кумиров книжного рынка (которые-де только по внешности безбожники, проходимцы и оглашенные прелюбодеи, а на каком-то очень-очень глубоком уровне служат своими брошюрами «делу Христа») не находится сегодня на гребне интеллектуальной моды. Всем уже более или менее понятно, что эта тема и эти мечтания относятся только к истории либерально-атеистического движения в России, а не к будущим судьбам Православия и русской культуры.

Коренной порок либерального мышления заключается в его эклектичности. Не веря в личного Бога, клеветая на историческую Церковь и на историческое государство, либерал тем усерднее служит идолам «христианской цивилизации» и «общечеловеческой культуры». По мысли либерала, все «духовные вожди человечества» (Иоанн Лествичник и Карл Маркс, Че Гевара и Пресли, Эдвард Лир и Зигмунд Фрейд) должны пользоваться равным уважением, все «культурные ценности, накопленные человечеством», должны быть сохранены.

Отец Серафим (Роуз) называл либерализм «первой ступенью нигилистической диалектики». Либерал выполняет свою историческую миссию, отрицая и клеветая; что же касается «положительной» части либеральной доктрины, то она рассыпается в прах при первом столкновении с новыми, более реалистическими и жестокими формами нигилизма, которые сам же либерализм вызывает к жизни. (В «Бесах» Достоевского основные ступени нигилистической диалектики наглядно представлены в лицах Степана Трофимовича и Петра Степановича Верховенских.)

Война против Бога вступила сегодня в новую стадию, по мысли ее организаторов – завершающую. Уже объявлена «эра Водолея», в которую людям предложено будет сделать окончательный выбор между тоталитаризмом и свободой, между мрачным изуверством Иоанна Лествичника и ренессансным жизнелюбием Микки Мауса, Мика Джаггера и Мики Хаккинена. «Водолейщики» не станут уже ослаблять Церковь, затаскивая в ее ограду не до конца просветленную громаду русской классики (над этим достаточно долго трудились либералы, их предшественники), – на очереди окончательная дискредитация русской классики и полная ликвидация Православной Церкви.

В России XX-го века либерализм дважды становился на короткое время ведущей общественной силой (в феврале 1917 и в августе 1991) – и дважды терпел страшное крушение. Катастрофа 1991 года произошла на наших глазах, и на наших глазах распался монолит либерально мыслящей советской

интеллигенции: меньшая часть вступила на путь уставного благочестия, влилась в Церковь, большая часть, недоумевая или негодуя, осталась все же при «общечеловеческой культуре», но при той культуре, которая оказалась в наличии к началу третьего тысячелетия христианской эры, – при культуре Кунина, Ди Каприо, Шемякина и Зюскинда. Людей, «приученных к хорошей литературе, драме и поэзии», стало вдруг не видно и не слышно в нашем страшнувшем оковы тоталитаризма отечестве – этих людей обезвредили, отправив их на дно социальной жизни.

Само понятие классического (то есть образцового, здорового, ясного) искусства не «работает» сегодня так, как оно работало в советскую эпоху. Штаты классиков искусственно раздуты за счет различных красноречивых маргиналов, полупомешанных экспериментаторов и просто энергичных проходимцев; подлинные классики рассматриваются и истолковываются с той специфической прямотой, с которой древний Хам сумел когда-то взглянуть на своего захмелевшего отца Ноя.

«Праведность» (которой обладал Ной), «истина» (которой старались служить наши классики) – вот понятия, о которых передовое современное литературоведение даже не заговаривает. Вспоминать о таких вещах считается сегодня, пусть и негласно, дурным тоном. И то сказать: гениталии праведника могут быть описаны и измерены, с праведностью праведника позитивистской науке делать нечего.

Положительная наука (мы уже говорили об этом на первом чтении) не способна решить и самую элементарную задачу: отличить великую поэзию (Пушкин, Тютчев) от поэзии младенческой (Фофанов, Бальмонт) или от сконструированного достаточно твердой и умелой рукой квазистихотворного текста (Брюсов, Маяковский). «Как бы громко рассудок ни говорил, он не может оценивать вещей» (Паскаль). Величина поэтического дара не поддается формальному определению, поэтому строгий исследователь жертвует этой величиной, вынося ее за рамки исследования. Кожинов с горечью писал об этом в 1987 году: «Исследование, как правило, сводится к чисто описательным, дескриптивным операциям; проблема *ценностного* подхода даже не ставится».

Тут есть тонкий момент, в котором необходимо разобраться до конца: беда не в том, что проводятся такие исследования (они могут быть информативны и вообще полезны), а в том, что исследователь, поверивший однажды в «объективность» и «научность» своих методик, будет потом по гроб жизни обманывать себя и других. В области гуманитарных, словесных наук «человеческий фактор» неустраим. Личность исследователя определяет направление и результат наиформальнейшего исследования, лишая его чаемой и декларируемой объективности. Вне «ценностного подхода» жизни нет – один буриданов осел обладал способностью беспристрастной, объективной оценки, но и он с этой способностью окошел на третий день.

Передовой литератор чувствует себя среди нас сегодня героем – культуртрегером, одиноким носителем света в темной стране, проспавшей Реформацию и пропустившей крестовые походы.

Ценности вековые, для России традиционные («Бог, царь, отчизна и народ» – по слову Б. В. Никольского), передовой литератор называет «черносотенными», «примитивными», «тоталитарными» и невыразимо их презирует; свои личные ценности (комплект журнала «Огонек» за 1989 год и, скажем, сборник думских речей Хакамады) передовой литератор не выносит на обсуждение никогда: зачем обсуждать то, что и так принято без оговорок всеми приличными людьми?

Передовой литератор не бесстыден и не продажен (как думает о нем наше молчаливое большинство) – он элементарно невменяем. Он не только не понимает убожества своих жизненных ценностей – он не понимает и того, что его жалкие ценности – все равно ценности, что они точно так же ограничивают его свободу, как ценности «черносотенные» ограничивали свободу Б. В. Никольского до самого его расстрела в 1919 году.

Человеческая свобода начинается и заканчивается в минуту выбора той или иной «несвободы», той или иной цели, той или иной системы жизненных ценностей. Выбором цели человеческая свобода исчерпывается. Пусть вы выбрали наисовременнейший «безопасный секс» – вы и этим выбором связали себя и ограничили. Вы теперь не заболаете, как Ницше, и не напишете «Рождения трагедии...»; от вас не родятся внебрачные дети, как родились от патриарха Иуды Фарес и Зара; вас не казнят за убийство незапланированного младенца, как казнили гетевскую Маргариту, и в рай вы не попадете.

Современный культуртрегер так же прикован к своей цдээловской стойке, к своему передовому направлению, к своему кассиру, который оплачивает передовой образ мысли из средств анонимного «общественного фонда», как реликтовый черносотенец прикован к своим музейным ценностям и к той территории, на которой он собирает пустые бутылки, чтобы купить лекарство для больной жены.

Русская классика не оставляет передового литератора равнодушным. Чем-то она ему мешает, чем-то она его непрестанно задает – и он к ней без конца цепляется. Вот наиболее характерный сюжет из культурной жизни нашего последнего десятилетия: передовой литератор склоняется над классическим текстом – и из текста начинают бить во все стороны целые фонтаны жидкой грязи. Публика приходит в восторг (публика любит фокусников), патентное бюро оформляет заявку на очередное открытие в историко-литературной области. Мало кто замечает, что источником грязи в этой ситуации служит сердце фокусника, а не беззащитный текст.

Так, приятное оживление в литературной среде вызвало не так давно острое словцо поэта-лауреата Бродского, назвавшего Александра Блока «человеком и поэтом во многих отношениях чрезвычайно пошлым». Можно по-разному относиться к стихам Блока (Розанов, Бунин и, скажем, Иван Ильин не находили в них больших достоинств), но никто еще до сих пор не отказывал нашему поэту в искренности и душевном благородстве. О Блоке как о человеке никто у нас не говорил плохо. «Воплощение джентльмена и, может быть, лучший человек на земле» – этот отзыв о Блоке его литератур-

ного врага (Гумилева) принадлежит к числу наиболее характерных. Так что формально Бродский совершил, безусловно, некоторое открытие.

Но Боже мой! Какой скукой, какой унылой пошлостью веет от подобных открытий. Для того, чтобы открыть «пошлость» в поэзии Блока, отыскать «пошлость» в его жизни, совсем не нужно обладать смелостью или талантом... Достаточно родиться Бродским – и в окружающей тебя действительности будут открываться на каждом шагу целые Монбланы, целые Эвересты пошлости. Ведь «во мне, а не в писаниях Монтеня содержится все, что я в них вычитываю»!

Это грустный факт, но единичный – сердечное устройство Бродского, – и он ничего не добавляет к объективной оценке нашего классического наследия.

Вот очень важный корректив к необузданным мечтаниям о «христианском преображении» светской культуры будущего. До будущего ли туг, когда красота, уже состоявшаяся, уже явленная миру, – красота русской классической литературы воспринимается сегодня как безобразие, как сплошная «пошлость». Сердце современного культуртрегера ненавидит эту красоту, не может ее выносить. Красота не спасает, красота остается невостребованной.

Очень точны горькие слова, сказанные Георгием Ивановым о Пушкине:

*И ничего не исправил,  
Не помогла ничему  
Смутная, чудная музыка,  
Слышная только ему.*

Сверхчеловеческая красота пушкинских стихов не спасла мир, и хуже того – она сама нуждается в спасении каждый час, каждую минуту. Душа Пушкина бессмертна, конечно, как и любая человеческая душа, но бессмертие на земле пушкинской поэзии проблематично; оно зависит от нас. Пушкин на земле – это не груды книг, изданных к очередной юбилейной дате, а наши мысли и чувства, вызванные чтением «Капитанской дочки» или «Медного всадника». Один из реальнейших вариантов пушкинского бессмертия в современном мире – книжный шкаф с шестнадцатью томами Полного собрания сочинений Пушкина и много-много людей вокруг, пьющих пиво, наблюдающих по телевизору жизнь Киркорова и Хакамады.

Ставка на красоту как на некую безличную силу, способную «выпрямить» человека (помните знаменитый очерк Г. Успенского?), явно не оправдала себя исторически.

Что же касается религиозных функций, присваивавшихся искусству отдельными мыслителями из числа наших «религиозных философов», то на эту тему сказано сегодня и на четырех предыдущих чтениях достаточно.

Давать культурной деятельности человека «религиозную санкцию было бы явной ошибкой» – веское суждение Виктора Ивановича Несмелова, которое я предлагаю считать решающим, окончательным.

Итак, поэзия демонична по своей природе.

Тайная суть поэтического искусства, секрет воздействия на нас подлинно поэтической строки – «то призрачное увеличение объема, которое существует в дрожащей струне (так как без этого дрожания нет самой музыки)», о котором говорил Фет, – принадлежат к той же запретной для нас области бытия, что и магические действия колдунов: заклятия, заговоры и прочее непотребство.

Чуткий любитель поэзии и в этой безрадостной ситуации сумеет отыскать лазейку, сможет найти оправдание для своей любви.

Во-первых, скажет он, магичны не только великая поэзия и колдовские заклятья, но и некоторые свойства, принадлежащие естеству человека: обычная интуиция, например. Хороший официант отличается от посредственного официанта тем, что знает совершенно точно, в какую минуту понадобятся клиенту его услуги, – хотя он и не глядит в сторону своего клиента. И конечно, какой-то бес (по терминологии Оригена – «князь») подсказывает ему это знание, рациональным образом его не объяснишь. Ну так что же? Можно упразднить эту профессию в принципе, запретить людям быть официантами, но было бы очень глупо, сослав всех дельных официантов в монастырь на покаяние, оставить дело в руках людей равнодушных и неспособных. Если уж должны быть официанты, то пусть они будут дельными, то есть от рождения предрасположенными к этому именно мастерству.

Понятно, что данное рассуждение относится к любой профессии, к любому искусству или ремеслу. Талант подозрителен, талант неудобен, талант иногда опасен – зато бездарность бессодержательна и, строго говоря, едва ли существует в природе. Бездарный официант – это талантливый садовник или сапожник, потерявший себя, не нашедший своего места в жизни.

Есть соблазн заговорить о некоей естественной демоничности человека (буддисты называют эту составляющую нашего существа «подлинным богоподобием»), но лучше нам обратиться еще раз к книге «Старец Силуан», где содержатся более точные богословские формулировки.

Размышляя о «последних пределах, которых может достичь рассуждающий ум», архимандрит Софроний называет эти пределы «границами света со тьмою», а затем утверждает, что на границах этих «человек созерцает свою умную красоту, которую многие приняли за Божество <...> Этот свет ума, превышающий по своему достоинству свет всякого эмпирического знания, с таким же основанием может быть назван *мраком*, ибо он есть мрак совлечения или отвлечения и Бога в нем нет...»

Человек создан по образу Божию, но, обладая свободной волей, строит свою духовную жизнь самостоятельно. *Естественный* свет нашего ума легко и удобно преобразуется в тьму богоотступничества; архимандрит Софроний вспоминает в связи с этим падение Денницы-Люцифера, ставшее следствием «самовлюбленного созерцания своей красоты; созерцания, окончившегося самообожением».

Таким образом, совсем не нужно добиваться того, чтобы талантливые официанты или стихотворцы были заподозрены в сознательной связи с падшими духами и исчезли бы из нашей жизни под чтение молитвы «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...» Наша задача скромнее. Просто не нужно надмеваться, не нужно гордиться своими естественными способностями, нельзя делать из них идола, нельзя этому идолу служить. Развивать же свои способности, употреблять их на пользу ближнему и родной стране никому не возбраняется.

Прекрасно говорил на интересующую нас тему святой Нектарий Оптинский: «Заниматься искусством можно, как всяким делом, как столярничать или коров пасти <...> Есть звуки и свет. Художник – это человек, могущий воспринимать эти, другим невидимые и неслышимые, звуки и свет. Он берет их и кладет на холст, на бумагу. Получаются краски, ноты, слова. Звуки и свет как бы убиваются. От света остается цвет.

Книга, картина – это гробницы света и звука. Приходит читатель или зритель и, если он сумеет творчески взглянуть, прочесть, то происходит “воскрешение смысла”. И тогда круг искусства завершается. Перед душой зрителя и читателя вспыхивает свет, его слуху делается доступен звук. Поэтому художнику или поэту нечем особенно гордиться. Он делает только свою часть работы. Напрасно он мнит себя творцом своих произведений – один есть Творец, а люди только и делают, что убивают слова и образы Творца, а затем от Него полученною силой духа оживляют их».

Во-вторых, «призрачным увеличением объема» далеко не исчерпывается ценность поэзии в глазах ее подлинных знатоков и почитателей. Звук, заставляющий людей бросаться из битвы ему навстречу, вызывающий в душе читателя долго длящийся эффект ответного колебания «дрожащей струны», встречается в литературе нередко – не реже, чем явление резонанса в мире физическом. Поэт, ударяя по сердцам с неведомою силой, просто попадает случайно на некую «резонансную частоту», изначально этим сердцам присущую.

*Есть речи – значенье  
Темно иль ничтожно,  
Но им без волненья  
Внимать невозможно, –*

а это значит, в предельно грубом прозаическом пересказе, что есть звуки, действующие на человека так же, как действует на кота запах валерианы.

Лермонтов прав, но прав и Баратынский, когда говорит о том, что

*...иногда толпы ленивый ум  
Из усыпления выводит  
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,  
И звучный отзыв в ней находит,  
Но не найдет отзыва тот глагол,  
Что страстное земное перешел.*

В самом деле, сила «отзыва» не имеет прямой связи с достоинством поэтического «глагола». Прimitивный резонанс, попадание на определенную нотку, на определенную частотку, беснование на них или погружение в транс, в коматозное оцепенение – все это существует в мире и вне высокой поэзии. Какой-нибудь рок-певец, обладающий словарным запасом в двадцать пять единиц, захватывает свою аудиторию полнее, увлекает ее сильнее, чем это удавалось величайшим мастерам художественного слова за всю историю человечества.

Подлинный любитель русской поэзии меньше всего ищет в ней возможности забыться, ненадолго отключиться от неизбежных тягот и скорбей жизни. К стихам Пушкина, Баратынского, Тютчева не «бросаются из битвы», зажмурясь, жадно ловя ноздрями пряную валериановую струю, – их бережно держат в руках, перебирают, рассматривают и ощупывают каждое слово, открывают в стихах, знакомых с детства до последней запятой, новые и новые сокровища мудрости, свежести, душевной упругости – питаются, подкрепляются из этих запасов, бодрее и разумнее живут с их помощью.

Подлинный любитель русского слова не ищет в стихах самозабвения. Перечитывая любимых авторов, он очищает, поверяет, настраивает свое самосознание. Поэзия для него не наркотическое средство, а дверь, за которой ждет друга-читателя живой человек, живая духовная личность. (Да, требуется некая магия, чтобы первоначальный контакт состоялся, но затем волнения, обмирания и прочие «резонансные колебания» затухают, завязывается прочное знакомство и начинается платоновский пир, начинается *общение* – главная роскошь человеческого бытия.)

Чтение стихов, переживание стихов – это именно общение; в этом процессе участвуют две стороны. По учению Церкви, умерший поэт чувствует нас в ту минуту, когда мы читаем его стихи.

И поверьте на слово: самодостаточные люди не становятся писателями, каждая книга, дошедшая до нас из глубины времен, является просьбой о помощи. Каждую книгу следовало бы открывать так, как открывают выловленную в море бутылку с письмом: ведь слова, которые вы сейчас прочтете, обращены именно к вам, и только к вам. Именно о вас думал человек, который запечатывал эту бутылку, именно в той минуте, которая сейчас наступила, полагал он заветнейшие свои надежды! И только от вас, от высоты вашего духовного строя, от глубины вашего сочувствия и вашего понимания, зависит остальное: будет ли разрушено одиночество жертвы кораблекрушения, услышит ли голос друга одинокая человеческая душа, «обретут ли разделенье, принесут ли плод» (Баратынский) ее лучшие мысли и чувства или погибнут на диком берегу без пользы и следа.

Хорошо поступают те люди, которые молятся за любимых поэтов, заказывают панихиды по Пушкину два раза в год. Но таких людей немного у нас.

Не столько мы сегодня «ленивы и нелюбопытны», сколько – увы! – завистливы. Пушкин кажется нам таким богачом! В голову ведь не придет



помолиться об упокоении души человека, который так очевидно почитаем всеми русскими людьми, который стоит так высоко над всем сонмом светил, украшающих нашу словесность.

Между тем, стоит только взглянуть хладнокровно на это богатство, на это «всенародное признание», как все трофеи пушкинской славы начинают превращаться в классические чертовы черепки. Шоколад «Сказки Пушкина» и шоколадный торт «Натали»; водка «Пушкин»; Пушкинская улица в Петрограде, обитатели которой пьют с утра до вечера то же самое пиво, что и жители соседней улицы Маяковского; пушкинские традиции, сохранить и приумножать которые призывают нас то Софронов с Грибачевым, то Ельцин с Лихачевым; многочисленные Пушкинские театры, где «Казанова» сегодня так же неизбежен, как неизбежны были сорок лет назад «Кремлевские куранты»; большая пластинка «Поэты – Пушкину», с которой вечно будет звучать дикий голос артиста Козакова: *«Я мстил за Пушкина под Перекопом, покрытый вшами... Вы на Пе, а я на Эм...»*

Вы бы хотели чувствовать такое внимание к своей персоне? День за днем, год за годом? А может быть, это нужно вашим умершим?

Вот и для Пушкина сегодня такое внимание оскорбительно и страшно тяжело.

Только не злорадствуйте – не говорите: «Он этого хотел». Даже и в худшие свои часы Пушкин хотел не этого. Ну да, он стремился в раннем возрасте «выйти из толпы», имел, вообще говоря, молодое желание славы... Но что может знать молодость о славе?

Существует, как сказал бы сведущий в математическом анализе Флоренский, «прерывный переход», есть качественная разница между Пушкиным 1821 года и Пушкиным 1836 года, между выговоренной в горячке, сквозь бегущую изо рта пену «эллеферией» (*«Эллеферия, пред тобой...»*) и просто сказанными словами *«Иная, лучшая потребна мне свобода»*.

Муза вела Пушкина до поры до времени, сделала его знаменитым, подняла на недосягаемую для простых смертных высоту – чуть ли не на кровлю Иерусалимского храма поставила Пушкина, – и вот здесь, на виду у всей России, Пушкин взял свою музу в тиски, приказав ей:

*Веленью Божию, о муза, будь послушна...*

Какой дерзкий шаг, какой удивительный поворот! Впору вспомнить новгородского архиепископа Иоанна (XII век), который не только связал крестом и молитвой докучавшего ему злого духа, но еще и использовал последнего для паломнической поездки ко Гробу Господню – в качестве транспортного средства.

Но мы не станем зря тревожить память новгородского святителя. Пушкинская инициатива имела другой результат. Пушкин призвал свою музу к порядку – ровно через полгода Пушкин был убит.

И эти полгода были для нашего поэта мучительны. Духовное одиночество, разлад с близкими людьми, разлад с читателем... Раннее творчество Пушкина, громкие слова «холоп венчанного солдата», «эллеферия», «свободой горим»

приводили в восторг пылкую дворянскую молодежь – неприкайные гусары и кандидаты Московского университета на руках носили Пушкина, отрывая от его панталон штрипки себе на память, – зрелое творчество Пушкина заставляло ученейших людей России безнадежно разводить руками и произносить: «Пушкин кончился», «Пушкин исписался».

Пушкин (которого митрополит Анастасий назовет через сто лет «Божией милостью и благословением для Русской земли») тяжело переживает общее охлаждение, общее отступничество.

Просто написать на бумаге: *«Поэт! не дорожи любовью народной»*, – но очень трудно расставаться с любовью, в лучах которой согревался половину жизни, очень трудно от любви отвыкать.

Не залеченные при жизни душевные раны переходят в вечность. Старая распря между российским литературным бомондом и Пушкиным продолжается сегодня, и мы с вами, совсем того не желая, являемся ее участниками.

«Следовать за Пушкиным <...> труднее и отважней, нежели идти новою собственною дорогою» (Баратынский). Пройти за Пушкиным по страницам его сочинений след в след, остаться с Пушкиным до конца – значит не только приобрести бесценный жизненный опыт, но и (как бы по-детски это ни прозвучало) помочь поэту сегодня, духовно подкрепить и поддержать его.

Остановиться вначале, хищно рыться в молодых грехах Пушкина, в его «нозлях» и «донжуанских списках», цитировать, сладко жмурясь, похабные стихи про Анну Алексеевну Орлову – значит тащить поэта за собою на дно и дальше – «в преисподнюю земли».

Первая молодость Пушкина, проведенная под заботливым присмотром П. А. Вяземского, была бурной и далеко не безгрешной. В 30-е годы Пушкин, ставший уже мужем и отцом, с отвращением читает свою прежнюю жизнь, но не смывает печальных строк, более того – черпает из впечатлений *«безумных лет»* богатый материал для художественного творчества. Разумная и деятельная жизнь, которую ведет в эти годы Пушкин, не оставляет места для тревоги за его будущность. Печальные обстоятельства прошлого живут только в памяти поэта, «смывать» или «не смывать» их – этот выбор находится полностью в его власти.

К середине 1836 года окончательно выясняется, что *«безумных лет угасшее веселье»* угасло не до конца. Грехи молодости следуют за Пушкиным как тень, освободиться от их страшного конвоя поэт не может.

*Напрасно я бегу к Сионским высотам,  
Грех алчный гонится за мною по пятам...*

Пушкин был не просто умнее и талантливее – он был намного *лучше* любого из нас. Он был добр и сострадателен, он был великодушен, Пушкин был «дитя по душе», «в полном смысле слова дитя» – и что могли значить его грехи (игра молодых сил, брызги шампанского) по сравнению с тем багажом, который отягощал совесть подавляющего большинства его современников! Но те-то жили спокойно и для огорчений в самом деле не имели причин:

виселицы им не мерещились, воспоминание о «далекой, бедной деве» не мучило, анонимщики не одолевали, белоголовая смерть в компании с лошадьёю не караулила за углом!

Откуда этот мрак, навалившийся на Пушкина перед концом, откуда эта безысходность?

Оставим нашим «великим пушкинистам» неизбежного «Николая» (что бы они делали без него!), вечнодоходных «николаевских жандармов» (которых было ровным счетом 17 человек на всю огромную Россию) и прочих «свободы-гения-и-славы палачей», преследовавших поэта, мучивших, травивших и под конец затравивших. Пушкин был храбр, про «наслаждение в бою» писал не понаслышке, и внешние враги, сколько бы их ни объявилось вдруг, не смутили бы и не надломили его мужественного духа.

Безликое зло душит Пушкина в последние дни его жизни, анонимное зло накрывает его с головой, и он ищет, сбиваясь с ног и скрежеща зубами, реального носителя этого зла, ищет реального врага (предполагая одно время, что таковым окажется сам царь) – и натывается в конце концов на пулю Дантеса, который был, по сути своей, водевильный персонаж: «мусье француз, г.... капитан».

Нет, дело тут не во внешних врагах.

Дело тут и не в отдельных ударах судьбы, поразивших Пушкина *рикошетом* (давно замечено, например, что тот же самый Дантес, знай он грамоте и имей он потребность в нашем оправдании, мог бы сослаться на пушкинское стихотворение «Десятая заповедь» как на произведение, глубоко его перепавшее и ставшее для него настоящей путевкой в русскую жизнь). Это неплохо, что Пушкин успел при жизни расплатиться за некоторые свои необдуманные слова, а не сохранил их в целости до Страшного суда.

Дело в том, что для Пушкина, как когда-то для Ленского, «*часы урочные пробили*». Ангел смерти приблизился к Пушкину. Последние месяцы пушкинской жизни – это агония, конечно. Сумбурная, отчаянная схватка, в которой поэту приходится отстаивать не жизнь (жизнь кончена), а приемлемое место в вечности.

«Если бы смерть была концом всему, – некогда фантазировал Платон, – она была бы счастливой находкой для скверных: скончавшись, они разом избавлялись бы и от тела, и – вместе с душою – от собственной скверны». Увы! смерти нет. Злые дела, гнилые слова, скверные мысли, не очищенные покаянием, не выжженные глгучим страданием, следуют за нами в вечность.

«Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения», – говорится в великопостной молитве св. Ефрема Сирина; пушкинское переложение молитвы, выполненное за полгода до смерти, так передает это прошение:

*Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья...*

Глубоко несчастны те люди, которые не видят своих грехов, которые не сомневаются в своем «человеческом достоинстве»! К ним не относятся слова покаянного канона: «Житие на земли блудно пожих и душу во тьму предах» (хотя от этих слов болезненно сжимались сердца столетних схимников и

пятнадцатилетних великих княжон в прежней, лучшей, России) – они-то живут «честно, хоть и трудно», и уж во всяком случае не совершают никогда тех ужасных поступков, которые совершают на каждом шагу другие люди – наемные убийцы, бритоголовые нацисты, арабские террористы и прочие герои голубого экрана.

«У меня все в порядке. Я никого не убивал, не торговал оружием в Чечне». «Какие у меня грехи? Живем вчетвером на одну зарплату». «Особенных грехов не имею. Не ворую, на “мерседесах” не езжу».

Человек, не сознающий своей духовной нищеты, не отчаивающийся по временам в своем спасении, – такой человек, очевидно, не нуждается и в Спасителе. Такие люди часто умирают неожиданно и быстро – легко умирают и без запинки переходят от смерти духовной к смерти физической. (Вы, может быть, слышали о том, что внезапную смерть, которую мы сегодня называем скоропостижной и которой нередко завидуем, наши нецивилизованные предки называли «наглой смертью» и признавали ее верхом человеческого неблагополучия.)

Тому, чья душа не до конца усыплена и связана, смерть посылается порою трудная. Такому человеку Бог может открыть перед концом духовное зрение – тогда умирающий человек видит не то, что ему хочется видеть и к чему он привык, а то, что есть. И в этом – последняя Божья милость к умирающему, но хрупкое человеческое естество воспринимает эту милость как богооставленность, как сплошной ужас. Страшно просыпаться над бездной, страшно смотреть в упор на вечное зло, которое сам приблизил к себе, которому достаточно послужил в течение жизни. Кто-то буйствует в эти минуты, кто-то требует помощи от близких, мучая их, кто-то впадает в прострацию. Кто-то вспоминает о Боге, просит у Него милости – и получает ее.

«Связан многими пленицами грехов», ощутив на всех своих путях страшную сеть, Пушкин не медлит ни секунды – Пушкин начинает действовать. Как чистокровный арабский скакун, обнаруживший вдруг заскорузлый хомут на плечах, а за плечами – обледеневшую бочку с нечистотами и сонного золотаря, Пушкин раздает направо и налево молниеносные, разящие удары. Уму непостижимо, какие завалы зла успевают он разметать за эти полгода, какие горы лжи умудряется своротить! Он заставляет Дантеса жениться на Е. Н. Гончаровой; он находит подлое гнездо, из которого вылетела на свет анонимка, и подготавливает достойную контрмину; казенный долг связывает ему руки – Пушкин требует от казны принять в уплату долга одно из своих имений; мало ему Канкрин – Пушкин и самого царя загоняет в угол 23 января, дерзко его допрашивает – и вырывает у русского царя те сведения, которых ему не хватало для полноты картины.

Но мужские поступки не приносят Пушкину освобождения.

Хуже того – вся эта судорожная активность привлекает внимание стервятников. Судорожные движения выдают шакалам и гиенам то место, где бьется в сетях погибающий человек. Анонимщики и подлечившие сифилис кавалергарды, дочери Вяземского и Карамзина вместе с посетителями своих

салонов, голландские посланники-содомиты, писаки русские толпой (в их числе особенно заметны будущие, еще не родившиеся, «великие пушкинисты») собираются в группы, стягивают кольцо, нервно облизываются, сучат хвостами... Они терпят. Они знают, что жертва увязла прочно. Они ждут.

Закрывая последнюю страницу типового издания пушкинских стихотворений, на которой напечатано:

*Напрасно я бегу к Сионским высотам,  
Грех алчный гонится за мною по пятам...  
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,  
Голодный лев следит оленя бег пахучий, –*

мы остаемся свидетелями и участниками страшных событий 1837 года. Бежит через пески измученный олень, гонится за оленем голодный лев.

Не присоединяйтесь к жестокой травле, не задерживайте бегущего! Не переключивайте на Пушкина груз своих нерешенных проблем, не притворяйтесь, будто он так уж сильно перед вами виноват.

Если вы развратны, то ведь наверное не грациозные шалости пушкинской музы послужили тому *решающей* причиной. Если вы – атеист, оплакивающий свое безверие (весьма распространенный у нас тип человеческой личности), то уж наверное не «Гавриилиада» убила в вас веру.

Замечу вскользь, что жуткая репутация, которой пользуется среди православного народа это большое порождение детской фантазии, не имеет сегодня опоры в реальном положении вещей. Трудно представить, что кто-либо из молодых современников наших сможет дочитать эту нелепую и скучную сказку до конца. «Гавриилиада» – гадость, конечно, но гадость по нынешним временам почти безвредная, гадость для специалиста по гадостям, антикварная гадость. Зайдите в любой «букшоп» и поглядите, каких авторов раскупает с горящими глазами наша учащаяся молодежь, – бедное будущее наше. Зюскинд, Фаулз, Кастанеда, Пелевин, Веллер... Переход от таких авторов к музейной, насквозь вторичной «Гавриилиаде» можно было бы только приветствовать, как приветствуют родственники тяжелобольного снижение его температуры от 41° до 38°. Впрочем, возможность такого перехода существует только в теории. На этой улице движение строго одностороннее и ускоренное: вперед и вниз, под горку. «Гавриилиада» прошла, как прошли Людовик XV, салонное остроумие, высокие прически у дам. Опасливо коситься в их сторону сегодня – значит, как выразился бы Федот Кузьмич Прутков (дед), «слишком помнить опасность».

Но может быть, вы родились в инкубаторе, воспитывались в стеклянной колбе, для чтения имели только настенный календарь и логарифмическую таблицу, а потом вдруг нашли в дровяном сарае старую книгу без обложки и без двадцати начальных страниц, неосторожно раскрыли ее, прочли, не веря глазам: «*Чистый нам любезен Бахус*» – или, того хуже: «*Неверную деву лобзал армянин*» – и – бац! – в одну минуту развратились.

Что же, в этом случае Пушкин перед вами виноват.

Но знаете что? Попробуйте простить ему. Постарайтесь простить Пушкину ту малость, в которой он легкомысленно согрешил перед вами 180 лет назад. Глядишь, и вам в горькую для вас минуту кое-что простится. Умирать-то все равно когда-нибудь придется. И чем меньше должников останется у вас к тому времени, тем будет лучше для вас.

Хотя... Что мы знаем? «Прощайте, друзья», – сказал Пушкин, обводя взглядом книги своей громадной библиотеки. Он не сказал: прощайте, враги, которых я насилу смог одолеть с помощью о. Петра.

Может быть, Пушкину труднее было бы умирать, если бы к этому часу не было уже сделано то, что мог сделать он один: уже он написал «Предчувствие» и «Над помраченным Петроградом...», уже создал историю Маши Мироновой, уже досказал историю Татьяны Лариной. Не будь этого, сил на последний подвиг могло бы и не хватить. Демон уныния напоил бы горечью незадачливого стихотворца – промешкавшего, не давшего родиться этим чудным звукам, этим вечным образам, – и одолел бы его в последнюю минуту, украл бы его спасение.

Поэзия – странное занятие и опасное, но, к сожалению, вполне безопасных занятий на этой земле не существует.

Пусть «муза» – древний демон, а «поэтическое иступление» – болезнь. Человек не может стать здоровяком по своему желанию, не может, например, «отказаться» от диабета или астмы. Болезнь не порок. Болезнь – это то, чем люди испытываются. Существенно не то, что люди подвержены различным заболеваниям, а то, что одинаковую болезнь люди могут воспринимать и переносить по-разному. Один больной мучает близких, изводит их капризами, упреками, жалобами, другой – терпит и улыбается. Глубокий человек пытается осмыслить свою болезнь, пытается понять, для чего она послана ему – именно сейчас, именно такая, – и иногда получает пользу от болезни, извлекает из своего несчастья бесценный духовный опыт.

Жизнь в оранжерее под стеклянным колпаком, может быть, и хороша, но именно такая жизнь не досталась человеку в удел. Человек продирается в рай сквозь дикую чашу грехов и соблазнов, человек падает и встает, встает и снова падает. Человек отчаивается и изнемогает. *«Пока вся кровь не выступит из пор, //Пока не выплещешь земные очи – //Не станешь духом...»*

Человек обречен искать всю жизнь то содержание, которое выдержит огненное испытание Страшного суда, но которое душа (не душа как таковая, не вообще «душа», а вот эта конкретная духовная личность с присущими ей одной склонностями и антипатиями, с уникальностью ее жизненного опыта, с неповторимостью ее христианской судьбы) способна вместить, усвоить и удержать уже здесь, на земле. На этом пути возможны трагические ошибки (судьба Блока), но никогда ошибка не поставится человеку в ту же вину, что и равнодушие к истине, фарисейская духовная сытость, фарисейское спокойное любованье высотой своего нравственного и интеллектуального уровня.

В «Загробных песнях» Случевского – в этом интереснейшем памятнике, завершившем полуторавековую путь русской поэзии в ее основном русле, – лирический герой переживает встречу с двумя духами из числа «истинно огромных»:

*Они рука к руке, как бы полусливаясь,  
давно привыкшие к большим телам планет,  
длиною их пути нимало не смущаясь,  
безмолвно шествовали, чуть давая свет...*

*И как их не узнать? Один – царь полумира,  
страну, для опыта, поднявший на ладонь;  
была ему узка огромная порфира,  
и, чтоб сидеть ему, из бронзы отлит конь.*

*Другой, в дни юности, певец садов Киприды,  
а в лучшие года вожак народных дум,  
сраженный пулею с согласия Немезиды  
за силу гения, за непокорный ум...*

Петр и Пушкин, встреченные героем Случевского в загробном мире, не принадлежат тьме, но и свет, от них исходящий, «мал». Петр и Пушкин – духи «из полутемных». Жизненный путь этих двух исполинов был «скоротечен, и в подвигах добра он мог бы быть иным».

Защищать Пушкина от Случевского не нужно. Константин Константинович любил Пушкина не меньше, чем мы с вами. В пору написания «Загробных песен» Случевский уже не занимается литературной борьбой – Случевский готовится к смерти. Возвращаясь «в самый ясный свет», старый поэт кланяется живущим и смиренно сообщает им знание, добытое сорокалетним поэтическим трудом: в земной поэзии Света нет.

Собственную жизнь, собственное творчество Случевский оценивает перед концом так же трезво и так же безотрадно:

*Я мог бы быть гораздо хуже,  
Служа судьбе проводником...  
Все знают: вслед великой стуже  
Морозец кажется теплом!*

Полвека спустя Шаламов в «Колымских рассказах» поведаёт о том, как утешали несчастных заключенных, как согревали их двадцать градусов мороза после пятидесяти. Это не значит, что двадцатиградусный мороз пригоден для нормальной жизни – для земледелия, например, или для прогулок с друзьями. И все же он заслуживает добрых слов: его легче перенести, он не так быстро убивает, как мороз пятидесятиградусный. Случевский об этом и пишет: «Да! Много сеял я несчастья! //Но я далеко не из тех, //Кто любит зло из любострастья...» Петр и Пушкин, по мысли Случевского, тоже не любили зла из любострастья, сознательно злу не служили. Петр и Пушкин тоже «могли быть хуже».

Разумеется, это не та оценка личности Пушкина, к какой мы привыкли и с какой могли бы согласиться. Современная исследовательница Е. А. Тахо-Годи указала на обусловленность подобной оценки «религиозными исканиями Случевского начала XX в. (его беседы с Вл. Соловьевым, о. Иоанном Кронштадтским)».

Легко и просто оспаривать Владимира Соловьева, чьи наглые тезисы («Пушкин убит своим собственным выстрелом в Геккерна», «Байрон и Мицкевич были *значительнее* его» и т. п.) даже и нельзя обходить молчанием, нельзя оставлять без ответной равносильной оплеухи – мы этим займемся в свое время, – но что прикажете делать со святым и праведным отцом Иоанном Кронштадтским? А в том, что он мог считать (и почти наверняка считал) духовную личность Пушкина «полутемной», сомневаться не приходится.

Не станем пока ни соглашаться с этой оценкой, ни оспаривать ее – попробуем продвинуться чуть дальше по пути, намеченному Случевским.

Пушкин и Петр действительно ведь «полуслились» в русской истории. На вызов Петра Россия ответила явлением Пушкина – этот расхожий герценовский образ постоянно в нашем сознании присутствует. Пушкин – не просто главное украшение петербургского периода нашей истории, но и наглядное подтверждение той важной истины, что дело Петра в России прижилось и, следовательно, в народном духе было определенное сочувствие и было определенное *соответствие* духу петровской реформы.

Но сегодня многие важные истины воспринимаются нами не так, как они воспринимались еще недавно – до 1991 года. Добровольный отказ России от всех своих геополитических завоеваний и притязаний, воспринятый на Западе как «поражение России в Третей мировой войне», соответственное изменение внешнеполитического статуса России привели к тому, что множество наших соотечественников занялось переосмыслением русской истории.

Ценность петровского наследия многими сегодня ставится под сомнение. Обоснованной критике подвергаются не только методы, которыми петровская реформа проводилась в жизнь (они, конечно, трудноизвинимы), но и самая суть реформы.

Однако, прежде чем начать спор с уважаемыми мною критиками Петра, придется сказать несколько слов о почитателях царя-работника из числа нынешних хозяев России.

«Петр, – поучают нас эти люди, – был, первое, западник. Но он был жесток в силу ушербного менталитета и тысячелетней парадигмы. Мы эту жестокость не оправдываем и не разделяем! Мы унаследовали лучшее в политике Петра – мы повернулись к Западу лицом, мы прорубили окно в Анталию и на плас Пигаль... Государство? Государство развалилось, понимаешь. А зачем нам нужно жестокое государство?»

Понятно, что такие похвалы больше вредят памяти Петра, чем самая резкая и пристрастная критика. Над косноязычными рассуждениями про «российский менталитет» и «рабскую парадигму» мы еще способны посмеяться в своем кругу, но защищать память Петра от его кошмарных



апологетов мы вовсе не стремимся. Мы идем на поводу у этих ловкачей. Мы принимаем бездумно и безвольно их аргументы, с тем чтобы потом стоять насмерть, яростно оспаривая их оценки (хотя об оценках, как и о вкусах, спорят только дураки).

«Петр был западник. Это хорошо». – «Нет! Это плохо». – «Зато он был жесток – суший мясник. Это плохо». – «Нет! Это очень хорошо».

Грустно и смешно.

Слово «западник» родилось в 40-е годы XIX века, но и сегодня значение этого слова строго не определено. Чаадаев и Смердяков, Тургенев и Хакамада одинаково могут быть названы западниками. В верхних этажах русской культуры чистые западники почти не встречаются; имена, названные выше, – и те небезусловны. Тургенев с вдумчивым интересом относился к простонародному русскому быту, что для западника совсем не характерно, Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего»... Поэтому защита этого направления общественной мысли строится обычно на живых примерах: обычно говорится, что тот или иной западник был кристально честным человеком, добросовестно служил России на своем месте, желал России блага (пусть и понимал его по-своему), пользовался любовью и уважением всех близко знавших его людей. Неужели не ясно, говорится в заключение, что в таких гражданах Россия сегодня нуждается больше, чем в запойных гениях, доморощенных мистиках и прочих уродах, составляющих цвет туземной образованности?

Тем и удобны живые примеры, что с их помощью можно доказать все, что вам захочется. Честностью, добросовестностью, примерной нравственностью отличались, как известно, Киреевский, Даль, Победоносцев, царь-мученик Николай II и еще миллион русских православных, западничеству не причастных. То есть эти-то именно качества и не делают человека западником. Западник может иметь их и может их не иметь; он по другой какой-то причине – западник.

Когда же начинаешь выделять эту специфическую «западническую» составляющую в русском национальном характере, то обнаруживаешь сразу, что Петр I вовсе ее не имел. Западником наш железный царь совершенно определенно не был.

Русский западник – простое существо.

Во-первых, он по-западному относится к России: не ценит ее и не понимает, не переживает ее скорби и радости как свои скорби и радости. Во-вторых, он имеет великую страсть (к удобствам западной жизни, к западному комфорту) и великую цель (обставить по-западному свое жилище, ездить в экипаже западной фабрикации, по-западному одеваться и развлекаться). Ничего третьего, более сложного или хотя бы более западного, в русском западнике нет.

Поскольку западный ширпотреб стоит в России безумно дорого, постольку наш западник **вынужден** обворовывать казну, вымогать взятки у просителей (если он чиновник), выплачивать нищенское содержание своим рабочим (если он предприниматель).

Западники бывают надрывные и толстокожие. Толстокожий западник ворует и давит молча; надрывный западник, решая свою жизненную задачу, причитает и стонет: «А что мне делать? Нет, а что мне делать? Я же не могу ездить на «москвиче», как последний хам, я же не могу, как какая-нибудь скотина, жить на сто пятьдесят долларов в месяц!.. И ведь это только в России порядочный человек вынужден воровать – ни в одной нормальной стране такого не увидишь. Россия-сука, ты еще ответишь за это унижение лучших, благороднейших сынов своих!..» и т. п.

На Западе наших западников признают естественными союзниками, заботятся о сохранении популяции, подкармливают вожаков, но и за людей этот сброд, разумеется, не считают.

Петр своих западников вешал.

Петр был суровый русский патриот, вынужденный (опять это слово!) брать на Западе то, чего Россия к 1698 году своими силами создать не смогла или не захотела. Собственные слова Петра: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом» – не нуждаются в каких-либо дополнениях и комментариях.

Для того, чтобы поворот к Европе задом мог обойтись для нас без дурных последствий – чтобы нам не воткнули немедленно в это место какой-нибудь смертоносный самонаводящийся кол с пороховым двигателем и победитовым наконечником, – необходимо было иметь современную армию и современный флот, тяжелую промышленность и высшую школу, Академию художеств и регулярное стихотворство. Выяснилось, что за «несколько десятков лет» можно все это создать; чуть позднее выяснилось также, что поддерживать в рабочем состоянии эту махину, повернувшись задом к мобильной, стремительно развивающейся Европе, нельзя. В этом – и только в этом – Петр ошибался.

Триста лет сохранялось вооруженное, шаткое равновесие сил между Россией и Западом; к концу этого срока Россия оказалась на грани физического и нервного истощения. «Русский человек устал» – как пронизательно заметил в 1945 году Георгий Иванов. Триста лет пролетели как один день; мы и сегодня стоим к Европе лицом, как стояли в 1698 году, но сегодня Киев и Харьков уже на *той* стороне. Триста лет мы не отрываем от Европы глаз; сегодняшний ее вид настолько неприятен для зрения, настолько уже тошнотворен, что элементарный инстинкт самосохранения понуждает нас зажмуриться или просто повернуться к Европе задом, как это было при... А при каком царе это было? Когда мы могли себе позволить такую роскошь?

Выяснив, что и Петр Великий мог иногда ошибаться, мы с тем большей легкостью перейдем теперь к разбору аргументов его современных критиков.

Отрицатели Петра подразделяются у нас на два основных разряда. Первый разряд, более многочисленный, состоит из благородно мыслящих людей, которые признают необходимость петровской реформы в принципе, но отрицают ее на уровне реально выполненного дела. Трудно спорить всерьез с

такими симпатичными людьми. Я сам люблю гоголевскую Агафью Тихоновну и всегда соглашусь с тем, что если бы губы Никанора Ивановича («окно в Европу», Академия наук, армия и флот) да приставить к носу Ивана Кузьмича (церковная политика Феодора Иоанновича), да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча (отношение к иностранцам Иоанна III), то в результате могло бы составиться идеальное человеческое лицо. Как стали говорить у нас с недавних пор, «мечтать не вредно». Вредно влюбляться в свои мечты, вредно пристращаться к идеально-трафаретным лицам, брезгливо отворачиваясь ради них и от живых человеческих лиц, и от «истории наших предков, такой, как нам Бог ее дал» (Пушкин).

Весьма примечательно то, что этот разряд противников Петра не подарил России за триста лет ни одного практического деятеля, поскольку состоял всегда из таких работников, которым, по едкому замечанию Розанова, «нельзя дать портков выстирать: изорвут, напачкают, а чистыми не сделают». Между тем вполне очевидно, что раз уж вы признаете принципиальную необходимость реформы, то ваш долг – служить ей на том участке, на который поставила вас жизнь, и не вступать в напрасный суд с прежними деятелями реформы – вашими предшественниками, вашими товарищами по общей борьбе. Своим трудом, своим подвигом, своим талантом вы можете исправить и возвысить самое провальное прошлое (как исправила Полтава Нарву), своей тупой апатией, своей бездарностью и ленью вы можете обесценить самое героическое и блестящее прошлое (как обесценила все военные победы России Беловежская Пушта), но вы не можете прошлого отменить. Прошлое уже состоялось; из прошлого смотрит на нас прекрасный и страшный – цельный! – лик Петра:

*Ужасен он в окрестной мгле!  
Какая дума на челе!  
Какая сила в нем сокрыта!*

Нельзя уже убрать эту *силу* из русской истории. Нельзя сделать бывшее небывшим.

Наследие Петра вечно и вечно проблематично. Люди, с легкостью рассуждающие о недостатках Петра, считают, очевидно, что достоинства Петра лежат у них в кармане. В известном смысле это так и есть – все мы уже триста лет живем в государстве, созданном его волей и его державным трудом. Наши дети не прячутся в лесах от шведской или польской солдатни – они учатся в русских школах, институтах и университетах, читают в хороших русских переводах мировую классику и совсем не удивляются тому, что иностранные граждане по всей земле читают на своих языках классику русскую. «А как же иначе? По-другому ведь не бывает...»

Странное дело! Когда мы выходим весной на свои садовые участки, мы отчетливо понимаем: *само* здесь ничего не вырастет, никакие перемены к лучшему на нашем участке сами собой не произойдут. Ну, вылезут из земли сорняки – сами, сами прилетят в июне комары, наползут гусеницы... Наискуднейший урожай, какой только можно себе представить: один-

единственный кочан капусты, невызревший, изъеденный слизняками, и тот обеспечивается чьим-то трудом: покупкой рассады, доставкой, посадкой, элементарным уходом. Если имеется кочан капусты – значит, кто-то над ним трудился. Нет деятеля – значит, не будет и кочана капусты.

Но стоит нам выйти за калитку своего участка, как все эти здравые понятия улетучиваются из нашей головы. Заботливо прикрывая ладонью карман со *своим добром* (гром побед русского оружия, авторитет русской науки, мировая слава русской литературы), мы громко жалуемся на то, что денег и удобств «в этой стране» слишком мало – намного меньше, чем в передовых, развитых странах. Мы спокойно и твердо отрекаемся от Петра: «Что ты там топчешь змею на камне, медный человек? Табачищем несет от тебя и винищем, и чем это ты весь перемазался? Не кровью ли? Слава, купленная кровью, нам не нужна. Такая слава отпугнет от нас цивилизованных туристов, в чьих кошельках мы полагаем единственную надежду на оздоровление российской экономики. Нам не по пути с тобою, медный человек».

В подобном отречении имеется, безусловно, своя логика. Кровь есть кровь, убийство есть убийство. Дело, под которым струится кровь, непрочно и недолговечно. Дом, поставленный на трупах, не устоит.

Но мы-то не от дома отказываемся – мы отрекаемся от зодчего и строителя, продолжая (иногда не без приятности) жить в его постройке. В нас не совесть говорит – у нас нервы пошаливают, когда мы с ужасом и отвращением отворачиваемся от правителя, собственноручно отравившего головы благообразным суриковским стрелцам. Всему есть предел, говорим мы с сердцем. Многое можно простить человеку, но *такого* прощать нельзя. Кровавый убийца – не человек.

Кровавый убийца, конечно, человек, но человек, переступивший через границу, установленную Самим Богом, нарушивший Его шестую заповедь.

Бог, правда, не одну заповедь дал людям, а десять. И мы очень тяжело согрешаем против пятой заповеди, когда полагаем, что добро, лежащее у нас в кармане, появилось там само собой, что ему просто положено там находиться. Но стоит ли говорить о таких пустяках! Мы же взрослые, образованные люди – мы же не можем воспринимать всерьез все эти второстепенные запреты, относящиеся еще к родовому укладу жизни у древних евреев: не вари козленка в молоке матери, не прелюбодействуй и тому подобное. Важно, что в главном мы себя сохранили. Мы никого не убили. Мы не трудились так, как трудился Петр, и мы меньше, чем Петр, любили Россию. Наши руки чисты.

Хорошо, в самом деле, что мы не таковы, как прочие люди, грабители, обидчики, кровопийцы, или как этот царь Петр, убивший даже и собственного сына. Поразительный пример брутальности и бессердечия. У этих православных кесарей точно с психикой не все было в порядке. Иван Грозный убил сына, Константин Великий убил сына. А что сделала с сыном царица Ирина?.. Восточные деспотии, что с них взять! Умными людьми давно уже все про них сказано: реторта рабства, тысячелетняя парадигма.

Мы-то своих сыновей выскабливаем в пятинедельном возрасте – быстро и опрятно, в строгом соответствии с рекомендациями Всемирного совета здравоохранения. Да и за этот законнейший акт нашего самоопределения отвечать в случае чего будем не мы, а другие люди: троглодиты-коммунисты, мучительно долго скрывавшие от нас тайну безопасного секса, воруягидемократы, посадившие нас на такую зарплату, на которую невозможно вырастить и одного-единственного ребенка, западные глобалисты, проводящие в жизнь свой адский план по сокращению населения России на две трети... А мы – мы замечательные. Жаль только, что остальные люди на этой угрюмой земле редко бывают на нас похожи.

Второй разряд противников Петра довольно малочислен (как и вообще малочисленны в современном мире люди, прошедшие школу строгой и ответственной мысли), но вот их точку зрения нужно учитывать. С этими людьми необходимо считаться.

Мысль этих людей проста и логична: раз уж Россия, свернув однажды со своего пути, ввязалась в борьбу, в которой победить нельзя (поскольку правила борьбы выдумываются, назначаются и, при необходимости, переписываются заново нашими врагами), а можно только с предельным напряжением сил оттягивать неизбежный конец, – то и нужно нам раз и навсегда отказаться от бессмысленной траты сил, нужно возвратиться на свою историческую дорогу, а там уже – как Бог даст. Бог Россию не оставит, Бог управит. Бог Свою Россию спасет. Не позволит Он нас уничтожить, как каких-нибудь ацтеков или западных славян.

Чуть позже мы вернемся к этой концепции, которая выглядит неуязвимой только до тех пор, пока не вспомнишь наряду с ней хорошую русскую поговорку: «На Бога надейся, а сам не плошай». Вся эта логика начинает разваливаться в ту минуту, когда обращаешь ее на себя, когда начинаешь задавать себе тихие вопросы: «А все ли я сделал, что мог, на своем месте? А было ли предельным напряжение моих сил?»

Слова «русский человек устал» великолепно звучат в стихах, и в аналитической статье они уместны, но что можно сказать про господина, которого просит о помощи больная мать и который отвечает посланному от матери: «Передай, что не приду и не помогу. Я, понимаешь, устал. Вот буду в церкви в ближайшее воскресенье – тогда и записочку подам о ее здравии, и свечку поставлю». Тут нечего обсуждать.

Но сейчас мы должны остановиться. Наверное, вы и сами заметили, что нить моего повествования запуталась, что мы давно уже двигаемся по кругу, возвращаясь опять и опять в одну и ту же точку. Очевидно, мы подобрались к узловому моменту всех этих «Чтений о русской поэзии». И мы не сможем двигаться дальше, если не развяжем или не разубим образовавшийся узел.

Суть проблемы очень точно обозначил Александр Федорович Воейков в своем «Доме сумасшедших». Там у него некий В. М. Попов, крупный деятель народного просвещения в александровскую эпоху и известный мистик (точнее сказать – хлыст, член татариновской секты), выступает с такой речью:

*Хочешь мельницу построить,  
Пушку слить, палаты скласть,  
Силу пороха удвоить,  
От грома храм Божий спасти;  
Справить сломанную ногу,  
С глаз слепого бельмы снять,  
Не учась, молился Богу, –  
И пошлет Он благодать!*

Хотя Василий Михайлович Попов и помещен Воейковым в разряд «пострадавших за глупость», речь его далеко не глупа. Молитва и в самом деле является главным делом в человеческой жизни – самым главным и самым трудным. Великим молитвенником был у нас, как вы знаете, Сергей Радонежский – он и овладел грамотой чудесным образом, «не учась». Однако сотни миллионов русских православных, чтущих память преподобного Сергия, садились в положенный срок за букварь, а при монастырях, основанных Сергием и его учениками, обязательно заводились монастырские школы и библиотеки. Сами побеждая «естества чин», святые подвижники для других его не отменяли – не налагали на обычных людей бремена своих сверхчеловеческих подвигов.

А вот Василий Михайлович элементарно зарывается и бесчинствует, требуя от людей молитвы, способной творить исцеления и другие чудеса, – требуя от других того, чем сам не обладает.

Так было, так есть и, вероятно, так будет всегда. Кто-то оставляет родной дом и милую семью, отказывается от минимальных жизненных удобств, бежит в пустыню – и молится там до последнего вздоха за страну и народ. Кто-то, не способный удержать молитвенное правило длиною с воробьиный нос, забывающий перекрестить лоб перед обедом, печатает зато и печатает в периодической печати набатные призывы к населению России: «Покайтесь! Поглядите на себя – вы же хуже язычников! Пьяницы, уроды, комсомоллисты вчерашние! Ужо достанется вам на том свете, а и в этой жизни умные народы уже показали вам, безбожникам, чего вы стоите!»

Ревнителю Православия первого типа живут в глухих, труднодоступных местах, людей сторонятся, журналистов обходят за версту, однако люди узнают об их существовании каким-то чудом, каким-то «верхним чутьем» – и отовсюду собираются к ним, как собираются в грозу цыплята вокруг наседки, как собралась когда-то вся Русь вокруг обители преподобного Сергия.

Ревнителю второго типа... Ну, они тоже для чего-то нужны. Не всегда же они пишут свои статьи? Иногда, наверное, и пол в квартире подметут, иногда за картошкой сходят. Вреда-то немного от них. Конечно, эти статьи, окажись они в поле зрения массового читателя, многих колеблющихся и сомневающихся навсегда оттолкнули бы от Церкви. Но кто же станет добровольно читать такие статьи?

Сегодня, как и в 1698 году, Россия опять застыла над бездной. Как и в 1698 году, под угрозой находится сегодня физическое существование России.

Такое положение вещей не складывается само собой, не возникает в результате игры слепых «исторических сил». Как справедливо утверждали наши предки во времена Батюга, такие вещи случаются «попущением Божиим за грехи наша». Другими словами, мы сами виноваты в том, что с нами произошло.

Но мы с вами не французские экзистенциалисты – мы русские православные. Надрывное исповедание некой аморфной «вины» – безличной, безначальной и бесконечной – не является для нас обязательным. Надрывное повторение заклинательных формул: «Виноваты все, все согрешили» – также не принесет нам и нашей стране ни малейшей пользы. Я не хочу оказать, что в этих формулах нет положительного содержания – положительное содержание тут имеется, но только оно улетучивается без остатка при малейшем покушении перевести эти заклинания на язык практических дел. «Все согрешили» – значит, спросить не с кого. «Все виноваты» – значит, никто не виноват.

Наша задача сегодня: устоять на ногах в общем крушении, выбраться из потоков вселенской, экзистенциальной «вины» на сухой берег, забрав с собой только свою личную вину, – и там уже хорошенько ее прихлопнуть.

Сначала увидеть свой грех, потом исповедать его, оторвать от сердца – и тем самым уничтожить. Только так можем мы уменьшить тот страшный груз, под которым стонет сегодня наша земля.

И совершенно поразительно то, что многие наши православные публицисты, старательно маскируя свою немощь, бдительно укрывая от постороннего взгляда свой грех, предъявляют зато усиленный счет другим русским православным, не публицистам, и далеко не в последнюю очередь – Пушкину и Петру.

Наши публицисты лучше Петра справились бы с тяготами правления: они бы не только Карла XII разбили, но и патриаршество сохранили бы.

Современные публицисты лучше Пушкина справились бы с бременем поэтического таланта: они бы и «Медного всадника» написали, и к Серафиму Саровскому успели бы подскокить под благословение...

Друзья! Дерзайте! Не судите других – сами делайте. Для Бога, вы знаете, нет времени, и на лица Он не взирает. В той минуте, которую показывают сейчас ваши часы, ровно столько же важности и смысла, ровно столько же потенциальной значимости для судеб России и русской культуры, сколько было в тех минутах, в ходе которых принимали свои решения Пушкин и Петр. Те минуты и эту, сегодняшнюю, Бог видит *одновременно*.

Вы недовольны Петром («тиран», поднявший Россию «не на дыбы, а на дыбу», построивший новую столицу «на гиблом месте» единственно лишь «по прихоти роковой тиранической воли») и его делом («отозвалось событиями кровавых революций»; Петербург, созданный соседу назло, – «зло и несет» и т. п.)

Но какая нам польза от чужих грехов и даже от чужой роковой прихоти? Чужими грехами свят не будешь. Не думайте о дурном тиране – думайте о

добрых делах, к которым вы призваны, которых за вас никто не сделает, без которых мертвой может оказаться ваша вера. Вы же не администраторы, не политики, не военные – вы современные православные публицисты. **Православные.** Так становитесь на молитву! Карла XII с его лучшей в мире армией вам не придется останавливать на границе – это сделано без вас, и сделано неплохо. А вы сделайте что-нибудь маленькое: умолите Бога смягчить сердце хотя бы у Э. А. Шеварднадзе или в Чубайсе пробудить совесть... Трудно пробудить совесть в Чубайсе? Просите о меньшем. Просите Бога вложить в Хакамаду один-единственный благой помысел, извлечь одну слезинку из глаз Е. Гайдара. Но что-нибудь исправьте в мире своей молитвой, что-нибудь сделайте – и станете вы для нашего времени маленьким Сергием, маленьким Гермогеном, маленьким Митрофанием Воронежским. И люди вас не забудут. И страна воспрянет. И все у нас будет хорошо.

Не можете извлечь слезинку? Вообще ничего *сделать* не можете? Ну, я не знаю тогда, что вам посоветовать. Попробуйте, может быть, научиться портки стирать.

Вы недовольны Пушкиным, который не посетил Серафима Саровского («это трагедия не только русской литературы, но и всей русской истории. И вина – всецело на поэте»), стрелял в Дантеса (и «кажда смерти противника смертельно отравила раненого поэта»), сто девяносто четыре раза употребил в своих сочинениях слово «прелесть» – и «нигде близко не подошел к святоотеческому смыслу» этого слова.

Не обижайтесь на Пушкина, это совершенно бесполезно, Пушкин убит и похоронен 165 лет назад. Вы же не дикие горцы, которые не умеют забывать, не умеют прощать, и если не могут резать обидчика собственноручно, то стараются хотя бы сравнять с землей его могилу и перебить всех его потомков, – вы современные православные публицисты. **Публицисты.** Так пишите! Ударьте по сердцам с неотразимой силой, увлеките людей... Писать по-русски вам, может быть, не совсем удобно (окончательную форму этому языку придал Пушкин, а Пушкин, как вы установили, всецело виноват перед русской историей и культурой) – по церковно-славянски пишите. Главное, чтобы вас услышали, чтобы вам поверили – погибают же люди, потомки православных, наши братья и сестры. Дети погибают...

Пушкин, злодей, только хвастался: «Чувства добрые я лирой пробуждал», – а ничего не пробудил: страшное наследство оставил вам Пушкин! Убыль населения, пьянство, аборт, секты... Героиновый бум, валеология, Хакамада!.. А уже и Югославия растерзана, уже поставлен в Петрограде семиметровый **Тарас** – надзирать, скоро ли Нева «понесе у сине море кровь ворожу»: кровь москалей, нашу кровь... Пишите! Если уж и вам не удастся остановить этот разлив зла – что тогда будет с нами? Нет, вы должны справиться.

Не выйдет по-церковнославянски – пишите тогда народным языком допетровской эпохи, изучив его по роману Загоскина «Юрий Милославский» (более надежных источников, кажется, не существует). Но только пишите, только светите – не оставляйте наш добрый, умный народ скитаться во тьме,



не оставляйте людей наших без помощи! Пушкин виноват кругом, Пушкин виноват во всем – никто с вами не спорит об этом, – но еще же его вину можно исправить! Бог еще терпит, весна еще наступает в положенный срок, люди рождаются и умирают. Русская земля еще стоит.

И требуется-то от вас немного. Пишите как писали, можете и дальше писать по преимуществу о трагической вине Пушкина и о роковых прихотях Петра – но только начинайте уже, наконец, писать лучше Пушкина. Этим вы привлечете к себе сердца людей. Полюбив вашу прозу, люди нечувствительно проникнутся вашими взглядами, примут вашу систему ценностей, начнут понемногу отвыкать от злых обычаев... А писать лучше Пушкина для вас не составит труда, раз уж вы современные русские слова «прелесть», «трус», «страхование», «живот» способны употреблять в их подлинном, в их *святоотеческом* смысле.

Святые отцы, правда, по-гречески писали... Так что же? Пишите вы тоже по-гречески.

Хуже не будет.

Только знаете что? На каком бы языке вы ни писали – не пишите вы больше про эту злосчастную *невстречу* Пушкина с преподобным Серафимом Саровским. Сколько можно?

Изобретательный и пошлый ум Николая Бердяева находил удовольствие в сцеплении (чисто поверхностном, каламбурном) таких разноплановых понятий, каковы, например, «третий Рим» и «III Интернационал», «величайший русский поэт» и «величайший русский святой». Наверное, Бердяеву это казалось остроумным, а там и («чем черт не шутит? потомки разберутся») глубоким. Наверное, выдумав очередную такую штуку, Бердяев радовался и особенно далеко вываливал наружу свой язык... Вы-то зачем лезете на эту плоскость – православные люди!?

«Почему величайший русский поэт не посетил величайшего русского святого?», «Почему величайший русский поэт не угостил шашлыком величайшего румынского поэта?», «Почему величайший румынский поэт не совершил восхождение на величайшую румынскую гору?» – проблемам такого рода отдал дань Козьма Прутков (в басне «Чиновник и Курица»), но как-то неловко всерьез интересоваться такими проблемами после Козьмы Пруткова.

Неужели не ясно, что если бы встреча Пушкина с преподобным Серафимом была необходима для таинственных целей Божьего домостроительства, то Бог сумел бы выгнать нашего поэта не только из Болдина, но и с Командорских островов, и даже из трюма корабля, плывущего в Фарсис, – и поставил бы его перед Серафимом?

Неужели не ясно, что если бы преподобный Серафим желал встретиться с «величайшим русским поэтом», если бы русская культура и русская история могли получить какой-то новый, какой-то важный и спасительный импульс в результате этой встречи, то вся ответственность за ее срыв ложилась бы на плечи преподобного? Он-то от первого встречного мог узнать о том, что

именно Пушкин – «величайший русский поэт», от второго – получить точный пушкинский адрес... Пушкин же ни при каких условиях не мог знать, кто из множества современных ему подвижников благочестия будет через 70 лет канонизирован, а еще через несколько лет признан Николаем Бердяевым «величайшим русским святым».

Неужели не ясно, что если бы Пушкину была необходима поездка в Саров, если бы спасение его души зависело от встречи с преподобным Серафимом, то Пушкин был бы об этой необходимости *извещен*? Не нашлось бы в России людей, способных заечь Пушкина своими рассказами об «убогом Серафиме», – ну тогда лошадь, возившая Пушкина из Михайловского в Тригорское, повернула бы к нему однажды морду и промолвила: «А знаешь, Пушкин, тебе надо ехать в Саров к одному там старцу». И вот если бы Пушкин трижды оставил без внимания недвусмысленное, внятное приглашение посетить «величайшего русского святого» – в этом и была бы личная трагедия Пушкина, а может быть, и всей... Но зачем говорить о том, чего не было?

Все знают, что Серафим Саровский являлся горячим почитателем императора Николая I и любил «по целым часам» беседовать о нем с Н. А. Мотовиловым. Преподобный пространно объяснял Мотовилову то, насколько угодны Богу усердие и ревность верноподданных к царю: «После Православия они суть первый долг наш русский и главное основание истинного христианского благочестия».

Классической русской поэзией, сколько мы знаем, Серафим Саровский специально не интересовался, но, разумеется, ясно понимал, что русский царь не смог бы управлять своим неимоверно сложным хозяйством без помощи специалистов – без помощи верноподданных, способных разбираться в неимоверно сложных вещах. Вы помните, как старался Николай I приблизить к себе Пушкина (не всегда при этом проявляя достаточный такт). Царь полагал, стало быть, что специальные знания и уникальные способности Пушкина – гениального поэта, первоклассного мыслителя, будущего великого историографа – государству необходимы. Кожинов в своем «Тютчеве» говорит даже о *влиянии* Пушкина на царя, с годами возраставшем. Это-то влияние, беспокоившее врагов России, и стало, по мысли Кожинова, главной причиной пушкинской гибели.

О гибели Пушкина мы будем сейчас говорить, но сначала нужно покончить с темой роковой *невстречи* Пушкина с преподобным Серафимом Саровским. Как вы сами уже, наверное, догадались, разгадка этой страшной тайны лежит на поверхности («ларчик просто открывался»): двум этим по-разному великим, но одинаково занятым людям вовсе не было нужды встречаться.

Что мог сказать Пушкину Серафим Саровский? Про всякий специальный труд, полезный России и одобренный русским царем, преподобный Серафим мог сказать ровно два слова: «Бог благословит».

Что мог сказать Пушкин Серафиму Саровскому? Да именно то, что он сказал вечером 27 января 1837 года другому лицу – своему приходскому

священнику. Сказал и услышал в ответ: «...аз, недостойный иерей, властью Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына и Святого Духа».

Странно все-таки, что отзыв о Пушкине какого-нибудь Бердяева или Владимира Соловьева больше интересует наших православных публицистов, чем отзыв о Пушкине его духовника! Между тем, отец Петр Песоцкий, по справедливому суждению митрополита Анастасия (Грибановского), является единственным свидетелем, входившим «во святая святых души великого поэта в то время, когда он стоял на грани вечности». Запись Грота сохранила для нас показания этого единственного свидетеля: «Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, но я скажу, что для самого себя желаю такого конца, какой он имел».

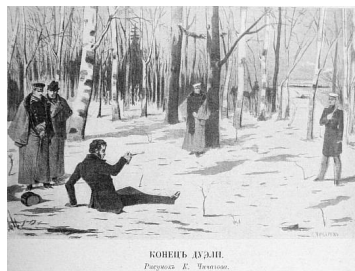
Но и этот *ито*г пушкинской жизни не мешает нашим московским публицистам взирать на Пушкина с некоторой брезгливостью и уж во всяком случае – свысока. Нет, они признают кончину Пушкина христианской (что же делать, раз она таковой и была), но для себя они чают, очевидно, еще более христианской кончины. Дай Бог, как говорится, дай Бог...

Шум, поднятый Владимиром Соловьевым вокруг последнего пушкинского выстрела (в статье «Судьба Пушкина»), был и остается делом его личной совести. Соловьев ведь и являлся, по безукоризненно точному определению Н. П. Ильина, «типичным изобретателем нового шума» в науке. Разумеется, все эти предположения Соловьева об особых свойствах пушкинской раны, которая-де не была безусловно смертельной и сделалась таковой лишь в момент ответного выстрела, вполне бездоказательны и (с медицинской точки зрения) смехотворны.

И очень жаль, что наши православные публицисты, не имея времени познакомиться с громадным фактическим материалом, относящимся к истории последней пушкинской дуэли, вновь и вновь обращаются к легковесной по сути, злобно-завистливой по духу статье Владимира Соловьева.

«Жажда смерти противника» иногда отравляет людей – в этом наши православные публицисты правы, но отравляет метафорически. Никого еще это тяжелое чувство не отравило до конца и не свело за 45 часов в могилу, Пушкин тут не стал исключением, потому что, во-первых, независимо от отношения к Дантесу должен был умереть «по существу полученной им раны», а во-вторых, смертью Дантеса, равно как и его жизнью, особенно не интересовался.

В январе 37-го Пушкин – всеми оставленный, затравленный, измученный человек, который если и мечтает украдкой о чьей-либо смерти, то лишь о своей собственной. Но умирать Пушкину нельзя никак. Еще не устроены



КОНЕЦЬ ДУЭЛИ.  
Рисунок Е. Чепцова.

домашние дела. Еще не выведен на чистую воду подлый анонимщик. Дантес – не анонимщик, анонимщик – не Дантес. Все свои дела с Дантесом Пушкин покончил, женив этого «славного малого» на Екатерине Николаевне Гончаровой. Дантес Пушкину неприятен и неинтересен.

Получив неожиданный вызов от своего новоиспеченного родственника, Пушкин выходит к барьеру, потому что, видите ли, «я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие».

Не имею права... Пушкин-поэт глубоко осознает зло дуэли (см. VI главу «Евгения Онегина»); русский дворянин Пушкин склоняется перед сословными традициями, признает правила дворянского общежития обязательными для себя.

Наши православные публицисты любят (именно в связи с пушкинской дуэлью) потолковать о том, что «жалкие эти правила выдуманы человеком», что «для Божьего Суда эти жалкие выдумки ничего не значат» и т. д. Позднее было бы для начала задуматься над тем, что не Пушкин все-таки эти жалкие правила сочинил и установил – они действовали сотни лет во всем христианском мире, и с их отменой мир лучше не стал. В России, по крайней мере одновременно с окончательным упразднением этих жалких выдумок в 1917 году, людей стали убивать как мух.

Никто не спорит с тем, что дворянская честь – условность. Опыт показывает, однако, что общество, решившее отказаться от жалких человеческих условностей, не переходит полным составом в ангельский чин, а начинает дробиться на стада и стаи. Ангелы, как и животные, не нуждаются в гражданском законодательстве, неписаных правилах общежития и уголовном кодексе, человеку без этих выдумок не обойтись. Человек, если помните, «не ангел и не животное, и несчастье его в том, что чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное». Опыт отдельных христианских подвижников, побеждавших чин естества, не может быть взят за основу при составлении таких специальных документов, как строевой устав, должностная инструкция машиниста электропоезда и т. п. Несвоевременное желание машиниста уподобиться ангелу может ведь стать причиной крушения.

Вполне вероятно, что слово «честь» для Божьего Суда ничего не значит. Для государства, каким оно было у нас до 1917 года, это слово значило немало. Дворянин без чести – такой же балласт в сословном государстве, как купец без капитала, как крестьянин без лошади и без топора. В сословном государстве дворянин без чести даром ест хлеб, даром пользуется привилегиями, установленными для благородного сословия верховной властью. Дворянин без чести носит личину благородного человека, не являясь таковым по сути. Дворянин без чести – самозванец.

Когда Александр III, глубоко почитаемый всеми носителями православного сознания в нашей стране, узаконил дуэль, это не было вынужденной мерой. Обычай дуэли к тому времени почти выдохся. Это именно была попытка возродить прежние «жалкие выдумки» о дворянской чести, попытка укрепить

сословие, составлявшее стеновой хребет государства. Но не будем забегать вперед.

Получив вызов от Дантеса, Пушкин, не колеблясь, его принимает. Дуэль может быть большим злом (что и показано в VI главе «Онегина»), но дуэль – не единственная разнородность зла... Сословные привилегии тоже становятся злом, если конкретный пользователь уклоняется от платы за свои исключительные права. Дворянин, отказывающийся выйти на поле боя или на поле чести, равноценен крестьянину, отказывающемуся выходить на поле картофеля или ржи. Обязанность крестьянина – кормить себя, священника и дворянина, обязанность дворянина – умирать за крестьянина, за священника и за себя. Дворянство – военное сословие. Дворянин мог пить, есть и веселиться в то время, когда крестьянин трудился, зато от дворянина в любую минуту его жизни могла потребоваться готовность бодро и весело умереть за пустяк: за принцип, за тряпку (полковое знамя), за неосторожное слово...

Честь дворянина защищалась и обеспечивалась единственно его готовностью умереть за нее. Степень вреда, причиненного противнику на поединке, была для дворянской чести совершенно безразлична. Обязанности убивать или калечить противника полученный вызов на дворянина не налагал.

В своих комментариях к «Онегину» Лотман подробно разбирает тонкости тогдашнего дуэльного обихода. Из этого разбора видно, во всяком случае, то, что смерть на поединке была в пушкинскую эпоху большой редкостью. Нужна была действительно смертельная вражда соперников (та ее степень, которая в современных условиях доводит людей до уголовщины), чтобы, при невмешательстве секундантов, для какового тоже должна была иметься веская причина, довести дело до серьезного кровопролития.

Дуэль на Черной речке была седьмой, кажется, дуэлью в жизни Пушкина, но до 27 января 1837 года ему ни разу не пришлось выстрелить в противника.

Состояние Пушкина перед последней его дуэлью вполне понятно. Пушкин знает, что по городу ходит человек, умело и хладнокровно распускающий слух о связи Натальи Николаевны с царем. Пушкин уже очень давно не имеет спокойной минуты. Пушкин собирает в кулак последние силы, мобилизует всю свою волю, чтобы разоблачить и раздавить негодяя, – и получает неожиданный вызов от Дантеса, разрушающий все его планы.

Выслеживать тигра-людоеда, пройти по кровавому следу до дневной его лежки, быть уже на расстоянии, позволяющем сделать верный выстрел, – и в эту минуту услышать сзади голос деревенского дурачка, кричащего во все горло про какие-то бирюльки или куличи, на которые охотник уже наступил случайно, выходя из селения в темный предрассветный час... Что-то подобное должен был чувствовать Пушкин, отправляясь 27 января на Черную речку.

По мысли Вл. Соловьева, Пушкин в тот день чувствовал другое. Пушкин стремился к «убийству из-за личной злобы», так что его воля «бесповоротно определилась в этом отношении и уже не была доступна никаким житейским воздействиям, – я разумею: нарушенное слово императору и последний выстрел в противника».

Поистине в статье «Судьба Пушкина» каждое слово драгоценно. Какой восхитительный *залп* фарисейства – беспримесного, химически чистого!

«Нарушенное слово императору...» Пушкин действительно обещал царю 23 января, что не станет ничего предпринимать по своему делу, не посоветовавшись предварительно с ним. Но Пушкин ничего и не предпринимал – Пушкин получил. По мысли Вл. Соловьева, следовало снести полученный вызов Николаю Павловичу Геккернов посадили бы в крепость, и Пушкин в тот же вечер мог бы уже «отличиться в мазурке» – не хуже поручика Пирогова. И никаких кровавых трагедий. Может быть, Владимир Соловьев так бы и поступил на его месте.

«Последний выстрел в противника...» Оцените по достоинству это обвинение. Разверните его в живую картину. Пушкин 26 января отправляет известное письмо Геккерну. Письмо содержит ряд откровенных характеристик как самого Геккерна, так и его приемного сына. Мысль о дуэли даже не приходит Пушкину в голову, поскольку Геккерны еще в ноябре были исследованы с этой стороны и показали себя трусами. Пушкин желает только урегулировать отношения между двумя родственными семьями, сведя их к необходимому минимуму. Пушкин получает неожиданный вызов. Поединок не решает ни одной пушкинской проблемы, ссорит Пушкина с царем, разрушает все его планы – отказаться от поединка Пушкин «не имеет права». Дантес стреляет первым и смертельно ранит Пушкина. Пушкин лежит «головой в снегу». Пуля разворотила ему внутренности и застряла в основании позвоночника. Бегут к Пушкину секунданты.

«После нескольких секунд молчания и неподвижности, он приподнялся, опершись на левую руку...»

В эту-то секунду вылезает из кустов золотушный Владимир Соловьев, который *ничего* не прощал своим врагам, который в журнальном злословии не знал ни стыда, ни меры, который, надеясь очернить в общественном мнении безукоризненно-честных людей – Победоносцева, Данилевского, – шел на клевету и на прямой подлог (история с «переводами» из Рюккерта), – вылезает и начинает самодовольно вешать про «истинное самообладание», которого раненый Пушкин не достиг, про «низшие стремления», которых он, лежа головой в снегу, не преодолел... Лежал бы себе спокойно, молился бы, как положено умирающему русскому писателю, «за еврейский народ», – глядишь, поправился бы и жил бы еще пятьдесят лет. Еще и к Стасюлевичу в сотрудники успел бы попасть. Но нет. «Добровольную», «им самим вызванную» дуэль приспичило Пушкину увенчать «злым и безумным делом»: «смертью противника». Ну и поплатился за это. Как говорится, туда и дорога. Сам виноват.

Господи, помилуй! Человек, на которого нападают среди бела дня, которого среди бела дня режут, – уже и отмахнуться не имеет права!

Просто и хорошо написал о последнем пушкинском выстреле Б. В. Никольский (статья «Суд над Пушкиным»): «Не спорю, последний выстрел Пушкина – минутная слабость, вспышка возмущенного негодования. Этим выстрелом, этой вспышкой внезапного озлобления Пушкин только показал, как он был убежден, что у его противника хватит совести, что его рука не поднимется на убийство. При всем своем презрении к д'Антесу, он не

считал его способным на эту последнюю гнусность, – и еще раз в жизни обманулся. Его негодующий выстрел можно поставить ему в вину лишь тогда, если преступен крик отчаяния, стон предсмертной муки...»

Правовую оценку случившемуся дал суровый и честный Николай Павлович, вышвырнув Геккернов из страны.

И только в одном пункте можем мы согласиться с Владимиром Соловьевым (и с союзной ему дружиной московских православных публицистов сегодняшнего дня): действительно хорошо, что Пушкин не убил Дантеса. Во-первых, слишком много чести было бы для «г... капитана» – погибнуть от руки Пушкина. Общая смерть объединила бы их, в чем-то уравнила... Бр-р-р! Такую вещь и предполагать-то неприятно. Во-вторых, все-таки лишний грех был бы у Пушкина на совести (хотя, конечно, застрелить такого человека, как Дантес, – грех небольшой). В-третьих... Вы помните, наверное, душераздирающую развязку дуэли: Пушкин лежит на снегу, глядит на лежащего перед ним Дантеса и произносит: «Странно: я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет» (по другой записи: «...теперь как будто мне это причиняет страдание»).

Это уже не тот человек, который час назад тащился в санях на заведомо безнадежное дело. Нравственный перелом зримо совершается в Пушкине. Он еще говорит по инерции д'Аршиаку положенные «мужские» слова о том, что поединок не кончен, – эти слова ничего не значат. Голодный лев садится на песок с озадаченным видом: пахучий след оленя исчез, охота сорвалась. Пушкин глядит на поверженного врага и *видит*, что смерть этого смертного не нужна ему. Пушкин опытно познает тщету благородной ярости, тщету справедливой мести... В ту же минуту Дантес начинает шевелиться, Дантес встает. Дурацкая пуговица спасла ему жизнь. Убийца свободен, убийца может отправляться на все четыре стороны – еще скверниться, еще собирать на свою голову горящие угли. Здесь он больше не нужен. Пушкин поднялся на ту высоту, на которой зло уже не имеет доступа к человеку.

Хорошо, что Пушкин не убил Дантеса. Замечательно хорошо и то, что прогремел над Черной речкой его прощальный выстрел. «Веселое имя: Пушкин» – и радостно для русского сердца все, что с этим именем связано. Радостно думать о том, как он, смертельно раненный, все-таки приподнялся напоследок и сшиб ко всем чертям эту гадину, так долго перед ним маячившую, так долго заслонявшую ему свет. «Ничего не исправил, не помог ничему» этот выстрел, но и ничего не испортил, ничему не повредил – влился в «смутную, чудную музыку», которая все звучит над хмурой русской равниной после гибели Пушкина, и до конца растворился в ней.

В этом последнем выстреле был ведь и для Дантеса шанс – и, пожалуй, единственный. Рана и контузия, миг смертельного страха, чудесное избавление от гибели в виде пуговицы, закрывшей пустое сердце, заставившей пулю срикошетить, – должны же были потрясти Дантеса, перевернуть его жизнь, воскресить в нем «внутреннего человека»... Никак. Мрачная и презренная жизнь Дантеса в последующие годы (вплоть до 1895-го) хорошо известна. Успешная карьера во Франции, сенаторство и камергерство,

шестидесятитысячное жалование, а для души – интересничанье ролью «орудия судьбы», ролью убийцы лучшего русского поэта... Пустота.

Еще одно «мертвое тело Серпуховского», зачем-то ходившее по свету, евшее и пившее. В *этой* смерти своего противника Пушкин не виноват. Этого ужаса Пушкин для него не жаждал.

В заключение скажу нашим столичным православным публицистам следующее: вы вправе не любить Петра, не любить Петербург. Вы вправе сомневаться в конечной целесообразности литературного творчества. Вы можете с высоты духовной простирать Пушкину руку, соорудив на конце ее строгий кукиш, – то есть вы можете считать, что Пушкин весь свой век занимался пустяками – дуэлями и стихами – и так и не нашел в жизни прочного дела: не стал монахом или, по крайней мере, не продал свои имения и не употребил полученные средства на устройство бесплатных лечебниц для нищей братии.

Но как-то глупо, самому не устраивая бесплатных лечебниц, писать и писать на языке Пушкина (и на десятую долю не владея им так, как владел Пушкин) о том, что Пушкину лучше было бы не писать, а заниматься устройством лечебниц. Если литература – зло, так не умножайте зла. А если пишете сами, если кормитесь от своего пера, то чем вы лучше Пушкина – в плане лечебниц-то? Или одни только гении не имеют права заниматься литературной деятельностью в православной стране?

Упрекая лучших писателей России за то, что они пытались устроиться на земле без Бога, уподоблялись Тувалкаину и Иувалу, служили идолам эвдемонической культуры, «собирали сокровища на земле» и т. п., вы (в меру своих скромных способностей, разумеется) занимаетесь точно тем же, чем занимались они.

Вы отрицаете петровскую реформу, вы гремитесь против «секуляризации», вы смотрите свысока на весь петербургский период русской истории – но при этом вы до небес прославляете Ивана Сергеевича Шмелева, ездите в московском метро на работу, носите в кармане российский паспорт, пользуетесь современной бытовой техникой. Это неосновательно. Ваша бытовая техника, например, напичкана электроникой, без электроники не сможет работать ваше метро, да и ваш российский паспорт был бы простым куском картона, если бы на границах России не стояла армия, оснащенная той же электроникой. А вы знаете, отчего работают электронные устройства? Как физик по образованию, шепну вам на ухо: все эти благонамеренные разговоры про «дырочную проводимость», про «р-п переход» и т. п. – это разговоры не о реальных, а о вероятных вещах. Никто еще не наблюдал воочию движения дырки в полупроводнике. Просто некоторые материалы реагируют определенным образом на определенные воздействия, и люди научились использовать в своих целях эту определенность, эту данность. Теория в таких случаях подгоняется под результат, да и трудно ли создать теорию, имея работающее устройство на руках?



Но черт его знает, отчего эти электронные устройства работают – в глубине-то вещей.

Мы можем поэтому поставить вопрос ребром – мы можем заявить: «Россия – это Святая Русь, а Святой Руси не нужна чертова электроника». На это нам так возразят: «Без электроники ни одна ракета не взлетит. Обороноспособность России требует, чтоб была у нас хоть какая-то электроника». Тогда мы скажем: «Святой Руси не нужны чертовы ракеты. В минуту опасности русский человек станет на молитву, и Богоматерь остановит вражеские ракеты, летящие к Ее дому».

Мы можем в это верить, мы можем именно так верить, но мы не должны забывать о том, что вера без дел мертва. *Такая* вера потребует от нас и дел не вполне обычных. Чтобы отказаться полностью от чертовой электроники и чертовой материальной культуры, нужно ведь уйти в лес с топором и мешочком соли, устроить себе в лесу келью и, не заботясь о завтрашнем дне, молиться, трезвиться, подвизаться... Сергей Радонежский поступил так в XIV веке – и достиг святости, и народ собрал и ободрил, и Россию спас.

XXI век обещает быть тяжелым для России, но не может же он быть тяжелее страшного XIV-го века с его чумой, с его Ордой, с его Тохтамышем и Тамерланом? Ничто нам не мешает и в XXI веке возрождать и защищать Россию по методу преподобного Сергия: дорога в лес открыта, топор не трудно достать...

Но когда вы видите человека, произносящего с трибуны: «Факультеты радиоэлектроники следует закрыть, существующие зенитные комплексы следует демонтировать, ничего этого не нужно, Богоматерь остановит в воздухе вражеские ракеты, пущенные в Ее дом, и это так и будет, я вам обещаю это», – то вы видите, что на трибуну поднялся в этот раз темный и опасный негодяй, которого следует изолировать. И чем ярче его проповедь, чем она заразительное, тем больше нужда в изоляции.

Отмахнуться от петербургского периода русской истории, с хлестаковской легкостью и щедростью подарить всю русскую классику горстке инородцев с зарубежных кафедр славистики, оставив русскому православному читателю восемь томов Шмелева, – это не только преступно, но и глупо.

Во-первых, Шмелев и строчки не написал бы «по-шмелевски», если бы Кантемир и Ломоносов, Державин и Крылов, Батюшков и Жуковский не помогли Пушкину создать русскую литературу Нового времени, если бы не работали в этой литературе до Шмелева Гоголь и Толстой, Островский и Лесков, Достоевский и Чехов. Сам Иван Сергеевич, кстати сказать, хорошо это понимал и всегда отзывался о наших старших классиках с должным почтением.

Как заметил однажды друг Шмелева И. А. Ильин: «Операция, совершенная Петром, была необходима, иначе Россия перестала бы существовать». Если бы не было у нас Петра, то Шмелев родился бы в русской резервации под Москвой и, сохраняя высокие традиции русской бытовой повести конца XVII столетия, писал бы примерно так: «Царевна же сташа с ним играть. По

игранию же восхоте спати и рече: господине, не мешай, аз хочу спати! Он же повеле ей спати, а сам ста на нее гледети...»

Во-вторых, выдвигая талантливые произведения Шмелева в первый ряд русской классики, вы самим этим произведениям оказываете медвежью услугу. Неумеренность ваших похвал будет настраивать людей не против вас (кому вы интересны?), а против Шмелева.

Успокойтесь, повремените. Не торопитесь перестраивать ряды. Любите вы Шмелева? Очень хорошо, мы тоже его любим. Пытаетесь служить истине? Мы тоже, в меру своих слабых способностей, об истине иногда помышляем. Но не послужите вы истине, говоря элементарную неправду! «Херасков – русский Гомер», «Шмелеву покорились вершины, недоступные творческому методу Л. Толстого». Где там покорились... Лев Толстой писал намного лучше, чем Шмелев, и ничего нельзя поделаться с этим упрямым фактом.

Общеизвестно, что Сталин был одним из самых жестоких правителей в мировой истории: миллионы людей в его правление были так или иначе погублены. Известно также, что Сталин оставил своим наследникам государство, обладавшее мощными современными вооружениями.

Я не собираюсь сегодня давать оценку Сталину или его эпохе. Я говорю пока что о бесспорных фактах: коллективизация и индустриализация обошли Россию в миллионы жизней, но начиная со второй половины XX века страна могла жить, не опасаясь вражеского вторжения.

Добрые Ельцин и Горбачев, разрушившие нашу оборонную промышленность, предавшие наших союзников, разоружившие страну в обмен на две-три улыбки германского канцлера, «друга Коля», вторично убили людей, убитых при Сталине, сделали бессмысленной их великую жертву.

Православные публицисты сегодняшнего дня, отдающие зарубежным славистам всю великую культуру петербургского периода русской истории, почти буквально повторяют галантный жест Ельцина-Горбачева. Нашим публицистам, собирающим свои сокровища на небе, не жаль сокровищ, собранных на русской земле за двести «синодальных» лет. Им не нужен гнилой Петербург, им не нужен полувер Пушкин... Не нужно пахать землю. (Феодосию Печерскому хлеб доставляли), не нужно учиться (Сергий Радонежский обошелся без дорогостоящего высшего образования), не нужно ставить громоотвод на церковь...

Скажу еще раз и со всей серьезностью: такой путь существует – для единиц. И опыт показывает, что исключительные люди, прошедшие этот путь до конца, с величайшей терпимостью относятся ко всей сфере материальной культуры, в которой вынуждены жить обыкновенные люди. (Свидетельства о чудесах преподобного Серафима Вырицкого накапливаются год от года, кое-что издается – среди изданного приходилось встречать рассказ о девочке, поступившей по молитвам преподобного в медицинский институт. Невольно подумалось: какое счастье, что мать девочки не обратилась за советом и помощью к какому-нибудь православному публицисту! Тот бы быстро ей объяснил, что делают православные люди, когда хотят «справить сломанную ногу, с глаз слепого бельмы снять...»)

Мы вспоминали сегодня авторитетное суждение В. И. Несмелова, который назвал стремление некоторых мыслителей дать культурной деятельности человека религиозную санкцию «явной ошибкой». Мудрец Несмелов не остановился, однако, на этом догматически верном положении и так продолжил его: «Но в то же самое время и отрицать эту деятельность во имя религиозной основы жизни, очевидно, было бы не меньшей ошибкой, потому что она существует не по желанию человека отрицать истину религиозного мировоззрения, а исключительно только по желанию его сохранить свою жизнь и избежать невольных страданий жизни».

От культуры нельзя убежать, от культурной деятельности невозможно отказаться – выгнанная вами в дверь, она незаметно войдет в окно, и вы будете все равно осуществлять в своей жизни культурную деятельность, только по-другому ее называя, и при этом будете простодушно гордиться тем, что переросли якобы сферу материальной культуры...

Наука и искусство, машины и песни, уголовное законодательство и неписанные правила общежития – это костыли, с помощью которых несчастное человечество кое-как справляется с тяготами жизни.

В костылях нет греха и нет добродетели, на костылях безногий человек может перемещаться туда-сюда. Безногому вору костыли помогут украсть, благоразумный инвалид на тех же деревяшках доковыляет до святого храма. Легкие и прочные костыли удобнее громоздких загогулин, изготовленных кустарем-самоучкой. Неплохая вещь – инвалидное кресло. Посох и трость, механический протез, небольшой автомобиль с ручным управлением способны облегчить жизнь инвалида. Но можно и не связываться со всеми этими «жалкими человеческими выдумками» – можно перемещаться с помощью рук на заднице или на брюхе. И в таком способе передвижения греха нет.

Нехорошо только лежать на тюфяке и выговаривать ближнему, который, бодро стуча костылями, доставляет тебе обеды и выносит твои горшки: «Что ты там мудришь с костылями? Вольный грех – эта твоя привязанность к земному. Надеяться надо на Господа, а не на костыли. Насчет протезов скажу откровенно: мысль о протезах внушает тебе враг. Оставь это. Помни всегда о том, как ты во сне летаешь, и наяву поступай так же».

Легко отрицать человеческую культуру в ее исторически сложившихся формах. Легко противопоставлять этим формам (несовершенным, как все земное) свои фантазии на тему «новой земли и нового неба», свою безответственную болтовню. Неимоверно трудно вложить в сокровищницу национальной культуры один-единственный новый грош.

Если мы решим сегодня, что художественное совершенство стихов Грибоедова, Пушкина, Баратынского не так важно, как важно отсутствие в их текстах прямого обсуждения «христианских вопросов», если освободим своих детей от докучной обязанности изучать классическое наследие, то наши дети не заговорят завтра на чистейшем наречии учителей словенских Кирилла и Мефодия, а будут говорить: «Цой жив», «штука баксов», «прикольно-неприкольно», «Шри Ауробиндо», «короче», «удачи» и «блин», выражая с помощью этого десятка слов заветнейшие свои думы и чаяния.

Если завтра воплотится в реальность полуторавековая мечта московских публицистов – если «гнилой», «построенный на костях русских гениев» город Петербург исчезнет наконец с лица земли, скроется под водой, то послезавтра уцелевшие его жители разбредутся ведь не по сказочным Китежам, а по реальным Бокситогорскам и Сясьстройам, где главную городскую площадь украшают бетонный дом культуры, превращенный в казино, и шесть пятиэтажек, утыканных спутниковыми антеннами.

«Культура, – пишет Флоренский, – это та веревка, которую можно бросить угопающему и которой можно удушить соседа».

Вы можете, имея дурного соседа и зная свою несдержанность, вспыльчивость, держать в хозяйстве веревки специально непрочные, гнилые. Пожалуйста. Никто вас не осудит за это.

Но только не хвастайтесь своей выдумкой в периодической печати, не утверждайте, что ваша гнилая веревка – это уже не веревка, а росток новой, православной культуры, пробившейся сквозь асфальт «секуляризации». Ваша веревка – все равно веревка, только она дрянная.

Завтра ваш сын упадет в колодец, вы ему бросите гнилую веревку, потом смотрите обрывок и скажете, утерев светлую слезу: «Бог дал, Бог и взял». Соседа же своего при случае вы и голыми руками убьете.

Проблема не в «секуляризации», наводнившей рынок дурными и опасными нейлоновыми веревками, а в том, что вы соседа не любите.



Передо мной лежат сейчас две книги: изданный в прошлом году сборник докладов и документов Юбилейного Архиерейского Собора (на котором около тысячи ста новомучеников и исповедников российских XX века были причислены к лику святых) и дореволюционная хрестоматия, по которой изучали литературу русские дети того времени – будущие мученики и исповедники.

Золотой век русской поэзии представлен в моей хрестоматии с исключительной полнотой. Здесь есть не только Батюшков и Жуковский, Баратынский и Лермонтов, Тютчев, Языков, ранний Фет, но и Гнедич с Мерзляковым, Дельвиг, Денис Давыдов, Вяземский, Веневитинов, Козлов, М. Дмитриев, Кольцов, Цыганов, Хомяков, Шевырев, Бенедиктов, И. Аксаков... Пушкина в хрестоматии особенно много, как и должно быть. Поэмы, драмы, историческая и повествовательная проза – все тут представлено, все отражено. Лирика Пушкина дана во всем ее многообразии: от «Осени» и «Воспоминания» до мелких антологических и сатирических стихотворений. И даже «Утопленник» (названный одним из православных публицистов сегодняшнего дня «странной и страшной фантазией») здесь есть:

*Из-за туч луна катится –  
Что же? голый перед ним:  
С бороды вода струится,  
Взор открыт и недвижим;  
Все в нем страшно онемело,  
Опустились руки вниз  
И в распухнувшее тело  
Раки черные впились.*

Перевозу взгляд с «Утопленника», напечатанного по милой старой орфографии, на бесконечно длинный список новомучеников и отрешенно думаю: знали «Утопленника» эти люди. Не помешал этим людям «Утопленник» войти в Царствие Небесное.

Сегодняшнее чтение закончено, а мы с вами продолжаем топтаться на том месте, на котором находились уже в конце прошлого чтения. Ничего. Дело пойдет у нас теперь бодрее и веселее: на очереди – персональные характеристики Дениса Давыдова и Катенина, Баратынского и Вяземского, много интересного и легкого фактического материала, много превосходных стихов.

Необходимо было нам помедлить у входа в царство русской поэзии – собраться с мыслями, набраться духа. Почиститься, подготовиться.

Золотой век один в жизни национальной литературы, один-единственный человек создает ее канон, ее неустаревающий «лицевой подлинник». Один человек накладывает отпечаток своей могучей личности на форму языка, на форму мысли народа-нации. Один Гомер в мире, один Лопе де Вега, один Шекспир, один Пушкин.

Сегодняшний общероссийский кризис испытывает нас на прочность, подталкивает нас к выбору легких путей: в эмиграцию, в могилу, в культурную шизофрению (шесть дней в неделю торгуем «сникерсами», седьмой – возрождаем национальные традиции), в православную резервацию, где русский человек сможет неплохо зарабатывать, демонстрируя американским туристам езду на тройках, медвежьей травлю и туземные религиозные обряды.

«Следовать за Пушкиным <...> труднее и отважней, нежели идти новою собственною дорогой». Россия будет искать свое спасение на **трудном** пути – на пути Пушкина, на пути Ломоносова и Петра. Бог не выдаст, Россия спасется. Когда и как – этого пока еще нельзя разглядеть.

В декабре 1825 года Россия спаслась довольно просто. Бодрый Николай Павлович с помощью трех пушек разогнал толпу доморощенных Брутов и Ризг и вступил на царство.

В сентябре 26-го года, справившись с неотложными делами и короновавшись, царь приглашает к себе Пушкина. Восьмого числа царь и поэт встречаются в Кремле. Время останавливается. Для русской поэзии наступает Золотой век.

## Чтение шестое



**Р**овно двести пятьдесят лет назад косноязычный Третьяковский обмолвился строфой, достоинства которой исключительны – во всей русской поэзии немного отыщется строф, способных выдержать сравнение с этой:

*Вонми, о Небо! и реку –  
Земля да слышит уст глаголы:  
Как дождь, я словом потеку;  
И снидут, как роса к цветку,  
Мои вещания на доли.*

Откуда вдруг берутся в творчестве Третьяковского эта гармония, эта исполинская мощь? Куда опять исчезают? Ведь похоже, что русская поэзия живет где-то своим домом, от века существует независимо от людей, а в 1752 году, когда сроки ее земного воплощения приблизились, она просто впервые дает о себе знать. Пусть Третьяковский – несовершенный пока приемник, несовершенный инструмент, но он устроен в принципе правильно, он на нужную волну настроен, – и вот уже первая порция лучистой энергии отправляется по назначению, «отгружается» для России. А потом русская поэзия опять надолго отворачивает свое прекрасное лицо от русских. Трудитесь, совершенствуйте свои инструменты – вы уже знаете, как это бывает, вы уже не сможете жить без этого.

Человеческими усилиями великую поэзию не создашь, сроков ее воплощения не приблизишь. Но поэзия не придет туда, где ее не ждут и не любят, где к ее приходу не приготовлено все, что только можно приготовить и сделать человеческим усилием.

В сентябре 1824 года, как раз накануне выхода русской поэзии на мировые просторы, выходит из печати фельетон Фаддея Булгарина «Литературные призраки». Вкратце его содержание таково. На вечере у Булгарина встречаются «истинный литератор г. Талантин» (то есть Грибоедов) и два литературных призрака, два «молодых поэта Новой школы», Лентяев и Неучинский (Дельвиг и Баратынский). Завязывается спор о поэзии, сохраняющий и для нашего времени значительный интерес.

Начало спору кладет невинная реплика Лентяева: «Разве надобно учиться, чтоб быть поэтом?» Благоразумный Талантин отвечает на этот вопрос утвердительно. Начинающему поэту необходима серьезная школьная подготовка – не ниже той, которую получают в начале своей профессиональной карьеры живописец или музыкант. Поэтический талант, считает Талантин, «есть способность души принимать впечатления и живо изображать оные: предмет – природа, а посредник между талантом и



*Фаддей Венедиктович  
Булгарин (1789 – 1859)*

природой – наука». Без науки, стало быть, и вовсе не может образоваться сколько-нибудь порядочный стихотворец. Страницу сплошного текста в семистраничном фельетоне Булгарина занимает перечень необходимых поэту начальных сведений: «Чтобы совершенно постигнуть дух русского языка, надобно читать священные и духовные книги, древние летописи, собирать народные песни и поговорки, знать несколько соплеменных славянских наречий...» и т. д. и т. п.

Веселые ребята, Лентяев и Неучинский категорически с Талантиним не согласны.

«Я вам докажу собою, что науки вовсе не нужны, – говорит Лентяев. – Еще в школе друзья мои (из которых теперь многие уже прославились) уверили меня, что я рожден поэтом. Я перестал учиться, начал писать стихи. <...> Я все знаю по инстинкту и понаслышке, и отчасти по переводам на французский язык».

«На что науки? – вторит Лентяеву Неучинский. – Я в четырнадцать лет бросил учение. <...> Я поэт природы, вдохновения».

Все это не просто любопытно, но и по-настоящему важно для нас. Материалы к биографии Грибоедова скудны, и научная ценность «Призраков», содержащих подробное изложение литературно-теоретических взглядов Грибоедова, будет с годами только возрастать. Понятно, что современникам именно это достоинство «Призраков» не бросалось в глаза, но и вообще современники отнеслись к «Призракам» странно. Булгаринский фельетон, нимало не смутив Дельвига и Баратынского, задел одного Грибоедова – и задел настолько, что он сгоряча написал Булгарину: «Мы друг друга более не знаем». К счастью, окончательного разрыва не произошло. Я говорю «к счастью», потому что у нашего Грибоедова не было в мире друга более верного, чем Булгарин.

Именно Булгарин с редким мужеством поддерживал Грибоедова во все дни его многомесячного (февраль-июнь 1826 г.) ареста, Булгарин сохранил его бумаги (и лучшая, исправнейшая рукопись «Горя...» называется у литературоведов Булгаринским списком); Булгарин мог, не кривя душой, написать в воспоминаниях о погибшем друге: «Я никогда не любил никого в мире больше Грибоедова». Но Булгарин – литературный делец, провозвестник буржуазных реформ в «отсталой», «феодальной» России 1824 года, а любовь дельца необходимо бывает приправлена делячеством.

Благоговение перед гениальным другом естественно претворяется тут в заботу о коммерческом успехе для его гениального труда. В «Призраках» Булгарин приступает к расчистке книжного рынка, временно захваченного Пушкиным и его молодыми друзьями, делает Грибоедову рекламу, начинает расхваливать гений Грибоедова на тот именно лад, на который лошадиный барышник на ярмарке расхваливает стати дрянной клячи, выведенной на продажу. Грибоедовская гневная вспышка и вызвана базарным тоном, рыноч-





ным духом фельетона, а не присутствием на его страницах какой-то неправды. Фактической неправды в «Призраках» нет.

Разумеется, невозможно сравнивать уровень школьной подготовки Грибоедова с начальной подготовкой Баратынского, просидевшего три года в третьем классе Пажеского корпуса и на этом свое обучение завершившего; с начальной подготовкой Дельвига, окончившего Лицей (откуда ведь не отчисляли за неуспеваемость) в числе трех-четырех последних учеников, говорившего по-французски «плохо», а по-немецки не говорившего «совсем»; да и с научной подготовкой самого Пушкина, признававшегося в зрелые годы А. О. Смирновой: «Скажу <...> вам по секрету, что я читать терпеть не могу, многого не читал, о чем говорю. Чужой ум меня стесняет».

Но из этого вопиющего неравенства начальных условий – какой парадоксальный получается результат! Пушкин и Баратынский шутя, «по инстинкту и понаслышке», создают шедевр за шедевром, Грибоедов над своей единственной пьесой мучается восемь лет, потом еще пять лет мучается вхолостую...

Мы уже сталкивались с чем-то похожим, когда говорили про Батюшкова: беспримерно высокий уровень начальной подготовки, чистота служения, пламенная любовь к искусству – и малая продуктивность таланта, мучительно долгое вхождение в литературу, страшная личная судьба. И вот новые примеры: Грибоедов, знавший семь иностранных языков, Катенин, знавший шесть иностранных языков, – оба умные, смелые, ярко-талантливые, – «вкушают мало меда» в литературной жизни, имеют разную в деталях, но одинаково горькую, уже в зародыше поврежденную и искривленную литературную судьбу. Над ними сбываются слова Пушкина, совсем по другому поводу произнесенные:

*И прекрасны вы некстати,  
И умны вы невпопад.*

Чуть раньше они созревают, чуть раньше выходят на большую литературную улицу, чем следовало бы, и в результате элементарно не попадают в ритм начавшегося вдруг в России мощного поэтического движения, идут «не в ногу с Пушкиным». Новое поколение поэтов, выступившее в путь вовремя, легко оставляет их за флагом.

И. Аксаков раньше других и точнее других определил «совершенно особый характер поэзии» лидеров этой новой волны – Пушкина, Баратынского и Тютчева: «Их стихотворная форма дышит такой свежестью, которой уже нет и быть не может в стихотворениях позднейшей поры; на ней еще лежит недавний след победы, одержанной над материалом слова; слышится торжество и радость художественного обладания». Катенин и Грибоедов внесли, может быть, решающий вклад в эту историческую «победу над материалом слова», бились на стенах осажденной крепости, первыми в нее ворвались – и здесь же рухнули, ослабев от ран и от усталости. «Торжество», «радость» и, главное, свежесть достались в удел второй линии атакующих, вступившей беспрепятственно в широкие проломы.

Можно долго спорить о том, кто является сегодня четвертым поэтом России – Фет или Лермонтов. Имеются два-три равноценных кандидата на следующее, шестое, место в титульном списке русских поэтов. Верховные три места в этом списке будут всегда принадлежать Пушкину, Баратынскому и Тютчеву. Соперников у этих трех поэтов «нет и быть не может».

Как все живое на нашей земле, русская литературная речь постоянно обновляется. Как все живое, русская речь постепенно старится, приближаясь к неизбежному концу. Тревоги и радости первой любви не могут уже к ней возвратиться, первые восторги взаимного «художественного обладания» для нее и для ее избранников уже не повторятся. Этот час в культурно-исторической жизни нации прошел.



Иван Сергеевич Аксаков  
(1823 - 1886)

«С какой-то светлой вышины» сумел взглянуть на это судьбоносное время Иван Сергеевич Аксаков (в конце 3-го чтения я уже приводил его отчет об увиденном, но от повторения он не станет хуже): «И вот, в урочный час, словно таинственной рукой раскидываются по воздуху семена нужного таланта, и падут они, как придется, то на Молчановке в Москве на голову сына гвардии капитан-поручика Пушкина, который уже так и родится с неестественной, по-видимому, склонностью к рифмам, хорям и ямам, то в тамбовском селе Маре на голову какого-нибудь Баратынского, то в брянском захолустье на Тютчева, которого отец и мать никогда и не пробовали усладить своего слуха звуками

русской поэзии».

Готовому поэту не повредят, наверное, ни солидная школьная подготовка, ни чтение древних летописей, ни даже знание соплеменных наречий, но без вполне неисповедимой «таинственной руки», как-то там набрасывающей на нужные головы семена нужного таланта, ни о каких готовых поэтах вообще не было бы речи. Великая поэзия – не вполне человеческое дело. Когда сходит на землю ее огонь – все горит, языки пламени вспыхивают над самыми беспутными головами. Когда летят по воздуху ее семена – все легко.

И вот эта легкость, с которой становятся поэтами люди, родившиеся «в урочный час», передана в шести стихах Языкова (далеко не лучших, кстати сказать, стихах этого поэта) с отчетливостью физиологического очерка:

*Так гений радостно трепещет,  
Свое величье познает,  
Когда пред ним гремит и блещет  
Иного гения полет;  
Его воскреснувшая сила  
Мгновенно зреет для чудес...*

Здесь все лежит на поверхности, все можно потрогать руками. Вот представьте, что у вас на глазах начинают происходить странные события: с громом и блеском взлетает человек на Молчановке в Москве, взлетает человек в тамбовском захолустье... И вот вы не оторопь испытываете (хотя мыслимое ли дело – летящие по небу люди), не терзаете себя унынием и черной завистью («чому ж я не сокол?»), не глазете с тупым азартом зеваки на редкое зрелище, о котором полгода можно будет рассказывать знакомым, – нет. Вы едва успеваете подумать в себе: «А я так могу?» – и ощущаете в ответ мгновенный прилив «воскреснувшей силы»: могу, конечно могу. И не просто могу, а уже сам взлетаю над чухонским Дерптом, гремя и блеща, и трепещу от радости.

Вот этот взлет лебединой стаи на заре, эта переключка огромных птиц, этот рассветный холод, этот восторг в сердце, эта свобода – все это и есть Золотой век русской поэзии.

Когда огонь с неба не сходит – все трудно. И уже через пять-десять лет Россия становится местом, где поэзия сохраняется по инерции, кое-где и кое-как, где готовые поэты выживают с трудом. Какая-то самодвижущаяся ледяная бритва (ошибочно отождествляемая некоторыми исследователями с «никлаевской реакцией») режет и режет по всей стране проростки таинственных семян, расторгает задушевнейшие связи, отнимает у наших певцов сочувствие, понимание, сердечную радость. Погибает Грибоедов, от случайной простуды умирает Дельвиг. Пушкин охладевает к Баратынскому, Баратынский расходится с Киреевским. Катенина заживо удаляют из живой литературы: оглушительный провал его «Размышлений и разборов» одномоментен тому истерическому восторгу, с которым молодая Россия встречает первые статьи Белинского и Полевого.

Старые поэты уходят – уходят из жизни, уходят из наличной литературы, новые поэты перестают рождаться. Поколениелюбомудров – одно из самых прозаичных поколений в истории нашей культуры. Ученость, благородство, наилучшие идеалы, ясное самосознание – все было при них, не хватало малости: материала поэзии, самого вещества стиха. Вот уж кто *ничего* не дал русской поэзии! Ознобишин один знал больше языков, чем Грибоедов и Катенин вместе взятые, – четырнадцать иностранных языков знал Ознобишин, но ведь ни одна строчка его русских стихов так и не стала живым фактом литературы. Шевырев на рубеже двадцатых-тридцатых годов всерьез готовится направить ток русской поэзии в новое русло, восстает против «тесных, скудных форм» пушкинского стихотворного языка, против его музыкальной плавности, разрабатывает в противовес Пушкину свой «тяжелый стих», стих «голых и простых мыслей». И знаете, когда думаешь о Шевыреве, то невольно вспоминаются слова другого поэта: «*А была одна минутка. Мог поймать. Не повезло*». Недаром Пушкин в эти годы так внимательно к Шевыреву присматривается, надеясь обрести в нем достойного соперника, новую поэтическую силу... Увы! Слишком печально все закончилось для Шевырева как для поэта. Только безвременная кончина спасла от той же участи Веневитинова.

Среди русских поэтов XIX века, вышедших к своему читателю после смерти Пушкина, пятеро лучших (Лермонтов и Фет, Полонский, Майков, Случевский) придерживались поэтического канона, сложившегося еще при его жизни. Пушкин не мешал этим прекрасным поэтам по-разному реализовывать свой талант; ни одну из этих ярких поэтических индивидуальностей Пушкин не подавлял и не раздражал. В реформе пушкинского стихотворного языка указанные поэты не нуждались и к ней не стремились. Они только удерживали – одни лучше, другие (Полонский) хуже – частицу подлинного поэтического огня, вспыхнувшего в урочный час над Россией и как-то ими захваченного на заре жизни. Новых огней они не зажгли.

Упрощая и сокращая реальную ткань культурно-исторического бытия, можно было бы свести весь трехвековой путь русской поэзии к следующей схеме: поэты XVIII столетия учились находить сухие и высокие места, запасали топливо, следили за тучами, за направлением ветра; поэты XIX столетия свели огонь с неба, ходили в свете, сожгли леса и торфяники на тысячу километров вокруг; поэты XX века (о которых весь разговор впереди) скитались по гарям, воодушевлялись при мысли о том, какое великое пламя бушевало здесь в прошлом веке, выражали свой восторг в живых и звучных стихах.

Поэты XXI века будут, по всей видимости, осваивать богатый материал, накопленный их предшественниками за три столетия, смогут извлечь из узкого промежутка между «скрытой цитатой» и «демонстративным цитонном» целую груду стихотворных текстов – и будет эта груда пылиться в Российской национальной библиотеке, дожидаясь своего халифа Омара.

Предложенная схема удобна и наглядна, но зато она совершенно безрадостна. К счастью, жизнь не подчиняется схемам. Правдоподобнейшие из них способны только гнуть под себя события, уже совершившиеся, и не имеют власти над завтрашними событиями. Возможность поэзии сохраняется для нас, ведь «совершенная действительность не умирает» (П. Бакунин). Великая поэзия спустилась к нам однажды – значит, она с нами и осталась. Великая поэзия возможна для тех, кому она нужна.

Золотой век русской поэзии – короткая минута в историческом бытии России. Поэты пушкинского круга – горстка людей, которых «таинственная рука» отыскала на необозримых пространствах империи и собрала в нужную минуту в нужной точке. «Нельзя, чтобы случайно» Дельвиг оказался в одном учебном заведении с Пушкиным, а потом, едва покинув его стены, вдруг повстречал застрявшего на перепутье жизненных дорог Баратынского. Неслучайно были приняты гениальными мальчишками в свой тесный круг два сорокалетних поэта, два небольших таланта – Давыдов и Козлов.

Во всем непохожие, Денис Давыдов и Козлов стоят рядом в истории русской поэзии – украшают, как два непарных атланта, вход в ее главное здание.

Иван Иванович Козлов – партикулярнейший поэт, поэт-страдалец,

изливавший (и изживавший тем самым) свое страдание в однообразно-мелодичных стихах. И живой, как ртуть, Денис Давыдов – невысокий крепыш, военная косточка, «с огромнейшим стаканом кочующий в степи нахальный партизан».

Сам Денис Давыдов совершенно точно определил основной характер своего литературного творчества в двух стихах:

*Я не поэт, я – партизан, казак.  
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком...*

Ум, энергия, общая даровитость бурлили в этом человеке, ища выхода; иногда таким выходом становились стихи. Лучшие из них написаны экспромтом, пульс кавалерийской атаки явственно ощущается в них: бешеная скачка по прямой, качай-валяй, кивер зверски набекрень – но все это под пулями, под пулями.

Козлов до поры до времени о стихах вовсе не помышлял. То был преуспевающий чиновник и отличный танцор, «украшение обществ Петербурга и Москвы». Болезнь перечеркнула жирным крестом эту по-своему блестящую жизнь, и танцора не стало – родился поэт. Паралич ног и слепота сделали поэтом сорокадвухлетнего Козлова, паралич и слепота Козлова привлекли к его поэзии сочувственное внимание всех добрых людей читающей России.

Поэзия Козлова долгое время находилась на гребне литературной моды; Денис Давыдов не был никогда модным стихотворцем – он жил и умер в славе.

Вспомним хрестоматийные строки Баратынского:

*Покуда русский я душою,  
Забуду ль о счастливом дне,  
Когда приятельской рукою  
Пожал Давыдов руку мне, –*

какое хорошее, светлое чувство выразилось в них! Утонченнейший гений русской поэзии сохранял, оказывается, душу школьника, – он с обожанием глядит на грозный лик героя, радуется и удивляется своему знакомству с ним, гордится, как школьник, его рукопожатием... А каков Денис Давыдов? Ну что, казалось бы: отставной генерал-майор, простой партизан, половину жизни просидевший на лошади. Что ему Гамлет-Баратынский? Молодой человек, не нюхавший пороху, не смотревший смерти в глаза, написавший несколько стихотворений в каком-то «музыкальном и мечтательно просторном роде», а об водке – ни полслова не написавший! Давыдов же не просто дружески сходится с прапорщиком-поэтом в 1826 году – он целых два года, предшествовавших личному знакомству, хлопочет об избавлении Баратынского от той именно доли, вне которой собственной жизни не мыслит, – от бранной доли, от царской службы.

Удивительно, вполне удивительно. Превосходные люди, добрые нравы. Хорошее время для поэзии и для страны.

Баратынский ведь и с Козловым находился в наилучших отношениях, вот только дни, проведенные у одра полуживого поэта, Баратынский не стал бы называть «счастливыми». То были по-своему замечательные, но и напряженные дни – дни, посвященные исполнению трудного христианского долга.

Николай Полевой утверждал, правда, что к Козлову ходили «не разделять бремя скорби и болезни, но слушать поэта». Полевой ведь был романтик (в том узкоспециальном смысле, который имело у нас это слово в 20-е годы XIX века), то есть он легко воодушевлялся, постоянно вступал в словопрения по поводу малозначащих вопросов и мыслил крайне неотчетливо. «Говоря с Козловым, я забывал о его слепоте», – настаивает Полевой. В это можно поверить, но спрашивается, о чем *забывал* Полевой, разговаривая, например, с Вяземским?

Было, было в обществе нездоровое оживление вокруг личности Козлова: сгустался розовый туман, искажались пропорции, сочувствие к поэту-страдалицу, интерес к его гармоничной поэзии педалировались, достигая у отдельных лиц, в особенности – у некоторых высокопоставленных дам, истерического накала. Этим и объясняется, по всей вероятности, беспримерно резкий выпад против Козлова, допущенный Воейковым в «Доме сумасшедших»:

*Как он жалок, как несчастен:  
Слеп, без ног и без ума!..* и т. п.

Насмешка над физическими недостатками ближнего отвратительна и недопустима; отвратительный вкус имеют также некоторые вещества, полезные для нашего здоровья. Литературная сатира – лекарство. И ее жало заострено в данном случае не против Козлова (чью слепоту, обездвиженность и, положим, глупость уж наверное не рассчитывал исправить сатирик), а против неразумной ревности отдельных почитателей и почитательниц его таланта. Злой Воейков в данном случае злится не совсем напрасно. Есть поэзия и есть страдание, есть поэзия в страдании и есть тайная струя страдания в мажорнейших песнопениях большого поэта, но вот инвалидной поэзии быть не должно. Нельзя оценку поэтического произведения обуславливать лучшим или худшим физическим состоянием его автора, недопустимо жертвовать поэзией в пользу гуманности и филантропии. Вся эта дешевая благотворительность под вывеской культуры, когда «небом избранный певец» хладнокровно задвигается в пыльный угол, а на первые роли назначаются парализованные певцы (говоря с которыми, забываешь об их параличе), пятилетние скрипачи (которые маленькими своими ручонками играют такую *красивую* музыку), слепые живописцы (которые пишут *такие* картины на ощупь), безнравственна и глубоко антикультурна.

Репутации Козлова эти общие соображения повредить не могут. Козлов – поэт истинный. Спирт чистой поэзии присутствует в его стихах. Но как поэт Козлов полностью «восприял благая» уже при жизни: любовь читателей, широкое общественное признание стали достойной наградой за все

понесенные им труды. Такое положение вещей обыкновенно сказывается потом – при подведении итогов, при окончательном расчете. Пожизненная слава необходимо наносит урон посмертной славе поэта, энтузиазм современников действует на потомков охлаждающе. Поэт, ни разу не обманувший ожиданий современного себе среднестатистического читателя, вступает в конфликт с читателем идеальным.

Триумфально войдя в литературу с первой попытки, взяв с первой попытки значительную высоту, Козлов далее уже не развивался. Поэзия Козлова не достигла того совершенства, которое автоматически проредило бы шеренгу поклонников и обожателей, автоматически отсеяло бы читателя среднего – лишнего читателя. Козлов – поэт все-таки небольшой.

Вся его жизнь в искусстве прошла в сфере притяжения более крупных небесных тел, самостоятельным светилом на небосклоне русской поэзии Козлов стать не сумел. Спирт чистой поэзии разбавлен у него значительным количеством подслащенной воды; Козлов – это какой-то семипроцентный Жуковский или десятипроцентный Батюшков. Стихи Козлова – слабый напиток, дамский.

Конечно, приговор мой легко оспорить. Можно так возразить: «Козлов написал “Вечерний звон”, Козлов дал сцену пострижения в “Княгине Наталье Борисовне Долгорукой”, Козлов создал такой шедевр русской лирической поэзии как *“Не бил барабан перед смутным полком...”* – для одного человека вроде бы и достаточно. Много ли у нас было зрячих стихотворцев, сумевших сделать в искусстве столько, сколько совершил в борьбе с недугом этот мужественный слепец? Следовало бы помянуть Ивана Ивановича Козлова тихим и добрым словом, а не лезть к его стихам со спиртометром и не примешивать терминологию ликероводочного производства к вопросам искусства».

Все верно, согласен. Можно ведь и больше сказать: в истории русской поэзии скромная лирика Козлова послужила, по всей видимости, необходимым промежуточным звеном между великолепной поэзией Жуковского и вовсе уже гениальной, надмирной поэзией Лермонтова и Тютчева.

Жуковский ведь не был кровавым романтиком. Отчетливость его лирики, ее изумительная графичность, неумолимая точность в отборе и прорисовке деталей – все выдает в Жуковском поэта-просветителя, русского Поупа, полюбившего по капризу судьбы сумрачную музу немецких романтиков и всю жизнь писавшего на романтические темы. Другое дело Козлов. Как поэт он почти на двадцать лет младше Жуковского, он уже ничем не обязан классицизму и просветительству, никак с ними не связан. «Особенный национальный романтизм», замеченный Баратынским в «Чернеце», это и есть романтизм, просто романтизм, одна из первых его манифестаций в русской поэзии. Чуть меньше дидактики и статичных, скучных описаний, чуть меньше отчетливости и ответственности, чуть больше душевной развинченности и злости, чуть больше нервности и подлинного воодушевления, чуть больше строф, в которых безжизненная точность вытесняется неопределенным, но увлекательным динамизмом:

*К чему-то вдруг простер он руки,  
Как иступленный закричал:  
«Ты здесь опять!.. конец разлуки!  
Зовешь!.. моя!.. всегда!.. везде!..  
О, как светла!.. к нему!.. к тебе!..»*

Значительный читательский успех «Чернеца» (большой даже, по свидетельству Белинского, чем успех ранних поэм Пушкина, «Чернецу» современных) необходимо должен был облегчить Лермонтову и Тютчеву путь к себе – к гениальной неточности и динамичности их лирики.

И все же следует простить Воейкову его злую выходку против слепого певца, коль и вправду этот слепец был «высокомерен и в стихи свои влюблен». Литературная мода – это такая гадость, что частичка ее не могла не прилипнуть к стихам Козлова, бывшим в моде долгое время.

Есть в поэзии Козлова тончайшая примесь чего-то истинно невыносимого, тошнотворного! Эта красота страдания, любующегося на себя в зеркало, эти ритуальные приседания перед «Бейроном», неизбежные, как завтрак, обед и ужин! (Кончину Байрона наш поэт, имевший в 1824 году двух детей-подростков и бедственные 836 рублей годовой пенсии, оплакивал «как смерть дорогого сына» – ни больше ни меньше). Вот и шедевр лирики Козлова, великолепный траурно-триумфальный марш «Не бил барабан перед смутным полком...», как-то глухо отозвался в русской поэзии, породив только революционную песню «*Вы жертвою пали...*» да скверное стихотворение Цветаевой (с «*зубами царевыми над мертвым певцом*» Пушкиным) и ничего не породив доброго.

Была в творчестве Козлова и нотка противного, убивающего саму возможность поэзии либерализма. К счастью, отсутствие прочной экономической базы не позволило Козлову в этом направлении развернуться. Свободолюбие Козлова, жившего «*принужденными займами у графинь, княгинь*», было перемежающимся, пунктирным.

Так, в 1822 году Козлов воспеваает обязательного в тот литературный год «пленного грека в темнице» и восклицает:

*Ах, иль быть свободным,  
Иль совсем не быть! –*

не на шутку восхитив этим восклицанием П. А. Вяземского; в 1826 году называет с перепугу день 14 декабря «днем бессмертной славы» императора Николая; через четыре года задумывается о том, что пришло, кажется, время возратить героев 14 декабря в столицу, и так пишет об этом: «*Да вновь дни светлые проглянут, //По вере пламенной даны; //И полумертвые восстанут, //Любовью царской спасены*»; еще через четыре года впервые додумывается до того, что в сердце Николая Павловича, без всякой связи с событиями 14 декабря, живут сами собой «*те добродетели святые, которых образец Сам Бог*».

*И я, колени преклоняя, –*

пишет по этому случаю безногий поэт, –



*Я чувства родины делю,  
За венценосца Николая  
Всех благ подателя молю;  
И за царицу, нашу радость,  
Любовь его бесценных дней...*



*Иван Иванович Козлов  
(1803 - 1847)*

Ладно. Оставим Козлова одного с его пусть не бессмертной, пусть скромной, но прочной и заслуженной славой и перейдем к Денису Давыдову.

Отдохнем на Денисе Давыдове. Этот превосходный человек не написал за всю свою жизнь ни одной верноподданнической строчки, в девятнадцать лет угрожал русскому царю кровавой расправой (басня «Голова и Ноги»), до конца дней не мог примириться с «глубоким изучением ремешков и правил вытягивания носков» в родной армии, «закованной в кандалы германизма», находился в неизменно неприязненных отношениях и с верхним слоем российской военной бюрократии, и с еще более влиятельным кланом придворных родственников наших бюрократов – «графинь, княгинь», – но вот либералом этот превосходный человек не был. От популяции дворянских революционеров, которыми вдруг зачервивела Россия после победы над Наполеоном, Денис Давыдов был бесконечно далек.

Вынужденный незадолго до событий 14 декабря выйти в отставку, оставшийся в тридцать девять лет не у дел (при его-то общеевропейской славе героя войны Двенадцатого года!), униженный и уязвленный, Денис Давыдов получает от родственника-декабриста записку с приглашением «вступить в Tugendbund» – и отвечает исторической фразой: «Что ты мне толкуешь о немецком бунте? Укажи мне на русский бунт, и я пойду его усмирять».

(Несомненно, вам вспоминается сейчас эпилог романа «Война и мир»: столкновение между Николаем Ростовым и Пьером Безуховым. Но и присутствующий при столкновении Василий Денисов – это тоже Денис Васильевич Давыдов. По всему видно, что Толстой, запасаясь материалами для своей грандиозной постройки, много ценного и особо прочного материала приобрел в единоличном хозяйстве Дениса Давыдова.)

Давыдов полагал, что «один большой тиран» предпочтительнее «массы маленьких, подкрашенных красноречием». Среди причин, способных обусловить столь нелиберальное предпочтение, выделим пока что самую очевидную: одного большого тирана легче при необходимости убить, чем массу маленьких.

Кавалергард и лейб-гусар, потомственный военный, двоюродный брат самого А. П. Ермолова, Денис Давыдов был у нас в XIX столетии запоздалым, но ярким представителем той военно-дворянской фронды, которая в России XVIII столетия реально ограничивала императорскую власть. В этой среде

царь воспринимался как кандидат на первую в государстве должность (с пожизненным испытательным сроком); способности очередного правителя придирчиво сравнивались со способностями Екатерины и Петра. В этой среде устранение «профессионально непригодного» монарха не считалось – увы! – чем-то неприемлемым, чем-то недопустимым.

В России XVIII столетия (как и в Византии за всю ее тысячелетнюю историю) дворцовые перевороты не были редкостью. Оставляя в народной памяти глубокие зарубки (чего стоят хотя бы зловещие лжеподобия Петра III – Пугачев, Кондратий Селиванов и проч., наводнившие страну после его гибели; зато император Павел стал в Петербурге чуть ли не местнотимым святым, к его гробнице в Петропавловском соборе ходили молиться люди, пострадавшие на государственной службе), дворцовые перевороты не повреждали и не расшатывали основ народной жизни. Авторитет царской власти держался крепко, учение Церкви о совершенно исключительном – богоустановленном! – ее происхождении не подвергалось сомнению даже и самими цареубийцами. Заговорщики полагали (по-своему логично), что новый царь, достойный, которого они собираются посадить на трон взамен недостойного старого царя, должен возглавить страну именно в силу особого на то Божьего усмотрения и произволения. Если же в ходе дворцового переворота вдруг выяснялось, что Бог не заинтересован в такой замене, то заговорщики быстро и бесславно умирали. Ошибку в столь важном вопросе приходилось оплачивать по самому высокому тарифу.

Мы с вами не обязаны принимать логику Алексея Орлова или какого-нибудь Иоанна Халдия. Цареубийство – ужасное дело («и пропасть в нем греха», как справедливо замечает Денис Давыдов в басне «Орлица, Турухтан и Тетерев»). Хирургическая операция на живом теле нации – без наркоза и без антисептических средств. Но мы должны признать, что ужасная практика дворцовых переворотов – одна из самых распространенных, одна из самых **обычных** практик в истории человеческого рода. Сотни примеров тому можно найти в библейских Книгах Царств, в сочинениях Светония, Сыма Цяня, Снорри Стурлусона и др. Царская власть – это сила, а как мы знаем из школьного курса физики, сила связывает, действие рождает противодействие. Ружье, приготовленное для защиты дома от воров, нередко убивает растяпухозяина. Популярны военачальники, блестящие гвардейские офицеры, небожители-преторианцы во все времена представляли для трона реальную угрозу, одновременно являясь главной опорой и (что тоже немаловажно) главным украшением трона. С этой практикой мир простоял не одно тысячелетие.

Значит, мы должны внимательней присмотреться к той куцей этике, которой подкреплялись во все времена логика и практика дворцового переворота. Вероятно, именно она и помогала миру устоять.

Тут важно не то, что Алексей Орлов «спасал» Россию, которую Петр III «губил», – это и у заговорщиков-монархистов, и у дворянских революционеров, и у боевиков «Народной воли», и у пучеглазого Миллюкова в октябре 1916-го было примерно одинаково. Важно то, что сам Алексей Орлов не считал цареубийство нравственно привлекательным, по совести хорошим делом.

Алексей Орлов – преступник. Но ужас и грех задуманного предприятия до поры до времени совершенно затмевался в его глазах теми трудностями и опасностями, которые стерегли заговорщиков на каждом углу. Сильный человек втягивается в такие предприятия нечувствительно: делаешь из любопытства шаг-другой, еще полшага делаешь из нежелания прослыть трусом, а там уже летишь стремглав с ледяной горы, стараясь только удержаться на ногах и вовсе не думая о том, какая яма, какая Ропша могут тебя дожидаться в конце пути. Алексеем Орловым в этом деле руководили не общие соображения о пользе переворота для России (хотя такие соображения у него, безусловно, были) и не расчеты личной выгоды (хотя и они, безусловно, в его уме присутствовали) – в этом ужасном и скоротечном деле Алексеем Орловым руководил азарт игрока.

Соответственно, он не ждал для себя в случае неудачи заговора обязательного «сочувствия всех честных людей России», страхующей «любови царской», «милости к падшим» и тому подобного. Страховки у Алексея Орлова не было никакой. Он не устилал соломкой место своего будущего падения. Он шел отнять жизнь у Петра III – или отдать свою. И только такую этику мог понять и принять Денис Давыдов. «Убили Турухтана – избавились тирана», а если не убили Турухтана, то и не избавились от тирана. Сами сложили головы на плахе.

Не самая высокая этика, скажем прямо. Но насколько она лучше, насколько она выше странной этики отечественных учебников истории, в которых выступление декабристов (то есть попытка военного переворота со стрельбой в центре столицы и убийством ее военного губернатора) объясняется до сих пор «нетерпением юных сердец, окруженных возвышенным и светлым ореолом», а ответные действия правительства (например, многолетнее заключение Кюхельбекера в крепостях Динабурга и Свеаборга) аттестуются как «чудовищный призыв деспотической власти».

Что за пуганица! Разумеется, Кюхельбекера жаль. Неприятно вспоминать о том, что этот благородный человек и неплохой поэт без малого десять лет просидел в крепости. Но ведь в крепость Кюхельбекер попал не за стихи и не за благородный образ мысли, а за то, что 14 декабря покушался на жизнь великого князя Михаила Павловича, покушался на жизнь генерала Воинова и принял посильное участие в убийстве полковника Стюрлера. Положим, десять лет тюрьмы за эти преступления – слишком много, слишком жестоко. А сколько было бы в самый раз? Пять лет? Пятнадцать суток? Два года условно?

Сострадайте Кюхельбекеру, размышляйте о несовершенстве тогдашнего российского законодательства, но только не говорите всерьез, что никакого преступления Кюхельбекер не совершал, что покушаться на убийство



Вильгельм Карлович  
Кюхельбекер (1797 - 1846)

иногда можно, что некоторые убийства – не вполне убийства, а отдельные убиваемые – не люди.



Кондратий Федорович  
Рылев (1795 -1826)

Сострадайте повешенному Рылеву («*Рылев умер, как злодей!*»), но вспоминайте иногда и «царицу, нашу радость», которая день 14 декабря провела с детьми. При этом наша царица не могла знать точно, доживут ли ее дети до утра завтрашнего дня. Это тяжелый опыт, от этого опыта у Александры Федоровны навсегда остался нервный тик на лице. Сострадайте на обе стороны, пока сердце не разорвется, но только не говорите, что каким-либо злодеем Рылев не был, что Мария, Ольга, семилетний Александр Романовы на каждом шагу бесчеловечно его обижали и что он просто был вынужден поставить на кон свою великолепную жизнь против жизни царских детей.

Как ни страшна «каторга 120-ти друзей, братьев, товарищей», но попытка военного переворота в мирной стране, покушение на образ правления в ней, покушение на саму душу народа, связанную с традиционным образом правления нераздельно и несlessly, – это все вещи более ужасные, чем каторга. И страшны по-настоящему люди, разрешившие себе кровь по совести, разжигающие во имя гипотетической «святой вольности» реальную междуусобную брань. Стоило бы задуматься над тем, что за сердце было, например, у С. Волконского, если лучезарный Серафим Саровский, встречавший словами «радость моя» любого посетителя, кричал и топал ногами на этого немолодого уже господина, явившегося в Саров незадолго до событий 14 декабря. Мы же из самого С. Волконского и из его несчастной жены делаем до сих пор национальных героев.

Впрочем, повальное сочувствие русского образованного общества к декабристам – это факт, который я ни в коем случае не собираюсь драматизировать. В подобном отношении было и есть много хорошего.

Тут есть, например, нормальное сочувствие к молодым людям из хороших семейств, угодившим в одночасье на каторгу. Русский человек мало имеет в себе фарисейской закваски: чем он чище живет сам, тем меньше смущается нечистотой окружающих. Осужденных преступников на Руси называли всегда «несчастливыми». В народном сознании, в устном народном творчестве занозой сидят сума, тюрьма и больница – территории, на которых житейская гордость не находит себе пищи. Смирение – царица добродетелей, а в тесных обстоятельствах тюрьмы или больницы человек поневоле смиряется. Как заметил однажды Майков: «*Чем глубже скорбь, тем ближе Бог*». От себя замечу, что редкая скорбь может выдержать сравнение со скорбью человека, выслушавшего приговор к двадцати годам каторжных работ. Многие декабристов пережить страдания повернули к Богу лицом; да и Рылев с Кюхельбекером лучшие свои стихи написали после 14 декабря. Сочувственное внимание к такому опыту можно только приветствовать.

Притом же есть в выступлении декабристов чисто фарсовая сторона, и сметливый русский ум очень хорошо эту сторону замечает и чувствует. Планы у наших дворянских революционеров были вполне решительные, вполне грозные и кровавые, но вот исполнение... Бессмысленное топтанье на Сенатской площади, в двух шагах от открытой на все стороны света царской резиденции, дружное бегство при виде трех пушечек, заряжавшихся с дула (и ни одной картечины из этих трех дул не досталось юным сердцам заговорщиков с их светлым ореолом – все пошло в серую солдатскую массу, обманом приведенную на площадь), позорное поведение на следствии... «Буффонадой» назвал события 14 декабря мастер точных словечек Розанов, и было бы невозможно относиться к этой буффонаде сколько-нибудь серьезно, когда б не тяжесть приговоров, обрушившихся на всех ее участников. Какое-то несоответствие между сказочной бестолковостью, сказочной беспомощностью заговорщиков и чужинной неотвратимостью покаравшего их правосудия всеми в России ощущалось и ощущается. Лахмотьев, Удушьев и Репетиллов в качестве трех богатырей, трех спасителей отечества вызывают веселую улыбку – в качестве государственных преступников, осужденных по первому или по второму разряду, они немилосердно отягощают нашу совесть. «Какие же это государственные преступники, – говорим мы с сердцем, – когда это дураки?» Несочувствие русского человека глухому, грубому, «небратскому» закону (о чем так много и так хорошо писал в свое время К. Аксаков) проявляется тут в полной мере.

В общем, наш постоянный интерес к делу декабристов имеет свои положительные, светлые стороны. И будь это действительно *наш* интерес, его можно было бы смело поставить нам в заслугу. Более вероятно, однако, что весь этот интерес – именно посторонний, чужой интерес, который нам навязан, который привит нашему сознанию искусственно.

Подумайте о вещах, которых не знает сегодня рядовой выпускник рядового российского вуза. Он не знает молитвы «Отче наш» (не то чтобы наизусть не знает, а просто – никогда не слышал, не видел в глаза), он ничего не знает о святителе Филарете, переложившем эту молитву на русский язык, он незнаком со славянской азбукой – не сидел на азах, не доходил до ижицы, ничего не делал на ять, – он не помнит в подробностях, кто там погиб у нас на реке Сити, а кто погиб в Алапаевске (какие-то князья?), он и под угрозой смерти не сумеет правильно расставить ударения в словах «Радонежский» и «Саровский», но зато он совершенно осведомлен о том, что Павел Иванович Пестель сочинил однажды «Русскую правду», страшно важную, и даже сумел где-то ее зарыть... Подобное национальное сознание не формируется же само собой! Наш герой не делал осмысленного выбора между полковником Пестелем и митрополитом Филаретом. Просто одно имя повторяли при нем десятки раз (в школе и дома по телевизору), второго – вовсе не упоминали. Просто его так учили и так научили.

Среди печально знаменитых «Протоколов собраний Сионских мудрецов» есть один протокол, в котором говорится как раз про «рекламу политических преступлений». Это протокол №19, в нем сообщается, что агенты собрания

долгое время занимались этой рекламой, используя прессу, «умно составленные учебники истории» и приватные беседы. В центр рекламной кампании была помещена личность строго определенного плана – не смелый и удачливый борец против существующего строя, не выдающийся социальный реформатор, но – революционер на эшафоте, революционер-мученик, принимающий страдание «якобы за идею общего блага». В заключение протокола №19 его автор с удовлетворением замечает: «Эта реклама увеличила контингент либералов и поставила тысячи гоев в ряды нашего живого инвентаря».

Вы сами видите, в какой капкан мы тут нечувствительно попадаем. Ведь если мы всерьез считаем толковище ста прапорщиков на Сенатской площади в Петербурге центральным событием тысячелетней русской истории, то тем самым мы объективно подтверждаем правоту «Протоколов». Нас можно показывать на ярмарках и на сельских сходах как живую иллюстрацию к протоколу №19. То есть мы становимся препятствием на пути передовой научной мысли, давно доказавшей себе и другим, что «Протоколы» – гнусная фальшивка.

*«Подобные примеры подавать – неосторожно».* Спокойнее и лучше будет для нас, если мы начнем понемногу отступать от опасной темы 14 декабря, начнем внутренне от нее открепляться. Только непростое это дело! Открепиться от темы 14 декабря без труда, без болезни, без пролития даже собственной крови нам не удастся. В капкан легко попасть, вырваться из капкана целым и невредимым нельзя никак. Такое есть свойство у капкана.

История революционного движения в России коротка и мало-содержательна, но под это движение был заложен в свое время поразительно прочный и долговечный фундамент. Молодые штурманы будущей бури потрудились тогда на славу. Им удалось заменить *маяки*, сверяясь с которыми совершал свое плавание по житейскому морю русский человек. Уже в провокационном вопросе Чацкого: *«Где, укажите нам, отчества отцы, которых мы должны принять за образцы?»* – заключалась, по сути дела, вся программа будущей культурной революции. Одним этим вопросом Илья Муромец и Александр Невский, Сергей Радонежский и Тихон Задонский, Суворов, Ермак, другие любимые народом герои молчаливо исключались из круга лиц, заслуживающих подражания. На духовном горизонте нации замаячил нарождающийся Гриша Добросклонов.

Начиная с 60-х годов XIX века передовая российская пресса буквально гипнотизирует своего читателя, внушая ему на тысячу ладов единственную мысль: прежние общерусские идеалы безнадежно устарели, появились подлинные народные заступники, совершенно необыкновенные, светлые люди, но видеть этих людей пока нельзя – они томятся в царских казематах, они скрываются от гонений в революционном подполье... Причем, организаторы этой рекламной кампании очень тонко учли особенности нашего национального характера. Мы ведь сострадательны и впечатлительны, мы традиционно не дружны с нормативной, законнической этикой, мы

склонны искать (и находить) образ Божий в самом страшном, самом закоренелом преступнике – вот нам и предложен был в качестве народного кумира безбидный революционер, террорист-неудачник. Ключевым словом, позволившим врагам России выиграть свою партию, стало слово *жертвенность*.

Попробуйте-ка даже и сегодня, после четырех кровавых революций, пережитых Россией в XX веке, заговорить о том, что выступление декабристов не кажется вам событием, нравственно безупречным. Все-таки и присяге эти люди изменили, и солдатиков обманом вывели на площадь, и благородного Милорадовича убили, как собаку... Только заикнитесь на эту тему в приличном обществе – и вам немедленно влепят в ответ: «Что вы тут повторяете зады из обвинительного акта по делу декабристов? Это ваша любимая книга? На ночь перечитываете – без этого уснуть не можете? Вы как вообще – скучаете по сильной руке? Жалуете, что у нас сегодня не вешают? Вам просто виселицы нравятся? А вы знаете, что сказал Муравьев-Апостол, сорвавшись с этого любимого вами снаряда?»

И вы потупитесь, вы потускнеете. Вы надолго замолчите. Вы помните, что сказал Муравьев-Апостол, сорвавшись. И виселицы вам не нравятся категорически.

Вот вы и попались. Стойте теперь в бескрайней шеренге и тупо повторяйте за осанистым регентом: «Верую! Верую, во-первых, в то, что поэт Кюхельбекер, стрелявший из-за солдатских спин в парламентаря, – светлая личность, а парламентар Михаил Павлович, чудом уцелевший и после добившийся для Кюхельбекера отмены смертного приговора, – темная личность. Еще верую, что император Николай, предложивший дочери повешенного Рылеева место в лучшем учебном заведении России, – гнусный лицемер, а вдова Рылеева, отказавшаяся за свою малолетнюю дочь от всякой помощи, – это не героиня даже, а я не знаю... фея-небожительница. Богиня. Кто виноват в том, что дочь Рылеева сгинула в безвестности? Я считаю, что в этом виноват император Николай – *Вторый Нерон, Искаримот, Удав бразильский и Немрод*. Еще верую, что Баратынский умер, задохнувшись в атмосфере николаевского царствования, а если бы николаевского царствования не было, то Баратынский не умер бы. Жил бы себе до сих пор, писал сочинения... Ох! Разрешите, я поставлю где-нибудь свою подпись и пойду домой? Я со всем согласен, что вы здесь говорили, но мне правда очень нужно. Я не совсем хорошо себя чувствую. Понимаете, меня тошнит...» – Не-е-ет, голубчик. Попался, так не уйдешь теперь. Стой, где стоишь, и поедай глазами высокое либеральное начальство.

Ужасная западня! Но и из нее можно было вырваться. Вы должны были спокойно и доброжелательно сказать своему оппоненту: император Николай любил виселицы не больше, чем любим их мы с вами. Эту единственную он обязан был поставить на виду у всех как правитель – и именно для того, чтобы вся Россия из конца в конец не покрылась виселицами, как сибирская тайга – кедрами. Вы же понимаете, что бархатной революции в России 1825 года быть не могло. Как справедливо замечает Керсновский: «Вызвав бурю,

заговорщики, конечно, уже не смогли бы совладать с нею. Волна двадцати пяти миллионов взбунтовавшихся крепостных и миллиона вышедших из повиновения солдат смела бы всех и все». Предотвратить гражданскую войну в огромной стране, казнив пять человек, – это неплохая арифметика и неплохая политика.

Сказав так, вы могли бы потом добавить с задумчивым видом: «Личность императора Николая далеко еще не разгадана историками. Мы ясно видим сегодня, что николаевская эпоха – величайшая культурная эпоха в истории России, имеющая мировое значение, но мы никак не можем решить – во благо или во вред этой великой культуре действовал царь, давший эпохе свое имя. По масштабу личности, по объему державных трудов Николай I мало в чем уступает Екатерине и Петру, но его царствование не было счастливо. “Одно из вернейших сердец”, “одно из прекраснейших явлений в истории”, “один из благороднейших людей <...> и в то же время один из величественных государей этого убогого мира” (по отзыву прусского короля, близко знавшего нашего царя на протяжении многих лет), Николай I оказался у кормила власти в промышленную, далекую от рыцарских идеалов эпоху. С Людовиком Святым или Ричардом Львиное Сердце наш царь без труда нашел бы общий язык, но вступать в отношения с каким-нибудь Наполеоном III, разгадывать замыслы этого темного и скучного проходимца нашему царю было сложно. Неудивительно, что царствование Николая I имело плохой конец. Европа ополчилась против своего “жандарма”; убогий мир сполна оплатил величественному государю за его неотмирность, за его нравственное превосходство. Разразилась война, к которой Россия была не готова – потому что не ждала ее, потому что ничем ее не заслужила. На исходе десятого месяца войны наш царь заболевает – и отказывается выполнять предписания врачей. По сути дела, Николай I добровольно расстается с жизнью, чтобы дать России возможность свернуть на тот путь (“великие реформы”), гибельность которого ясно видит. Но и его собственный путь – путь верности (“мы этого не должны, потому что мы христиане”) и чести – выглядит в феврале 1855 года исчерпанным... Конечно, – могли бы вы сказать в заключение, – это глубоко трагическая личность».

Вы не могли бы всего этого сказать? Ах, вы вообще не поклонник Николая Первого – «Николая Палкина»? Вы считаете, что у Льва Толстого все про него сказано? Не все, но главное?.. Воля ваша. Оставайтесь в строю. Пятки вместе, носки врозь. Держим равнение на вдову академика Сахарова. Новодворская, запевай! «Еще верую в российский менталитет, рабскую реторту и тысячелетнюю парадигму. Еще верую в депрессивный, болотный дух русской классики. Еще верую...»

При всем моем уважении к светлой памяти императора Николая I, я не собираюсь демонизировать его политических противников, его «друзей по 14 декабря». То были люди как люди – не ангелы, конечно, но и не демоны, не изверги какие-нибудь человеческого рода. Были среди них честные авантюристы, желавшие в духе XVIII столетия посадить на трон кроющую и симпатичную Елизавету Алексеевну, были умные честолюбцы, метившие в



Наполеоны (Фет в одном из писем к Толстому называет декабристов «олигархами, то есть <...> своекорыстными мечтателями»), были восторженные дураки, начитавшиеся Шиллера и Руссо.

Корень зла, (а выступление декабристов стало началом страшного зла для России) нужно искать не в сердцах заговорщиков, не в их личных качествах, а в том факте, что у заговора было нерусское сердце. Простой народ, с его неиспорченным историческим чутьем, понял этот факт сразу же. Откройте любой сборник народных песен, и вы найдете в нем цикл песен о Разине, цикл песен о Пугачеве, цикл песен даже об Игнатии Некрасове – ни одного доброго слова о декабристах во всем историко-песенном фольклоре России вы не найдете. Вспомните еще обращенные к декабристам слова Тютчева: *«Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена»*, – и картина будет полной.

В солдатской песне «Царя требуют в Сенат» самая суть заговора схвачена и передана с математической точностью:

*Время страшное подходит –  
Пошел турок воёвать  
Да с англичанином скумился:  
«Да нам нельзя Россия взять».*

Вот и все, иного смысла в выступлении декабристов искать нечего. Судьба Наполеона ясно показала Западному миру, что Россию «нельзя взять» в прямом военном столкновении. Около ста лет понадобилось на то, чтобы ослабить Россию изнутри, создать внутри страны действенную пятую колонну. «История освободительного движения в России» – это очень грустная история, история превращения русского человека в российского интеллигента, то есть в простую обезьяну Запада, до смерти оскорбленную тем, что модная на Западе болезнь народоправства не до конца еще и не вся еще принесена в «отсталую», «несчастную» Россию. Умный дрессировщик научил свою обезьяну, во-первых, называть англо-турецкие государственные интересы «общечеловеческими идеалами», а во-вторых, твердить на каждом углу о том, что общечеловеческие идеалы намного важнее узких национальных интересов России. А уж гордиться до головокружения своей редкой способностью «отречься от национального эгоизма» обезьяна научилась сама.

Декабристы в этой грустной истории только застрельщики, только растопка, брошенная в печь «освободительной борьбы». Они не понимали, каким силам расчищают дорогу. Абсолютное большинство декабристов верило в то, что переворот принесет пользу национальной России (скажем, уменьшит засилие немцев в бюрократическом аппарате). Лучшие из декабристов, как я уже говорил, после своего ареста и осуждения обратились к утешениям религии, но и эти лучшие обнаружили со временем, что дело их живет, что «все честные люди России» видят в них героев, мучеников свободы, и – приободрились. «Гордимся цепями», «смеемся над царями» – вся эта музыка довольно скоро послышалась из глубины руд и загремела на всю Россию. *«Сии дела не умирают»*, – произносит в стихотворении

Мандельштама матерый ссыльный декабрист, и вот это чугунное самодовольство, вот эта сытость духовная действительно характерны для значительной части декабристов в конце их жизненного пути. «Герцен разбужен. Почетное место в российской истории завоевано. Жизнь удалась».

Вспомним классическое рассуждение Достоевского о двух типах преступников (из романа «Идиот»). К первому типу Достоевский относит такого преступника, который, убив даже десять человек «безо всякого раскаяния», все-таки знает про себя, «что он преступник, то есть по совести считает, что он нехорошо поступил». Ко второму типу преступников принадлежат «честные преступники», то есть идейные убийцы, которые «не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, что право имели и... даже очень хорошо поступили». Между этими двумя типами преступников Достоевский усматривает огромную, «ужасную» разницу – разумеется, в пользу первого типа.

Понятно, что для жертвы преступления указанной разницы не существует. Разрешил ли себе убийца чью-то кровь «по совести», сознавал ли, поворачивая нож в ране, что все-таки «нехорошо поступает», – для убиваемого эти тонкости безразличны. Идейное убийство не страшнее само по себе безыдейного убийства – страшна мода на идейное преступление. Как за крупным хищником движется по степи стая пожирателей падали, так за идейным убийцей выступает целая армия журналистов, адвокатов, «честных литераторов», делающих на чужом преступлении и на чужой крови свой легальный бизнес, отравляющих духовную атмосферу в стране, навлекающих на страну гнев Божий.

Серафим Саровский радовался совсем не либерально поражению декабристов и их осуждению, но зато Серафим Саровский задолго до событий 14 декабря приказал развязать и отпустить на волю трех громил, лично на него напавших, на всю жизнь его изувечивших и только чудом не убивших. Вот здесь мы видим детально «ужасную разницу» между святым угодником Божиим и «честным литератором». Серафим Саровский в озверелом разбойнике, изрубившем его, как колоду, видит человека, видит брата по общему Отцу – и человек в разбойнике воскресает. Отпущенный в свой лес, он возвращается, чтобы стать монахом. Честный литератор не видит человека ни в пожилом сановнике, разорванном бомбой, ни в молодом революционере, эту бомбу бросившем. Он только «сеет вечное»: пишет о том, что пожилой сановник, как и любой другой деятель его ранга в России, был уже при жизни живым мертвецом, пишет о том, что смертная казнь за политическое убийство – дело жестокое и бессмысленное (поскольку зло не исправляется злом, но только Любовью), пишет о том, что молодой революционер, принеся в жертву свою молодую, прекрасную жизнь, напомнил людям, конечно же, о Христе, пишет о том, что в странах, имеющих нормальное правительство (таких, как Англия), политическое убийство совсем почему-то не практикуется... Честный литератор творит честную литературу.

Вспомним странные стихи Козлова про какую-то «любовь царскую», которой могут быть спасены осужденные заговорщики. Это не наивность

поэта, далекого от политики и свысока взирающего на жизнь, – это нормальная либеральная казуистика. В стихах спрятан для царя крючок, весьма острый и страшно ядовитый. Видите ли, русский царь – это по определению царь православный, защитник веры. Он должен сверять с Евангелием каждый свой шаг. А об отношении к врагам – что там сказано в Евангелии? «Любите враги ваша, благословите клянущая вы, добро творите ненавидящим вас...» А?! Как же так, ваше императорское величество? Как-то прямо неувязка вышла у вас с Рылеевым – не совсем по тексту Евангелия поступили вы с этим своим врагом...

Подлый прием, но до чего же удобный! Слишком многие наши писатели, даже из числа первоклассных, не обнаружили в себе достаточно морального мужества, чтобы от этого удобства отказаться, – и зашагали по широкой дороге, присоединились к толпе «честных литераторов». Лев Толстой с его «не могу молчать – нынче восемь мужиков повешено» (но могу молчать о том, что в стране, по случаю революции, на одного казненного «мужика» приходится трое убитых в правительственном лагере); Владимир Соловьев, разворачивающий перед потрясенными курсистками список обязанностей царя-христианина (главная обязанность – не сердиться на убийц отца, вторая и последняя – позаботиться об отправке их в Америку за счет казны); поэт Некрасов, зовущий из Английского клуба «гибнуть безупречно» сопливую молодежь; Дмитрий Сергеевич Мережковский, пожимающий подобострастно кровавую руку Савинкова, сочиняющий апологии кровавой Фрумкиной; благообразный Тургенев, с неподражаемым лиризмом воспевавший и злобных русских нигилистов, и их боевых подруг («Святая! – принеслось откуда-то...»).

Люди, чьей личной безопасности революционеры не угрожали, именно от убиваемых революционерами требовали постоянно какой-то сверхчеловеческой добродетели, чисто по-фарисейски вразумляли их и наставляли с весьма авторитетной в те годы писательской кафедры: «Мы-то с вами христиане, мы не должны никому мстить, не должны никого казнить. Революционеры же – темные люди, совсем неверующие, вот и бросают пока свои бомбочки. Надо их пожалеть».

Ужасный век, ужасные сердца!.. Отрадно сознавать, что для нас в нашем исследовании этот век еще не наступил, что мы находимся пока в «феодальной», «чудовищно отсталой» николаевской России и занимаемся не злобными революционерами и не их литературными адвокатами, а нормальными феодалами, честными крепостниками: Пушкиным, Дельвигом, Баратынским, Денисом Давыдовым. К творчеству этого последнего мы и должны теперь возвратиться.

С некой благой простотой отзывался о нашем авторе Достоевский, однажды назвавший Дениса Давыдова «поэтом-литератором и честнейшим русским».

Пушкин, отвечая на вопрос, как удалось ему «даже на школьной скамье» избежать подражания Жуковскому или Батюшкову, пояснил: «Я этим обязан

Денису Давыдову. Он дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным». В другом случае Пушкин так отзывался о Давыдове: «Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели про него думают, что он отличный генерал».

Два этих отзыва, по видимости противоречивых, иногда помещают рядом – с тем, чтобы набросить тень на Пушкина, намекнуть на некоторую его непрямоту в отношениях с меньшими литературными братьями. Между тем логического противоречия в пушкинских отзывах нет, более того – они неплохо друг друга дополняют и, вместе с отзывом Достоевского, создают исчерпывающее информативное поле, могут служить настоящим ключом ко всему творчеству Дениса Давыдова.

Слова «поэт-литератор» и означают ведь, что Давыдов не был урожденным поэтом, хотя рифма и метр нередко украшали его честнейшую прозу.

В стихотворениях Дениса Давыдова, как бы ни были они иногда хороши, нет самогó вещества поэзии, которое необходимо присутствует в стихах больших поэтов. Может быть, в его стихотворения вложено не меньше, но в них другое вложено и вложено по-другому. В лучшем случае, это метко сказанное русское слово, выдерживающее сравнение с лучшими образцами устного народного творчества, в худшем (поздняя любовная лирика Давыдова) – имитация условно-«поэтического» языка, работа над прописями, старательное выпиливание лобзиком по пушкинскому трафарету. В любом случае, это не та книжная поэзия, о которой мы говорим на наших чтениях. Читать Дениса Давыдова «отличным писателем», образцовым, могут действительно одни только военные.

Судьба поэта – служить своему призванию, следовать за *«темной грозной музой»*, куда бы она ни позвала. Совсем другая судьба выпала на долю Дениса Давыдова, который тридцать лет «кочевал и сражался», даже и не пытаясь завязать эту великолепную жизнь в тесный узел профессионального писательства.

После польской кампании 1831 года Давыдов навсегда расстается с военной службой, но и в отставке его жизнь полна до краев. Он знаменит и он богат, он окружен подрастающими сыновьями, он счастлив дружбой лучших людей своего времени. Он с неизменным успехом управляет своими поместьями, своим винокуренным заводом и ведет азартную научную полемику, посвященную вопросам военной истории. Он еще не стар (сорок семь лет), и большое место в его жизни занимает сентиментальный роман с юной соседкой – дочерью пензенских помещиков Евгенией Золотаревой. «Остановись, мгновенье...» – да и только. Про такую-то жизнь в России говорят: умирать не надо.



Денис Васильевич Давыдов  
(1784-1839)

Но странное дело! Именно в эти годы Денис Давыдов начинает понимать, в чем же на самом деле состояло его жизненное призвание. Оказывается, он не партизан и не казак. Он поэт.

Теперь-то Денис Давыдов отдает поэзии «первую мысль, первую силу», теперь-то Аполлон ежедневно требует его к священной жертве. Давыдов сближается с профессиональными литературными кругами, сотрудничает в периодической печати. Наконец-то он узнает пресловутые «муки слова» – он, писавший свои летучие стихи на биваке у костра или в чистом поле, в виду неприятельских разведов! Теперь Денис Васильевич осваивает передовой опыт поэтов пушкинской плеяды, шлифует свою стихотворную технику, наверстывает упущенное за годы кочевий и партизанщины... Увы! На поздней, на «серьезной» поэзии Дениса Давыдова лежат унылые тени эпигонства и дилетантизма.

Литературная учеба удается тем поэтам, которым она не очень нужна, которые и без учебы справились бы. Вдохновение – не заразная болезнь, которую можно подцепить, вступая в контакт с прежде заболевшими людьми. Правильная литературная учеба состоит в том, чтобы в собственном сердце отыскать источник поэзии и приступить к его расчистке. Ясно, что Денис Давыдов ничего не приобрел, пустившись вдогонку за Пушкиным. Быстроногого Ахиллеса русской поэзии он не догнал, конечно, а собственный скромный источник забросил.

Счастье еще, что Денис Давыдов смолоду не изнурял себя литературной учебой! На рубеже XVIII и XIX столетий даже урожденный поэтический гений не смог бы ничему доброму научиться – то были самые провальные, самые «тощие» года в истории русской поэзии. Жуковский, Крылов и Батюшков еще не начинались, на вершине литературной славы находились «безделки» Дмитриева и Карамзина. Героическая эпопея и военно-патриотическая ода (наиболее ответственные жанры в русской поэзии XVIII века) практически исчерпали себя. Казалось, что у русской поэзии «большого стиля» нет будущего, что мощный импульс, полученный ею от Ломоносова, иссяк.

И в самом деле:

*Восторг внезапный ум пленил,  
Ведет на верьх горы высокой, –*

это сказано прекрасно, но нельзя же оставаться на вершине высокой горы шестьдесят лет подряд! Минута удивления перед величием и красотой Божьего мира, минута самозабвения, минута поэтического восторга – редкие и прекрасные гости в человеческой жизни. Ломоносовская ода, как линза, собрала эти мгновения в пучок, закрепила и сохранила. Теоретически мы приобрели возможность высочайших эстетических переживаний, разворачивающуюся в вечность, но на практике, согласно естественному порядку вещей, мы приобрели лишь полтора десятка стихотворцев, пишущих «со всеусердием» казенные военно-патриотические оды, штампующих восторг и удивление по общегосударственному стандарту. Петр I – Ахилл и Арес, Румянцев – Ахилл и Помпей, Суворов – Ахилл и, положим, Алкид, – утвердившись на этом основании, несложно подобрать по паре героических

предшественников Кульневу и Багратиону. Согласившись раз и навсегда с тем, что Кутузов «мышцей крепкою» сразил неприятеля, сочинитель не спит ночами, подбирая подходящий эпитет для мышцы Витгенштейна...

Казалось, так и будут вращаться колеса этой громоздкой стихотворной машины, будут лязгать их изношенные зубья, будет валиться в жестяной лоток готовая продукция, когда послышался вдруг неповторимый голос Дениса Давыдова, от природы тонкий, и полилась его четкая, чуть уторопленная поэтическая речь:

*Стукнем чашу с чашей дружно!  
Нынче пить еще досужно;  
Завтра трубы затрубят,  
Завтра громы загремят.  
Выьем же и покляемся,  
Что проклятью предаемся,  
Если мы когда-нибудь  
Шаг уступим, поблднеем,  
Пожалеем нашу грудь  
И в несчастьи оробеем;  
Если мы когда дадим  
Левый бок на фланкировке,  
Или лошадь осадим...*

Как справедливо заметил в свое время Вл. Орлов, «гусарские» песни Дениса Давыдова – это вообще не стихи о войне. Это бытовая поэзия русского воина, это стихи военного человека о себе. Генетически они связаны с «домашней», интимной лирикой Державина, но прямым вводят читателя в ту именно область жизни, которой Державин посвятил самые «громкие», самые официальные свои оды.

Крупнейшие наши поэты до Давыдова писали о войне крупно. Фигура русского ратника в изображении Державина или Ломоносова колоссальна («Немейским львом покрыт», «равен он Алкиду», «твердокаменная грудь»), но эта фигура совсем не имеет лица. Давыдов первым догадался освободить русского Геркулеса от заемной львиной шкуры – и миру явился гусарский поручик А. П. Бурцов, «величайший гуляка и самый отчаянный забуддыга из всех гусарских поручиков», а впрочем, хороший товарищ и храбрый офицер.

И вот это маленькое открытие – оно обессмертило имя Дениса Давыдова в русской поэзии. Он стал отцом всей нашей литературной «гусарщины» – первым открыл эту поэтическую жилу, в одиночку ее разработал и истошил. Запасов руды было там в обрез на одного старателя. Всевозможные «гусарские баллады», до сих пор создаваемые под небом России, – плод коммерческого, а не художественного гения их создателей. Впрочем, «гусарская» тема потому и смогла попасть в промышленную разработку, что русский человек испытывает к этой теме постоянный живой интерес. Удивительная смесь, образующая подлинный гусарский характер (в котором позерство и жертвенность, бессребрничество и волокитство, великодушие и

бесшабашный разгул присутствуют в равных долях), неизменно для нас привлекательна. И стыдиться этого своего пристрастия мы ни в коем случае не должны.

Одна резкая черта отличает давидовского гусара от столь же общедоступных, но примитивных героев массовой литературы («три мушкетера» и т. п.): классический Бурцов ведь не только «собугыльник», «забияка», храбрец, он еще и «ёра». Ёрничество, шутовство – необходимая принадлежность настоящего «гусарского» характера. Какие бы картинные позы гусар ни принимал, в какие бы павлиньи перья ни обряжался, в нем нет демонической сосредоточенности на себе, в нем нет обособленности от мира, в нем нет гордыни. Гусар ценит свою яркую оболочку, но под своей яркой оболочкой гусар – существо простое, дружинное, братское. Гусар – Божий.

В круг лучших поэтов России Давыдов попал случайно (он ведь не искал и не трудился – он угодил в ссылку и там *столкнулся* с красноносым героем своих лучших песен, написанных, кстати сказать, безо всякого искусства), но в успехе «гусарской» поэзии Давыдова ничего случайного нет. Обаяние поэтического образа, созданного им, долговечно и прочно настолько, насколько оно доброкачественно.

Денис Давыдов не специально дал почувствовать Пушкину, что можно быть оригинальным. Неизменный почитатель «златого века Екатерины», Денис Давыдов сердцем своим был прикован к XVIII столетию. По одному этому он не мог увлечься в искусстве варварской «новизной изображения» – новизной во что бы то ни стало. К новому в поэзии он пробился лишь потому, что имел вкус к таким старомодным художественным средствам, как простота и правдивость изображения.

Пушкину и требовался-то в нужном направлении самый слабый толчок, Пушкин был чуток... Конечно, он и без Давыдова справился бы, но все-таки была малая вероятность того, что Пушкин потеряет темп, что Пушкин застрянет надолго около скрежещущей и лязгающей стихотворной машины, налаживая ее работу, устанавливая «чалмоносну Порту» и «мышцу крепкую Кутузова» в гармоничное, единственно верное отношение. Сама сверхчеловеческая трудность задачи могла ведь увлечь юного силача... С этой привязи Давыдов помог ему сорваться. Ну и Катенин, конечно.

К подвижнической и скорбной жизни Павла Александровича Катенина мы скоро обратимся, но перед этим отметим еще один важный штрих в творческой биографии Дениса Давыдова.

Первые «гусарские» песни Давыдова появляются на год раньше первой басенной книги Крылова. Это 1804–1805 годы, «дней александровых прекрасное начало», канун Аустерлица – время, в которое русская душа во всех областях официального искусства окончательно перестает узнавать себя. В российской словесности воцаряются совсем не русские душевные качества: переутонченность, масонская «гуманность», германская меланхолия, subtilность и бесстыдное жеманство французского извода. Это был форменный вызов – вызов русскому духовному началу, вызов нашей народной субстанции – и два крупнейших «представителя духа своего народа» ответили на этот вызов практически одновременно.

Постарайтесь понять меня правильно. Я вовсе не хочу сказать, что тонкость, например, это что-то плохое и что мы должны всегда и во всем противопоставлять отвратительной чужеземной тонкости великолепную русскую грубость. Речь идет о том, что тонкость, как и любое другое душевное качество, должна вырасти и расцвести на своем корне. Тонкий русский человек не похож на тонкого немца или француза. Русская тонкость не сентиментальна и не скептична, русская тонкость насмешлива и стыдлива, русская тонкость уклончива. Русская тонкость настолько подвижна, что нечего и пытаться хоть как-то ее формализовать.

Чужие душевные качества, принятые на себя добровольно (хотя бы в виде «культурного обмена» или «литературной учебы»), ложатся на душу, как тяжелые цепи. Вспомним в очередной раз судьбу Батюшкова: ведь полбеда в том, что он понес колоссальные труды, в сущности говоря – жизнь угробил на то, чтобы усвоить своим стихам бездумную романскую грацию. Беда в том, что эту грацию он потом с грохотом волочил за собой из стиха в стих, как каторжную тачку. Чужой свободой можно восхищаться, но научиться чужой свободе нельзя. Свободу нужно искать – свою.

Два стиха Дениса Давыдова:

*Жомини да Жомини!  
А об водке – ни полслова! –*

несут в себе больший заряд свободы, чем все четыре конституции, принятые у нас в XX веке. Освобождает не водка, конечно. Освобождает правда. В данном случае правда заключается в том, что русский солдат, как и всякий вообще русский работник, пьет по временам водку. Этой правды не нужно стыдиться, совсем не нужно этой правдой гордиться – эту правду надо знать и с ней надо жить. Давыдов не считает, что чтение трудов Г. В. Жомини русскому военачальнику повредит, Давыдов напоминает о том, что круг обязанностей военачальника не ограничивается чтением полезных книг. Военачальник должен двигать духом войска, он должен посылать на смерть солдат. Русский полководец, не знающий в точности, когда следует поднести солдату водку и когда эту самую водку следует от солдата спрятать, – плохой русский полководец. Хороший полководец знает путь к сердцу солдата и не смущается тем, что этого-то знания нельзя найти в книгах швейцарского теоретика военного дела. Идеальным полководцем был у нас один Суворов – он и военную теорию («жомини») знал как бог, он и в солдатские нужды вникал глубже и горячее, чем в нужды собственных детей, он и водку умел пить.

Ушибленность передовой мыслью Запада – затяжная болезнь, которую Денис Давыдов не только разглядел раньше многих, но и сумел с потрясающей точностью диагностировать. Скольких бед смогли бы мы избежать, если бы отнесли к давыдовской диагностике с тем вниманием, какого она заслуживает. «*Об водке – ни полслова*» – эту формулу ведь и к сочинениям Лабзина, и к труду Радищева, и к философии Фейербаха, и к самому «Манифесту коммунистической партии» можно было отнести и применить.

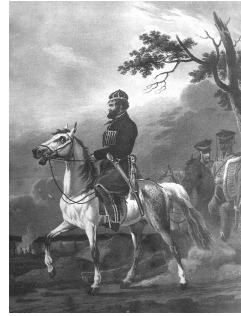


Прекрасный поэт Денис Давыдов. Может быть, и не стоило нам так много внимания уделять поздней, сравнительно неудачной лирике Давыдова – просто потому, что творческий путь поэта завершился ведь не ею. Бессмысленно погнавшись за Пушкиным, вдосталь набегавшись по выбитым следам, старый партизан перед смертью успеваеет возвратиться на свою дорогу. Конец, как известно, делу венец, а у Дениса Васильевича все заканчивается «Современной песней», лучшим его созданием.

Давыдов начинает свою последнюю песню, начисто забыв про тридцатилетний уже опыт Жуковского, забыв про Батюшкова, забыв про Пушкина и Баратынского, – он сразу начинает петь на каком-то первобытном, необработанном, первозданном языке:

*Был век бурный, дивный век,  
Громкий, величавый;  
Был огромный человек,  
Расточитель славы.  
То был век богатырей!..*

Зачин «Современной песни» поднимается, как океанский прилив, бесформенный, но неотвратимый; многопудовые валуны двигаются в нем, как песчинки. Вот он вызревает, набирает силу – и летит к берегу, и разметывает хлам, горделиво грозящийся на берегу.



Денис Давыдов (1814)

*«Истина найдена от века... – учит нас Гете (в переводе Аполлона Григорьева). – Старую истину усвой твоей душе».* В последней песне Давыдова Россия 1836 года, понемногу подвигающаяся к эпохе «великих реформ», понемногу принимающая дух буржуазной предприимчивости, не выдерживает очной ставки с носителем старой истины. Давыдов проводит действительность перед глазами старого гусара – и действительность рушится. (Это тема «Двух гусаров» Толстого, тоже едва ли не Денисом Давыдовым подсказанная.) Старый гусар спал на соломе, имел красносизый нос, легко пускал в ход кулаки – но был благороден. Герой новой формации, «прапорщик в отставке», разрывает связь с грубой военщиной, усваивает общеевропейскую культуру поведения, приобретает модные штiblеты – в этих-то штiblетах, *«нахально подбочась, он по дачам рыцет и в театрах, развалясь, все шипит да свищет».*

Палладиумом буржуазной эпохи является либерализм; простая старомодная совесть становится не нужна человеку, покорившему эту вершину. В России 1836 года этот исторический тип только нарождается, но Денис Давыдов увековечивает и исчерпывает его в мгновенном наброске:

*...смешались шапки,  
И полезли из щелей  
Мошки да букашки.  
Всякий маменькин сынок,  
Всякий обирала,  
Модных бредней дурачок  
Корчит либерала.*

*Деспотизма сопостат,  
Равенства оратор, –  
Вздулся, слеп и бородач,  
Гордый регистратор.  
Томы Тьера и Рабб  
Он на память знает  
И, как ярый Мирабо,  
Вольность прославляет.  
А глядишь: наш Мирабо  
Старого Гаврило  
За измятое жабо  
Хлещет в ус, да в рыло.  
А глядишь: наш Лафает,  
Брут или Фабриций  
Мужиков под пресс кладет  
Вместе с свекловицей.*

Принято считать, что Денис Давыдов развенчал в «Современной песне» **ложный либерализм** – спрашивается, где бы у нас можно было посмотреть в деле либерализм истинный? В какой губернии он себя проявил? В каком веке? Всякий раз, когда русский либерал получает возможность действовать, он совершает действия, описанные в «Современной песне». Последний раз мы могли это наблюдать в 1991 году, когда свора Лафайетов, выращенная в райкомах комсомола, поднялась, как один человек, «за Россию, за свободу» – и положила под пресс двадцать пять миллионов соплеменников в так называемых «братских республиках», а старого Гаврилу бросила в омут рыночных отношений, привязав ему на шею двадцать долларов пенсии.

Сегодняшний разгул зла многих приводит в смущение. Однако зло не вечно и не безначально. Бог-Вседержитель не ждет от нас всемирно-исторических побед над силами тьмы. С нас не спросится за то, что тьма сгустилась и распространилась при нашей жизни. Сегодня, как и во все времена, от нас требуется одно: личное участие в делах тьмы. И вот здесь Денис Давыдов, вовремя разглядевший и квалифицированно описавший одну из разновидностей общественного зла, подает нам руку помощи. Чем полнее мы воспримем важные уроки Дениса Давыдова, тем вернее Россия возвратится к тому состоянию, в котором находилась при его жизни («*И могуча, и грозна, //И здоровьем пышет*»).

В заключение нашего разговора о Денисе Давыдове скажем несколько слов об отношении царского правительства к этому поэту.

История русской литературы как научная дисциплина сформировалась окончательно в годы советской власти. Нож и пила партийной цензуры, паровой каток марксистской идеологии оставили нестираемый след на челе этой молодой науки. Пользоваться ее данными можно (другой истории русской литературы у нас просто нет), но нужно пользоваться ими с осторожностью. И в первую очередь, нужно аккуратно отбраковывать все эти

бесконтрольные и безответственные рассуждения о «притеснениях», которым-де подвергались при царизме «лучшие умы России». В любой биографии Дениса Давыдова до сих пор ведь сообщается о том, что «подвиги знаменитого партизана не находили должного официального признания» и проч.

Подобные сообщения нельзя обходить молчанием, нельзя их извинять. Разговоры о «горькой судьбе поэтов», живших до 1917 года в России, оскорбляют память поэтов, доживших в России до 1917 года. Лучшие наши дореволюционные писатели скорее уж должны считаться баловнями судьбы: внимания к своим трудам, бытовых удобств, элементарного материального достатка многие из них имели даже больше, чем нужно. Ну что за «притеснения», в самом деле, испытал на своем веку Денис Давыдов! Трудно сохранять полную серьезность, перечисляя их. Так, за басню, угрожавшую царю смертью, был он переведен из придворного Кавалергардского полка в обычный Белорусский гусарский полк – не без повышения в чине. В этой ужасной ссылке Денис Давыдов, во-первых, нашел себя как поэт и приобрел всероссийскую известность, а во-вторых, избежал гибели, ожидавшей его через год в сражении при Аустерлице (знаменитая атака кавалергардов, после которой в живых от полка осталось восемнадцать человек). Еще через год он был возвращен в гвардию – и вновь не без служебного повышения. Ужасно, конечно, что генерал-майором он стал только в 29 лет, а не в 28, как то следовало по его исключительным заслугам в деле организации партизанского движения. А генерал-лейтенантский чин этот мученик самодержавия получил вообще в предпенсионном возрасте – в 45 лет... Возвращаясь к серьезному тону, спросим: из чего же видно, что лихой наездник и рубака, блестящий командир летучего партизанского отряда способен справиться с управлением крупными войсковыми соединениями? Кампания 1828 года ясно показала, что ни заметным стратегическим дарованием, ни хотя бы сносным тактическим глазомером Давыдов не обладал. До генерал-лейтенантского уровня Денис Васильевич откровенно не дотягивал, но ему этот чин дали – по совокупности заслуг, из уважения к общественному мнению, просто за красивые глаза и золотое сердце – дали и отправили на отдых. Мудрое и человеческое решение, делающее нашему правительству честь. Обнаружить сегодня дефицит «официального признания» в послужном списке Дениса Давыдова способен только дипломированный литературовед («писатели про него думают, что он отличный генерал»).

Известно, что ложь никогда не выступает против истины с открытым забралом, никогда не действует от своего лица. Ложь делит истину на части и, взяв на вооружение одну из таких частей, принимает образ истины. Я это говорю к тому, что в принципе разговор о горькой судьбе русских писателей XIX-го века возможен, но именно как часть более обширного разговора, как малая вариация бесконечной и универсальной темы – темы о горькой судьбе человека вообще. В любую эпоху, в любой стране, при любом общественном строе судьба человека трагична. Паскаль в XVII веке писал об этом так: «Пусть сама пьеса и хороша, но последний акт кровав: две-три горсти земли на голову – и конец. Навсегда». В XIX столетии ничего тут существенно не поменялось, да и что тут может поменяться?

Мудрец Несмелов, глубоко проникший в загадку человеческой жизни, пришел в результате к парадоксальному выводу: «Великое счастье для человека заключается в том, что никакое счастье на земле невозможно». Человек, являющийся «простой вещью мира», подчиняющийся всем его физическим законам, одновременно с этим носит в себе фактически «образ безусловного бытия». На земле, населенной мириадами живых существ, один человек обладает загадочной способностью чувствовать себя неполным, нечистым, несовершенным... Один человек на земле умеет быть несчастным – в этом и заключается залог его высшей природы, залог его бессмертия.

Понятно, что и Денис Давыдов не был до конца удовлетворен результатами прожитой жизни. Понятно, что и Денис Давыдов был на свой лад глубоко несчастен. Ему не удалась большая карьера, не удалось избавить родную армию от кандалов германизма. Ему не везло в любви. В поэзии он не достиг тех вершин, к которым стремился.

Судьба Дениса Давыдова трагична. Затратив в жизненной борьбе колоссальные усилия, проявив феноменальную изобретательность и редкую отвагу, он так и не сумел стать вторым Суворовым, не сумел стать вторым Пушкиным. Потерпев поражение в этой борьбе, он после смерти занял свое собственное место в русской истории, став в ней первым и единственным Денисом Давыдовым. Таково свойство настоящей трагедии – страдания и гибель героя подготавливают душу зрителя к финальному очищению и просветлению, поднимают зрителя на ту высоту, на которой достигается примирение с жизнью. Пьеса сыграна, две-три горсти земли на голову брошены, но в душу потрясенного зрителя глубоко проникает образ трагического героя, видимо продолжающего действовать в мире после своей гибели, видимо торжествующего над смертью.

И сегодня присутствие Дениса Давыдова в русской жизни ощущается особенно остро, особенно радостно. Современным хозяевам страны просто нечего делать с ним! Он не вписывается в масштабную концепцию о «зловещей неподвижности русской истории» между 862 и 1991 годами. И никакого отношения к «рабству», в котором принято сегодня усматривать парадигму русской жизни, этот бодрый лейб-гусар не имеет. По мнению современных хозяев жизни, такого человека в России не было и быть не могло, а он есть, он существует. Он здесь. Украшение своего бурного, дивного века, один из обаятельнейших героев бессмертного в народной памяти Двенадцатого года. Счастливец, вышедший без единой царапины из десятков сражений. Певец, реализовавший на сто, если не на двести процентов свое скромное поэтическое дарование. И просто хороший человек – мужественный, умный, благородный. Счастье Дениса Давыдова не вызывает зависти – оно с честью пронесено по жизни, оно заслуженно. Счастье Дениса Давыдова разошлось по стране облаком золотой пыли и всех нас немного припудрило, немного прихорошило. Молодец Денис Васильевич!

## Чтение седьмое



П. А. Катенин. Рисунок А. С. Пушкина

Переходя к биографии Катенина от биографии Дениса Давыдова, словно бы попадаешь в ноябрьскую ночь после майского дня. Если уж говорить о незаслуженно горьких писательских судьбах в России XIX столетия, то тут судьба Катенина в первую очередь приходит на ум. Катенин в нашей литературе – имя невеселое.

Тоже герой войны Двенадцатого года, но не прославленный, в народной памяти не оставшийся и в галерею славы Зимнего дворца не попавший. Тоже потомственный военный, гвардейский офицер, неисправимый фрондер. Тоже жертва правительственных репрессий: однажды ему на три года запрещен был въезд в столицы, генерал-майором он стал только в сорок шесть лет, а генерал-лейтенантом не стал вовсе. Участник великих сражений, которым мало отыщется равных в мировой истории: Бородино и Лейпциг значились в его послужном списке. Но в памяти Катенина занозой сидел Кульм. Составляя на старости лет эпитафию для своего могильного памятника, Катенин написал о себе так: «Павел, сын Александров, из рода Катениных. Честно отжил свой век, служил Отечеству верой и правдой, в Кульме бился на смерть, но судьба его пощадила. Зла не творил никому, и мене добра, чем хотелось». Мы видим, что Кульмское сражение, в котором русская гвардия спасла союзную армию, потеряв половину своего состава убитыми, осмыслялось Катениным в старости как вершина прожитой жизни. (Замечу, что Катенин не был одинок в своем предпочтении: император Александр также признавал Кульмскую победу заветной, «любимой» победой своего царствования.)

На этом всякое сходство между Денисом Давыдовым и Катениным заканчивается, начинаются различия. Катенин не «партизан» и не «казак» (тут героические страницы его биографии не должны приниматься в расчет), Катенин – художник. Неутомимый прокладыватель новых дорог в искусстве, учитель Пушкина и Грибоедова, лучший в России XIX-го века знаток и теоретик изящного. Поэзия во всех ее видах (но в первую очередь – поэзия драматическая) и была делом его жизни.

Денис Давыдов не имел в литературе врагов. Наскоком бывая на Пинде, он никому там не вредил и не мешал, ни у кого не отнимал места. Самые зубастые, самые хищные обитатели литературного мира (Воейков, Вигель) к Давыдову относились благосклонно. Катенин на то и родился, чтобы возглавить литературную дружину России, – неудивительно, что наличные вожди, занявшие командные высоты в литературе трудом жизни, встретили его приход в штyki.

Давыдов смолоду был знаменит и умер в славе. Катенин только в ранних поэтических опытах имел успех: его «простонародные» баллады («Наташа» и особенно «Убийца»), напечатанные в 1815 году, на полгода привлекли к себе общее внимание. В эти-то полгода писательская судьба Катенина определяется раз и навсегда: «золотое клеймо неудачи» отчетливо проступает на его молодом лице.

Стремительно ворвавшись в литературу, двадцатитрехлетний поэт наспех в ней осматривается и обнаруживает, что здесь у него соперников нет. Россия 1815 года – ведущая мировая держава, но ее литература – одна из второстепенных литератур Европы. Вполне очевидно, что именно Катенину суждено возвести родную литературу в новое достоинство, вывести ее на мировые просторы. Катенин не просто верит в это – он это *знает*, он ясно видит, как этого можно достичь. Остается убедить в своей правоте общественность. С этой целью Катенин устраивает поэтический блицтурнир, вызвав на состязание первого поэта России.

В 1816 году лучшим русским поэтом является официально Жуковский. Державин передает ему «ветху лиру» в наследство, «Певец во стане русских воинов» распахивает перед ним двери царского дворца. Но сердцами читателей в тот год безраздельно владеет не официальный Жуковский – Жуковский-романтик, Жуковский-мистик.

Российское дворянство, отделяясь понемногу от полноты церковной жизни, утрачивает вкус и к законоположенной церковной мистике. А так как вера в сверхъестественное коренится в природе человека, то поиски чудесного ведутся теперь за оградой Церкви. Волшебная сказка, таинственная история, фантастическая повесть из периферийных литературных жанров становятся вдруг центральными. Романтическая мода приходит в Россию (как, впрочем, и в другие страны Европы) по следам моды вольтерьянской.

Свою первую балладу Жуковский пишет в 1808 году, взяв за образец балладу немецкого поэта Бюргера «Ленора». Фантастический и трогательный сюжет (жених уходит на войну, невеста в разлуке горюет и ропщет на Провидение, в полночь жених возвращается и везет обрадованную невесту на далекое кладбище, к свежей могиле; жених – мертвец), пленительная сладость стихов, их легкость и музыкальность, доселе небывалые в русской поэзии, – все это произвело на современников ошеломляющее впечатление. Позже Белинский скажет, что Жуковский «угадал и удовлетворил потребности времени» своей балладой. «Людмила» стала началом русского романтизма, образцом русской баллады на все времена, одним из крупнейших событий в истории русской поэзии вообще.

И именно сюда, именно в эту точку приложения общих симпатий, общего обожания и умиления направил удар Катенин, предприняв в 1816 году соборный перевод «Ленору».

Перевод Катенина считается в наши дни более точным (сам Жуковский молчаливо признал это, заново переведя «Ленору» в 1831 году), но Катенин не для того полез в драку, чтобы отобрать у Жуковского лавры лучшего переводчика России. «Людмила» или «Ольга» точнее передают текст второстепенного памятника немецкой предромантической поэзии – этот вопрос, совсем не важный сегодня, и в 1816 году не представлял большой важности. Катенин предложил Жуковскому спор о *началах*, формирующих самосознание национальной культуры и определяющих ее самобытие. И, как давно уже признано наукой, именно Катенин «стоял на верном пути, ведущем в будущее русской поэзии».

Все знают, что Жуковский был выше литературной вражды. Верный правилу не говорить о людях плохо, этот святой человек ни разу больше не упомянул имени Катенина ни в своей литературно-критической прозе, ни в дневниках, ни в письмах своих. Жуковский простил Катенину его вызов (избавившись тем самым от необходимости на него отвечать). Но у Жуковского имелись в литературе друзья – славные, нетерпеливые люди, которые усмотрели в действиях Катенина уже знакомые нам по материалам 3-го чтения «невежество» и «бесстыдность» и крепко на него обиделись... Понятно, что Жуковский не мог им этого запретить.

Гнедич обрушивается на «Ольгу» со статьей, которую Пушкин назовет впоследствии «несправедливой», рабски повторяющей дилетантские суждения «непривычных читателей» о новаторской поэзии Катенина. На защиту Катенина поднимается Грибоедов – в своей ответной статье, блестящей и сжатой, он, во-первых, подробно разбирает аргументацию Гнедича, разбивая ее в пух и в прах, во-вторых, разъясняет привычному читателю ту истину, что перевод Катенина имеет более народный, национальный характер, чем перевод Жуковского. А так как возразить Грибоедову по существу обсуждаемого вопроса было нечего, то неприязнь карамзинистов к Катенину, согласно известному психологическому закону, усиливается до последней степени и закрепляется. Катенин приобретает в литературе первых сильных врагов: Гнедича, Батюшкова, Вяземского.

В тот же год Катенин успевае еще поспорить с Крыловым – и попадает в басню «Апеллес и Осленок». Произошло это так. Крылов, заинтересовавшись дарованием Катенина и встречаясь с ним иногда у общих знакомых, два-три раза пригласил его к себе в дом. И вот юный Катенин, сидя в Публичной библиотеке, говорит сослуживцам Крылова «преважно» и, наверно, развалясь, что Крылов ему надоел «своими вечными приглашениями». Впрочем, у Крылова все это описано:

*С Осленком встретясь, Апеллес  
Зовет к себе Осленка в гости;  
В Осленке заиграли кости!  
Осленок хвастовством весь душит лес*

*И говорит зверям: «Как Апеллес мне скучен...» –*

и далее, по тексту басни.

Болезненное самолюбие Катенина, его «щепетильность» и заносчивость общеизвестны. Но вот что следует здесь принять во внимание: ершистость Катенина неудобна и непохвальна, высокая самооценка – оправданна. Ведя себя по временам как осел, он был в понимании искусства подлинным Апеллесом, возвышавшимся двумя головами над всеми своими современниками. Этого-то превосходства и не могли простить ему карамзинисты. Будь он попроще и поглупее, они бы охотно приняли его в свой тесный круг, дали бы ему место среди «гениев Арзамаса». Но потесниться всем своим кругом, но пересеть самим ниже – извините.



Заря романтизма, разгоревшаяся в наших журналах с легкой руки Жуковского, не была подготовлена предшествующим развитием национальной культуры. Первоначальный русский романтизм – простая реакция (наподобие реакций мышечных) на мощный подъем романтического движения в Европе.

Подобно Карамзину – автору «Писем русского путешественника», Жуковский не видит трагических противоречий внутри европейской культуры и восхищается ею сплошь. Свои художественные открытия «Коломб русского романтизма в поэзии» (слова Белинского о Жуковском) совершает, двигаясь в хвосте Великой армии европейского просвещения и благоговейно подбирая сувениры, оставшиеся по местам ее ночевок. Конечно, Жуковский – поэт Божьей милостью. Основной тон романтизма, музыка романтизма схватываются им и передаются с большой точностью.

Но поглядите, как странно выглядит простой перечень немецких стихотворцев, переводимых Жуковским «с покорством и надеждой» на протяжении сорока пяти лет! Гете и Шиллер, Пфеефель и Глейм, Гебель и Уланд, Кернер и Тидге, фон Матиссон и фон Цедлиц, Гердер и Шеллинг, Бюргер и Рюккерт, Фуке и Ветцель, Мюнх-Беллингхаузен и девица Гетвига Штегеман... Возможно, немецкая душа и сказывалась по-русски в переводах Жуковского, но вот участвовали ли в выборе текстов, заслуживающих перевода, русский ум, русская голова? Жуковский именно что не различает духов германской культуры, но всякому ее духу верит. Ему нравится Шиллер и нравится Бюргер, он слышал много раз, что Шиллера называют в Европе поэтом-романтиком, – поэтом-романтиком считает он и Бюргера... Тут нечего говорить о каком-то понимании принципов немецкого романтизма, о каком-то внимании к его генезису и строению.

*Думать* о романтизме карамзинисты начинают только в середине 20-х годов. Коломбом русского романтизма в критике становится Вяземский. Его статья о «Бахчисарайском фонтане», написанная в 1824 году, до сих пор признается главным манифестом русского романтизма.

Но в том же 1824 году Вяземский пишет еще письмо Жуковскому. И в этом письме младший Коломб спрашивает у Коломба старшего о таких, например, вещах: «Не знаешь ли ты на немецком языке рассуждений о романтическом роде? Спроси у Блудова, нет ли также на английском? Мне хочется написать об этом. <...> Романтизм как домовый: многие верят ему; убеждение есть, что он существует, но где его приметы? <...> Как наткнуть на него палец?»

Удивительные вопросы! По всей видимости, мы находимся в медвежьем углу Европы, в каком-то захолустье, где простодушные туземцы «верят романтизму», не умея наткнуть на него палец, где главный местный знаток романтизма, написавший об этом предмете три хлестких статьи, ни единой строчки не прочел о романтизме по-английски или по-немецки!.. Но это только видимость. Никакого захолустья нет в помине, есть быстро растущая русская литература, в которой с предельным напряжением сил работает Катенин – писатель, знающий всю подноготную европейского романтизма, способный на равных полемизировать с Августом Шлегелем.

Мощный разлив европейского романтизма, в котором сломанной веткой плавают блаженно-оцепенелый Жуковский, в котором храбро барахтается и пускает пузыри (статьи и манифесты) Вяземский, останавливается у ног Катенина. Павел Александрович наблюдает стихию с русского берега, сухого и высокого. Он не только ясно видит истоки движения и трезво оценивает его масштабы – он безошибочно различает лучшее в романтизме и только это лучшее старается пересадить на русскую почву.

Но возможна ли такая пересадка в принципе? Катенин хорошо знает, что требование романтизма есть требование «нравов, обычаев, преданий и всего быта средних веков Западной Европы». Он знает также, что карамзинистов это требование не смутило и не остановило. Жуковский открыл Америку русского романтизма, просто привязав двумя-тремя точными штрихами действие «Людмилы» к эпохе Ливонских войн, т.е. к русскому средневековью. Символ веры любого карамзиниста, как мы помним, заключался в трех словах: «Россия есть Европа». До рождения Петра Великого Россия была отсталой и захолустной страной, но и тогда она была страной европейской. Карамзин нашу древнюю историю подчистил, покрыл ее страницы дорогим и прочным импортным лаком, в общем – подтянул до средневропейского уровня. Таким образом, база для создания национальной романтической школы у нас появилась. Понятно, что первоклассную литературную школу на таком основании построить трудно. Но кто сказал, что Россия уже в первой четверти XIX века может иметь первоклассную, мирового уровня, литературу? Всего-то девяносто лет прошло со дня смерти Петра. Конечно, мы должны учиться у европейцев, догонять их...

Свой окончательный (и без всякого преувеличения великий) ответ карамзинизму Катенин сформулирует в 1829 году: «Россия искони не имела ничего общего с Европой западной; первые свои познания, художества и науки получила она вместе с верой православною от Цареграда, всем рыцарям ненавистного, ими коварно завоеванного на время, жестоко и безумно разграбленного. В наших церквях со слезами и в черных ризах умоляли на милость гнев Божий, когда крестовики в своих пели торжественные молебны». В 1816 году Катенин еще только присматривается к этой высоте. Вряд ли он вспоминал про разграбленный Константинополь, приступая к переводу «Леноры». Нашупать дорогу, ведущую в будущее русской поэзии, помог ему более всего элементарный здравый смысл (кстати сказать, три основных требования, предъявляемых Катениным к поэзии: «натура, истина, здравый смысл»). Если возможен русский романтизм, то он должен опираться на русские предания, русские обычаи, русские нравы. Но обычаи, нравы, предания – это все замыкается на человеке и только через наше сознание вводится в бытие. Русская литература должна зажечь фонарь и выйти на поиски своего человека – все остальное ей приложится, все остальное (в том числе и русский романтизм, если он на что-то нужен) придет само. Материал для изображения человека у писателя один: язык. Писатель строит из этого материала, но не создает его и не выдумывает. Язык писателю дается. Корень любой национальной литературы, способной к развитию, – «изящный язык простонародный». Язык русского народа, «чистый, коренной, смею сказать,

единственный в Европе язык», обещает нашей литературе большое будущее. Но этим богатством нужно еще суметь распорядиться.

Великое слово немецких романтиков (идея исторической народности, понятие о народной индивидуальности, складывающейся веками, понятие о народном характере и о народном духе) находит в душе Катенина добрую почву и пускается в рост. Дав «бой Жуковскому на его собственной территории» (Вл. Орлов), Катенин эту территорию расчищает, делает из нее область обитания русской индивидуальности, русского духа.

Для наглядности сравним два-три параллельных места в «Людмиле» и в «Ольге». Сцена отчаяния героини у Жуковского занимает 18 строк, наполненных пленительными, но ненужными, ослабляющими драматизм повествования пейзажными зарисовками: «С гор простерты длинны тени, //И лесов дремучих сени, //И зеркало зыбких вод, //И небес далекий свод //В светлый сумрак облечены... //Спят пригорки отдаленны...» и прочее. Та же сцена у Катенина свободно укладывается в 8 строк:

*Так весь день она рыдала,  
Божий Промысел кляла,  
Руки белые ломала,  
Черны волосы рвала;  
И стемнело небо ясно,  
Закатилось солнце красно,  
Все к покою улеглись,  
Звезды ясные зажглись, –*

которые не только «дышат пиитической простотою» (Грибоедов), но еще и мостят дорогу в будущее русской поэзии, упомянутую выше. Ведь именно из этих строк рождаются в недалеком будущем пушкинские «Мертвая царевна» и «Царь Салтан».

Вот картина ночного кладбища, открывшаяся героям Жуковского:

*Слышат шорох тихих теней:  
В час полуночных видений,  
В дыме облака, толпой,  
Прах оставя гробовой  
С поздним месяца восходом,  
Легким светлым хороводом  
В цепь воздушную свились... и т. д.*

То же место у Катенина:

*Казни столп; кругом в мерцанье,  
Чуть-чуть видно при луне  
Адской сволочи скаканье,  
Смех и пляски в вышине.*

Тут не о чем спорить. «Тощие мечтания» Жуковского блекнут перед суровой, сжатой энергией катенинского стиха. Попутно выясняется, что русифицированный перевод Катенина точнее передает букву и дух немецкого

оригинала, чем общечеловеческий, средневропейский перевод Жуковского. (Путь к общечеловеческим ценностям проходит через сердцевину собственной народности. Этот фундаментальный закон действует только в кругу «взрослых», зрелых национальных культур. В 1816 году Новая русская литература впервые и пока что одним своим краешком – столкновение Катенина с Жуковским и полемика, вызванная им, – в этот круг проникает.) Дав бой Жуковскому на его собственной территории, Катенин с легкостью этот бой выигрывает.

Победа Катенина, наделавшая ему сильных врагов в литературе, вовсе не была замечена широким читателем. И это естественно, это нормально. Нежная мечтательность Жуковского легче воспринималась читателем, легче его «заражала» (по терминологии Толстого), чем катенинские «натура, истина, здравый смысл». Совсем уже невозможно было среднему читателю заразиться умом Катенина. Жуковский писал для десятков тысяч (причем львиную долю в общей массе его читателей составляли с самого начала женщины и дети), Катенин – для пяти-шести человек (в этом «малом стаде» мы обнаруживаем зато Грибоедова и Пушкина).

И только через 8–10 лет, по мере накопления положительных сведений о европейском романтизме в русской печати, широкий читатель начинает не то чтобы приближаться – начинает присматриваться к той высоте, с которой шагнул в литературу Катенин. Правда Катенина делается для многих очевидной; целая толпа российских литераторов бежит по его следу, толкая его и пыхтя (при этом о заслугах Катенина никто не вспоминает, и даже имея его не произносится; литераторы на бегу покрикивают, что это они сами... своим умом дошли). Во главе гонки первоначально оказывается Рылеев: шумным читательским успехом пользуются его «Думы», в которых все скроено «по Катенину», все скроено по новейшей европейской моде (историзм и народность, «большие» темы широкого культурно-исторического и морального плана, народный быт и народная героика), но при этом любая мысль Рылеева читателю понятна, любое чувство – доступно. Конечно, поэзия в «Думах» не ночевала, конечно, это «проза, да и дурная», но, как установил в начале XVIII столетия Беркли, существовать значит быть воспринимаемым. Пугающая новизна катенинской поэтики именно в аранжировке Рылеева начинает проникать в общественное сознание, начинает в нем существовать.

Отвлечемся ненадолго, чтобы поговорить о путях, которыми приходят в мир новые эстетические идеи. В русской культуре эту тему усиленно разрабатывал Баратынский; важным результатом его многолетних раздумий стало следующее тринадцатистрочное стихотворение:

*Сначала мысль, воплощена  
В поэму сжатую поэта,  
Как дева юная, темна  
Для невнимательного света;*

(в нашем случае, это «простонародные» баллады Катенина: «Наташа», «Убийца», «Леший», «Ольга»)

*Потом, осмелившись, она  
Уже увертлива, речиста,  
Со всех сторон своих видна,  
Как искушенная жена  
В свободной прозе романиста;*

(не только рылеевские «Думы», но и вся вообще «свободная проза» первых русских романтиков: лекции и диссертация Надеждина, романтические поэмы Козлова и Пушкина, историческая проза Н. Полевого, Лажечникова, Загоскина)

*Болтуня старая, затем  
Она, подъявля крик нахальный,  
Плодит в полемике журнальной  
Давно уж ведомое всем.*

(Известно, что передовая журналистика России считала позднего, зрелого Баратынского «несозвучным эпохе» и совсем не занималась его творчеством. Но на это именно стихотворение откликнулись сразу два «властителя дум», два знаменитейших критика николаевского царствования: Белинский и Николай Полевой. «Лучше совсем не писать поэту, чем писать такие стихи», – сказал Белинский. А Николай Полевой сказал: «Такие стихи не подъявляют и не воплощают никакой мысли, кроме одной только: зачем писать стихи, если время их для нас прошло?» Заметим, что никто не просил Белинского и Полевого подписываться под приговором поэта, никто их не заставлял принимать на свой счет общие его рассуждения. Но они приняли и расписались. Будем уважать их решимость, а говоря точнее – не будем про нее забывать.)

Возвращаемся в середину 20-х годов. И для начала зададимся вопросом: что делал Катенин в то время, когда идеи его стали приобретать общественное признание, а его приоритет не был при этом признан, его заслуги не были должным образом оценены? Замкнулся ли он в горделивом отчуждении, натужно презирая холодную, невежественную и неблагодарную толпу российских читателей? Бросился ли наперерез ватаге литераторов, восклицая: «Это же я! Это вы меня догоняете – вот и следы мои»? Ничего похожего. За эти десять лет Катенин далеко уходит вперед и к романтизму вовсе охладевает.

Чуть позже Пушкин так опишет эту удивительную метаморфозу Катенина: «Быв один из первых апостолов романтизма и первый введши в круг возвышенной поэзии язык и предметы престопадные, он первый отрекся от романтизма, и обратился к классическим идолам, когда читающей публике начала нравиться новизна литературного преобразования». Причину случившейся перемены Пушкин усматривает в «гордой независимости» Катенина, который обычно «оставлял одну отрасль поэзии, как скоро становилась она модною, и удалялся» в те области, где можно было свободно гулять, не опасаясь встречи с читающей публикой.

Похоже, что сам Катенин проще и серьезнее смотрел на жизнь. «Век свой занимаясь поэзией, я не могу ее не знать, я приобрел трудом право иметь свое суждение и говорить его вслух». В этой декларации Катенина мысль о занятиях поэзией плотно срастается с мыслью об общественном служении. Стоя на рубеже двух крупнейших культурно-исторических эпох, Катенин держит ситуацию под контролем и «говорит вслух» такие вещи, которых его соотечественникам просто не от кого было больше услышать. Людям, не желающим знать о романтизме, отвергающим с порога любую «новизну литературного преобразования», Катенин указывает на открытия романтизма и на его великие возможности. Людям, отвергнувшим немодный, «отсталый» классицизм легко и бездумно, Катенин говорит о достоинствах классической теории, которые не могут устареть, не могут быть исчерпаны до конца. «Век свой занимаясь поэзией», Катенин служит истине, а тем самым – обществу.

К сожалению, прямых и ровных дорог, связывающих общественное служение с общественным признанием, в мире не существует.

*Летел душой я к новым племенам,  
Любил, ласкал их пустоцветный колос,  
Я дни извел, стучась к людским сердцам,  
Всех чувств благих я подавал им голос.*

*Ответа нет!.. –*

так говорит Баратынский о своем жизненном опыте, по сути дела неотличимом от жизненного опыта Катенина. Замечу, что поэтическая истина во все времена волнует сердца людей не так уж сильно и не так уж часто. Но бывают времена, когда люди (в своем «молчаливом большинстве») перестают стесняться этого. Пик творческой активности Катенина и приходится на такую эпоху, когда, по словам того же Баратынского:

*Исчезнули при свете просвещения  
Поэзии ребяческие сны,  
И не о ней хлопочут поколенья,  
Промышленным заботам преданы.*

(Новые племена, новые поколенья пока еще не собираются отказываться от поэзии. Просто они ждут от поэта сочувственного внимания к своей жизни, к своим промышленным заботам. Поэт упрямится, поэт считает, что поэтической истиной жертвовать ни в коем случае нельзя. Поэт продолжает развивать свою тему, давно уже всем надоевшую, бесконечно ее разнообразит, угончает и углубляет, доводит до совершенства... Поэт остается в одиночестве.)

Пушкин заметил как-то, что Катенин «опоздал родиться – и своим характером и образом мысли весь принадлежит XVIII столетию». Доля истины в этом суждении есть. Старомодная, исконная нравственность, которой Катенин придерживался до конца своих дней, принадлежит действительно духу XVIII столетия. Катенин не прячет лица под маской,

Катенин честно обращается со словом – в этом он классицист. Катенин делает ставку на человеческую вменяемость и обучаемость, Катенин верит в общественную пользу знаний, добытых трудом поэта-одиночки, – в этом он просветитель. Скажу проще: Катенин весь принадлежит лучшему, вечному в XVIII столетии, а тем самым – принадлежит любому столетию, не исключая из общего их числа и нынешнего нашего столетия.

Дав «настоящий бой карамзинизму» (Ермакова-Битнер) в 1816 году, Катенин затем на протяжении десяти лет в одиночку вытаскивает барку русского искусства, русской эстетической мысли – на мировой простор. В середине 20-х годов бечева обрывается, но барка уже находится на открытой воде, уже обретает способность двигаться самостоятельно – и начинает плыть совсем не к тому берегу, к которому направлял ее Катенин. Впрочем, о жизненной катастрофе Катенина мы поговорим в своем месте, а пока что возвратимся в последний раз к началу его славного десятилетия.

Катенин в эти годы *страшно работает* – работает всем своим существом. Это его личное Бородинское сражение, в котором русскую землю и русскую правду приходится отстаивать в хаосе борьбы. Именно в эти годы Катенин бесповоротно и, правду сказать, бессмысленно губит свою служебную карьеру, начатую блистательно (к двадцати восьми годам он был уже полковником Преображенского полка, а в гвардии чины считались на два класса выше, чем армейские чины: гвардейский полковник при переводе в армию становился автоматически генерал-майором). Дело в том, что в 1818 году Катенин дописал наконец «Андромаху». Над этой пьесой он трудился девять лет, ее он считал делом жизни. По мысли Катенина, постановка «Андромахи» должна была оформить окончательно его принадлежность к кругу великих драматических поэтов, каких было от сотворения мира пять-шесть человек. Однако постановка откладывалась год за годом, ожидание затягивалось... Пылкому и «щепетильному» Катенину все труднее становилось переносить глупую требовательность начальства, не умевшего разглядеть в подчиненном офицере автора всемирно прославленной (не сегодня так завтра) «Андромахи». Катенин срывается раз, срывается другой... Закончилось все это так, как и должно было закончиться: в ноябре 1822 года Катенин отправляется в ссылку.

– Не так уж страшно, – мог думать он, подъезжая к своему родовому имению. – Явится «Андромаха» – и все падут. Слепые прозреют...

Увы! «Андромаха» – почтенный труд («может быть, лучшее произведение нашей Мельпомены», как заметил в 1830 году Пушкин), но надежды на ее всемирно-исторический успех были с самого начала несбыточны. Своего Наполеона Катенин побеждает в другом месте, не замечая и не сознавая этого.

Если будете в Петербурге, прогуляйтесь как-нибудь по Миллионной улице в сторону царского дворца и, дойдя до Зимней канавки, посмотрите направо. В этом угловом здании размещались казармы Преображенского полка, здесь в верхнем этаже квартировали его офицеры. Здесь и произошла в

1818 году одна из главных *встреч* в истории русской поэзии. Молодой Пушкин, устав от суеты и пустоты «Арзамаса», является к Катенину и говорит, подавая свою трость толстым концом Катенину в руки: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи». Катенин, вызванный Пушкиным с офицерской пирушки и не сразу Пушкина узнавший (годом раньше Гнедий познакомил их в театре, с тех пор они не встречались), учтиво отвечает: «Ученого учить – портить», – берет гостя за руку и ведет в комнаты... «Через четверть часа все церемонии кончились», – пишет он в поздних (1852-го года) воспоминаниях о Пушкине, составленных по просьбе П. Анненкова. В те же четверть часа заканчивается и «настоящий бой» Катенина с карамзинизмом. Катенин выиграл всю кампанию одним ударом, перетянув на свою сторону Пушкина. Карамзинистам остались воспоминания о прошлом, осталось их *«святое Прежде»* – настоящее и будущее карамзинизма Пушкин, уходя, захватил с собой. В истории русского искусства закрылась важная страница, до конца исписанная.

Итак, Пушкин поступает к Катенину в ученики и два года, вплоть до начала своей южной ссылки, прилежно его посещает. О фактическом содержании их бесед в эти два года мы знаем мало. Пушкин рано погиб и не успел заплатить Катенину долг благодарности, Катенину же было не с руки распространяться о том, сколь многим обязан ему Пушкин. В своих воспоминаниях он просто пишет, что Пушкин, «полюбив меня с первого раза, очень часто запросто посещал, и едва ли эта первая эпоха нашего знакомства была не самая лучшая и для обоих приятная».

От себя замечу: ничего нет странного в том, что Пушкин «с первого раза» пленился Катениным. Общая талантливость Катенина ни в чем, может быть, не проявлялась так ярко, как в приватной беседе, непринужденном общении с глазу на глаз. Обладая колоссальной эрудицией, Катенин не душил ею окружающих и не произносил в народном собрании длинных монологов – Катенин правил разговор *по собеседнику*, необычайно остро, живо и сжато реагируя на каждое чужое слово, на каждую мысль, достойную внимания. Петр Андреевич Каратыгин назвал Катенина «живой энциклопедией»; катенинские «жгучее остроумие», «неотразимая диалектика», «необыкновенный дар слова» делала так, что эта энциклопедия могла читаться разумным собеседником с листа.

Странная вещь! Катенин ждет чудес от своей стихотворной трагедии (ждет, жутко вымолвить, восемнадцать лет), а тем временем сложный внутренний мир Катенина, трудные катенинские мысли встречают понимание и обретают разделенье в легком застольном разговоре. Пушкин пленяется существенной простотой катенинской беседы и перестраивает по этому образцу свой литературный стиль. Пушкин теперь пишет так, как Катенин разговаривает!.. Для чего нужна была Катенину «Андромаха»? Вовремя встретиться с Пушкиным, откликнуться без промедления на его отчаянный призыв («Выучи!»), реально помочь Пушкину в его становлении – разве мало этого хотя бы и на всю жизнь человеческую?

Скажу прямо: подобные «примиряющие» рассуждения не доставили бы



удовольствия Катенину. *«Что для нас теперь сияет мягким светом, то было для него мучительным огнем»*. Остаться в памяти людей только учителем Пушкина было для него мало (именно поэтому, кстати сказать, люди не признали в Катенине пушкинского учителя). Он хотел стать Пушкиным – в том понимании, которое мы сегодня вкладываем в слово «Пушкин», – сам. Не преуспев в этом, Катенин ожесточился. Во всяком случае, никакого примирения с жизнью, раздавившей его и вышвырнувшей на свою обочину, Катенин не искал. Но не будем забегать вперед.

Первоначальная эпоха знакомства наших поэтов, «самая лучшая и для обоих приятная», заканчивается быстро – как и все хорошее в жизни. Судьба или, если угодно, царское правительство надолго их разлучают. Шесть лет они не видятся. Катенин, позже сосланный, возвращается в Петербург раньше – в августе 1825. Пушкин вырывается из Михайловского годом позже.

И именно в эти два года (1825–1826) писательская карьера Катенина достигает своей высшей точки. Жизнь наконец-то начинает ему улыбаться. В ноябре 1825 года театральная дирекция принимает к постановке «Андромаха». Катенин, слывший небезосновательно «столпом театра» (петербургского Большого), с головой погружается в приятные хлопоты по подготовке представления: репетиции, распределение ролей. В мае 1826 года умирает Карамзин (так и не узнавший о том, что Катенин нанес карамзинизму историческое поражение), и во главе литературы автоматически становятся Пушкин и Грибоедов – два катенинских ученика. В их благодарности Катенин не сомневается, их поддержка обеспечена ему на много лет вперед. Вот что пишет ему в феврале 1826 года сам Пушкин: «Кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покаместь, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности, а односторонность есть пагуба мысли. Если б согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принес бы русской словесности». Еще более лестные признания шлет в ту пору Катенину Грибоедов: «Вообще я ни перед кем не таился <...>, что тебе обязан зрелостию, объемом и даже оригинальностью моего дарования».

Как сладко поют медные трубы заслуженной и прочной литературной славы! Под их чарующее пенье приходит 1827 год, принося с собой стремительное и страшное крушение всей катенинской жизни. В феврале проваливается «Андромаха». Грибоедов и Пушкин, обиженные неодобрительными отзывами Катенина о своих лучших произведениях, отступают от него. Литературная чернь, перешедшая всем скопом под знамена романтизма, встречает новые публикации Катенина с веселым недоумением. Катенинская отсталость считается в этой среде общепризнанным фактом и, как приказы в армии, не обсуждается.

Случившееся непоправимо. В десятилетие, последовавшее за 1827 годом, Катенин создает свои вершинные произведения в стихах («Старая бль», «Гнездо голубки», «Инвалид Горев») и в прозе («Размышления и разборы»),

выпускает в 1832 году двухтомное собрание стихотворений и переводов, ставшее итоговым... Ответа нет! С Катениным не спорят и его не читают. Как зачумленного, его старательно обходят стороной.

В мае 1833 года Ксенофонт Полевой добывает Катенина двумя статьями, помещенными в журнале «Московский телеграф». Статьи эти бесподобны. Помните, как в «Капитанской дочке» пугачевцы тащат Гринева к виселице и, «может быть и вправду желая ободрить» свою жертву, приговаривают на ходу: «Не бось, не бось»? Вот эта именно интонация зверской задушевности, зверской доброжелательности преобладает в статьях К. Полевого.

Первая из них могла стать обычной журнальной рецензией на новую книгу (катенинский двухтомник 1832 года), не будь К. Полевой журналистом передовым. Такие люди не пишут обычных рецензий. Передовой человек берется рецензировать чужую книгу, чтобы лишний раз поведать читателю *о главном* (то есть о себе самом и о своих передовых взглядах). Стихотворениям и переводам Катенина уделены в рецензии К. Полевого полторы строчки: критик вскользь замечает, что «г-н Катенин пишет стихи <...> большею частью дурно», что он «нисколько не владеет ни стихом, ни языком», – и больше уже к этой докучливой теме не возвращается. (За месяц до К. Полевого Пушкин опубликовал свою рецензию на катенинский двухтомник. Заканчивалась она следующими словами: «Знаток отдадут справедливость ученой отделке <...> и вообще механизму стиха г-на Катенина, слишком пренебрегаемому лучшими нашими стихотворцами». Так что же? Пушкин Полевому не указ. Полевой лучше Пушкина разбирается в механизме стиха.) Иную, высшую цель преследует прогрессивный критик. Другие, более серьезные вопросы его интересуют. Ему хочется знать, отчего имя Катенина было когда-то знаменито в литературе? Отчего происходили в ней бесконечные словопрения за, против, во славу или в ущерб сочинений г-на Катенина? Отчего столько шумели о них?

Единственной причиной шума, полагает К. Полевой, была борьба партий. В те глухие времена, когда «Московский телеграф» еще не существовал, боролись между собой за первенство в литературе две партии, или школы: карамзинистов и славянофилов. Катенин принадлежал к последним, хотя и был самым bestолковым из них. Неудачные славянизмы, которые он без числа и без меры вводил в литературную речь, высмеивались остроумными карамзинистами. (Никогда не забуду, с чувством вспоминает К. Полевой, как много смеялись мы целым обществом приятельским, читая вслух эти остроумные разборы. Как я хохотал тогда! Как хохотал...) В свою очередь поборники славянофильства, уверенные в правоте основной мысли своего собрата, закрывали глаза на его очевидную бездарность и пытались защищать его. Вот происхождение тех споров вокруг г-на Катенина, которые когда-то оглушали нас. Блаженные времена прошли! Мы теперь спорим менее и более любим отдавать себе отчет о прочитанном. Любый младенец понимает сегодня, что ни карамзинисты, ни славянофилы не сумели стать на ту точку истины, на которой твердой стопой водрузился «Московский телеграф» со всеми своими подписчиками. Но знаете что? Давайте отдадим должное г-ну

Катенину. Его усилия ввести в нашу словесность новые виды, новые роды и обогатить ее заимствованиями из русского быта и русской старины были благородными усилиями. В литературе г-н Катенин искал оригинальности прежде многих других. Честь и хвала ему за это! Жаль только, что, не имея в себе души художнической, не имея в себе особенной поэтической силы, г-н Катенин – этот пигмей, одаренный смелой душой, – прожил свой век напрасно и в искусстве не произвел ничего.

Выступление «Телеграфа» стало полной неожиданностью для Катенина. Он не подозревал о том, что его литературная репутация повреждена настолько серьезно.

Провал «Андромахи» страшно поразил его в свое время, положив конец его надеждам на роль писателя *мирового* (к каковой роли он чувствовал себя призванным и, что важнее, совершенно готовым). Катенин тогда сбежал из Петербурга, заперся на пять лет в своем костромском имении – он именно что мечту хоронил... В эти-то пять лет он и утрачивает, очевидно, реальную связь с текучей литературной жизнью, перестает следить за изменениями ее пульса, перестает (как истинный классицист) отличать правду должного от правды сущего. Катенину представляется, что положение, завоеванное в журнальных схватках 1816–1822 годов, осталось при нем, никуда не делось. Да и почему он должен был думать иначе? В промежутке между 1822 и 1833 годами российские журналы настолько редко о нем вспоминали, что Пушкин в своей рецензии выделил этот факт особо: «Г-н Катенин <...> скорее мог бы жаловаться на безмолвие критики, чем на ее строгость». С началом же 30-х годов в жизни Катенина наступает черная полоса; впоследствии он так напишет об этом времени: «Положение мое жестоко изменилось; имение, за неисправность винной поставки в казну, было взято в опеку; мучительная и опасная болезнь угрожала смертью». Огорчения, связанные с провалом «Андромахи», отступили в тень перед угрозой разорения. В июле 1832 года полуживой Катенин возвращается в Петербург и, спрятав свою гордость в карман, начинает хлопотать о скорейшем возвращении на военную службу. Как быть! Слова «жалованье» и «жизнь» становятся в эту пору синонимами для Катенина. Когда-то он *снисходил* до службы в Преображенском полку, теперь он 13 месяцев дожидается назначения в такой полк, названия которого без привычки не выговоришь: 13-й Эриванский карабинерный... В этих обстоятельствах единственным утешением Катенину служит поэзия. В ней он черпает силы для унижительной и безотрадной борьбы за существование.

В январе 1833 года Катенина вдруг избирают в члены Российской академии – одновременно с Пушкиным. Тем самым адмирал Шишков (и как тут не вспомнить лишний раз: «Сей старец дорог нам...») указывает обществу на Катенина как на образцового, классического автора. Катенин, кстати сказать, совершенно спокойно воспринимает это отличие: кого же и избирать в Российскую академию, если не Катенина с Пушкиным? Первое время они совместно посещают ее заседания, потом дружно перестают.

14 марта 1833 года Пушкин дописывает свою рецензию на катенинский

двухтомник и со сдержанным оптимизмом замечает, что стихам Катенина, опубликованным в последние годы, «наконец начали отдавать справедливость». И пусть общественное признание отпущается Катенину пока что «скупое и неохотно» – перелом в отношении к нему критики и читающей публики определенно наметился.

Пушкин обманулся. В начале мая 1833 года первая статья К. Полевого с громыханием и лязгом обрушивается на голову Катенина. Бедный Павел Александрович! Когда-то он твердой рукой оградил себя от «вечных приглашений» Крылова. Он хладнокровно уклонился от встречи с Александром I, когда царь наш, проезжая в октябре 1824 года через Костромскую губернию, вспомнил про ссыльного поэта и пожелал встретиться с ним, поговорить, простить... Если уж беспримерная «щепетильность» Катенина требовала жертв, то он приносил их, не задумываясь. За свою независимость он готов был платить самую дорогую цену.

И вот теперь он вынужден вступать в объяснения с каким-то мелкотравчатым московским журналистом, оплевавшим на виду у всей России труд жизни Катенина, лучшую часть его души. Презреть? Смолчать? Нельзя. Читатели решат, что журналист прав. Убить? Нельзя, по той же причине. Пререкаться? Оправдываться? «Вы, милостивый государь, назвали меня пигмеем напрасно. Мои статьи, напечатанные в двадцати трех номерах “Литературной газеты” за 1830 год, совсем другое говорят о моем росте...» – невозможно! Не-воз-мож-но. И какой-то Полевой... Кто такой Полевой?

В письмах Катенина, относящихся ко второй половине 20-х годов, можно встретить отдельные суждения о Николае Полевом («некто Полевой, издатель в Москве нового журнала», «кажется, одной шайки с Гречем и Булгариним», «дурак, невежа», «imbécile»; «человек любопытный»), но Ксенофонт Полевой не упомянут в катенинской переписке ни разу. Вряд ли Катенин знал о том, что Полевых несколько, вряд ли он до самого мая 1833 года умел их различать.

Да и что там было различать? Ксенофонт Полевой как критик ничем не лучше и ничем не хуже своего старшего брата. В актуальной истории русского искусства он сохраняется сегодня лишь потому, что является фигурантом известной эпиграммы Соболевского:

*От Кастийского  
До Балтийского,  
До большого до Черного понта  
Нет подлее,  
Нет сквернее  
Полевого Ксенофонта.*

Все интересное в нем – купеческое происхождение, детство и юность, проведенные в Иркутске, – никак не отразилось на его печатных трудах. Об этом он постарался забыть, от этого опыта он оттолкнулся, устремившись в первой молодости к «свету знаний», т. е. предавшись запойному чтению новейшей беллетристики и научно-популярных брошюр. Вдосталь наглотавшись света знаний, набившись им, что называется, под завязку, он начал

бешено его излучать, распространять, пропагандировать... Если кому-то интересен сегодня Белинский, то ему могут быть интересны и братья Полевые – прямые предшественники Белинского в русской литературе. Одна формация, один человеческий тип. (Принято до сих пор восхищаться «пламенным идеализмом» этих людей. Они действительно пылали и, не имея душевной чистоты, не стремясь к душевной чистоте, на долгие десятилетия запакостили литературную атмосферу гарью и копотью своих скоропалительных приговоров. Любимым занятием Белинского было как раз, по его собственному хвастливому определению, «обрывать с вороны павлиньи перья». В голову ведь не приходило человеку, что результатом подобной операции может стать не только пристыженная ворона, но и истерзанный, окровавленный павлин. Просто не приходило в голову.)

Конечно, Катенину мог быть только неприятен любой контакт с Ксенофонтом Полевым. Катенин по совести не мог этого автора уважать, не мог считать его ровней себе. Но получить от К. Полевого публичную оплеуху и не услышать со стороны братьев-писателей ни одного голоса в свою защиту – вот это было для Катенина по-настоящему тяжело.

Час мужества пробил для Катенина в мае 33-го года, и Катенин встречает этот трудный час с полным самообладанием. Все-таки он старый солдат. Нас атакуют? Мы готовы. Будем отвечать. Лучше, чем кто-либо другой в России, Катенин понимает, что с Ксенофонтом Полевым спорить бесполезно. Он ни в чем не пытается его переубедить. Он не унижается до каких бы то ни было объяснений или оправданий. Он принимает все послышки Полевого, а потом, развивая эти чудовищные послышки *правильно*, показывает совершенно ясно, что Ксенофонт Полевой – слабый писатель и мусорный критик, пишущий более или менее наобум. Попутно Катенин напоминает Полевому об ответственности, которая сопряжена с деятельностью литературного критика. «Положим, я пишу дурно, – замечает Катенин, – и обо мне нечего жалеть; но если б вместо меня явился другой человек, с истинным, чистым и большим дарованием, <...> какая судьба ожидает его при вступлении на поприще поэзии?» Такого человека ожидают полтора десятка российских журналов – «все одной масти с оттенками», его ожидает равнодушие публики, которая «понятия не имеет об изящном, а если вздумает иногда стихов почитать, то справится в журналах, чьи стихи лучше», его ожидает суд ценителей и знатоков, подобных Ксенофонту Полевому. В общем, ничего его не ждет, «кроме горестей и оскорблений».

Катенин пишет хорошо, достойно. Благородная сдержанность, которую он проявляет в споре, обратно пропорциональна горечи, которую он испытывает. Это его последнее критическое выступление в печати. Катенин сознает, что возможности «говорить вслух» о поэзии у него больше не будет. Его гонят из литературы, и он уходит, аккуратно прикрывая за собой дверь.

Вдогонку ему летит вторая статья Полевого. (Великодушное отношение к побежденным, считает Полевой, хорошо в своем месте – в романах Гюго, например. Последнее же слово в литературном споре должно принадлежать победителю.) Полевому кажется, что он отвечает на замечания Катенина, – на

самом деле он опять говорит *о главном*. Как токующий глухарь, он повторяет во второй статье все коленица, все вариации статьи предыдущей, во второй раз прокатывает по нервам и по костям Катенина паровой каток своего красноречия. Впрочем, отдельные позиции он усиливает. Если в первой статье утверждалось, что стихи Катенина дурны «большую частью», то теперь дурным признается уже «каждое стихотворение Катенина отдельно». Но это мелочи. В главном все повторяется. По-прежнему Полевой твердит о своем уважении к Катенину, по-прежнему нахваливает его ум, его принципиальность («не бось, не бось»), его литературную честность. По-прежнему Полевой считает, что в современную эпоху, эпоху «Пушкина и Марлинского», творчество Катенина – смешной и жалкий анахронизм.

(Поразительно выдерживается Полевым этот тон снисхождения к старческому слабоумию, к старческой расслабленности Катенина. Тридцатидвухлетний Полевой в сорокалетнем Катенине видит совершенно искренне какое-то ископаемое, какое-то допотопное существо! И это тоже очень характерно для всей формации передовых людей, им представляемой, и тоже очень не ново. *«Царь наш – юный Зевс, а Кроново царство миновало: прочь, старая Муза!»*)

В российской словесности, очистившей и сомкнувшей свои ряды, наступает умиротворение. Писатели молчат; лучшие из писателей молчат боязливо – они понимают, что Полевой, отдохнув после Катенина и закончив процесс пищеварения, выйдет на ловлю снова. Прочие писатели молчат удовлетворенно: им нравится жить в эпоху Пушкина и Марлинского. Хотя Пушкин, открывенно говоря, становится не тот, Пушкин слабеет... Подписчики «Телеграфа» молчат обиженно: вот уже второй раз умничка Полевой занимается каким-то противным, замшелым Катениным. Сколько можно-то, Ксенофонт Алексеевич?!

Полковник Катенин, бывший писатель и бывший театральный деятель, нехотя едет на Кавказ к новому месту службы. (Эриванский карабинерный полк – один из четырех старейших полков русской армии, существовавших до Петра и пощаженных его реформой. К началу русско-персидской войны 1827 года полк назывался 7-м гренадерским и пребывал в полной безвестности. В этой молниеносной войне гренандеры снискали первые лавры, отличившись при взятии Эривани. Через год, уже в ходе русско-турецкой войны, полк отличился при штурме Карса. Тринадцатый Эриванский карабинерный полк в 1834 году – это молодая гвардия, гвардия Паскевича.) Служба на новом месте не удастся Катенину совершенно. Уже на второй год он покидает карабинерный полк – кажется, по несходству характеров с его командиром – и становится комендантом захолустнейшей крепости Кизляр. Из Кизляра он шлет письма Пушкину. В письмах – стихи, принадлежащие к числу лучших катенинских (талант его продолжает вызревать), а также язвительные намеки, шпильки, щипки. Катенину кажется, что у него одного все плохо, а вот Пушкин ловко сумел устроиться и в литературе, и в жизни. (Об устойчивости этого мотива можно судить по балладе «Старая быль», законченной Катениным еще в сравнительно благополучном 1828 году, – Пушкин в ней

поддет не без виртуозности.) В январе 1837 года обрывается и эта последняя ниточка, связывавшая Катенина с литературой. Некого больше подкусывать, некому посылать новые стихи... Господи! Пусто и страшно становится в Твоем мире.

В конце 1838 года Катенина окончательно увольняют со службы. Привожу историю его последней отставки в колоритном изложении Писемского (который был костромичом и в молодости знал Катенина коротко): «На Кавказе-то начальник края прислал ему эту, знаешь, книгу дневную, чтобы записывать в нее, что делал и чем занимался. Он и пишет в ней: сегодня занимался размышлением о выгодах моего любезного отечества, завтра там – отдыхал от сих мыслей, – таким шутовским манером всю книгу и исписал!.. Ему дали генерал-майора и в отставку прогнали».

Катенин возвращается к себе в Кологривский уезд Костромской губернии – теперь уже насовсем. Все-таки он не напрасно просидел на Кавказе три с половиной года – жалованье поступало в срок, задолженность перед казной была погашена, имение удалось спасти. Катенину предстоит доживать свой век в полном достатке: у него есть оранжереи и винокуренный завод, у него есть великолепная библиотека, у него есть теперь и генеральская пенсия. Впрочем, бессемейному Катенину лишние деньги не нужны, и он без счета тратит их на облегчение быта своих крепостных. Писемский так рассказывает об этом: «...Предобрый!.. Три теперь усадьбы у него прехлебороднейшие, а ни в одной из них зерна хлеба нет, только на семена велит оставить, а остальное все бедным раздаст!» Заносчивый и наглый в отношениях с вышестоящими, мнительный и неуживчивый – «щепетильный» – в отношении с людьми своего круга, Катенин неизменно добр и внимателен по отношению к зависимым, подчиненным людям. Поучительна история его первой отставки (1820 год). На батальонном смотре Катенин дерзко препирается с великим князем Михаилом Павловичем, выставляя его перед всеми присутствующими круглым идиотом. Мотивы поступка благородны: Катенин отводит глаза великого князя от прощтрафившегося унтер-офицера, обращает высочайший гнев на себя и тем самым спасает своего подчиненного от жестокого наказания. Непредумышленность, спонтанность поступка делают из него настоящий ключ к характеру Катенина. Этот импульс, вырвавшийся из глубины сердца, дает яркую вспышку и освещает для нас на мгновение непроницаемые потемки чужой души. И мы видим, что в этой душе деятельная доброта и жестокая гордыня как-то спаялись... Ведь ситуацию можно было разрядить, сказав простые слова: «Вина на мне. Это я так распорядился», – что-нибудь в этом роде. Ни дураком, ни тем более злодеем Михаил Павлович не был – пошумев для порядка, он бы принял объяснения Катенина. Но Катенин *ищет бури*, лавры миротворца его не прельщают, и первая заповедь блаженства («блаженны нищие духом») звучит для его слуха как-то дико. Катенин богат духом. Спасая унтера, он угрожает Богу, исполняет Его трудную правду; оскорбляя великого князя – доставляет маленькое удовольствие себе лично. И только такая жизнь – полная до краев – Катенину по душе.

Остановимся ненадолго, чтобы рассмотреть два важных возражения, которые, надо думать, давно уже вертятся на языке у наиболее внимательных, наиболее осведомленных читателей этого скромного труда.

Во-первых, могут мне сказать, история отношений Катенина с его так называемыми учениками изрядно искажена и приукрашена вами. Допустим, Пушкин и Грибоедов восхищались Катениным в начале своего знакомства с ним. Такое случается с молодыми людьми. Но потом-то они его раскусили! Разве вам неизвестна убийственная фраза, которую повзрослевший Пушкин бросил Катенину в лицо: «Наша связь основана не на одинаковом образе мыслей, а на любви к одинаковым занятиям»? А Грибоедов? Разве он не признал в конце концов вашего Катенина *ничтожным* («Катенин не поглупел, но мы поумнели, и оттого он кажется нам ничтожным»)? И причины, вызвавшие подобное охлаждение, лежат на поверхности. Стоит ли повторять те глупости, которые Катенин говорил и писал по поводу грибоедовского «Горя от ума», по поводу пушкинского «Бориса Годунова»? «Ученический опыт», «трагедии и в помине нет» и тому подобное. Хорош, нечего сказать, ваш «лучший в России XIX века знаток и теоретик изящного»!

Если же вы сумеете эти отзывы объяснить, если вам удастся как-то обелить и оправдать Катенина, тогда вся чернота, вся неоправданность автоматически падут на головы Пушкина и Грибоедова. Других вариантов здесь нет. Или Катенин – великий воспитатель Грибоедова и Пушкина, тогда эти последние – неблагодарные, дурные люди. Или Пушкин с Грибоедовым – великие люди сами по себе, а Катенин так... знакомый один. Все наши лучшие специалисты в области литературы – писатели, ученые – придерживались всегда второго варианта. Вас это не смущает? Ну, значит, вы хотите быть умнее других.

Во-вторых, могут мне заметить наиболее осведомленные и внимательные читатели, сегодня вы рассказываете о поэте, но как-то вы стихов его не вспоминаете... Это не случайно. Мы и без вас знаем, что Катенин был человек большого ума. Мы знаем, что этот человек любил искусство и в искусстве кое-что понимал. Но мы знаем также, что этот замечательный человек поэтом был слабым. И Ксенофонт Полевой, который, не в обиду вам будет сказано, являлся умным и тонким литературным критиком, неплохо в этом вопросе разобрался.

Апология Катенина, которой вы занимаетесь, ни к чему хорошему привести не может. Допустим, люди увлекутся вашей проповедью, снимут с полок книги Катенина и, отряхнув от них пыль веков, попытаются прочесть ту же самую «Андромаху». *«Коль посылает нам сны вещие Зевес, //Всех бедствий ждать должны от гневных мы небес...»* В наши дни это читать невозможно! Вы же сами утверждали, что умерший поэт продолжает чувствовать внимание живущих к своим стихам, что он вступает с каждым новым читателем в какие-то отношения... загробные. Мы-то думаем, что это полная чушь, но если вы в эту чушь верите, тогда для чего вы устраиваете Катенину новый 1833 год? Хотите, чтобы он у вас в гробу перевернулся?



Постараюсь отвечать по порядку. Все слова о том, что Катенин не понял «Горя...», бьют в моем случае мимо цели – я ведь уже говорил о том, что сам «Горя» не понимаю (в конце 4-го чтения). Не понимаю я и «Бориса Годунова», «Ревизора» не понимаю... Рука бога поэзии на классическом произведении бывает видна так же ясно, как ясно видны лунная дорожка или цепочка воздушных пузырей на воде, – и так же невозможно ее удержать, ощупать, запротоколировать. Платон Каратаев сравнивал человеческое счастье с водой в бредне: «Тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету», – сравнение это удивительно подходит и к родственной счастью поэзии.

Выше я утверждал, что Катенин хотел сам стать Пушкиным. Как это понимать? Ну, во-первых, он хотел сам поймать за руку бога поэзии, хотел сам создать на русском языке произведение мирового уровня. На это он, скажем так, надеялся. Во-вторых, он совершенно точно не увидел руки бога на «Борисе Годунове» (как он обнаружил ее чуть раньше и на «Горе от ума»). В этом он даже сомневаться не мог.

«Испытание, которому я и всякий, впрочем, подвергает новое поэтическое произведение, – писал по этому случаю Катенин, – это первоначальное, почти физическое впечатление, в котором <...> ум наш весьма мало участвует. Когда никакой теплоты, никакой тревоги, никакой живости не производит чтение, – это обыкновенно худой признак». Замечу, что Катенин ждал от первой пушкинской трагедии многого. Только услышав о ее существовании, он пишет Пушкину подряд четыре письма (февраль-июнь 1826 года) – вопросы о «Годунове» содержатся в каждом из них. «Что твой “Годунов”? Как ты его обработал? В строгом ли вкусе историческом или с романтическими затеями?..» Пушкин наконец обещает прочесть «Годунова» Катенину при первом свидании. «Это еще усиливает мое желание видеть тебя возвратившегося в столицу», – с забавной важностью отвечает Катенин.

Вывавшись из ссылки, Пушкин надолго застревает в Москве, читает свою трагедию у Соболевского, у Веневитиновых, у Вяземского – Катенин в это время занят в Петербурге постановкой «Андромахи». После ее провала Катенин сбегает в деревню, так и не послушав «Годунова» в авторском чтении. Катенин живет в деревне год, и два, и три – со всех сторон доходят до него известия о том, что самые опытные, самые сведущие в литературных вопросах люди («Вяземский, Давыдов, Баратынский etc., etc.») отзываются о «Годунове» с единодушным восторгом. Понятно, что любопытство Катенина подогрето и возбуждено до крайности. Отрывок из трагедии, напечатанный в 1827 году в «Московском Вестнике» (сцена в келье), производит на него должное впечатление. Но только в январе 1831 года экземпляр свежее-отпечатанного «Годунова» попадает наконец Катенину в руки. Катенин с жадностью набрасывается на трагедию, прочитывает ее *трижды* – и никакой живости, тревоги или теплоты в себе не ощущает... «Не знаю, что думать не только о “Годунове”, но даже об самом себе, – обескуражено замечает он по этому поводу. – Или в моем организме какой-то недостаток скрывает от меня красоты “Годунова”, или же вся стихом и прозой пишущая братия

ошибается». Пытаясь решить этот важный вопрос, Катенин начинает анализировать пьесу – и в результате говорит о ней те «глупости», которые были упомянуты выше и которые, на мой взгляд, с глупостью обыкновенной не имеют ничего общего.

Согласитесь, что обыкновенный человек наших, например, дней говорит о Пушкине вещи сплошь правильные и умные («наше всё», «родился в 1799 году» и прочее) именно потому и только потому, что Пушкин не задевает его за живое. Обычный наш современник твердо знает, что Пушкин – величайший поэт России, но теплоту, тревогу и живость испытывает, перечитывая в двадцатый раз «Золотого теленка» или «Мастера и Маргариту». Вот об этих книгах он способен иметь свое суждение – способен, от полноты сердечной, сказать о них какую-нибудь смешную глупость: назвать Ильфа и Петрова «классиками», булгаковский роман – «литературным шедевром» и т. п. Правильные же слова о Пушкине, которые наш современник по временам произносит, – это чужие слова, заученные с грехом пополам на школьных уроках литературы. Произнося эти слова, наш современник освобождает от них свой организм и, надо думать, испытывает облегчение.

Поэтому имеет смысл приглядеться повнимательнее к катенинским «глупостям», в которых уж точно нет ничего чужого, ничего заемного. Попытаемся выяснить их «творческую причину», без которой, как учил Баратынский, «нет явления»; попытаемся разглядеть за ними акты самоопределения катенинского духа. И для начала послушаем Страхова.

«В людях хранится постоянная возможность, постоянное расположение к поэзии, философии, литературе. Эта возможность переходит в дело только при благоприятных обстоятельствах, при особом возбуждении и при существовании особо одаренных людей. Не вся поэзия, существовавшая и существующая в душах людей, записана словами; может быть лучшая и чистейшая осталась невысказанною и нам неизвестна».

В самом деле, Пушкин сумел создать канон литературного русского языка, его неустаревающий «лицевой подлинник», потому что Пушкин был особо одаренным человеком и потому что в воздухе александровской эпохи присутствовало особое возбуждение, особый интерес к поэзии. Благоприятные обстоятельства сошлись, подарив нам Золотой век русской литературы. Но, как мы не раз уже говорили, вдохновение вдыхается в человека извне, одаренность поэту кто-то дарит. Без вполне неисповедимой «таинственной руки», как-то там набрасывающей на нужные головы семена нужного таланта, ни о какой поэзии вообще не было бы речи. Подобно пушкинскому бедному рыцарю, любой поэт, достойный этого звания, имел в своей жизни *«одно виденье, непостижное уму, и глубоко впечатленье в сердце врезалось ему»*. Это-то впечатленье поэт стремится облечь в слова, *«передать земному звуку»*, спасти и сохранить для потомков. «Дарование есть поручение», – свидетельствует Баратынский. Поэт не Бог, творящий из пустоты, а наемный садовник, которому доверен уход за редким и ценным растением. Талант можно развить и приумножить, талант можно погубить, но

нельзя из саженца, допустим, березы, порученного твоему уходу, вырастить георгин или плакучую иву. Если Пушкин к концу жизни воздвиг себе памятник выше Александрийского столпа, значит, Пушкин в начале жизни имел в душе идею этого памятника. Если Пушкин двадцатилетним трудом создал канон русского литературного языка, значит, образцовая русская речь как-то ему прозвучала, как-то его поманила в начале пути. По-другому такие дела не делаются.

Но Катенин-то хотел сам стать Пушкиным! Звуки идеальной русской речи слышались ему на заре жизни, виденье образцовой русской трагедии глубоко запечатлелось в его сердце. Выйдя в путь раньше Пушкина и лучше, чем Пушкин, ориентируясь на местности, он рассчитывал раньше достичь цели. Впрочем, зная не понаслышке про сверхъестественную одаренность своего «Саши Пушкина», Катенин допускал, что этот молодой человек способен, пожалуй, опередить своего учителя. Такая возможность не пугала и не смущала Катенина. Царству муз не знаком жилищный вопрос: Софокл там не мешаает Гомеру, Дант – Шекспиру. «Там с воробьем Катулл...» Не было бы тесно там и Катенину с Пушкиным. Но вот чего совершенно не допускал Катенин, к чему он совершенно не был готов, так это к тому, что в конце пути они с Пушкиным могут не встретиться, что совместное «служенье муз» не соединит, а разведит их, разведет в разные стороны. Недоумение Катенина перед «Годуновым» – недоумение человека, явившегося к даме сердца, приготовившегося к долгому и горестному объяснению с ней (поскольку эта дама, по слухам, подарила свою благосклонность молодому Пушкину) и вдруг обнаружившего на ее месте незнакомую, постороннюю какую-то женщину... Царство муз разделилось в себе самом. Катенин имел одно виденье, непостижное уму, Пушкин – другое.

«Не вся поэзия, существовавшая и существующая в душах людей, записана словами; может быть лучшая и чистейшая осталась невысказанною». Понятно ведь, что поэт, открывший для нас Америку русского литературного языка, тем самым не пустил нас в какую-нибудь Австралию или Индию литературного русского языка. Власть гения *теснит*, как и любая другая власть; стеснения способны рождать протест в пылких, нетерпеливых душах. Не будем вспоминать про литературную шпану, стремившуюся в разное время «бросить Пушкина с парохода современности». Рассмотрим ту тень недовольства Пушкиным, которую можно найти у писателей почтенных и к духовному пространству русской культуры, несомненно, причастных.

Ремизов, например, неоднократно писал про «бледную французскую точность Пушкина», выдвигая ей в противовес «природную русскую речь», «огненное слово протопопа Аввакума» и тому подобные вещи. У Ремизова можно встретить и такую, например, фразочку: «Проза Пушкина, Лев Толстой, проза Жуковского – думано по-французски и лада не русского». Впрочем, Ремизов не был бы Ремизовым, если бы не написал тут же на соседней странице, что «без Пушкина все бы мы околели».

Вспомним ряд ярких высказываний Клюева: «Такие стихи о России, какие

сочинил Блок, мог бы с одинаковым успехом написать и какой-нибудь пленный француз 1812 года», «Любая баба гораздо сложнее и точнее в языке, чем “Пепел” Андрея Белого». Блок и Белый задеты здесь Клюевым как наиболее заметные в послеоктябрьскую эпоху продолжатели пушкинской, «дворянской» линии в русской поэзии. Линия эта представляется Клюеву достойной и ценной, но исчерпанной. «Почувствовать Пушкина хорошо, – провозглашает он в 1919 году, – но познать великого народного поэта Сергея Есенина <...> мы обязаны».

Претензии иного рода высказывает Пушкину Адамович, напечатавший в десятую годовщину октябрьского переворота чрезвычайно острую заметку в парижском журнале «Звено». Разделяя общую для всей «кадетской» мысли оценку большевистской революции как революции по преимуществу антизападной, антипетровской, «скифской», Адамович декларирует: «Петровское начало в русской культуре <...> терпит крушение». Петровскому началу в русской культуре, по мысли Адамовича, «сопротивляется наш язык, слишком торопливо и слишком поверхностно европеизированный, и <...> в этом деле Пушкин невольной виной повинен более, чем кто-либо другой». В заключение своей заметки Адамович предлагает «развалить кривое здание» русского синтаксиса, завершённое Пушкиным, «и медленно построить новое, с сознанием, что без стройного построения нам жизни нет».

Мы видим, что в послеоктябрьскую эпоху – эпоху кризисную, обострившую до предела все внутренние противоречия, вскрывшую все нарывы, вызревавшие до поры до времени бесшумно в недрах нашей литературы, – претензии Пушкину предъявляются с двух прямо противоположных сторон. Западнику Адамовичу колет глаза русская бесформенность, русская нестройность Пушкина. А наши почвенники (будь то новокрестьянский поэт Клюев, будь то архаист Ремизов) недовольны бледной французской точностью Пушкина и отсутствием в его творчестве специфического «русского лада»... Здесь я мог бы воскликнуть: «Поглядите, через какие теснины провел нашу литературу Пушкин! Вот он, “царский путь”! Срединный, единственно спасительный! Сцилла безбожного западничества и Харибда скверного неоязычества равно от него удалены!»

Не будем, однако, торопиться с восклицаниями. Примеры, приведенные выше, не самые ранние и далеко не самые важные примеры борьбы с Пушкиным в русской литературе. Вспомним 1826 год. Баратынский, назвав пушкинское дарование «великим», свое же собственное – «бедным» и «убогим», отказывается от царского пути и скромно сворачивает на какой-то проселок, в результате чего на свет появляется его «Эда» – повествовательная поэма, разительно непохожая на все поэмы Пушкина, написанные к тому времени. В предисловии к своей «финляндской повести» Баратынский пишет, как бы оправдываясь: «Следовать за Пушкиным <...> труднее и отважнее, нежели идти новою, собственно дорогою». И что же? Читатели и критики встречают «Эду» равнодушно; более или менее положительную оценку дают «Эде» Плетнев, Киреевский и Николай Полевой; с прямым восторгом встречает «Эду» один Пушкин... Вспомним 1834 год. Далеко в стороне от

пушкинской магистрали пробивается вдруг родник чистой поэзии: Сергей Тимофеевич Аксаков пишет (и публикует в альманахе «Денница») небольшой очерк под названием «Буран». И что же? Слегка подработав аксаковское описание, Пушкин вставляет его в самую сердцевину своей «Капитанской дочки». Пугачев впервые появляется на страницах повести, вынырнув из аксаковского «Бурана»... Подобные примеры можно приводить десятками. Пушкин не то чтобы боялся литературного соперничества – Пушкин нуждался в сильных соперниках и повсюду их искал.

Тема борьбы с Пушкиным (точнее сказать – тема поиска новых путей в литературе, каковым поиском сам Пушкин неустанно занимался при жизни, преодолевая себя и борясь с собою) будет вспоминаться нами еще не раз, но сегодня, когда мы находимся в сердцевине Золотого века русской поэзии, необходимости в подробном ее рассмотрении нет. Достаточно того, что мы эту важную тему обозначили.

Попутно мы прояснили для себя вопрос об отношении Катенина к «Горю от ума» и к «Борису Годунову». Очевидно, художник имеет право на недооценку произведений своих современников. Ничего нет страшного в том, что «Борис Годунов» Катенину не понравился. Жаль только, что плодом этого недовольства не стала оригинальная пьеса, достоинства которой заставили бы и нас относиться к «Годунову» строже. В 30-е годы Катенин уже не может соперничать с Пушкиным на равных, но продолжает по старой памяти школить Пушкина, продолжает Пушкина учить. В этом (и только в этом) заключается вина Катенина перед Пушкиным. Конечно, ему следовало отпустить на волю повзрослевшего ученика и больше уже к нему не цепляться, не лезть со сварливым старческим задором в его жизнь. Но упрекать Катенина за то, что он не разглядел в «Борисе Годунове» особенных красот, мы не станем. Во-первых, он их действительно не разглядел, не увидел (хотя смотрел, что называется, в оба глаза). Во-вторых, он позволил себе раскритиковать «Годунова» в двух частных письмах. Тут налицо неосторожность (поскольку содержание писем получило огласку и, вполне вероятно, было Пушкину сообщено каким-нибудь доброжелателем), но где же тут вина? Кто пострадал во всей этой истории? Один Катенин и пострадал.

Злую шутку сыграла с Катениным «чистейшая поэзия», которая звучала в его душе и перед которой сам «Годунов» показался ему бледной тенью. Эта поэзия «осталась невысказанной». Но она была. Какие-то ее следы мы постараемся сегодня отыскать в сохранившейся части катенинского наследия.

Но сначала мы должны ответить на вопрос о предполагаемой вине Пушкина перед своим горемычным наставником. Вот этот холодок, который сквозит в отдельных отзывах Пушкина о Катенине... Не было ли тут, в самом деле, неблагодарности? Как их объяснить, эти отзывы?

Спросим в свою очередь: а зачем нужно эти отзывы объяснять? Конечно, любовь Катенина к Пушкину была глубже, продолжительнее, сильнее

пушкинской любви к Катенину. Допускаю, что Пушкин в последние два-три года жизни любил Катенина очень мало. Но разве это преступление?

Все отношения между старшими и младшими (будь то отношения между родителями и детьми, будь то отношения между учителем и учеником, будь то отношения между начальником и подчиненным) регулируются в этой жизни пятой заповедью православного катехизиса. Она звучит так: «Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли». Мы замечаем, что о любви в пятой заповеди вообще ничего не говорится. Понятна причина, по которой пятая заповедь обходит молчанием родительскую любовь, любовь старших к младшим. Одно из фундаментальных свойств нашей природы – привязываться к тому, во что мы вложили труд и душу. Отец любит сына, крестьянин – пашню. Суворов любит своих солдат. Катенин любит Пушкина. Как всякое природное чувство, такая любовь не нуждается в предписаниях и, строго говоря, не подлежит нравственной оценке. К добру или ко злу она может приводить с одинаковой легкостью. Родители могут удерживать при себе повзрослевших детей, мучить их своей любовью: «Не живи своей жизнью, живи моею, я-то свою жизнь посвятил тебе» и т. п. Яркий пример подобных настроений мы находим, кстати сказать, в поздних письмах Катенина к Пушкину.

Но и о любви младших к старшим пятая заповедь не говорит ни слова. Дети не обязаны любить родителей – они обязаны их уважать, почитать. Пусть уважение будет не до конца искренним, пусть почитание будет чисто внешним, формальным – они все равно спасительны и необходимы. Этого хочет Бог. (И поэтому, заметим на будущее, тургеневский Базаров, отказывающийся уважать старших из принципа, – законченный негодяй. А все рассуждения знатоков об «историческом значении образа Базарова» – тень от тени того лопуха, который вырос на базаровской могиле.)

Непочитание старших преступно всегда. Любовь к старшим, как бы ни была она похвальна и желательна, не всегда имеется в наличии. А если во мне нет любви к родителям, наставникам, благодетелям, значит, во мне ее нет. Значит, мне не повезло. Помочь этому горю нельзя никак. Любить «по мандату долга» способны немногие, и, откровенно говоря, такой способности не позавидуешь. Любовь к старшим, которую мы были бы обречены испытывать во все дни нашей жизни, погасила бы наш дух. Человек в этом случае превратился бы в животное, подобное собаке, которой ведь на роду написано любить своего хозяина, будь то Сократ, будь то Анит, будь то сам Иуда Искариотский.

Передовая европейская мысль нашла выход из этого тупика, внеся в список основных человеческих прав право человека на неблагодарность, объявив эту последнюю «вынужденным проявлением свободы». К счастью, общественная практика повсеместно отстает от передовой теории, и в любом человеческом общегитии проблема отцов и детей решается до сих пор по старинке. Сыновья вырастают, оставляют родителей, прилепляются к женам. Сыновья сами становятся отцами... Воспитывая детей, любой человек на практике переживает те состояния, которые 20–30 лет назад переживались его родителями; он как бы

двигается по их следам, фактически же – непрерывно к ним *возвращается*. Но лишь потеряв родителей, человек задумывается о необходимости такого возвращения всерьез. В поминальный день он приходит на кладбище, кланяется безответным могилам, просит прощения у кладбищенского чертополоха. И эта минута – одна из редких минут в жизни современного человека, когда невнимательность и холодность собственных детей, давно уже выросших, давно разлетевшихся по свету, совсем перестают его обижать.

Вина перед родителями, любовь к детям – две стороны одной медали. В душе здорового человека два эти чувства дивно дополняют и исправляют друг друга. Душу больную те же чувства разрывают на части. Какой-нибудь Николай Федоров, ясно видя одну сторону медали, остро переживая общую вину детей перед родителями, живущих – перед умершими, не желает мириться с этой тяжестью и, чтобы от нее избавиться, составляет печально знаменитый проект «научного воскрешения отцов». Стать отцом самому и предоставить Богу заботу о своем будущем воскресении – на это у Николая Федорова не хватило ни смелости, ни ума. Между тем, других решений у этой задачи нет.

Мы не можем освободиться от чувства вины перед старшими (да и не нужно нам от столь благого чувства освобождаться), но мы можем постараться простить младшим их вину перед нами. Мы не можем «воскрешать отцов», но можем, если нам повезет, дожить до того возраста, в котором ушли из жизни наши родители, – можем поболеть их болезнями, можем испытать на своей шкуре одиночество и беспомощность их последних дней. Мы можем умереть, как умерли они, и присоединиться к роду отцов, не ждавших и не желавших для себя омерзительного «научного воскрешения». Конечно, не каждому такое счастье дается в полном объеме, но желать для себя счастья именно такого и как-то в нужном направлении подвигаться – на это способен каждый. А большего от нас и не требуется.

По сбывшемуся предсказанию Катенина, Пушкин умер «Вениамином русских поэтов, юнейшим из сынов Израиля». Учеников, которые могли бы его огорчить (и тем самым напомнить про должок перед Катениным), Пушкин не успел завести. Он даже и не начинал к Катенину возвращаться. Переживи он своего наставника лет на двадцать, чувство благодарности в его сердце год от года возрастало бы и, наверно, не осталось бы без следа в его творчестве. Но вот была ли у Пушкина возможность культивировать в себе чувство благодарности по отношению к Катенину *живому* – это большой вопрос.

Рассмотрим чуть подробнее характер их отношений в середине 30-х годов, когда положение Пушкина в литературе пошатнулось и предельно осложнилось. Катенин к тому времени находит свое место в жизни, а точнее сказать – заново устраивает свою жизнь на той литературной обочине, на которую его вытолкнул Ксенофонт Полевой. Катенин становится маргиналом, безоговорочно осуждающим современное положение дел в литературе, в государстве да и во всем Божьем мире. На дикую толпу российских читателей, способных восхищаться Марлинским с его «шашками узденей», Катенин глядит теперь с едкой усмешкой. Он не собирается соревноваться с

Марлинским. Всякая борьба кончена. Катенин уже не осквернит своих одежд пятном позорного литературного успеха. Он говорил – его не послушали, он предупреждал – над ним посмеялись... Отлично. Ни потешать, ни просвещать этих господ Катенин больше не будет.

*Довольно! Красоты не надо.  
Не стоит песен подлый мир.  
Померкни, Тассова лампада,  
Забудься, друг веков, Омир!*

Такова в общих чертах жизненная позиция Катенина, начиная с середины 30-х годов, и, скажем прямо, позиция эта достаточно удобна, достаточно комфортабельна. «Изгнанный правды ради» из петербургских журналов, Катенин недурно проводит время в своем изгнании – чудит направо и влево больше, чем нужно. Конечно, он очень одинок. Ведь в этом подлом мире, по собственному катенинскому признанию, «уважал Евдор одного Феокрита». В середине 30-х годов Евдор-Катенин буквально засыпает письмами Феокрита-Пушкина, и во всех этих письмах читается между строк одна-единственная идея: Евдор приглашает Феокрита к себе на обочину. Просто посидеть рядом, вспомнить прошлое, поговорить о вечном. Выпить по чуть-чуть. Обсудить и осудить величайший разлив глупости и пошлости, именуемый себя современным искусством... Но Пушкин-то решает в это время совсем другие задачи! Силы, выталкивающие его не только из литературы, но и из самой жизни, весьма велики. Разлад в семье, чудовищные долги, двусмысленное положение при Дворе делают его существование невыносимым. От него отступаются читатели. Критики заживо его отпевают. Он издает журнал, который себя не окупает. В этих условиях Пушкин не просто борется, не сдаётся, упирается – он реально продвигает русскую литературу на два-три десятилетия вперед каждым годом своей жизни. И он, несомненно, чувствует, что времени у него почти не осталось, он спешит... Но вот он получает очередное письмо с Кавказа и, оторвавшись от множества неотложных дел, читает, например, такие строки: «Как! Ты издаешь журнал, а я знаю о том едва по слуху? Хорошо ли это, Александр Сергеевич? Не похвально. Кстати, ты мне совсем не пишешь. Это нехорошо по отношению ко мне, который так тебя любит. (Последние две фразы написаны по-французски и затейливо, в виде французского двустушия, вставлены в текст письма. – Н. К.). Не смею слишком пенять, что ты забыл меня; не ты один; все забыли, а что все делают, в том и греха нет, по общему суждению», – очень заметно, что автор письма никуда не торопится и, имея массу свободного времени, по капле цедит яд. Попутно он задевает Дельвига, память которого была для Пушкина священна, попутно – дознается у Пушкина, здравствует ли еще Российская академия и нет ли там новых членов после сенатора Баранова Дмитрия Осиповича, недавно скончавшегося... За год с небольшим Пушкин получает с Кавказа пять писем более или менее задиристого содержания – думается, что к концу этого срока Катенин до смерти надоел ему. И все-таки ни одного гнилого слова о Катенине Пушкин (в отличие от Грибоедова) не



написал. Холодок да, был. Но если приглядеться, по-настоящему прохладные отзывы сосредоточены все в двух-трех письмах Пушкина к Вяземскому – врагу Катенина. Не рискуя грубо ошибиться, мы можем объяснять эти отзывы пушкинским лицеприятием по отношению к Вяземскому, а не пушкинской неблагодарностью по отношению к Катенину.

Об особом месте, которое занимал в жизни Пушкина Вяземский, мы будем говорить подробно на следующем нашем чтении. Но разговор о предполагаемой пушкинской неблагодарности мы можем закончить уже сейчас. Никаких ее следов нам не удалось обнаружить. И мы эту тему закрываем.

«Все это прекрасно, – может заметить мой воображаемый оппонент (тот самый – умный и осведомленный), – все эти догадки очень милы, но скажите наконец прямо: был ли наш подопечный сколько-нибудь крупным, сколько-нибудь стоящим поэтом? Только не увиливайте, отвечайте просто: да или нет?»

Боюсь, что простого ответа на этот вопрос не существует. Мой давний интерес к творчеству Катенина обусловлен выдающимися достоинствами его литературно-критической прозы; стихи Катенина казались мне всегда важным дополнением или приложением к этой прозе. Катенин, скажем так, и как поэт был мне интересен. Но я встречал людей, которые лучше меня разбирались в вопросах литературы и при этом даже слышать не хотели о стихах Катенина. Помню, как Кирилл Бутырин сказал мне однажды: «Ваш Катенин – он все, что угодно, но только он не поэт».

И конечно, на фоне гигантских созданий Пушкина, Тютчева, Лермонтова современные им труды Катенина малозаметны. Лермонтов или Тютчев с первой строчки своих стихов властно захватывают читателя и мчат через леса и горы – над стихами Катенина надо усиливаться, над ними надо корпеть. Много там приходится разглядывать через микроскоп, подкручивая винт окуляра, двигая взад-вперед предметный столик... В этом отношении к Катенину ближе Баратынский, над стихами которого тоже приходится трудиться при первом знакомстве с ними – приходится, по точному слову Вяземского о Баратынском, «буровить этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю». Но если у Баратынского под сомнительным все-таки спудом скрывался несомненный родник, из которого пили горстями самые разборчивые, самые взыскательные любители русского слова, то у Катенина один спуд несомненен. Извлечь из-под него «чистую и светлую струю» никому еще, кажется, не удавалось.

Катенинское дарование резко своеобразно. Как никто другой в русской поэзии, он умел найти новое – новую тему, новую поэтическую жилу, – но найденные сокровища с фатальной неизбежностью утекали у него между пальцами или превращались в «чертовы черепки». Можно бы попытаться сравнить с Катениным Николая Львова: тот тоже многое делал в поэзии первым и тоже почти ничего до конца хорошего в поэзии не сделал. Но Львов не имел авторского тщеславия, он мало занимался своими стихами, мало помнил о них – Катенин же был болезненно самолюбив и над отделкой своих

стихов трудился до седьмого пота. Какое тут сходство? Проще указать на поэта, который еще меньше, чем все остальные поэты России, на Катенина походил. Таким антиподом Катенина в русской поэзии был Денис Давыдов. Случайно наткнувшись раз в жизни на новую поэтическую жилу («гусарскую»), он ее разработал и исчерпал, добытое золото до последней крупички перелил в ходовую монету, на каждой монете отчеканил свою воинственную физиономию... Катенин отыскивал богатейшие месторождения десятками, если не сотнями, но собственного поэтического лица, которое можно было бы запечатлеть на добытом металле, он, по всей видимости, просто не имел.

Для поэта такого типа настоящим спасением мог стать его архив – вот где должны были таиться сокровища... Но архив Катенина погиб – погиб, как принято было выражаться в советскую эпоху, «в вихре гражданской войны», – и сегодня нам доступна лишь опубликованная часть катенинского наследия: не стихотворная «руда», в отыскивании которой Катенин не имел себе равных, а готовые изделия, в которых первоклассный исходный материал загублен почти всегда неудачной обработкой.

Но и в опубликованной части катенинского наследия мы можем обнаружить, при желании, много интересного и важного.

Начну с того, о чем сегодня уже говорилось: пушкинские «Мертвая царевна» и «Царь Салтан», несомненно, ведут свое происхождение от катенинской «Ольги».

А вот драматический отрывок «Пир Иоанна Безземельного», написанный Катениным в 1821 году к бенефису актрисы Валберховой. Переделывая для русской сцены роман «Айвенго», Катенин сжал его содержание до десяти актов и при этом, как давно уже замечено, не только сохранил «все самые существенные мотивы романа» (Ермакова-Битнер), но и сумел кое в чем дополнить и даже улучшить знаменитый вальтер-скоттовский роман. Так, характер принца Джона изображен у Катенина с большей исторической верностью и вообще разработан лучше, чем у Вальтера Скотта. Но сегодня для нас важно другое. «Пир Иоанна Безземельного» – первый в русской поэзии опыт нерифмованного пятистопного ямба. «Орлеанская дева», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии» написаны позже. Приоритет Катенина беспорен.

Всем нам с детства нравятся баллады Алексея Константиновича Толстого. Раскроем теперь катенинскую «Старую быль» – и что мы там увидим?

*Вот утро настало и солнце взошло,  
Врата отворились градские;  
Несметное валит народа число:  
И малые тут и большие,  
Все в певчее поле; всех душу зажгло,  
Чтоб русских не сбили чужие.*

*Вот выехал князь со княгиней своей,  
В венце и со скиптром в деснице;  
Везет их четверка прекрасных коней...*

Мы увидим, если сказать коротко, что прелестный тон толстовских баллад весь взят из «Старой были».

Ю. Тынянов, как известно, выявил присутствие катенинских стихотворных размеров в зрелом творчестве Лермонтова, Кольцова и Некрасова. Конечно, этот список поэтов, чему-то у Катенина научившихся, легко может быть расширен. Богатство метрических форм в творчестве Катенина выглядит вообще неисчерпаемым; далекое эхо его открытий гуляет по нашей поэзии до сих пор и вряд ли когда-нибудь до конца заглухнет. В одном сравнительно небольшом стихотворении «Мстислав Мстиславич» (1819 г.) Катенин использует, например, тринадцать различных стихотворных размеров. Ритм стихотворения ломается, потому что изменяются внутренние состояния Мстислава, – для своего времени этот формальный прием был, конечно, оглушительной новостью. Но Катенин редко писал по-другому. Вот этот элемент оглушительной, сногшибательной новизны присутствует чуть ли не в каждом его зрелом произведении.

Также мы помним о том, что открытия в области стихотворной формы не были для Катенина самоцелью. Все свои открытия он совершил между делом, в ходе общего титанического усилия, которым ему удалось повернуть нашу литературу на *правый* путь – путь, отмеченный чертами народности и правдоподобия.

Достаточно ли сказанного здесь для оправдания моего личного интереса к поэзии Катенина? Думаю, более чем достаточно. Привлечет ли сказанное здесь внимание широких читательских масс к творчеству Катенина, вспомнят ли о нем наши издатели, оживет ли память Катенина в потомстве? Вопрос наивный, но хороший.

Внимание ведь – одна из важнейших философских категорий или, выражаясь точнее, одна из основных гносеологических категорий метафизики. Окружающий нас мир являет собой, по слегка перефразированному определению Баратынского, нестройный хор. Наша задача – отыскать в этом хоре свою партию. Среди множества голосов, окликающих и зазывающих нас, мы должны выбрать то, что нам родственно по духу, что способно, по слову Страхова, «пробудить те струны и силы, которые уже таились» в нашей душе. Мы можем колебаться в выборе, сознавая его важность. Мы можем перепархивать от одного объекта к другому, стараясь с каждого из них снять сладкую пенку, но ни к одному из них не привязаться, ни с одним не почувствовать сродства. Мы можем стоять на месте и тупо реветь: «Я иду!» – надеясь, в стиле раннего Маяковского, перекрыть, переорать нестройный мировой хор... Возможностей тут масса. Но всеми этими возможностями управляют два-три нетрудных правила. Вниманием создается наша личность, невнимательностью – разрушается. Внимание к ценным объектам создает личность ценную, внимание к мусору создает личность мусорную. Неправильный выбор, ставший следствием искреннего заблуждения, совершенный по ошибке, не так губит человека, как губят его равнодушие и невнимательность при выборе. Выбравший неправильно, как известно, «потерпит урон; впрочем сам спасется, но так,

как-бы из огня». Но на что может рассчитывать человек, выбравший на авось и выбравший, что попало?

Взглянув под этим углом на положение дел в современной российской культуре, обнаруживаешь безрадостную картину. Круг чтения у русскоязычных авторов сплошь и рядом шире, чем у коренных русских писателей, культурные предпочтения – тоньше. Для примера вспомним еще раз книгу С. Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Личность Бродского не кажется нам приятной. Адское самомнение нашего последнего нобелевского лауреата, его молодежная лексика («просекать фишку», «чувак» и т. п.), сохраненная в условиях эмиграции до седых волос, его изысканное и неистощимое сквернословие делают книгу Волкова неудобочитаемой. В русском культурном сообществе про эту книгу вообще никогда не вспоминают, признают ее как бы несуществующей. Авторитетное современное исследование М. М. Дунаева «Православие и русская литература» (в котором «русской литературе конца XX столетия» отведено без малого 300 страниц) не говорит о ней ни слова. Но в этой несуществующей книге Бродский о Катенине вспоминает! Понятно, что Бродский находит у Катенина *свое* – какой-то «треугольник любовный», про который якобы «ничего более пронзительного <...> ни у кого нет». Важно то, что Бродский Катениным задет: он с волнением говорит о нем, называет его «совершенно замечательной личностью». Бродский к Катенину внимателен, а все остальное, скажем прямо, не в его власти. С тем же похвальным волнением, с тем же подъемом душевным Бродский говорит о Крылове, о Баратынском, о позднем Заболоцком... Очень неплохой круг русских поэтов, скажу я вам, держал в поле своего зрения покойный Иосиф Александрович! А что волнует наших культур-патриотов? Письмо одиннадцати авторов «Молодой гвардии», напечатанное в 1969 году журналом «Огонек»? Рассказ Астафьева «Людочка»? Немытые «пассионарии» Льва Николаевича Гумилева? Где-то в этом секторе, почтенном, но и чрезвычайно все-таки узком, располагаются основные интенции людей, выбравших своей специальностью защиту русской культуры. Профессор Дунаев, скажем, не включил в свое шеститомное исследование не только Бродского с Волковым – Катенина и Крылова, Баратынского и Заболоцкого он тоже не приметил, их он тоже в свое исследование не включил. Чего же ждать от простых православных? Они знакомятся с русской словесностью по лекциям Дунаева... И если многие сегодня приходят с востока и с запада и занимают те места, которые должны были занять мы, то кто же виноват в том, что мы их не заняли?

Впрочем, в исторической жизни народа культура проявляет себя, как живой организм (об этом еще Аполлон Григорьев писал), а живой организм и растет-то через болезнь... Только мертвые культуры не болеют. Мы верим, что жестокий кризис, в который погрузилась сегодня русская литература, окажется болезнью роста и закончится быстрым выздоровлением. Искры интереса к великому прошлому русской книжной культуры тлеют во многих русских сердцах, а значит, и возрождение ее – реально возможная вещь. *«Пускай на нас еще лежит вина, – все искупить и все исправить можно».*

Вот и Катенин забыт нами не до конца. В журнале «Москва» появилась не так давно целая статья о нем. Михаил Шаповалов, автор статьи, не только изложил последовательно и связно основные факты катенинской биографии, но и высказал, по поводу сонета «Кавказские горы», чрезвычайно важное оценочное суждение: «Как неожиданно современен может быть антиромантизм Катенина». «Кавказские горы» не кажутся мне таким уж специально антиромантическим произведением, но в остальном (и в главном) критик «Москвы», безусловно, прав.

Русская литература до недавнего времени изображала Кавказ в розовом свете: принято было восхищаться красотой его ущелий и горных речек, принято было одобрять вольные нравы различных Хас-Булатов и Хаджи Муратов, этот край населяющих. Некоторые наши писатели стремились даже укрыться «за стеной Кавказа» от неприглядной российской действительности. Про советскую эпоху лучше не вспоминать – для множества литературных трутней Кавказ в эти годы был воистину «местом значным на воде покойне»... Катенин в 1834 году увидел Кавказ таким, каким сегодня видим его мы:

*Ряд безобразных стен, изломанных, изрытых,  
Необитаемых, ужасных пустотой,  
Где слышен изредка лишь крик орлов несытых,  
Клюющих пядеру оравую густой;*

*Цепь пресловутая всепетого Кавказа,  
Непроходимая, безлюдная страна,  
Притон разбойников, поэзии зараза!..*

По всей вероятности, Катенину помогло то, что на Кавказ он попал зрелым человеком. Разнообразная деятельность, судебная и административная, которой ему поневоле пришлось там заниматься, позволила ему взглянуть на проблемы края с некоторой высоты и выбрать для описания этой «непроходимой», «проклятой» страны верный масштаб. В русской поэзии один Грибоедов дал изображение Кавказа, сходное с катенинским (стихотворение «Хищники на Чегеме»), а Грибоедов на Кавказе тоже не пустяками занимался... Повторю то, что не раз уже повторялось на этих чтениях: никакие знания, никакой жизненный опыт не делают человека поэтом, но тому, кто поэтом родился, серьезные знания и серьезный жизненный опыт, как правило, не вредят. Кавказ отнял у Катенина три с половиной года жизни; это время было для него по-настоящему тяжельм, но из тяжелых раздумий и переживаний этих лет выросли наиболее зрелые и самобытные катенинские стихотворения: «Гнездо голубки», «Дура», «Инвалид Горев».

В «Гнезде голубки» неожиданная современность Катенина проявилась, пожалуй, еще резче, чем в «Кавказских горах». Написанное в одну из благополучнейших эпох мировой истории, когда народы, распри позабыв, чуть-чуть было совсем не соединились в великую семью (1815–1848 гг.), катенинское стихотворение решило вдруг напомнить о том, что неподалеку от нас располагается целый мир, с которым никакое соединение невозможно в

принципе: мусульманский мир, мир ислама. «Семья народов», «Единое человечество» и тому подобные ласкающие слух словосочетания становятся при таком соседстве пустой химерой.

Действие «Гнезда голубки» относится к VII веку н.э. Герои стихотворения – арабский полководец Амру, сподвижник халифа Омара, совершающий победоносный поход по христианскому Египту, и некий Селим, двенадцатилетний подросток, сопровождающий вождя в этом походе. (Характер отношений, связывающих Амру и Селима, проясняет для нас стихотворение Пушкина «Подражание арабскому», написанное в один год с «Гнездом голубки»: «*Отрок милый, отрок нежный, не стыдись...*» и т. д.) Экспозиция стихотворения проста. После долгой осады захвачена очередная египетская столица; арабы начинают готовиться к походу на Александрию. Арабские грузовые суда запрудили Нил, скрыв его под собою. «*Строй конных и пеших*» воинов снимают с поля походные шатры. Вдруг под верхним навесом пышного, как храм, шатра, принадлежащего самому Амру, обнаруживается гнездо голубки.

«*Жаль их, владыко!* – произносит Селим, любуясь на птенчиков. – *Как бы гнезда не разрушить?»*

«*Милый Селим,* – отвечает Амру (за минуту перед тем поклявшийся своему богу и его пророку истребить всех жителей Александрии от мала до велика), –

*...мне довольно*

*Было бы просьб твоих; ты знаешь, отказа  
Нет никогда им; но, кроме их, матери-птицы  
Рушить гнезда не хочу: в нем – счастья примета.  
Голуби ж более всех пернатых любезны  
Нам, человекам: мало, что за море вести  
Носят друзей – гонцы воздушные наши;  
Ангел божий сам беседу с пророком  
Вел чрез голубку. Для верных – птица святая.  
Грех не дать птенцов ей выкормить к жизни;  
Жизнь есть божий дар: в нем люди не властны.  
Бог им судил под моим родиться наметом, –  
Пусть же в нем возрастут и бога прославят...»*

Амру отправляется громить Александрию, шатер с гнездом голубки остается стоять в поле. Сотня черных рабов будет его стеречь, отгоняя стрелами хищных птиц и христиан. «*Убыль пера с виновных взыщу головою*», – произносит Амру и собирается уже отъезжать, но в последнюю минуту замечает, что негодяй-конюх подвел Селиму коня, хорошенько не очистив благородное животное. «*Не боится рук твоих пес: ты слишком с презренными кроток*», – произносит вождь.

*Молвил, поехал; Селим же остался. Повинный  
Конюх устами прилип к ноге ичоглана,  
Чаял прощенья. Но отрок замыслил другое.*

*Дважды кружил дуговидною саблей дамасской  
Острой, на ловкий удар намахивал руку;  
В третий, привстав над седлом и наметив на шею,  
Срезал с плеч: двенадцатилетняя сила!  
Тело самó упало, голову сбросил  
Спешно всадник ногой, чтоб нежную обувь  
Кровь не сквернила; взглянул на труп, улыбнулся,  
Крикнул коню, и помчался вдогоню владыки.*

Крайне неприятные стихи! Искусство Катенина предвосхищает здесь приемы современного телевидения: словно бы через глазок телекамеры влезли мы в чужую страну, поглазели на сборы чужеземного войска, прослушали научно-популярный доклад о пользе пернатых, увидели напоследок редкое зрелище военно-полевой казни – достоверность! крупные планы! – и возвратились на свой диван, не окровавив домашних шлепанцев... Подобная эстетика, выглядевшая сто семьдесят лет назад абсолютно недопустимой, абсолютно маргинальной, стала выглядеть в наши дни будничной и невинной. Что за жизнь без «информации», без новостей? Современный телезритель ужинает без аппетита, если не пропустит через себя предварительно пять-шесть кровавых сцен. Это плохо. Но в этом «плохо» виноват, уж наверное, не Катенин, одну-единственную такую сцену на своем веку написавший. Катенин – ученик античных (и хороших французских) трагиков, не допускавших изображения насилия на сценической площадке. Катенин – профессиональный военный, видевший наяву десятки тысяч трупов на полях больших сражений, знающий не понаслышке, как выглядит обезглавленный человек. Писателя с таким жизненным опытом сцены насилия сами по себе заинтересовать не могут. Настоящим и единственным предметом художественного исследования является в «Гнезде голубки» мусульманская религия. Необычный (т. е. мало разработанный в европейской литературе) и сложный предмет исследования потребовал от Катенина необычных (и неприятных) художественных средств.

Это сегодня об угрозе исламского фундаментализма твердят на всех углах. В 1835 году угрозы исламского фундаментализма не существовало. Катенин собственноручно выметал его ошметки за Терек и за Куру. И что-то в этих ошметках поразило Катенина. Чтобы яснее разобрать увиденное, он наводит на предмет исследования сильное увеличительное стекло: VII век, век торжества ислама, и послужил Катенину таким увеличительным стеклом. Воспользуемся же и мы катенинской оптикой, чтобы рассмотреть без помех чуждый нам мир мусульманства. В этом мире так много на первый взгляд привлекательного! Мусульмане чинно и благообразно расхаживают по земле, которую бог для них утвердил. *Плоды сердечной пустоты* незнакомы этому миру. Бог мусульман – строгий бог; его люди не расположены играть с жизнью. В этом мире нет брошенных жен и спившихся мужей, нет бездомных детей. В этом мире нелицемерно уважают старость, чтут мудрость и поэзию... Не хватает малого – духа кротости. Не хватает смирения. Любовь к врагам?

смешно даже говорить об этом с правоверным мусульманином. Не хватает здесь Христа – «начальника тишины», пришедшего призвать не праведных, но грешных к покаянию. Глубочайшая интуиция русского поэта: «*Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя*», – звучит для мусульманского слуха диким диссонансом. Раб в мусульманской традиции – не человек. Раб – разновидность домашней скотины. Ни в рабском, ни в скотском виде Царь Небес не может быть никогда.

Мир между народами – великое благо. Слова Христа: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч», – обращают это благо в ничто. Истинная религия разделяет людей. И не случайно Катенин, едва справившись с «Гнездом голубки», принимается за разработку такого характера, который можно назвать прямой противоположностью пылким аравийским характерам Селима и Амру. Очевидно, он ищет силу, способную противостоять «большому ветру от пустыни», ветру ислама. «Гнездо голубки» закончено в мае 1835 года; уже через четыре месяца Катенин отправляет в Петербург новое крупное стихотворение – идиллию «Дура».

Героиня идиллии – крестьянская девушка. В детстве ее постигло несчастье: «*Она в сенокос брала в леску за остожьем// Ягоды: много их, алых, растет у пней обгорелых.// Рядом был посеян овес в огнище...*» Залегший в борозде медведь «шорохнулся и привстал» в пяти саженьях от нее. Мужики, косившие неподалеку, спугнули зверя, но девочка от пережитого потрясения повредила в уме.

*Может, прошло бы, но глупый народ не лечит, а дразнит.  
Жаль! прекрасная девка была бы: высокая ростом,  
Статная, благообразная, взгляд лишь несколько смутен,  
Складно все, что скажет голосом стройным и тихим,  
Только, буде не спросят, редко слово промолвит.  
В поле боится ходить, но дома всегда за работой:  
Пряжу прядет, детей качает и водит у брата,  
Дети любят ее и тетей зовут, а не дурой;  
Дети одни. Другим ответа на грубое слово  
Нет никогда: привыкла – молчит и терпит. Отрада –  
Божия церковь у ней и теплая сердца молитва.  
В лучшие года – ни краски в лице, ни улыбки; худеет,  
Чахнет, гаснет: словно в дому опустелом лампада,  
Теплясь последней каплей масла в темь пред иконой.  
Долго ей не томиться: мигнет скорбных Спаситель.*

«Дура», с ее сумрачным колоритом, с ее опорой на твердое церковное Православие, стоит особняком в творчестве Катенина. Очевидно, годы, проведенные Катениным на Кавказе, приблизили к его сердцу русскую деревню. В чужой земле он острее ощутил значимость ее вековых устоев. Ну и создание «Гнезда голубки» не прошло для Катенина даром. Он устал возиться с арабскими пассионариями, устал загонять их в стихи. Он устал



вживаться в темноватые души Селима и Амру. Устав от всего этого, Катенин начинает действовать в духе народной мудрости, предписывающей выбивать клин клином. В героине его нового стихотворения собраны действительно все черты, встречающие в мусульманской среде наибольшее отторжение и презрение. Женщина. Рабыня. Трусливое и жалкое существо, практически бессловесное. Женщина, которая привыкла к грубости окружающих (таких же рабов, как она сама) и на эту грубость не отвечает: «молчит и терпит»!..

Два этих стихотворения можно рассматривать в качестве диптиха, дав ему обобщающее название «Амру и Дура». Читателю стоит задуматься, кто из названных персонажей ближе ему по духу? Тот, кто старается изменить лицо мира, вступает в бой за свои принципы, борется и побеждает? Та, что *«в поле боится ходить, но дома всегда за работой»*: молится, терпит, молчит? Две цивилизации. Два мира. Две культуры. Столкновение их выглядит очень остро у Катенина.

Кому-то из моих читателей может не понравиться предложенный дискурс, и он раздраженно заметит, что русская цивилизация не сводится к характеру катенинской Дуры и что в противовес арабскому герою следовало выдвинуть героя русского. Разве не громили мусульман на суше и на море Румянцев и Суворов, Кутузов и Паскевич, Ушаков и Нахимов, Скобелев и Юденич? «Амру и Румянцев», «Амру и Юденич» – вот темы, достойные пера истинно русского писателя... Что тут можно ответить? И нужно ли отвечать? Есть люди, с которыми об искусстве говорить бесполезно, бесполезно и заводить такой разговор. Напомню на всякий случай две-три азбучных истины, к области искусства относящиеся. Художник не волен в выборе темы, темы к художнику *приходят*. Братся за самую богатую и благородную поэтическую тему (и изображать, например, Суворова на Кинбурнской косе) без острой внутренней необходимости – это и значит, говоря прямо, гробить свой талант и дурить читателю голову. Людей, которые ищут в книге «благих намерений» и не замечают дурной реализации, на свете, конечно, хватает. Но умный читатель постарается понять художника, «заболевшего» тяжелой и скверной темой. Зачем она привязалась к художнику? Как он справился с ней? Такие вопросы обогащают.

До конца понять Катенина в нашем случае поможет другой русский поэт – Аполлон Майков. В 1853 году Аполлон Николаевич написал идиллию «Дурочка», представляющую собой простую вариацию на тему катенинской «Дуры». Но самому Майкову казалось, вероятно, что он Катенина улучшает: использует сырой катенинский материал для создания произведения, истинно поэтического. В майковской картинке присутствуют действительно некоторая благостность и некоторая паточность, незнакомые пушкинской эпохе; присутствует та «вставка солодкового корня», на которую указывал Фет, анализируя (в письме к Полонскому) поэтическую деятельность Майкова. Преобразовывая «Дуру» в «Дурочку», Майков резко повысил социальный статус героини, сделав ее младшим ребенком в небогатой, но все же таки помещицкой семье; вовсе удалил медведя; болезненное пристрастие героини к Божьему храму и теплой молитве также было опущено им. Героиня Майкова

удручена бездуховностью мелкопоместного быта, душа ее рвется в вольные страны Средиземноморья, где зреют «желтые лимоны по высоким деревьям» (dahin! dahin); посреди зимы она сбегает из дома и замерзает в русском лесу. Венчают эту печальную историю шесть стихов, ради которых и была написана Майковым вся вещь:

*И хотя соображенья  
Вовсе не было у ней,  
Хоть пути в ней было мало  
И вся жизнь ее был бред,  
Без нее заметно стало,  
Что души-то в доме нет...*

Так вот в чем дело! Героиня Майкова – душа дома, домашняя или семейная Психея. Катенин же попытался изобразить в «Дуре» душу самой России, русскую Психею, то есть нечто в принципе невыразимое. Я не стану утверждать, что катенинская попытка удалась. Но порыв его похвален, замысел значителен, да и направление поиска выбрано, по-видимому, верно.

Светлые герои вообще нередки в творчестве Катенина. И востребованность их современным читателем зависит не столько от уровня катенинского письма (он достаточно высок), сколько от потребности современного читателя в свете.

Все знают, что Катенин у нас «*воскресил Корнеля гений величавый*», т.е. перевел для русской сцены «Сида», а также отрывки из «Горацийев» и «Цинны». Перевод «Сида» – очевидная творческая удача Катенина. Любая мало-мальски приличная антология русского стихотворного перевода содержит в себе монолог Сида из первого действия. А как хорош в третьем действии летучий диалог Сида и Химены! Ничего случайного в этой удаче нет. Высокий строй катенинской души обеспечивал интерес Павла Александровича к таким авторам, как Корнель, к таким героям, как Химена и Сид. Тут мы наблюдаем в действии гетевский принцип «избирательного сродства». Но сегодня я хотел бы поговорить о другом переводе Катенина, о другом «Сиде» – не корнелевском, а гердеровском.

Иоганн Готфрид Гердер издал в конце XVIII столетия свою переработку 70-ти испанских народных романсов о Сиде. Катенин в 1822 году перевел из этих 70-ти романсов начальные двадцать два, представляющие собой законченный поэтический цикл. Надо сказать, что образ Сида привлекал Катенина издавна, и он еще в первой молодости прочел на трех языках (немецком, французском и испанском) «все про него написанное». В «Размышлениях и разборах» Катенин рассказал о том, какой глубокий след оставило в его сердце это чтение; разговор о Сиде, которого Катенин называет «красой Испании», заканчивается здесь следующим признанием: «Он так добр, честен, храбр, умен, так счастливо родился быть любимцем певцов, что к нему невольно привяжешься со всем необыкновенным

чувством, жадно ловишь малейшие подробности, боишься что-нибудь пропустить, дойдя до конца, жалеешь, что скоро кончилось, и с горя примешься опять за начало. Я по крайней мере после божественного Гомера не найду ничего лучше и привлекательнее». Любовь к народной поэзии была Катенину врождена; как немногие из мировых поэтов, он умел приноровиться к обычаям чужой старины, умел «перенестись совершенно в тот быт, забыть на время свое воспитание...» Как истинный русский националист Катенин остро чувствует своеобразие чужой народности и высоко ценит это своеобразие.

Переводя Гердера, Катенин не гнался за буквальной точностью. Дело в том, что Гердер, хотя он и был знаком с испанскими источниками, к воссозданию их духа не стремился. Свой труд он выполнил, взяв за основу французский прозаический перевод испанских романсов. Катенин снял с текстов французскую лакировку и, по авторитетной оценке Ермаковой-Битнер, «приблизил романсы к народной основе, акцентировал наивность, присущую народной поэзии, подчеркнул простоту нравов и суровую воинственность той эпохи».

Получилось, по-моему, прекрасно. Сид, Химена, сам Фердинанд Великолепный стали в русской поэзии своими людьми и, с легкой руки Катенина, прочно среди нас обосновались. И если мы с ними не общаемся, то не Катенин опять-таки тому виной.

Сегодня я приведу вам несколько отрывков из девятнадцатого романа. Главное (и единственное) действующее лицо в нем Химена. Наверное, вы помните, через какое страшное препятствие пришлось перешагнуть Сиду и Химене на пути к своему счастью; помните также, какую важную роль при заключении этого брака сыграл король. Но вот свадьба состоялась, Химена живет в доме мужа и ждет ребенка, а муж отсутствует: муж сражается на границе с маврами, потомками Селима и Амру... Химена садится писать письмо дону Фернандо.

*Мудрый, милостивый, славный,  
Справедливый государь,  
Вам покорная Химена  
Бьет челом на вас самих.*

.....

*Молодой жены на свете  
Нет, кто б замужем была  
Так, как я; и не гневитесь,  
Государь: вина на вас.  
Я пишу вам из Бургоса,  
Где живу и жизнь кляню,  
И на вас огнем дышу:  
Где в заповедях Господних  
Право королю дано,  
Чтоб так часто и надолго  
Он супругов разлучал?*

.....

День и ночь, полгода ровно  
 Службу он несет у вас,  
 И едва-едва в год целый  
 На день свидится с женой.  
 Приезжает он, обрызган  
 Кровью до копыт коня;  
 Я приму его в объятия,  
 Он усталый в них заснет.  
 Ночь, как бешеный, всю бредит:  
 Битвы, схватки, и едва  
 В небе, тьмой еще покрытом,  
 Слабый луч блеснет зари,  
 Не взглянувши на Химену,  
 Спит ли бедная, не спит,  
 Встал, пошел. Великий Боже!  
 Сколько слез мне стоил он!  
 Обещал не только мужем,  
 И отцом мне быть, и всем;  
 Ничего мне не осталось,  
 Нет ни мужа, ни отца.

.....  
 Государь, настанет вскоре  
 Мне опасный миг родин,  
 И тогда дойдут к вам вести;  
 Только я боюсь, что слезы,  
 Пролитые об отце,  
 Много сделали младенцу  
 В чреве матери вреда...

Заканчивая письмо, Химена еще раз напоминает королю о будущем младенце, которому угрожает опасность родиться «сиротою без отца». К законченному письму Химена добавляет такой постскриптум:

Государь, еще к вам просьба:  
 Бросьте вы письмо в огонь,  
 Чтоб в придворных злые люди  
 Не смеялись надо мной.  
 Вместо мужа молодого,  
 Не забудьте, государь,  
 Нынче спит со мною рядом  
 Только старая свекровь.

Какой пленительный образ, не правда ли? Если о ком-то и захочется вспоминать после катенинской Химены, так это о героинях шекспировских комедий – Виоле, Розалинде... Приведенные отрывки позволяют судить о масштабах катенинского дарования. По когтям узнают льва.

«Романсы о Сиде» пародировал Козьма Прутков («Осада Памбы»), потом эту пародию вспоминали герои Достоевского («Село Степанчиково и его обитатели»); в общем, каким-то призраком, каким-то, повторюсь, далеким эхом «Романсы о Сиде» в современной русской культуре присутствуют. Хорошо, что присутствуют хотя бы так.

В заключение нашего разговора о стихах Катенина, необходимо сказать несколько слов про его *быль* «Инвалид Горев». Написанная в один год с «Дурой» и с «Гнездом голубки», эта вещь всеми без исключения исследователями признается за лучшее поэтическое произведение Катенина.

«Не мне судить, хорошо ли, – писал Катенин, отправляя рукопись “Инвалида Горева” Бахтину, своему полпреду в литературном мире Петербурга, – по крайней мере, что называется, – капитальная вещь как по объему, так и по новости основы и краски.»

«Гам, – добавляет он, – вопреки воляности поэтической, все сущая правда».

В последнем высказывании Катенина «сущая правда» отчетливо противопоставляется «тощим мечтаниям» романтиков. Именно в «Инвалиде Гореве» антиромантизм Катенина достигает своей высшей точки. Романтизм преодолевается здесь не на уровне манифестов и деклараций, а на уровне эстетики. Но и об эстетике классицизма, применительно к «Инвалиду Гореву», можно не вспоминать. Все эти школьные понятия остаются в прошлом; Катенин в своем последнем крупном произведении проникает в совершенно уже запovedные и заповедные области эстетики. Вот что пишет по этому поводу Ермакова-Битнер: «В отношении “Инвалида Горева” уже не приходится говорить об отдельных чертах колорита “местности”, характерных для принципа исторического романтизма. Сама история стала содержанием произведения, в начальных 17-18 стихотворных строчках Катенин с эпическим размахом рисует громадный исторический период борьбы народов <...>. И для рассказа об этом найдена особая <...> форма, близкая по типу к былине».

Сходную задачу пыталась решить Ахматова в «Поэме без героя», мучительно-долго искавшая для этого произведения (которое она бесосновательно считала главным делом своей жизни) «особый звук», особую строфику. Но о результатах ее стараний мы будем говорить в своем месте, а пока что возвратимся к зачину «Инвалида Горева», столь высоко оцененному Ермаковой-Битнер. Достоинства этого отрывка неоспоримы. «Особый звук», «новый звук» является здесь с редкой чистотой и силой; с этим звуком вступает на территорию России железный XIX век. Прислушаемся к его поступи.

*Тысяча восемьсот четвертого года  
Рекрут брали по всей Руси. Бонапарте,  
Брезгуя консульством, молвил: «Я – император».  
Сытая бунтами Франция иго надела;  
Слабым соседям не спорить: признали с поклоном;  
Сильные ж с гневом отвергли, злое предвидя.*

*Англия, враг коренной, поднялась кораблями,  
Цесарь – ратью на суше; царь православный  
К ним пристал, и с той поры началась  
На десять лет война: великие сечи,  
Сходки насмерть безвестных друг другу народов,  
Смены царств и владык, гульбы по столицам –  
С юга на север, с востока на запад; от моря  
Бурным приливом к Москве и отливом к Парижу.  
Вдоволь стоило денег, и крови, и плача  
Всем, покуда Бог виновника скóрбей,  
Свергнув с престола, по смерть не запер в неволю.  
Видели мы чудеса; с трудом им поверят  
Внуки. Вначале никто их не чаял; но просто  
Воинов новых, взамен отставных и умерших  
Двух с пятисот, по всей Руси набирали.*

В эту торжественную, вполне бесчеловечную музыку, в этот шум постхристианского времени вплетается тема русского ратника, бывшего крестьянина Спасской волости Макара Еремеевича Горева. Скромный, неглупый, **обыкновенный** герой проводится Катениным через все круги земного ада и до конца сохраняет главное сокровище русского человека – нравственную стойкость.

С развитием сюжета все ощутимее становится в поэме незримое Божье присутствие, все яснее проступает на ее страницах неумолимая Божья правда – она-то и казнит в конце поэмы всех, от нее отступивших. Легким или приятным чтением катенинская быль не является.

Попытавшись дать в «Инвалиде Гореве» некий концентрат национального поэтического стиля, Катенин справился с этой грандиозной задачей примерно наполовину. Какие-то силы, бытующие в русском этносе от начала времен, он загнал в свою поэму, сковал своим железным стихом, – но не умирил их и не уравновесил. Это трагедия без кульминационной точки, трагедия без развязки; внутреннее напряжение здесь по необходимости становится центробежным, давит из центра на периферию, деформирует и раздвигает границы поэмы, наконец – вырывается наружу. Читатель остается наедине с дурной, неумиренной мощью... Причина катенинской неудачи лежит на поверхности. Дело в том, что идиллия «Дура», про которую мы только что говорили, входила первоначально в состав «Инвалида Горева», была в нем «как эпизод». Но не прижился этот эпизод к основному тексту, и Катенин, торопясь окончить постройку, пожертвовал им: «округлил и пустил отдельно». Между тем, судьба Макара должна была пересечься с судьбой Ненилы; точка пересечения этих судеб и стала бы истинным центром трагедии. Катенин не смог этот узел завязать. Фактически, он разделил неразделимое: изобразил с эпическим размахом русского труженика-солдата, а его молчаливую сестру, избывающую свое горе в терпении к молитве,

«пустил отдельно», вывел за рамки повествования. Отсутствие этого важного компонента и придает всей конструкции «Инвалида Горева» неравновесный, угрожающий характер.

Советское литературоведение, уважавшее вообще всякую мощь, всякую грубую силу (достаточно вспомнить многолетнее пресмыкательство наших ученых перед поэтической деятельностью Маяковского), с большим уважением относилось всегда и к «Инвалиду Гореву». Принято было считать, что своей замечательной былью Катенин проложил дорогу будущим поэта-народникам: Некрасову, Никитину, Твардовскому. (Молчаливо предполагалось при этом, что Некрасов, Никитин и Твардовский – поэты более крупные, чем Катенин.) С тем же успехом, на мой взгляд, можно размышлять о том, как Лев Толстой своим романом «Война и мир» прокладывает путь Фадееву и Константину Симонову... «Инвалид Горев» – произведение самодостаточное. До конца нами не разгаданная, эта вещь может еще дать неожиданные ростки нового в поэзии будущего.

Переходим к самой выигрышной, самой несомненной части творческого наследия Катенина, к его классическому труду «Размышления и разбор».

Написана эта книга в деревне, во время второй (добровольной) катенинской ссылки 1827-1832 гг. Сбежав из столицы после провала «Андромахи», Катенин в глуши хоронит мечту и на досуге обследует свою рану. Она глубока, но не смертельна. Пусть не суждено ему занять шестое или хотя бы седьмое место в списке величайших драматургов мира. Пусть эта мечта обманула. Ничего! Жизнь не кончена в тридцать четыре года. Катенин чувствует в себе запас нерастраченных сил, руки его чешутся по серьезной литературной работе. Снова и снова приходят ему на ум советы друзей: совет Пушкина сложить разговоры свои на бумагу, совет Бахтина положить на бумагу свои ереси. Вспоминается и то «рассуждение о Шлегеле и романтиках», которое он начал было писать по-французски пять лет назад... Закваска бродит, рождается новая книга.

В сентябре 1828 года Катенин еще жалуется Бахтину на то, что хозяйственные заботы не дают ему заняться «ничем эстетическим», в июле 1829 – сообщает о том, что первые пять глав «Размышлений и разбор» набело написаны. В этих главах Катениным была пройдена «вся древность», т.е. разобрана поэзия древнееврейская, древнегреческая и римская. «Начерно есть и 6-е отделение, – сообщает он в том же письме, – о поэзии новой с начала, 7-м о поэзии итальянской я занимаюсь теперь». Талант Катенина находит наконец свою настоящую дорогу; чистая и светлая струя вырывается из-под спуда и фонтаном бьет в небеса.

Бахтин показывает рукопись Оресту Сомову; Сомов берется напечатать ее в «Литературной газете», которую они с Дельвигом начинают издавать с января 1830 года. Бахтин в Петербурге присматривает за печатаньем. Катенин в костромской глуши не находит себе места. Малейшая задержка приводит его в уныние, кажется издали фатальной. «Я хотел говорить вслух, а покуда мои уста заграждены, и статья моя под спудом. Мне хотелось, очень хотелось

ее издать...» Катенин сознает, что на этот раз им написана совершенно экстраординарная вещь. Теперь-то слепые прозреют, теперь-то все поймут... Подготовка публикации занимает у Сомова и Бахтина примерно полгода; попытка надеждой, которую переживает в эти полгода Катенин, оказывается ему не по силам. От его обычной заносчивости не остается и следа. В письмах к Бахтину, относящихся к этому времени, Катенин раскрывается и выговаривается до конца.

«В альманахах Сомова или в журнале его печатать – для меня это все равно, – пишет он 18 декабря, – лишь бы напечатано было все и хоть такими отрывками, которые бы имели вид и действие целого. <...> Только, Бога ради, так либо сяк решайтесь; а то я по целым месяцам ни на что ответа не получаю, томлюсь в неведеньи, ночей не сплю, и потом, как дождусь письма, выйдет, что ничего нет. <...> Еще раз; простите мои укоры, почтенный Николай Иванович, войдите на миг (дольше будет слишком больно) в мою кожу; я хвор, все дела мои идут непутем, вся жизнь никуда не годится; пощадите меня, хоть из человеколюбия; всякая неизвестность меня тревожит, долгое молчание знакомых сокрушает, занозы самолюбия колют до крови: чем я провинился? или какая враждебная судьба все ставит вопреки?»

«Боюсь, что последнее письмо мое от 18-го декабря Вам не понравилось, – опять пишет он Бахтину через пять дней, – и <...> Вы, прочитав, сказали про себя: “какой странный человек! какой несчастный нрав! <...>” Чтобы Вы не осудили меня так наскоро, постараюсь показать Вам вещь в настоящем виде. Однажды навсегда жребий мой брошен, по грехам моим – я литератор; службу я оставил, жаждет, навсегда, богатства у меня едва достает, чтобы с горем, скукой и нуждой жить, семейства я не имею, стало, живейшие мои желания и чувства обращены на один предмет, на приобретение некоторого уважения и похвалы как писатель, при жизни и по смерти. Все неприятности, испытанные мною по сей части, не отвадили, а разве более поощрили всей силой бороться и, рано ли, поздно ли, победить или лечь на поле сражения».

Надо ли говорить о том, что Катенин тревожился и не спал ночей совершенно напрасно? Никаких шансов победить в этом сражении у него не было. Начать с того, что формат «Литературной газеты» не позволил напечатать трактат «такими отрывками, которые бы имели вид и действие целого». Компактная, густо написанная книга специального содержания оказалась разделена при печатании на двадцать три куска, по две-три странички в каждом, да и эти-то обрывки помещались в «пятнадцатидневной» газете с перерывами, достигавшими в одном случае одиннадцати, в другом – шестнадцати номеров. Одного этого было достаточно, чтобы навеки отпугнуть от книги читателей. Другая, более важная причина, по которой трактат Катенина неминуемо должен был провалиться, заключалась в его абсолютной несвоевременности.

Как все живущее, национальная литература имеет свой *возраст*. Начало 30-х годов XIX века для литературной России – первая молодость, пора любви. Читающая Россия томится по жениху. Пушкин рассмотрен ею в этом



качестве и отвергнут: читающая Россия устала ждать от Пушкина второго «Кавказского пленника», второй «Черной шали». Читающая Россия лежит ниц перед «неистой словесностью» молодых французских романтиков и ждет в томлении сердечном такого же неистового автора – своего... Читающая Россия томится по «неистовому Виссариону», который скоро уже народится, томится по нарождающемуся тоже «Искандеру». Читающая Россия, скажем прямо, томится по прекрасному пустозвонству, без которого жизнь в пятнадцать лет кажется пресной и неполной.

Исчерпывающую оценку «Размышлениям и разборам» со стороны молодой России дал в августе 1830 года Василий Львович Пушкин. Этот шестидесятичетырехлетний младенец сказал друзьям-писателям, обступившим одр его болезни: «Как скучны статьи Катенина!» Чуть ли то были не последние слова Василия Львовича... А как заметил однажды Гоголь: «Старик у дверей гроба не будет лгать». Умиравший Василий Львович подтвердил правоту Гоголя, сказав напоследок сущую правду: зрелость именно что скучна для юности. «Скучно», потому что непонятно, потому что не нужно, потому что не отвечает потребностям молодого организма.



Василий Львович  
Пушкин (1766 - 1830)

Трактат Катенина лет на восемьдесят опередил свое время. В «Размышлениях и разборах» реализуется конечный пункт литературного развития: знание литературы о себе самой, самосознание литературы (добавлю на всякий случай, что «конечный» пункт литературного развития никоим образом не совпадает с пунктом «высшим»). Вполне удивительно, что такой результат мог быть получен в словесности, едва вышедшей из отроческого возраста. Важную роль сыграл здесь, несомненно, «шишковизм» Катенина, его «славенофильство». Катенин учитывает (насколько это было возможно в первой трети XIX века) *настоящий* возраст русской литературы; массив восьмисотлетней книжной культуры России незримо за его плечами присутствует. Оставаясь русским человеком до мозга костей, Катенин гостит на пиру небожителей мировой поэзии, заживо пьет из их чаши и сложную, многоступенчатую гармонию пира ничем не нарушает. Он среди своих на этом «пиру всеблагих».

И все же, отдав должное подвигу Катенина, приложим к сказанному пушкинский стих: «*Блажен, кто смолоду был молод*». Преждевременная зрелость никому еще не приносила счастья. Катенин слишком резко и бесповоротно разошелся с веком, в котором Бог (уж наверное, не случайно) судил ему родиться. Глядя со стороны на драматический конфликт между Катениным и читающей Россией, видишь во всяком случае, что история оправдала и подняла на щит именно эту последнюю. Век, с которым Катенин разошелся во вкусах, называется сегодня Золотым веком русской литературы.

Скажем прямо: «Размышления и разборы» не подошли своему времени точно так же, как не подходит исправной телеге пятое колесо. Русская литература выполнила свое задание и вышла на мировые просторы, обойдясь без помощи Катенина. Гоголь стал Гоголем, не читая «Размышлений и разборов»; Достоевский и Толстой, не зная их, смогли написать в середине 60-х годов «Преступление и наказание» и «Войну и мир».

Но в те же 60-е годы уровень эстетической мысли в ведущих литературных журналах России впервые опустился до нулевой отметки и, не довольствуясь достигнутым, начал увлекательные странствования по отрицательным, преисподним областям эстетики. Именно в эти годы Н. Г. Чернышевский прослыл у нас корифеем эстетической мысли, а юноша Добролюбов на пару с юношей Писаревым, как бы резвясь и играя, основали в России новую школу критики. В эти годы «Письмо Белинского к Гоголю» признавалось, не шутя, «гениальной вещью», а свистуны из «Современника» взяли русскую литературу в ежовые рукавицы, отслеживая и планомерно уничтожая проростки молодых талантов. За неполных четыре года (1860-1864) были выведены на суд толпы и поочередно ошельмованы Случевский, Юркевич, Лесков. Вот что писали, например, в петербургских журналах о философии Юркевича: «Это гнусная попытка под личиной идеалистической фразеологии и туманной мистики оправдать все дикое и безобразное, все нелепое и злое, все отвратительное и бессмысленное <...>. Самый невзыскательный читатель отшатнется от этой дряблой, заживо разлагающейся старушки, начиненной схоластическими и спиритуалистическими бреднями, насквозь пропитанной запахом деревянного масла и ладана» (П. Ткачев). Чернышевский, победоносно полемизируя в 1861 году с работой Юркевича «Из науки о человеческом духе», сообщил между прочим, что он этой работы не читал: «Я чувствую себя настолько выше мыслителей школы типа Юркевича, что решительно нелюбопытно мне знать их мнение...»

Общественное признание, которым пользовались во второй половине XIX века Достоевский и Толстой, не должно нас обманывать. Достоевскому многое *прощалось* – именно как человеку, в прошлом пострадавшему за благоу и священную революционную деятельность. Отступничество Достоевского, его измена революционным идеалам воспринимались современниками, как страшный грех, просто вина за этот грех перекладывалась с плеч Достоевского на все то же «проклятое правительство», словившее талантливого писателя, превратившее Достоевского в «большой» и «жестокий» талант. Что же касается Толстого, то рост его известности слишком заметно связан с процессом трансформации великого писателя в «яснополянского мудреца», в «учителя жизни», а в конечном счете – и в «зеркало русской революции». Только дописавшись до «Фальшивого купона», «Крейцеровой сонаты» и «Воскресения», только напечатав за границей свои квазибогословские труды и эстетические трактаты, выводящие на чистую воду Вагнера и Шекспира, Толстой утвердился в общем мнении как титан мысли и властелин русской литературы, о чем ни в 60-е (т. е. в пору «Войны и мира»), ни в 70-е (т. е. в пору «Анны Карениной») годы речь еще не шла.

(В 60-е годы Минаев, в 70-е – Ткачев могли еще смело Толстому подсвистывать:

*...Ведь если верить Льву Толстому,  
Переходя от тома к тому  
Его романа – никакому  
Не подвергались мы разгрому  
В двенадцатом году.*

*Какой был дух в Наполеоне  
И были ль мы при нем в заgone,  
Нам показал как на ладони  
В романе Лев Толстой.  
Тогда славяне жили тихо,  
Постилась каждая купчиха...  
Но чтоб крестьян пороли лихо,  
Застенки были, Салтычиха...  
Все это слух пустой.*

.....

*Нам Бонапарт грозил сурово,  
А мы влюблялись образцово,  
Влюблялись в барышень Ростова,  
Сводили их с ума...  
Безухой прочь прогнал супругу,  
Послал картельный вызов другу  
И, друга ранивши, с испугу  
Едва совсем не стился с кругу.  
Но вот пришла зима... и т. д.)*

Забавно, что сам Толстой в конце жизни жаловался весьма выразительно на катастрофическое состояние русской эстетической мысли. Вот что он писал, например, в 1902 году: «На моей памяти, за 50 лет, совершилось это поразительное понижение вкуса и здравого смысла читающей публики <...>. В русской поэзии, например, после Пушкина, Лермонтова (Тютчев обыкновенно забывается) поэтическая слава переходит сначала к весьма сомнительным поэтам Майкову, Полонскому, Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, потом к искусственному и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом к однообразному и слабому Надсону, потом к совершенно бездарному Апухтину, а потом уже все мешается, и являются стихотворцы, им же имя легион...» Замечая болезнь в других, Толстой не видит ее в себе. А между тем, слово его звучит, дыхание могучих легких разносится по стране, почти не встречая сопротивления, – и сеет, и множит заразу... Но не будем забегать вперед. О Толстом мы еще успеем поговорить.

Сейчас для нас важно то, что к началу 80-х годов XIX в. эстетическая мысль в России оказывается полностью разрушенной. Пушкинский праздник 1880 года, памятный всем из-за речи, произнесенной на нем Достоевским, вызвал к жизни и стихотворение Фета, весьма примечательное по ясной и твердой оценке внутреннего состояния русской литературы на тот момент. По понятным причинам, стихи эти не были прочитаны на празднике. Вот что говорит Фет, взглянувши мысленно (стихотворение написано в Воробьевке) на «бронзовый лик» Пушкина:

*Заслыша нашу речь, наш вавилонский крик,  
Что в них нашел бы ты заветного, родного?*

*На этом торжище, где гам и теснота,  
Где здоровый русский смысл примолк как сирота,  
Всех громогластей тать, убийца и безбожник,  
Кому печной горшок всех помыслов предел,  
Кто плюет на алтарь, где твой огонь горел,  
Толкать дерзая твой незыблемый треножник.*

Как мы помним, «здоровый смысл» (на отсутствие которого в современном им русском искусстве одинаково жалуются Толстой и Фет) – ключевой, опорный пункт катенинской поэтики. Это облегчает нам переход от угарной атмосферы пушкинского праздника к прочно забытому в 1880 году катенинскому трактату. Мы замечаем, что актуальность «Размышлений и разборов» за 50 лет, прошедших со дня их первой публикации, существенно возросла. Коль скоро телега русского искусства, русской эстетической мысли, увязнув сначала в революционно-демократической, а потом и в народнической грязи, потеряла оснастку и осталась вовсе без колес, значит, пришло время **пятого колеса**, отставленного когда-то в сторону за ненадобностью. Хозяева телеги обязательно вспомнят о нем.

Время, благоприятное для «Размышлений и разборов», настало, как я уже заметил, через 80 лет после их написания, т.е. в начале 1910-х годов. Движущей силой в этом случае послужила гимназическая реформа 1871 года, инициированная Катковым и проведенная в жизнь Дмитрием Андреевичем Толстым. Устав 71-го года внедрил в учебную программу русской гимназии столь ненавистный левому сознанию «классицизм», окончательно разделив среднюю школу в России на два неравноценных типа учебных заведений: классическую гимназию и реальное училище. И только классическая гимназия, с ее греческим, латинским и церковно-славянским языками, давала своим выпускникам право на поступление в университет.

Благодаря реформе, базаровщина в российских университетах начала постепенно сходить на нет. На рубеже XIX и XX столетий у нас образовался заметный глазу слой людей, приученных к серьезному чтению, во всяком случае – способных прочесть специальный труд по эстетике без плевков на пол и площадной ругани. «Серебряный век» русской культуры состоялся ведь не благодаря обилию крупных талантов (их было на самом деле совсем

немного – меньше, чем в провальные 80-е или «глухие» 90-е годы), но лишь благодаря вот этому новому культурному слою, в котором и самый микроскопический талант встречал сочувствие и в два счета извлекался из-под спуда на публицистическую поверхность: «засвечивался». В это время Сабашниковы начинают издавать мировую классику, ориентируясь на нового читателя, воспитанного гимназической реформой, – и поднимают научный уровень своих общедоступных изданий на значительную высоту. В том же русле протекает культурно-просветительская деятельность Суворина, Солдатенкова... В эти годы Софокл, Еврипид, Кальдерон, другие герои катенинского трактата приходят к широкому читателю, а их творчество становится «злойбой дня» в России. В эти годы рождается такая наука, как пушкинистика, связи Пушкина с современными ему поэтами тщательно изучаются, растет интерес к их стихам. В «Академической библиотеке русских писателей» выходят полные собрания сочинений Баратынского, Грибоедова, Батюшкова. В 1910 году «Русская старина» начинает публикацию писем Катенина к Бахтину, на следующий год полный свод катенинских писем к Бахтину выходит отдельной книгой... «Открытие» катенинского трактата становится в этих условиях делом времени.

Однако в феврале семнадцатого года связь времен в России обрывается. Русская культура на долгие десятилетия переходит в своей стране на нелегальное положение. Смогла ли она выйти из подполья во время Второй мировой войны, как думают многие? А может быть, возрождение русской культуры началось в 60-е годы в журнале «Наш современник»? Может быть, оно еще не начиналось, но скоро начнется? Все это – дискуссионные вопросы, ученые люди по-разному отвечают на них. Мы с вами занимаемся пока что Катениным, знакомимся с его книгой «Размышления и разборы». Неактуальность этой книги сегодня (то есть в ноябре 2008 года), ее абсолютная чужеродность духу нашего времени не просто заметны – они режут глаз.

Итак, «Размышления и разборы» остались в России непрочитанной книгой. Не стоит переоценивать важность этого факта. «Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию» (Пушкин), иное сочинение, само по себе замечательное, успехом не пользуется и влияния не имеет. «Habent sua fata libelli». Страхов имел при жизни, по наблюдению Достоевского, «четырёх читателей», а гениальный Аполлон Григорьев и четырех читателей рядом никогда в России не имел (*тремя* его читателями были зато Достоевский, Данилевский и Страхов). Константин Николаевич Леонтьев всё искал причину, по которой его блестящий литературный талант на протяжении десятилетий не замечался читателями и критиками, и в конце концов успокоился на простой мысли: успех был бы бесполезен для его души, и поэтому Бог не дал ему успеха. Слова Тютчева: «*Нам сочувствие дается, как нам дается благодать*», – подтверждают, пусть и косвенным образом, правоту Константина Николаевича.

В первом члене Символа веры Бог-Отец назван «вседержителем». Это обстоятельство лишает смысла любые наши жалобы на несправедливость

мирового устройства. *«Не без воли Бога тайной»* мир устроен так, как он устроен. Один из законов духовной жизни, действующих в мире с тем же надежным постоянством, что и законы физические, гласит (привожу формулировку греческого старца Иоанна): «Если сделанное тобою добро просто не признают, то твое добро только обручено с наградой Божьей. Если же за добро ты получаешь неприятности, то добро твое стяжало венец». Приложив это правило к рассматриваемой нами литературной эпохе, мы легко обнаружим как примеры добра, стяжавшего венец («Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя), так и примеры добра, только обрученного с наградой Божьей («Сумерки» Баратынского, подборка из 24-х тютчевских стихотворений, напечатанная Пушкиным в «Современнике», страховские «Письма о нигилизме»). К последней разновидности добра принадлежит, очевидно, и катенинские «Размышления и разборы».

Прежде чем продолжать свой рассказ о Катенине, замечу вскользь, что самым плачевным, самым фатальным результатом для этого моего труда стала бы читательская жалость к Катенину, чья судьба сложилась так тяжело, и очередной поток неконтролируемых проклятий по адресу России, которая всегда была «темной страной», в которой «не признавали», «забывали», а то и просто «убивали» ее «лучших поэтов»! Не нужно пережевывать жвачку, уже Герценом изжеванную дотла. Россия – не «темная страна». Россия – это мы с вами. Раскройте при случае «Размышления и разборы», прочитайте их *для себя*. Если вы что-то вынесете из этого чтения, то и Россия в накладе не останется. Если чтение ничего вам не даст, значит, Россия в вашем лице не изменится, останется «при своих». Если вам некогда читать старые книги – не читайте их. Но тогда уже не называйте Россию темной страной.

Постараемся теперь разобраться в основных особенностях катенинского трактата. Это научный труд, дающий цельную картину мировой поэзии, мирового драматического искусства за две с половиной тысячи лет. Это художественное произведение, отразившее все краски сложнейшей переходной эпохи, в которую оно создавалось. Но прежде всего это разговор – живой разговор об искусстве. И ведет его с нами человек, заслушиваясь которого забывали о времени Пушкин и Грибоедов. Перегруженная серьезным содержанием, книга Катенина держит своего читателя в напряжении, как хороший авантюрный роман.

Абсолютно свободная по своему духу, книга Катенина вместе с тем остро полемична по отношению к «Лекциям о драматическом искусстве и литературе» Августа Шлегеля. В 20-е годы XIX века «Лекции...» эти были знамениты. Переведенная на все языки Западной Европы, книга Шлегеля признавались главным манифестом европейского романтизма, «евангелием Нового времени» в области искусства. Высокие достоинства «Лекций...» и для Катенина несомненны; заслуженная слава А. В. Шлегеля не вызывает у него зависти или раздражения. Шлегель ему не враг, он враждует только с «модой романтизма». Катенин полемизирует с ученым немцем без ожесточения, он не раздувает ноздрей и не рвет на груди рубашку. Катенин

сыплет парадоксами, ниспровергает вековые авторитеты, расковывает воображение и будит мысль. Катенин шутя (в прямом и переносном смысле) со Шлегелем разбирается.

(Шлегель – кабинетный ученый, чистый теоретик драматического искусства. Катенин – опытный режиссер и театральный педагог, подготовивший для сцены таких выдающихся актеров, как Колосова и В. Каратыгин. Отношение Катенина к Шлегелю во многом напоминает поэтому отношение к Шлегелю Гете, который ведь тоже занимался театром практически. Сравните при случае высказывания Гете о Шлегеле, зафиксированные Эккерманом в двух записях от 1827 года, с текстом «Размышлений и разборов» – и вы обнаружите дословные совпадения. И та же насмешливость – при полном признании шлегелевской эрудиции, шлегелевских ученых заслуг.)



*Август Вильгельм Шлегель  
(1767 - 1845)*

Сейчас я хочу предложить вашему вниманию несколько отрывков из «Размышлений и разборов». Вряд ли вы сможете оценить по ним все достоинства катенинской постройки. Достаточно будет, если вы поймаете на лету живую интонацию катенинского голоса и почувствуете хотя бы на мгновение, отчего так неудержимо потянуло к Катенину молодого Пушкина.

«Предписывать поэту выбор предметов несправедливо и вредно; кто может по чужим внушениям действовать так свободно, горячо и успешно, как по собственным? Было время во Франции, когда не почитали достойными трагедии никого, кроме греков и римлян; Корнель не смел назвать “Сида” иначе, как трагикомедиею, а Расин принужден просить извинения за турок в предисловии “Баязета”. Теперь лист перевернулся, греков и римлян гонят со света: и то и другое предрассудок, недостаток истинного вкуса и поэтического чувства. Для знатока прекрасное во всех видах и всегда прекрасно; судить о произведениях высоких искусств по прихотям моды – явный признак слабоумия.

Одно исключение из сего правила извинительно и даже похвально: предпочтение поэзии своей, отечественной, народной».

Мы видим из этого отрывка, как несправедливо обычное причисление Катенина к отряду чистых классицистов. Классическая мода в глазах Катенина – такой же предрассудок, как и романтическая мода. Извинительна (и даже похвальна) только «национальная мода»: душа поэта соединена с душой народа, к которому он принадлежит, нераздельно и неслиянно – пробиться к вершинам мировой поэзии, минуя горнило поэзии «своей, отечественной, народной», попросту нереально.

«Всякое искусство имеет свои естественные пределы, из которых не может и не должно выходить <...>. Ваяние, например, изображает формы; и чем менее цветности или пестроты в камне или металле, резцом обделанном, тем сильнее впечатление. Раскрасьте Венеру Медицинскую, позолотите ей волосы, <...> вставьте поддельные глаза, и вы ужаснетесь безобразию красоты. Удел живописи – краски; из них <...> творит она свои чудеса, сближает и отдаляет предметы; на гладкой доске либо на холстине представляет необозримую даль или (что еще больше) круглость исполненного жизни лица человеческого. Кто вздумает для большего совершенства выставить нос на подпорке вперед, едва ли сочтется даже нынче за смелого гения, развязывающего путы, связывающие до него робких художников».

Имена смелых гениев, уничтоживших в XX веке путы, связывавшие робких художников предыдущих столетий, нам известны. В этом отношении мы богаче Катенина.

А вот забавное замечание, относящееся к вопросу о самостоятельной эстетической ценности римской комедии (бывшей, как известно, точным сколком с комедии греческой):

«Теренция Юлий Кесарь называл в похвалу полу-Менандром: по-моему, это все-таки значит получеловек».

Следующие два отрывка посвящены Вергилию:

«Большое дарование надо иметь, чтобы старое, давно известное обновить и свежие красоты в нем открыть и схватить <...>. Мудрено возделывать вспаханную землю: не сила творческого ума, как многие думают, увлекает в новые, глухие тропинки, а, напротив, слабость и неспособность отличиться на общем поприще, где много соперников и победа трудна».

«Сильно осуждали “Энеиду” за недостаток характеристики и убивали ее безжалостно сравнением с “Илиадою” <...>, но с Гомером однажды и навсегда никого и ничего сравнивать не должно: стоя гораздо ниже его, можно еще стоять весьма высоко».

А вот что говорит Катенин об Альфьери:

«Его герои через край добродетельны и несносно надменны, злодеи из меры вон злы и отвратны; тех легких и едва приметных черт, которыми искусный художник до обмана подходит к натуре, он вовсе не знал».

И наконец, последний отрывок – более пространный, чем все предыдущие:

«Буде кто заслуживает имя классика в обидном значении слова – это Петрарка. Почтение его к древним, труды, предпринятые для отыскания и издания сокровенных дотоле рукописей, весьма похвальные, но страсть писать



латинские стихи, точно как Вергилий, латинскую прозу слово в слово как Цицерон, пренебрежение к языку народному, уже прекрасному, что доказывают собственные его на нем стихотворения, уже обогащенному бессмертной поэмою Данте, которой Петрарка не умел ценить, весьма предосудительны <...>. Истинный поэт бывает всегда непременно человек, одаренный большой простотой сердца, мыслей и деяний; Петрарка вместо того весь век свой играл роль, важничал и людей морочил; все его поездки, посольства, несносно длинные послания, заказная любовь отзываются мелким тщеславием и в привычку обращенным жеманством <...>

Важнейшие по ожиданиям автора и приложенному к ним труду – стихотворения латинские; ими единственно уповал он составить себе славу; по прочтении “Божественной комедии” он отозвался об ней, как о безделке, на которую ему недосуг при многих важных занятиях взглянуть, оттого только, что она написана не ученым языком и не по принятому покрою; он же про себя надеялся подарить Италии второго Вергилия, так схожего с первым, что и отличить нельзя. Того ради принял за *вуколики* и, как все, не имеющие истинного дарования и верного внутреннего чувства, предпочтительно перенял дурное. Если там уже пастушеская одежда несвойственна лицам, то здесь и подавно; папы и кардиналы являются в маскарадном платье и под условными логарифмами ягнят, молока, лугов и ручьев толкуют о своих епархиях, доходах и расходах».

Катенин еще немало интересного рассказывает про Петрарку, но я останавливаюсь здесь – с тем именно расчетом, чтобы любопытство вас замучило и вам захотелось бы прочесть книгу самим.

Как сказано было выше, «Размышления и разборы» – произведение художественное. То есть, главная ценность катенинского трактата заключается не в объеме ученых сведений, которые мы можем из него извлечь, но в языке, которым трактат написан. Конечно, это затрудняет оценку трактата с чисто содержательной его стороны. Сходные трудности для исследователя представляет разбор критических статей Аполлона Григорьева, поздней литературно-критической прозы Вяземского... Во всех этих случаях нам приходится иметь дело с крупной, в высшей степени самобытной авторской личностью, а не с какой-то анонимной и безликой «ученостью». (Я еще на первом чтении говорил о том, что язык литературного произведения, становясь изящным, закрепляет тончайшие душевные состояния, переживаемые автором в минуту творчества, делает их долговечными. В языке литературного произведения, больше чем в чем-либо другом, сохраняется для потомков личность автора. *«Так! – весь я не умру, но часть меня большая, от тленья убежав, по смерти станет жить»*.) В произведении подлинного поэта сущность неотделима от формы: поэтому-то ученые записки таких поэтов, как Катенин, Аполлон Григорьев или Вяземский, с трудом поддаются систематизации и совсем не поддаются научно-популярному пересказу.

Указанная трудность – не единственная. Законы восприятия читателем

подлинно художественного произведения не отличаются по своей сути от тех вполне неисповедимых законов, по которым такое произведение создается (подробнее вы можете прочесть об этом у Аполлона Григорьева, заглянув в его статью «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства»). В «Размышлениях и разборах» Катенин произносит глубокое суждение о поэзии: «Звуки речей для нее только знаки высоких мыслей и чувств». Это означает, в частности, что самый опытный и многознающий исследователь не обнаружит в книге «высоких мыслей и чувств», если этих мыслей и чувств нет в нем самом, если он их трудом жизни заранее себе не приобрел. В упор будет смотреть на них – и не увидит... Но есть и другая крайность. Есть души, к которым подходит любая отмычка, есть люди, которым любая зарифмованная банальность представляется совершенно искренне «знаком высоких мыслей и чувств». Над прозаическими вымыслами Некрасова или, того хуже, Шевченки пролито ведь целое море читательских слез. Никакого отношения к теме наших чтений эти слезы не имеют.

Баратынский, назвав себя однажды «невнимаемым» (т. е. непрочитанным, неузнанным) поэтом, добавляет потом, что зато он *«довольно награжден за звуки звуками, а за мечты мечтами»*. Понятно, что и Катенин, занимаясь в деревне своими «Размышлениями и разборами», был достаточно вознагражден «мечтами и звуками», сполна ими усладился... Мечты же и звуки, как говорится, к делу не подошьешь.

В общем, я не вижу способа свести богатое содержание «Размышлений и разборов» к набору общедоступных идей и схем. Катенин – не общедоступный автор.

Оценивать содержательную сторону трактата, судить о катенинском замысле трудно еще и потому, что замысел этот не был до конца реализован. Катенин свой труд не дописал.

Он ожидал, что публикация 7-ми частей трактата вызовет в литературной среде настоящую бурю, и готовился к ее отражению. Он просчитывал варианты возможных возражений на свои «ереси», обдумывал ответы на них. План издания трактата «особою книгою» ласкал его воображение, для этой книги он готовил в спешном порядке новые главы... Гробовое молчание, которым встретила «Размышления и разборы» читающая Россия, остановило Катенина. Такой именно реакции на свою книгу он не ожидал и ожидать не мог.

В России 1830 года замалчивание как прием литературной борьбы не было еще распространено. Всякое новое событие в литературе обязательно *обсуждалось*: напишет ли Булгарин свой первый роман – и журналы наши на полгода наполняются толками о «Выжигине», напишет ли Подолинский свою первую поэму – и Николай Полевой поблагодарит его за это «от лица человечества». Молчание, которым встречены были «Размышления и разборы» и, чуть в меньшей степени, «Полтава», – важный диагностический признак, указывающий на проникновение в литературу «торговой логики», «промышленных забот». Дух буржуазного предпринимательства начинает орудовать в русской литературе, производя в ней первые опустошения.

(Всякое печатное упоминание о новой книге является ведь ее рекламой, прямой или косвенной. А кому это нужно – рекламировать чужой товар?)

Торгово-промышленный остракизм, постигший лучшую книгу Катенина, не сломил и не остановил ее автора. В 1832 году Катенин посылает в битву свой последний резерв, свою «старую гвардию» – двухтомное собрание стихотворений и стихотворных переводов. Вы помните, чем закончилась для Катенина эта акция. Примечательно, что Ксенофонт Полевой, жестоко разделяваясь с Катениным, вообще не упоминает в своих двух статьях про «Размышления и разборы»... Полевой, видите ли, не ищет легких путей: он выявляет сильные стороны катенинского таланта, а потом говорит, что эта сила «в эпоху Пушкина и Марлинского» ничего уже не значит, что эта сила свой век отслужила... Полевой демонстрирует способность победить сильного врага – и победить, так сказать, в его логове, на его территории. А «Размышления и разборы» в глазах Полевого – это такая уже дичь, что он *из великодушия* о них не упоминает.

Три катастрофы, пережитые Катениным за шесть лет, – провал «Андромахи», провал «Размышлений и разборов», провал «Сочинений и переводов в стихах», – уничтожили его литературную карьеру. Эти три пробоины пустили ко дну его корабль.

Первая пробоина, жестоко поразив человеческую и авторскую гордость Катенина, мало что изменила в его писательской судьбе. Заготовок других оригинальных пьес на его рабочем верстаке не было – Катенин как драматург исчерпал себя в «Андромахе», достиг в ней своего потолка... Третья пробоина, по сути дела, подарила Катенину покой. Литературная карьера лопнула; случилось то, чего он больше всего боялся, – и началась новая жизнь, в которой, кроме греха, бояться стало нечего. Опыт литературной «жизни после смерти» удался Катенину на славу. Из этого опыта написаны его лучшие стихотворения, о которых мы говорили сегодня. И только вторая пробоина оказалась для Катенина фатальной. Как автор «разговоров об искусстве» он только рождался. Здесь лежало его настоящее поприще. Здесь он был остановлен в начале, сбит при взлете.

Напоследок поищем аналогов «Размышлениям и разборам» в русском искусстве. Считается, что жанр «литературной беседы» не получил у нас особого развития. Со всей определенностью говорит об этом Олег Коростелев – ученый комментатор и издатель собрания сочинений Адамовича (это собрание – кстати сказать, один из лучших издательских проектов всей «постсоветской» эпохи – выходит в нашем городе с 1998 года). Коростелев считает, в частности, что в своей области «Адамович имел предшественников лишь среди французов, у которых подобный жанр был развит еще в XIX веке <...> Французским аналогом “Литературных бесед” Адамовича можно назвать “Беседы по понедельникам” Сент-Бёва, которого Адамович прямо признавал своим учителем». Коростелев следующим образом характеризует жанр «Литературных бесед»: это «прежде всего разговор, продолжающийся разговор, в котором Адамович не стесняется противоречить себе, многократно возвращаться к одной и той же теме». В своем предисловии к

начальному тому Полного собрания сочинений Адамовича Коростелев дважды повторяет, что жанр «Литературных бесед» – резко своеобразный жанр литературной критики, «до Адамовича не проявлявшийся настолько ярко в русской литературе».

Думается все же, что «Литературные беседы» Адамовича имеют русский аналог в лице катенинских «Размышлений и разборов», написанных в 1829 году, т. е. до того как Сент-Бёв начал публиковать свои «Беседы по понедельникам». Сравнение Катенина с Адамовичем напрашивается; однако в научной литературе мне не приходилось встречать это сравнение. В советскую эпоху наука наша не могла говорить об Адамовиче – его книги были «запрещены к распространению на территории СССР» всемогущим Главлитом. Наука сегодняшнего дня уже Катенина обходит стороной: «под Катенина» ей не дают денег, и поэтому катенинское творчество выпало (повидимому, надолго) из научного обращения. В академической огаде Катенин с Адамовичем до сих пор еще не встречались – постараемся же как-нибудь, по-любительски, безденежно, организовать эту встречу своими силами.

Сравнивая Катенина с Адамовичем, замечаешь, в первую очередь, что двум этим авторам в литературе *не тесно*. Они ни в чем друг другу не мешают, скорее уж – дополняют один другого. Адамович – непревзойденный стилист: еще Вейдле писал про «женственную гибкость, естественность и мелодичность» его слога, про его «необыкновенно легкое (как о пианистах говорят) туше». Из перечисленных здесь качеств Катенину принадлежит только естественность слога – ни о какой «женственной гибкости» применительно к Катенину говорить не приходится. Катенин естественно мужественен, естественно прям. Конечно, он намного образованнее Адамовича и серьезнее, но главное – он намного его свободнее. Бедному Георгию Викторовичу всю жизнь приходилось считаться с литературными вкусами Милюкова, Винавера, Кантора и прочих кошмарных людей, плативших ему за литературные беседы построчно. А еще и масонское начальство тяготело над ним; с культурным бомондом прекрасной Франции ни в коем случае нельзя было ему ссориться... Отсюда и проистекала главная слабость его критической прозы: о великих покойниках (о Пушкине, о Достоевском, о Блоке) Адамович писал всегда дерзновенно, прикладывая к их творениям заведомо высокую мерку, а о современных авторах, принадлежавших к хозяйской конюшне, Адамович писал, забывая и о самой минимальной взыскательности... Заметочки же приходилось ему писать еженедельно; заметочки в собрании его сочинений идут сплошь: великое с малым беспорядочно там перемешано, на великом отыскиваются новые и новые пятна, малое неизменно сияет, как медный таз, – в общем, читать Адамовича *томами* вполне невыносимое занятие. Адамович только в газетном формате хорош. Вот от этого недостатка Катенин был свободен совершенно. Сидя в родовом гнезде, он мог писать свои «Размышления и разборы», не оглядываясь не только на современных себе винаверов и канторов, но даже и на самого Николая Павловича. А Милюкова он и в лакейскую свою не пустил бы.

Главное преимущество Адамовича перед Катениным также лежит на поверхности. Самосознание русской литературы сегодня необходимо включает в себя отношение к Достоевскому и Толстому, к Ибсену и Ницше (в их русском прочтении), к Чехову и Блоку и т. д. Понятно, что современный читатель скорее обратится к Адамовичу, который указанные отношения анализировал, чем к Катенину, который перечисленных здесь имен не знал и знать не мог.

Последние 15 лет жизни Катенин провел в деревне. Единственное литературное произведение Катенина, сохранившееся от этих лет, – написанные за год до смерти воспоминания о Пушкине. Это заказная вещь: Павел Васильевич Анненков обратился к Катенину с просьбой что-нибудь дать для готовящегося сборника материалов к биографии Пушкина. Неугомонный Катенин вложил в свои воспоминания столько литературной соли и перца, что его «материалы» прямиком отправились в архив и только через восемьдесят с лишним лет смогли выйти в свет.

Кончина Катенина не была безболезненной и мирной. 9 мая 1853 года, в день перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар, он был сбит лошаадьми, получив при этом смертельные ушибы. «Подшутил над нами Никола!» – сказал Катенин поднимавшему его кучеру, своему невольному убийце. Катенин прожил еще две недели, терпеливо перенося жестокие страдания. «Хорошо умирать весною в мае», – сказал он перед концом.

Архив и библиотека Катенина в недоброй памяти 1918 году были национализированы. Крестьяне деревни Шаёво, где находилась усадьба Катениных, получив от новой власти распоряжение доставить книги и бумаги в Кологрив, погрузили ценный груз на везы и отправились в путь. В пути санный поезд настигла оттепель, сделавшая перевозку груза невозможной. Побросав его где попало, крестьяне возвратились домой. Поиски катенинского архива были предприняты с большим опозданием, в начале 50-х годов, – ни одного листочка найдено не было. «В вихре гражданской войны» погибли все неопубликованные произведения Катенина – погибли, в частности, те главы «Размышлений и разборов», над которыми он работал в начале 30-х годов: «две статьи: о французской поэзии и о французском театре трагическом» (точно известно, что эти статьи были Катениным закончены), «статья об англичанах и немцах», «обзор российской словесности в осьмнадцатом столетии» (эти две статьи должны были сохраниться в черновиках, в набросках).

Известный портрет Катенина, помещаемый во всех изданиях его сочинений, изображает плюгавого человечка с ухоженными усами и напомаженной головой, отчаянно косоглазого. Такое изображение – плод большой фантазии реставратора, потрудившегося над портретом в советские



*Павел Александрович  
Катенин (1792-1853)*

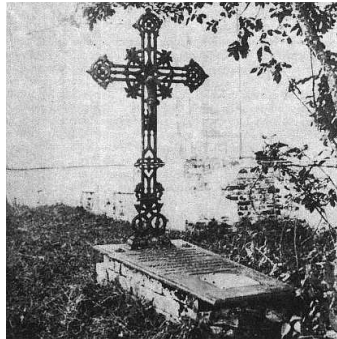
годы. К счастью, сохранился черно-белый снимок подлинного портрета, сделанный до начала реставрации. Лицо, которое глядит на нас с этого снимка, – совсем простое лицо, отрешенное и скорбное, лицо старого солдата.

По всей видимости, писательский зуд, свойственная писателю жажда самовыражения мучили Катенина до гробовой доски. Об этом свидетельствует Писемский, на это недвусмысленно указывают катенинские воспоминания о Пушкине. Вместе с тем, в Катенине нарастало с годами чувство прямого отвращения к литературе. Отдельные высказывания Катенина последних его лет кажутся цитатами из позднего Льва Толстого (хотя и написаны на 30-40 лет раньше). «Сельская тишина, мир полей – пустые, бессмысленные слова столичных жителей, не имеющих никакого понятия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, ставить рекрут и как-нибудь жить». Внутренний взор Катенина устремляется в последние его годы к существенным вещам: к почве, к «бедным корням, роющим землю в темноте». В таком настроении и составляет он свою эпитафию:

*Павел, сын Александров, из роду Катениных. Честно  
Отжил свой век, служил Отечеству верой и правдой,  
В Кульме бился на смѣрть, но судьба его пощадила;  
Зла не творил никому и мене добра, чем хотелось.*

Слишком много горя причинила литература Катенину – и вот он формально от нее отрекается, вычеркивает из своей жизни двадцать девять лет, ей отданных. «Поэтом не был. В журналах не печатался. Пьес никаких не писал и не ставил. Трудился и сражался, как все люди».

2008



## Чтение восьмое



*И* здревле сладостный союз  
Поэтов меж собой связует, –

писал Пушкин в сентябре 1824 года, имея в виду главным образом добрые отношения, которые сложились у него к тому времени с Дельвигом, Вяземским, Баратынским, и приглашая поэта Языкова к их компании присоединиться, –

*Они жрецы единых муз;  
Единый пламень их волнует;  
Друг другу чужды по судьбе,  
Они родня по вдохновенью.*

В процитированном отрывке из послания «К Языкову» ключевое слово – «родня». Пушкин в детстве не знал материнской любви, не имел семьи настоящей, – круг дружественных поэтов до поры до времени семью ему заменял.

Неформальные творческие объединения поэтов известны с древних времен. Обычно такие союзы недолговечны. Поэты легко сходятся, но и расходятся быстро, потому что у каждого поэта, достойного этого звания, дорога в искусстве – своя. «Сладостный союз» поэтов пушкинского круга просуществовал долго: около пятнадцати лет. Вот что пишет по этому поводу Кожин: «Пушкинская плеяда поэтов (Жуковский, Батюшков, Гнедич, Денис Давыдов, Козлов, Дельвиг, Вяземский, Языков, Баратынский и многие другие) начала складываться во второй половине 1810-х годов, в 20-х пережила высочайший свой расцвет, явив собой подлинное средоточие русской литературы и даже шире – культуры, а в начале 30-х годов уже оказалась разрозненной». Добавим к сказанному, что пушкинская плеяда поэтов начала складываться в середине 1810-х годов трудами Дельвига (он уже в 1815 году напечатал в журнале «Российский музеум» стихотворение, в котором уверенно предсказал своему школьному товарищу бессмертную поэтическую славу: «Пушкин! Он и в лесах не укроется:// Лира выдаст его громким пением, // И от смертных восхитит бессмертного // Аполлон на Олимп торжествующий»), что высочайший расцвет пушкинской плеяды оформился в альманахах и других изданиях Дельвига, заслуживших в 20-е годы XIX столетия всероссийскую славу, что после смерти Дельвига пушкинский круг поэтов стремительно и бесповоротно распался, – и сделаем необходимый вывод: пушкинский круг поэтов, несомненно, держался на Дельвиге.

В стихах 1822 года сам Дельвиг рассказал с большой простотой о своем жизненном предназначении:

*От ранних лет я пламень не напрасный  
Храню в душе, благодаря богам,  
Я им влеком к возвышенным певцам  
С какою-то любовью пристрастной.  
Я Пушкина младенцем полюбил,*



*С ним разделял и грусть и наслажденье,  
И первый я его услышал пенье  
И за себя богов благословил.  
Певца **Пиров** я с музой подружил...*

Необычная судьба. Младенцем полюбить – Пушкина, с музой подружить – Баратынского... С одной стороны, это характеризует атмосферу Золотого века национальной культуры: вот этот переизбыток гениальности в государстве, ее густота, когда выходишь на улицу и сталкиваешься с одним гением, возвращаешься домой – тебя там дожидается другой. То же было в Греции во времена Перикла (вспомним предание, которое связало жизни Эсхила, Софокла и Еврипида, выбрав точкой пересечения этих трех судеб Саламинское сражение); так было в Испании на рубеже XVI и XVII столетий, так было во Франции в эпоху Людовика XIV. В Германии, где приход Золотого века национальной литературы лишь ненамного опередил начало нашего Золотого века, мы можем наблюдать сходную картину, относящуюся к 90-м годам XVIII столетия: когда в одном провинциальном университете (Тюбингском) в одной комнате занимаются три подростка – три будущих столпа германской культуры: Гельдерлин, Гегель и Шеллинг. Вот, значит, и Дельвигу повезло в нужное время родиться и в нужном месте оказаться.

С другой стороны, повезло скорее *имени* Дельвига, без упоминания которого никакой серьезный разговор о Пушкине или Баратынском (писателях, имеющих достоинство мировое) невозможен. В житейском же плане больше повезло Пушкину и Баратынскому. Раннее знакомство с Дельвигом стало для них подарком судьбы.

Вспомним, что говорил Баратынский в одном из четырех-пяти своих печатных произведений, непосредственно Дельвигу посвященных:

*Всегда я твой. Судьей души моей  
Ты должен быть и в вёдро и в ненастье,  
Удвоишь ты моих счастливых дней  
Неполное без разделенья счастье;  
В дни бедствия я знаю, где найти  
Участие в судьбе своей тяжелой;  
Чего ж робеть на жизненном пути?..*

Спустя полгода после смерти Дельвига Баратынский напишет Плетневу: «Ежели мы когда-нибудь и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем за твой стол, – Боже мой! Как мы будем еще одиноки! Милый мой, потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений».

Отношение Пушкина к Дельвигу всем известно. «Никто на свете не был мне ближе Дельвига». «Около него собиралась наша бедная кучка». «Без него мы точно осиротели». Напомню (скорее, для собственного удовольствия) одну из строф, посвященных Дельвигу в классическом «19 октября»:



*Евгений Абрамович  
Баратынский (1800 – 1844)*

*С младенчества дух песен в нас горел,  
И дивное волнение мы познали;  
С младенчества две музы к нам летали,  
И сладок был их лаской наш удел.  
Но я любил уже рукоплесканья,  
Ты, гордый, пел для муз и для души;  
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,  
Ты гений свой воспитывал в тиши.*

Замечу, чуть забегаая вперед, некий параллелизм в восприятии Дельвига его великими друзьями, мало между собой похожими. Во-первых, это мотив возрождения, каким-то образом от Дельвига исходящего: «*Я погибал: – ты дух мой оживил //Надеждою возвышенной и новой. //Ты ввел меня в семейство добрых муз...*» – у Баратынского, а у Пушкина: «*И ты пришел, сын лени вдохновенный, //О Дельвиг мой: твой голос пробудил //Сердечный жар, так долго усыпленный, //И бодро я судьбу благословил*». Второй мотив, столь же отчетливо проявившийся у обоих наших поэтов, – это странная убежденность в том, что Дельвигу, как никому другому из живущих, был близок мир теней, мир отошедших (скорее в античном, чем в христианском его понимании). И эта убежденность смягчила то страшное потрясение, каким стала для них ранняя смерть Дельвига. Но главное, что Пушкин и Баратынский, оплакав Дельвига, с каким-то тупым равнодушием поворачиваются спиной друг к другу и расходятся навсегда. То есть Дельвиг – это какая-то линза, собиравшая в единый пучок всю наличную гениальность России, связывавшая русских гениев воедино. Станный и редкий дар был у этого человека. Присмотримся к нему.

Барон Дельвиг – эти два слова звучат сегодня громко, импозантно. Многие множество «новых русских» позакладывало бы свои головы за то, чтобы каким-нибудь схожим именем называться. В действительности же родословная Дельвига скромна. Подобно шестисотлетнему дворянину Пушкину, называвшему себя в конце жизни «мелким мещанином», Дельвиг – отпрыск захудалого рода. Прадед поэта, сохранивший верность Петру III во время петергофского переворота, «всего своего имени лишился»; отец Дельвига служил большей частью в провинции (Кременчуг, Витебск) на полувоенных должностях, не особенно крупных. Антон Антонович Дельвиг-старший на своем веку проделал путь, противоположный жизненному пути лесковского «кольянского мужа»: этот эстляндский немец, этот остзейский барон женился на русской девушке и, завершая круг своего обрусения, принял Православие. Со слов Пушкина, мы знаем, что Дельвиг поступил в Лицей, не зная «никакого иностранного языка»; в семье говорили по-русски. Мать Дельвига Любовь Матвеевна принадлежала к роду безземельных дворян, дворян-однодворцев; один из ее дедов был астрономом и служил в петербургской Академии наук.

Впрочем, у меня нет необходимости рассказывать о Дельвиге так же

подробно, как о Катенине. Жизнь Дельвига, его литературные труды вдоль и поперек изучены русской наукой. Сам Борис Викторович Томашевский занимался Дельвигом долгие годы – к превосходной его статье, которой открывается том Полного собрания стихотворений Дельвига, вышедший в Библиотеке поэта в 1959 году, я и рекомендую обратиться каждому, кто желает поближе с Дельвигом познакомиться. (Следует учитывать только, что Томашевский, по условиям своего времени, больше, чем нужно, говорит про «вольнодумство» Дельвига, про «гонения», которым он подвергался, про его «оппозиционные настроения» и тому подобные малозначащие и, применительно к Дельвигу, малозаметные вещи.) Мой рассказ об этом замечательном поэте будет поэтому краток.

Известно, что Пушкин после смерти Дельвига начал набрасывать статью о нем. Статья не была дописана, но о главном, думается мне, Пушкин успел рассказать: «Способности его развивались медленно. Память у него была тупа; понятия ленивы. На 14-м году он не знал никакого иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке. В нем заметна была только живость воображения. Однажды ему вздумалось рассказать нескольким из своих товарищей поход 1807-го года, выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно и так сильно подействовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. Слух о том дошел до нашего директора <...> Дельвиг постыдился признаться во лжи столь же невинной, как и замысловатой, и решился ее поддержать, что и сделал с удивительным успехом...» Пушкин особо подчеркивает: «Дельвиг, рассказывающий о таинственных своих видениях и о мнимых опасностях, которым будто бы подвергался в обозе отца своего, никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания».

Вот корень того удивления и того восхищения, которые Пушкин неизменно испытывал по отношению к Дельвигу. В нем он столкнулся впервые с *веществом* литературы, которое есть вымысел. Существует множество авторов, «которые не писали бы, если бы не читали написанного прежде их другими», – такие люди тасуют слова, как колоду карт, а затем приступают к сдаче: «творят», приписывая слово к слову. Но природный писатель имеет дело с живыми картинами и музыкальными фразами, которые реально стоят перед глазами, которые реально звучат в ушах. Юный Дельвиг, ни строчки еще не написавший, видит перед собой неотвязную, хотя и несуществующую реальность, рассказывает о ней товарищам – и, к великому своему смущению и радости, обнаруживает, что рассказ принят товарищами за истину...

Много позднее Вяземский столкнулся с той же особенностью Дельвига и так же, как Пушкин, был поражен ею. Надо заметить, что Дельвиг с Вяземским проживали в разных городах и знакомы были мало. («Арзамасские друзья Пушкина не были друзьями Дельвига» – очень важное наблюдение Томашевского!) Можно предположить, что Вяземский ревновал Пушкина к Дельвигу, – не ревновал, а, скажем, не до конца понимал, что находит

Пушкин в этом мешковатом, нелюдимом господине с его тупой памятью и ленивыми понятиями. Незадолго до смерти Вяземский так вспоминал это время: «Дельвига знавал я мало. Более знал я его по Пушкину, который нежно любил его и уважал. Едва ли не Дельвиг был, между приятелями, ближайшая и постояннейшая привязанность его. А посмотреть на них: мало было в них общего, за исключением школьного товарищества и любви к поэзии». Вяземский рассказывает дальше, что, приезжая по временам в Петербург, он встречался с Дельвигом «на приятельских литературных обедах, вечеринках», но короткого сближения между ними не происходило. «Казался он мне мало доступен. Была ли это в нем застенчивость или некоторая нелюдимость, объяснить я себе не мог». Но вот, чуть ли не в последнюю их встречу, Вяземский проводит с Дельвигом «с глазу на глаз около трех часов» – и Дельвиг впервые перед ним раскрывается, Дельвиг начинает импровизировать... Впечатление от услышанного оказалось сокрушительным, – спустя полвека восьмидесятичетырехлетний Вяземский отчетливо помнит импровизацию Дельвига и с большими подробностями, на двух страницах печатного текста ее пересказывает. В эту встречу Вяземский был покорён; с тех пор ему уже не нужно было объяснять, что находят в Дельвиге Пушкин и Баратынский; после этой встречи Вяземский будет писать и вспоминать о Дельвиге в таких, например, выражениях: «*Дельвиг, Пушкин, Баратынский – русской музы близнецы*». Себя самого Вяземский никогда не поставил бы в ряд, включающий поэтов по преимуществу, поэтов от Бога, – Дельвига, ничего путного не написавшего, Вяземский в этот ряд включает.

А вот что пишет о той же особенности Дельвига П. Анненков в своих замечательных «Материалах для биографии А. С. Пушкина»: «Дельвиг был истинный поэт, но поэт в душе, лишенный способности воспроизведения своих созданий. От него чрезвычайно много ожидали и, как кажется, особенно за способность развить планы новых произведений и вообще придумывать содержание поэм. Строгость идеи, глубина чувства, значение лиц и происшествий в его неосуществленных фантазиях были таковы, что раз В. А. Жуковский при рассказе об одной из замышляемых им поэм сказал, обнимая будущего творца: «Берегите это сокровище в себе до дня его рождения».

«Но день рождения не наступил», – завершает свое сообщение Анненков.

Закончив Лицей в числе последних учеников (кажется, четвертым от конца) и не имея наследственного богатства, Дельвиг вынужден был служить, зарабатывать на жизнь. Скажу сразу: никаких надрывных, «экзистенциальных» нот из этого факта извлекать не нужно. Дельвиг справлялся с жизненной борьбой. *Ленивец сонный* оказался на поверку дельным человеком. Понятно, что для служебного своего преуспевания Дельвиг «не гнул ни совести, ни помыслов, ни шеи», т. е. он не вкладывал в служебные занятия душевных сил, нужных ему для другого, настоящего дела. Места службы менял он часто, нигде не задерживаясь: побывал в департаменте горных и соляных дел, побывал в Министерстве финансов – конечно, на самых ничтож-

ных должностях... В ту пору повстречал он Баратынского, «боровшегося с судьбой суровой», «погибавшего» в холодном Петербурге, – и взял его на буксир. Известно, что именно Дельвиг приохотил Баратынского к поэзии, он же пристроил в печать без ведома Баратынского первые его стихи, – а пока что Дельвиг и Баратынский поселяются вместе (1819 год) и ведут самое веселое, безалаберное, полубогемное, полунищенское существование. Такая жизнь – лучший дар молодости; счастлив тот, кому такая жизнь вовремя дается, счастлив тот, от кого она вовремя отнимается. Поэт Некрасов полагал, что молодая душа «крепнет под грозой»; но в ясную погоду молодая душа правильнее и полнее формируется, запасая между делом массу ценных качеств, которым, возможно, предстоит окрепнуть под неизбежными бурями и грозами взрослой жизни. Известно, что Дельвиг и Баратынский в эти годы сочиняли на ходу «и вместе, и порознь <...> много стихов, не попавших в печать», – одно из таких стихотворений случайно сохранилось; сохранилось также свидетельство о том, насколько нравилось Пушкину это стихотворение:

*Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,  
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.  
Тихо жили они, за квартиру платили не много,  
В лавочку были должны, дома обедали редко.  
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,  
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,  
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),  
Шли и твердили, шутя: «Какое в **россиянах** чувство!»*

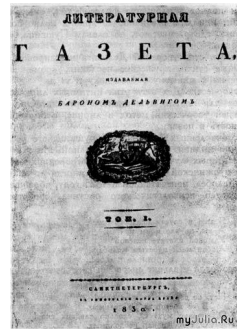
В октябре 1821 года титулярный советник (9-й класс Табели о рангах) Дельвиг переходит на службу в Публичную библиотеку, под крыло к просвещенному вельможе А. Н. Оленину. Баснописец Крылов становится непосредственным его начальником. Казалось бы, живи и радуйся. Но Оленин был начальником строгим. Конечно, он ничего не имел против поэтических занятий своего подчиненного (все-таки он был вельможей просвещенным), но ему не хотелось, чтобы эти занятия вредили службе. Снова и снова требует он от Дельвига заняться вплотную порученным ему делом, – Дельвиг всячески изворачивается и уклоняется. Современники хорошо знали, что обычное занятие Дельвига «пить и спать и, кроме очень глупых <...> разговоров, ничего не делать», что Дельвиг «обыкновенно просыпался очень поздно, и разбудить его преждевременно было почти невозможно», – то есть, они знали, что Дельвиг категорически не способен к сколько-нибудь регулярной службе. В мае 1825 года Дельвиг вынужден был покинуть Публичную библиотеку с некоторым скандалом, не получив следующего чина, вообще-то полагавшегося ему за выслугу лет.

Впрочем, к этому времени он уже отыскивает прочное место в жизни. С конца 1824 года начинает выходить его альманах “Северные цветы”, сразу же оставивший за флагом “Полярную звезду” Бестужева и Рыльева, – превзошедший ее «качеством и подбором материала, типографской внешностью, иллюстрациями» (Томашевский). С прекращением же “Полярной звезды”,

т. е. после 1825 года, «Северные цветы» «становятся единственным русским альманахом, объединяющим литературные силы, а дом Дельвига – своего рода центром столичной литературы» (В. Э. Вацура). Стать в «центре столичной литературы» в 27 лет от роду, стать вообще одним из лучших издателей в русской истории Дельвиг сумел, вовсе не отказываясь от своих вредных привычек («пить и спать»). *Художников друг и советник* занимался делами, не становясь при этом дельцом. Литературные силы объединялись вокруг него, потому что лучшие люди к нему тянулись, а дотянувшись – оставались с ним навсегда, потому что сотрудничать с Дельвигом было интересно, легко и приятно.



Успех «Северных цветов» принес Дельвигу относительную материальную независимость, но не обогатил его. Сам Дельвиг смотрел на себя как на «хорошего министра финансов» для Пушкина, как на «хорошего управителя» для Баратынского. Он радовался тому, что способен красиво издать и «продать выгодно» сочинения своих великих друзей, «возвышенных певцов», а потом с особенным удовольствием присылал им честно заработанные деньги. Сотрудники по издательской деятельности были им подобраны замечательные – Плетнев и Сомов (последнего Дельвиг превратил «из противника в сотрудника, а из сотрудника – в друга»). В изданиях Дельвига печатались лучшие русские поэты – Крылов и Жуковский, Вяземский и Языков. Козлов напечатал у него «Вечерний звон», Пушкин – «*Дар напрасный, дар случайный...*» и «Воспоминание», Жуковский – «Торжество победителей», Баратынский – «*Мой дар убог, и голос мой негромок...*», «Череп», «Музу», «Последнюю смерть». Дельвиг первым начал широко печатать московских Любомудров; со страниц его альманаха шагнул в литературу Гоголь; Дельвиг, вы помните, отважился напечатать и катенинские «Размышления и разборы». Возможно, в русской истории были издатели не хуже Дельвига (Катков, например), но не было у нас издателя проще, милее и человечнее.



В октябре 1825 года Дельвиг женится на Софье Михайловне Салтыковой, – женится по страстной любви; возникшая необходимость в твердом заработке гонит его опять на службу. Дельвиг получает место чиновника в министерстве внутренних дел, здесь он достигает наконец чина коллежского асессора, переходит в 8-й класс Табели о рангах, но эта служба, по замечанию Томашевского, «была связана с какими-то ревизиями губерний и сопряжена с частыми разъездами, отвлекавшими Дельвига от литературной работы». Служба изнуряет Дельвига, он начинает прихварывать, обычная петербургская простуда, привязавшись к нему в положенный срок, укладывает его в постель надолго, по два-три месяца его не отпускает.

Немецкая кровь, кровь русского звездочета смешались в Дельвиге, образовав человека редкого (по поэтической восприимчивости, по тонкости и чистоте душевной), но хрупкого и, в силу этой хрупкости, недолговечного.

В романе Достоевского «Подросток» вдохновенный Версилов говорит о хрупких людях грядущего «последнего дня европейского человечества» – утратив веру, они обратятся друг к другу, вцепятся друг в друга... «Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют всё друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее <...> Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг для друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу». Конечно, это мечты. Практика показывает, что с утратой «идеи бессмертия» естественная привязанность людей друг к другу слабеет. Достоевский говорит скорее о том, как *должны* были бы относиться друг к другу люди, утратившие веру, если бы эти люди оказались вдруг, по учению Руссо, натурально добры и прекрасны. «Я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглуевшими», – замечает Версилов в оправдание своей возвышенной фантазии. Перед мысленным взором Версилова прокручивается снова и снова минута прощания европейского человечества с христианской верой: люди остались одни, как желали, их многовековая война против Бога окончена: «великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее светило в картине Клода Лоррена» (Достоевский говорит: «отходил», т. е. не отошел еще окончательно)... Вот это-то минутное просветление, явление которого в будущей жизни человечества проблематично, наблюдалось не раз в прежней, отшумевшей человеческой жизни. Одной из таких минут и явился, по сути дела, Золотой век русской поэзии. В отношениях поэтов пушкинского круга мы находим образцы высочайшей этики: эти полуверы относились друг к другу «по-версиловски», они составляли всё друг для друга. Взрослея, наши поэты начинали задумываться о Боге, начинали к Нему возвращаться – и одновременно утрачивали интерес друг к другу.

К Дельвигу это последнее замечание не относится. Повзрослеть он не успел. Лицейские годы остались для него навсегда главным событием в жизни, лицейские связи до конца были для него священны. Поздние портреты Дельвига показывают нам не взрослеющее, а дряхлеющее лицо. Дельвиг на них, несмотря на ранние морщины, отечность, нездоровую бледность, выглядит по-прежнему подростком. Наверное, он и от брака своего ожидал чудес несколько ретроспективных, – в союзе с Софьей Михайловной чаял он обрести вновь дух лицейского братства... Хорошо это или плохо? Бог весть. «Если не будете как дети...» – сказано в Евангелии, но там сказано «как дети», а не «как старшекласники». Дельвиг навсегда остался школяром. Открытым для добра, беспечным, деятельным и предприимчивым в играх и шалостях, но цепенеющим и засыпающим перед фатумом взрослой жизни, в

грош не ставшим карьерный рост, денежное довольствие и прочие утехи зрелого возраста. Добавим сюда, что на школьной скамье этот странный подросток «с Державиным <...> не расставался», серьезно изучил античную и германскую литературы, что бурный поток лицейского «самиздата» более или менее проходил через его руки, редактировался и рецензировался им. Этот подросток не только родился литератором, но и осознал себя таковым чрезвычайно рано; он уже на школьной скамье целенаправленно готовил себя к профессиональной писательской деятельности. Этот младенец воспитывал свой гений в тиши царскосельских аллей – на глазах у младенца-Пушкина; тем самым он, несомненно, подстегивал Пушкина и окрылял. Он, страшно вымолвить, руководил Пушкиным в эти ранние годы.

Пробежим глазами по переписке Дельвига, в которой его редкие качества видны и осязаемы, в которой больше даже, чем в стихах, сказывается его душа, застенчивая и грациозная.

Вот он пишет Пушкину, находящемуся в ссылке (1824 год), пересказывает для него столичные литературные новости, развлекает его и смешит – одним словом, ободряет: «Карамзин теперь в отчаянии. Для него одно счастье наслаждаться лицезрением нашего великодушного и благословенного монарха. А он путешествует!»

На следующий год семейные дела заносят Дельвига в Витебск, из-за чего он вынужден отложить давно задуманную и взлелеянную поездку в Михайловское. Болезнь, привязавшаяся к Дельвигу в Витебске, дополнительно его задерживает. Наконец, он может сообщить Пушкину дату своего приезда: «Я теперь выздоравливаю и собираюсь выехать из Витебска в четверг на Святой неделе, следовательно, в субботу у тебя буду. Из Петербурга я несколько раз писал к тебе: но у меня был человек немного свободомыслящий. Он не полагал за нужное отправлять мои письма на почту. Каково здоровье твое, душа моя?» – Это тот приезд Дельвига к Пушкину, когда они, встретясь на крыльце дома, плакали и целовали руки один другому.

В феврале 1826 года Дельвиг, уже женатый, пишет холостому и ссыльному Пушкину: «По письму твоему заметил я, что ты изволишь на меня дуться, быть может, за долгое мое молчание. Исправься, душа моя, от такого греха; будь человеком, не будь зверем! Пиши ко мне по-прежнему...»

В марте 1827 года Дельвиг пишет Пушкину, застрявшему в Москве: «Милый друг, бедного Веневитинова ты уже, вероятно, оплакал. Знаю, смерть его должна была поразить тебя. Какое соединение прекрасных дарований с прекрасной молодостью <...> В день его смерти я встретился с Хвостовым и чуть было не разругал его, зачем он живет. В самом деле, как смерть неразборчива или жадна к хорошему <...> Ей, верно, хочется нас уверить, что она слепа, как Амур, дура».

Из Харькова, куда загнали его обязанности службы, Дельвиг пишет Баратынскому письмо, разбитое, в духе канцелярского правописания, на параграфы: «§ 1-й. Поздравляю тебя и милую жену твою с наступающим праздником Воскресения Христова. <...> 3-й. Пишешь ты ко мне редко <...>



§ 4. Я начинаю говеть. Прошу у вас прощенья. § 5-й. Письмо мое с виду покажется постороннему человеку очень порядочным, но ты знаешь меня, и параграфы мои тебя не обманут. § 6-й. Как начал, так и кончу, соблюдая принятую мною форму <...> § 9. Желая и прошу Бога помочь мне вырваться отсюда и поскорее обнять вас, милые друзья мои».

Получив от Баратынского неожиданно быстрый ответ, Дельвиг приходит в умиление: «Душа моя, я получил письмо твое, как не знаю что-то редкое, драгоценное. Теперь только понимаю, какую цену имели для тебя мои письма в Финляндии. Понимаю и каюсь, что редко писал к тебе <...> Вообрази, я на чужой стороне, занят поверкою счетов и допросами по целым дням».

На следующий год, 1829-й, Дельвиг пишет Баратынскому, торопя его с присылкою стихов, и добавляет при этом: «Ужели ты думаешь, что твои стихи мне только надобны для альманаха? Мне нужно для души почитать их, она, бедная, голодна и сидит на журнальных сухариках. Сжался».

Смерть, «слепая, как Амур», уже караулила его в это время. Софья Михайловна Дельвиг непоправимо испортила жизнь своему мужу и, несомненно, ускорила его кончину. Выдающуюся роль в крушении этого семейного союза, начинавшегося столь счастливо, сыграла Анна Петровна Керн. По воспоминаниям А. И. Дельвига, двоюродного брата нашего поэта, эта вавилонская блудница «наняла небольшую квартиру в одном доме с Дельвигами и целые дни проводила у них, а в 1829 году переехала к ним и на нанятую ими дачу»; то есть она ни на минуту не оставляла Софью Михайловну своим вниманием. Андрей Иванович замечает: «Мне почему-то казалось, что она с непонятной целью хочет поссорить Дельвига с его женою». Непонятного тут мало – люди, подобные А. П. Керн, всегда хотят привести семейную жизнь своих знакомых к тому состоянию, в котором находится их собственная семейная жизнь. Вероятно, такие люди «считают свою мудрость истинною, а потому также и других желают научить тому, что сами признали за истину». Стараниями таких людей наполняется ад. Несомненно, Анна Петровна внушала Софье Михайловне идею свободы, которой подлежит высокоразвитая женская личность; несомненно, она указывала ей на смешные стороны в характере ее мужа: этот мешковатый, замкнутый господин, совсем некрасивый, совсем непохожий ни на молодого бога, ни на конногвардейского офицера, не должен был претендовать на исключительное место в сердце своей обворожительной супруги. Замечательно при этом то, что Анна Петровна относилась к Дельвигу по-своему неплохо и уж во всяком случае – прямого зла ему не желала. Страничка-другая, посвященные Дельвигу в известных «Воспоминаниях» Анны Петровны, принадлежат, наряду с воспоминаниями Пушкина и Вяземского, к лучшей мемуарной литературе о Дельвиге, которой мы располагаем. Анна Петровна с удовольствием вспоминала в старости о том, как «барон Дельвиг был любезен и приятен <...> в семейном кружке, где я имела счастье его часто тондеть», нахваливала его «истинный великобританский юмор»; особой тонкостью отличается следующее ее замечание: «Он всегда шутил очень серьезно, а когда повторял любимое свое слово “забавно”, то это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем не забавном, а или грустном, или же досадном для него!»

Вид Дельвига грустного, Дельвига раздосадованного был неплохо знаком Анне Петровне – грустью и досадой Анна Петровна напоила Дельвига допьяна. Но ведь такие вещи делаются, повторяюсь, не по личной злобе. Наверное, Анна Петровна с немалым удовольствием сыграла бы с Дельвигом против Софьи Михайловны, оставив ее в дурах, будь Антон Антонович к таким играм предрасположен. Но поскольку Антон Антонович был, как мальчик, влюблен в свою жену, то Анне Петровне показалось удобнее сыграть с Софьей Михайловной против Дельвига. Легковозбудимая, «вечно увлекающаяся» Софья Михайловна (плод любви просвещенного российского галломана и природной француженки) охотно внимала внушениям и указаниям своей старшей подруги. Семейный очаг Дельвига стал походить поэтому на зажженную опытной рукой пригородную помойку или свалку. Как заметил (не без тайного восхищения) один советский исследователь: «Софья Михайловна не могла и не хотела противостоять новым увлечениям».



Анна Петровна Керн (1800-1879)

Дельвиг в каком-то оцепенении наблюдал за происходящим. Справиться со своей бедой он не мог. Некому было и пожаловаться на такую беду. Он написал жалкое и страшное стихотворение «*За что, за что ты отравила// Неисцелимо жизнь мою?..*», потом старательно вымарал его (найденное в бумагах Дельвига, оно было разобрано и напечатано сто с лишним лет спустя после его кончины). Словесный портрет Дельвига, относящийся к последнему периоду его жизни, постарался набросать Ю. Тынянов: «Дельвиг постарел и обрюзг, запирается по неделям в своем кабинете, сидит там нечесаный и небритый и улыбается

бессмысленно; <...> встает, кряхтя, с кресел, идет к шкапчику, достает оттуда вино и трясущимися руками наливает стаканчик, говоря при этом старое свое слово: “Забавно”». Было ему в ту пору тридцать два года.

В январе 1831 года Анна Петровна Керн, пересказав своему приятелю Вульффу главные столичные сплетни, сделала в конце письма следующую приписку: «Забывла тебе сказать новость: барон Дельвиг переселился туда, где нет ревности и вздыханий».

Софья Михайловна в июне 1831 года вышла замуж вторично.

Когда начинаешь без подготовки (т. е. без книги в руках) вспоминать о стихах Дельвига, то вспоминаются какие-то обрывки – те именно строчки, в которых обаятельная личность Дельвига выражается без ухищрений. «*Друг Пушкин, хочешь ли отведать// Дурного масла, яйц гнилых?..*», «*Федорова Борьки// Мадригалы горьки...*», «*Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком...*» – в таких-то безделках, написанных экспромтом, Дельвиг сохранился для нас лучше, чем в многдумных и многodelьных своих произведениях.

Из этого можно вывести простое заключение: личность Дельвига значительнее, чем его стихи. Главные сведения об этих последних можно найти у Томашевского: «Уже в 1810-х годах Дельвиг наметил два основных вида своей лирики: подражания древним и стихотворения в духе русских народных песен, и в дальнейшем лишь совершенствовал избранные им виды стихотворений, находя для них идеальное выражение». Античность Дельвига была античностью «без археологии». Отдав дань модному в ту пору увлечению Анакреоном и Горацием, Дельвиг обратился затем «к более глубокому источнику античности, к идиллиям Феокрита». Но Феокрит без археологии – это мечты о Феокрите. Вспомним резкое замечание Катенина, высказанное Пушкину: «Ты знаешь мое мнение о светилах, составляющих нашу поэтическую плеяду: в них уважал Евдор одного Феокрита; et ce n'est pas le baron Delwig, je vous en suis garant». Единственным «Феокритом» в русской поэзии, по мысли Евдора-Катенина, был сам Пушкин. Путь Дельвига казался ему туиковым. Пушкин, напротив, с восхищением писал: «Идиллии Дельвига для меня удивительны. Какую силу изображения надо иметь, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век, дабы угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы». Конечно, «угаданная греческая поэзия» не есть подлинная поэзия Древней Греции. Цель Дельвига в поэзии – народность и простота, «поиск подлинно народного духа». Импульс к поиску шел тут, несомненно, от немецких романтиков; направление поиска найдено было Дельвигом самостоятельно. Его идиллии – это некий намек на античность, некое чувство античности или, по выражению Томашевского, «окраска “под античность”». В том же совершенно ключе решалась Дельвигом и проблема русской песни. Его народность – без этнографии. «Его песня была рассчитана не на музей, а на живых исполнителей». Дельвиг отыскивал (или скорее угадывал) какие-то элементарные начала народного духа с его наивностью и простотой, опираясь в своем песенном творчестве на реальный песенный репертуар, бытовавший в Петербурге 20-х годов XIX столетия. Подлинная народная песня, занесенная в город модным поветрием, нарождающийся городской романс, псевдо-народная оперная ария из «Мельника» или «Днепровской русалки» – все у него шло в обработку.

Конечно, между Катениным, улавливавшим те же импульсы, но шедшим до конца, и Дельвигом, остановившимся в начале пути и только совершенствовавшим свои исходные робкие интуиции, только «находившим для них идеальное выражение» (т.е. лучше подбирившим колера при окраске своих произведений «под народность»), сходства было немного. Примечательно однако, что именно стилизации Дельвига «проникли в народный репертуар», став «решительным сдвигом» по сравнению с народными песнями Львова, Нелединского-Мелецкого, Дмитриева, Карамзина (романсы, написанные на русские песни Дельвига, живы до сих пор). В эти стилизации много было вложено трудолюбия и настоящего мастерства. В этих стилизациях, как и в своей издательской деятельности, Дельвиг сполна проявил присущий ему практический разум. Легкой походкой двигался он к успеху, легкой рукою его захватывал. По этим-то стилизациям учился (и выучился) Кольцов.

Впрочем, про Кольцова мы будем говорить позже, а пока что подытожим наш короткий рассказ о поэзии Дельвига.

Интуитивист и мечтатель, Дельвиг затрагивает самые сложные, самые «заветные» для своего времени поэтические темы (неслучаен параллелизм в поисках Дельвига и Катенина, неслучайно влияние его на Пушкина и Кольцова). Талант Дельвига невелик, но чуткость Дельвига, его беспримерная «поэтическая восприимчивость» вполне заменяют ему талант. Вспомним еще раз слова Пушкина, восхищавшегося идиллиями Дельвига и удивлявшегося им: «Какую силу изображения надо иметь, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век». Но ясно же, что человек, приложивший руку к самому зарождению, к воплощению Золотого века русской поэзии, не может быть вполне чужд Золотому веку древнегреческой, германской или испанской поэзии. О Золотом веке любой национальной культуры такой человек способен будет говорить со знанием дела – просто потому, что золотое есть в нем самом. «Сила изображения» тут совсем не при чем, точнее сказать – способность подражать древним Дельвиг приобрел, существенным образом оставаясь собой. Есть высота, на которой все лица одинаково освещаются нездешним светом и становятся одинаково привлекательными, становятся похожими.

В начале 20-х годов Дельвигом была написана элегия, начальная строфа которой всегда вызывала у меня странное беспокойство, волнение. Выслушайте эту строфу: она настоящая дельвиговская:

*Когда, душа, просилась ты  
Погибнуть иль любить,  
Когда желанья и мечты  
К тебе теснились жить,  
Когда еще я не пил слез  
Из чаши бытия, –  
Зачем тогда, в венке из роз,  
К теням не отбыл я!*



"Мой Дельвиг милый..."  
рис. Пушкина (1831?)

Судьба не была чрезмерно суровой к Дельвигу. Взрослая жизнь его не затянулась. Милой тенью промелькнул по страницам русской истории застенчивый певец, которого любили, как брата, Пушкин и Баратынский. Эти двое будут жить в памяти людей долго, долго – долгой, стало быть, будет и наша память о бароне Дельвиге.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Книга первая

Предисловие	3
Чтение первое.	7
Чтение второе.	38
Чтение третье.	72
Чтение четвертое.	123
Чтение пятое.	181
Чтение шестое.	230
Чтение седьмое.	261
Чтение восьмое (начало).	319

Николай Иванович Калягин

**ЧТЕНИЯ  
О РУССКОЙ ПОЭЗИИ**

Книга первая

Подписана в печать **3 декабря 2018**  
Формат 60x90 1/16 **21** п. л., **336** стр.

«NAPISANO PEROM»

Отпечатано с готового оригинал-макета

Санкт-Петербург

2018

ДЛЯ ЗАМЕТОК



